

# ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 5 | 2023







Людмила Войнова-Чибис | Дом, который многое помнит | 2021



Нина Спицына | Зима | 2021

# ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №5 | 2023

---

## В номере

.....

### ДиН ЮБИЛЕЙ

Александр Астраханцев

3 На линии огня

### ДиН ПАМЯТЬ

Пётр Коваленко

5 О войне и мире

Анатолий Третьяков

8 Райская жизнь

Алитет Немтушкин

10 Нить жизни

Роман Солнцев

25 В долгие сумерки лета

Владимир Нешумов

103 Новые свёртки

Владимир Поташов

108 Рогозинская мыза

Виктория Беляева

116 Кленовые звёзды

Анна Баркова

129 Во тьме наших странных сердец

Владимир Сорочкин

133 Лети, стрела

### ДиН ПУБЛИЦИСТИКА

Геннадий Малашин

14 (Не)забытые голоса Сибири

### ДиН ВРЕМЯ

Владимир Алейников

26 Отец

### ДиН ЭПОС

Евгений Лукин

73 Блокадные фрески

Павел Шаров

78 Тень солдата

### ДиН СИММЕТРИЯ

Владимир Набоков

77 Сердце я бережно нёс

Сергей Есенин

125 Мне приснилось  
рязанское небо...

### ДиН СТИХИ

Анатолий Вершинский

84 Родовая память

Ольга Козэль

87 Тому, кто по уши влюблён

Олеся Дидух

123 Радоваться каждому  
мгновению

Александр Поповский

124 Моё забытое былое

Марина Ерофеевская

126 На страницах  
большой планеты

София Максимычева

128 С головой ныряя  
в темноту

## МОСТЫ НАД ОБЛАКАМИ

Марина Саввиных

- 91 Кубань: тревожная  
весна двадцать третьего

Ирина Иваськова

- 97 Подозрительные вещи  
и забытые предметы

Любовь Ишунькина

- 104 Лизонька

Сергей Лёвин

- 106 Очень нужен  
билет на Уран

БИБЛИОТЕКА  
СОВРЕМЕННОГО  
РАССКАЗА

Сергей Смирнов

- 109 Госпиталь Бурденко

Виктор Николаев

- 113 Полотенце

Александр Герасимов

- 117 Красные ягодки

## КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ

Наталия Черных

- 130 Полевая микрохирургия Семёна Пегова

## ДиН ПОЛЕМИКА

Ксения Савина

- 132 Возможно ли?

## ДиН ШТУДИИ

Владимир Малягин

- 134 «Объяли меня воды  
до души моей...»

## ДиН ПРОЗА

Геннадий Волобуев

- 136 У парадного подъезда

## ДиН ПЕРЕВОД

Джеймс Джойс

- 171 Из сборника  
«Камерная музыка»

## ДиН ДЕТАМ

Дмитрий Косяков

- 173 Ульрика в Пододеялии

- 195 ДиН АВТОРЫ

Александр Астраханцев

## На линии огня

К столетию красноярского поэта Петра Коваленко

Известно старинное изречение: когда гремят пушки — музы молчат. Однако с первых до последних дней Великой Отечественной войны не умолкал голос советских поэтов, и поэзия немало сделала для того, чтобы в грозные военные годы пробудить и поддерживать чувства патриотизма, долга, ответственности и понимание того, что от каждого — и ни от кого другого, будь он воином или труженником тыла, — зависит судьба народа и страны, так что поэты вместе со всем советским народом своим трудом и талантом тоже ковали Победу.

Самыми знаменитыми произведениями стихотворных жанров военных лет стали стихи и поэмы уже широко известных к тому времени советских поэтов старшего поколения: А. Твардовского, К. Симонова, А. Суркова, Н. Рыленкова, О. Берггольц и других; однако фронтовую поэзию необыкновенно обогатили и те, кто безусыми мальчишками шагнули в пекло войны прямо со школьной скамьи, начав писать «профессиональные» стихи именно там, так что война оказалась для них одновременно и началом их поэтической судьбы, и причиной неимоверно быстрого взросления их поэтических талантов. Среди этого поколения поэтов, рождённых Великой Отечественной войной, оказалась и небольшая группа молодых воинов родом из Красноярского края; самые известные из них — Георгий Суворов (1919–1944), Анатолий Седельников (1919–1944), Борис Богатков (1922–1943), Пётр Коваленко (1923–2013). Судя по датам их рождения, все они принадлежали одному поколению, к началу войны были очень молоды и оказались на фронте с самого её начала. «Мы ушли из школы в маршевые роты. От доски — в окопы, в родинках чернил...» — писал о своём поколении Пётр Коваленко. Причём, судя по датам их кончины, трое из них — Г. Суворов, А. Седельников и Б. Богатков — погибли на фронте. Вот она, зловещая статистика той войны: более девяноста процентов мужской части этого поколения полегло на ней. Скольких же блистательно талантливых — может быть, даже великих — русских, в том числе и сибирских, поэтов, погибших в самом начале творческого пути, не успевших полностью раскрыть свой творческий потенциал, мы не досчитались! Поэтому наш долг — помнить и хранить

то скромное литературное наследие, которое они успели нам оставить.

И только один из названной нами плеяды красноярских фронтовых поэтов, Пётр Коваленко, остался жив и прожил затем долгую и творчески плодотворную жизнь, всего три с небольшим месяца не дожив до своего девяностолетия и успев поэтическим языком поведать нам о том, что не успели рассказать до конца его сверстники, погибшие молодыми.

Итак, член Союза писателей России Пётр Павлович Коваленко родился в день святых Петра и Павла, то есть 12 июля 1923 года, в деревне (ныне несуществующей) Ключи Ужурского района Красноярского края. На фронт ушёл добровольцем прямо со школьной скамьи вместе со всей мужской частью своего класса, успев окончить среднюю школу.

Начав войну рядовым, он принимал непосредственное участие в жесточайших боях, как правило, в роли фронтового разведчика, и закончил свою «военную карьеру» в 1944 году командиром роты разведчиков и инвалидом второй группы, чудом выжив после тяжелейшего, почти смертельного ранения, четвёртого по счёту, и успев заслужить шесть боевых орденов и медалей.

После войны ему очень хотелось получить высшее образование, но ни здоровья (после тяжёлых ранений), ни материальных условий для этого не было — надо было просто выживать и долго лечиться; вернувшись на родину, он обосновался на маленькой железнодорожной станции Крутойр Ужурского района и сорок семь лет проработал на Красноярской железной дороге, стал ветераном труда, получал трудовые награды.

Всю свою послевоенную жизнь он прожил вместе с семьёй (жена и две дочери) в деревянном домике при железной дороге, без всяких удобств, собственноручно таская воду, дрова и уголь, топя печь, копая свой огород, увлекаясь в свободное время (и подкармливаясь одновременно) охотой и рыбалкой, и только последние три года своей жизни провёл в краевом центре, в квартире со всеми удобствами, полученной им как ветераном и инвалидом Великой Отечественной войны, причём, где бы ни жил, он всюду вёл активную

общественную и воспитательно-патриотическую работу, регулярно выступая в библиотеках, школах и иных учебных заведениях с собственными стихами и богатыми воспоминаниями о войне. Помню, как, уже живя в Красноярске и будучи восьмидесятивосьмилетним старцем, он на моих глазах выступал дважды: перед студентами железнодорожного института и в музее Красноярской железной дороги, перед ветеранами-железнодорожниками,—и оба раза я, на всякий случай, «подстраховывал» его, готовый тотчас подменить его, если он не сможет «выстоять» предоставленный ему час времени; однако оба выступления Петра Павловича длились непрерывно более двух часов кряду, причём говорил он и читал свои стихи с такой страстью и энергией, что в железнодорожном институте, например, я видел слёзы на глазах у девушек, как у наиболее чуткой и темпераментной части слушателей, а по окончании встречи они же, окружив его, необыкновенно горячо благодарили и приглашали непременно выступить ещё.

Писать стихи и публиковать их в районной газете начал Пётр Павлович со школьной скамьи, с довоенных лет, и продолжил писать их и публиковать, теперь уже в полковой газете, на фронте. Продолжал затем писать их всю оставшуюся жизнь, нисколько не хлопоча о знаках признания, удовлетворяясь уже тем, что его стихи знают и любят в его родном Ужурском районе, публикуя их в центральных, краевых и районных газетах, журналах, альманахах, коллективных сборниках и издав при жизни семнадцать собственных поэтических книжек, пятнадцать из которых вышли малотиражными изданиями в Ужуре и только две—в краевом центре. Кстати, его военные стихи ценил В. П. Астафьев. И то, что его природный поэтический талант пробил себе дорогу в профессиональную поэзию, произрастая в деревенской глуши, вдали от крупных культурных центров, иначе как вторым чудом не назовёшь. Только это, скорее, уже не чудо—а результат многолетней, многотрудной каждодневной работы над собой и своими стихами.

Палитра его поэтического творчества необыкновенно разнообразна, однако в нём можно выделить три основных темы: тему любви к женщине, причём любви—как чувства серьёзного, глубоко пережитого, порой драматического, каким оно бывает у очень взрослых, многое переживших людей; примером тому—такие стихотворения, как «Жажда», «Опять весна, поют ручьи...», «Последняя ягодка», «Я тобой через край переполнен...»:

Я тобой через край переполнен.  
Ты со мною и ночью, и днём.  
Так вот к берегу катятся волны,  
И ласкается колос дождём,  
И заря обнимается с долом,  
И в бокалах гуляет вино.  
Я—зерно твоё,  
Ты—моё поле,  
Вместе нивой нам стать суждено.

Вторая из трёх основных тем—это тема страстной любви как к большой, так и к малой своей родине, к родной земле, к горячо и нежно любимому им Причулымью и ко всему сущему на нём, вплоть до скромного цветочка, до последней ягодки, оставшейся от лета на тонком стебельке...

И третья, самая значительная и по объёму, и по эмоциональной силе написанного,—это тема войны. Каждое стихотворение на эту тему—документ времени, выстраданный, написанный собственной кровью, так что мы, читатели, вслед за автором возвращаемся в те страшные годы: «Ещё один поник закат, солдатской кровью истекая... Кого-то унесли в санбат, а кто-то в поле умирает...»—или: «Убитые не отступают. Бронёю стала им земля. Они, травую прорастая, лежат на линии огня...»

Поэт Пётр Коваленко всю жизнь был в своём творчестве на линии огня. Выстоял и победил. И его пронзительные, искромётные, огнедышащие поэтические строки, будь они о любви, о Родине или о войне, должны жить в нашей памяти как страстное поэтическое завещание всем будущим поколениям.

к 100-летию  
со дня рождения

Пётр Коваленко  
О войне и мире

Пётр Коваленко

## О войне и мире

### И в жизни нет страшной мгновенья

Когда в атаку поднимаешь  
Себя и ратников своих,  
Секунду каждую считаешь,  
И каждый вздох, и каждый миг.  
И в жизни нет страшной мгновенья,  
Как встать на бруствер огневой,  
Бежать в порыве наступленья  
И падать—оземь головой.  
И, опершись опять о друга,  
Что срежут пулей наповал,  
Рвануться в ад свинцовой выюги  
Сквозь миномётный чёрный шквал.  
И, оставляя в поле павших  
(Да пусть они простят живых!),  
Ворваться в укрепление вражье,  
И—нож на нож,  
И—штык на штык.  
И болью скошенны губы,  
И блеск стальных потухших глаз...  
Завал полуживых и трупов,  
Приткнутых к стенкам,  
Вмятых в грязь.  
А после в блиндаже чужом  
Кошмаром грезить рукопашной,  
Рот зажимая рукавом,  
Рыдать  
И звать на помощь павших.

Я люблю эту светлую улицу,  
Где в Петровки ромашки ковром,  
Где резные ворота красуются  
И берёзка в платке под окном.  
Я люблю из колодца глубокого  
Зачерпнуть леденящей воды,  
Под гармошку с красой-недотрогой  
По деревне до края дойти,  
А чуть свет, за речною протокою,  
Лишь умывшись настоем росы,  
Проложить в травостое дороги—  
Голубые прокосы Руси.  
И, уставший, в промокшей рубашке,  
Наслаждаясь покоем земным,  
Возвращаясь коврами ромашки  
К незабвенным воротам резным.

Уходят дни.  
Всё гуще сеть морщин.  
Тускнеет взгляд твоих очей чудесных.  
Но я хочу среди родных осин  
С тобой делить, как прежде, боль и песни,  
С тобою в поле собирать цветы,  
И ожидать свиданий до рассвета,  
И страстно целовать твои следы  
В густой траве, как весточки привета,  
И обнимать, как в юные года,  
В забвенье задыхаясь в русых прядках,  
И, не оглядываясь в никуда,  
Тебе одной отдать всё без оглядки.

### Баллада о дуэли

Мы, признаться, боялись ходить по окопам:  
От землянки к землянке—как между ножей.  
Притаившийся снайпер без промаха шлёпал  
Меж бровей.  
Сколько можно такое терпеть?!  
Уходили ребята в засаду.  
А ночами мы их хоронили молчком.  
И давила гнетущая тяжесть солдата  
Под соском...  
Пять ночей и пять дней  
Я лежал, притаившись за камнем.  
Я—охотник,  
Меня научила тайга:  
Если надо—недели сидеть в ожиданье,  
Если бить—только в глаз,  
Чтобы—наверняка.  
На шестые...  
Чуть свет посерел на опушке,  
Я заметил, как дрогнула ветка куста,  
И короткую песнь оборвала кукушка  
Неспроста.  
Чуть сверкнуло стекло...  
Хватит! Время не терпит!  
Ведь недаром навскидку я бил из ружья.  
Полсекунды всего  
Между жизнью и смертью  
Он помедлил...  
Жизнь выиграл я.



## Встреча в разведке

Сошлись нос в нос,  
 Столкнулись грудью в грудь.  
 Разведка натолкнулась на разведку.  
 Не разминуться в поле, не свернуть.  
 Эх, надо б здесь войне поставить метки!  
 Без криков,  
 Без проклятий,  
 Кто кого...  
 Душили,  
 Грызли,  
 Резали,  
 Кололи...  
 И не хватило у зимы снегов  
 Засыпать лужи крови в бранном поле.  
 ...И до утра я не сомкну глаза:  
 Маячат мертвецы в кошмаре мглистом,  
 И бьётся из-под лезвия ножа  
 В дымящий снег струёю кровь фашиста.

Опять до света не сомкнул я глаз—  
 Не от безделья,  
 Не хандрой опутан:  
 Ночную тишь на ключья рвёт фугас,  
 И бьют фашисты беглым из орудий.  
 Мы, распластавшись прямо на снегу,  
 Лежим всю ночь.  
 Вперёд—никак, ни шагу.  
 И я, как штык,  
 В уме точу строку,  
 Чтоб в трудный час  
 Вдохнуть в друзей отвагу.  
 И пусть меня ругают не попад  
 За рифмы неудачные и темы.  
 Я чувствую дыханье,  
 Пульс солдат  
 И, как умею, топаю со всеми.  
 И чей-то стон,  
 И чей-то крик души  
 Меня в который раз навyleт ранит.  
 Я слышу павших голоса: «Пиши!..»—  
 И с песнями иду, живые, с вами.  
 И годы, словно мины, шелестят,  
 И глаз я не смыкаю до рассвета.  
 Да если б я не жил судьбой солдат,  
 То никогда не стал бы я поэтом!

Мы ушли из школы  
 В маршевые роты.  
 От доски—в окопы,  
 В родинках чернил.  
 Не росой июльской,  
 А солдатским потом,  
 Не водой, а кровью  
 Я в боях их смыл.

Иду один я вечером.  
 Вокруг горят снега.  
 Где вы, друзья-разведчики  
 Сто пятого полка?  
 Вы помните под Вязьмою  
 Расстрелянный лесок,  
 Снарядами распаханый  
 Кровавый пятачок?  
 Что было вам намечено—  
 Всё сделано сполна.  
 Где вы, друзья-разведчики?  
 Ответом—тишина.  
 Ракетами расцвеченный  
 Горел под нами снег.  
 Но шли вперёд разведчики,  
 По пояс шли в огне.  
 Под Харьковом, под Оршею,  
 В Карпатах голубых  
 Лежат друзья надёжные  
 В доспехах боевых.  
 Чернявые и русые  
 В неполных двадцать лет  
 Легли за землю русскую,  
 За всех держа ответ.  
 Тревожное Отечество  
 И верность сберегли.  
 А вот себя, разведчики,  
 Сбереечь вы не смогли.  
 Что было нам намечено,  
 Всё сделано сполна.  
 Зову друзей-разведчиков,  
 Ответом—тишина.

Над рекою тропочка  
 Вьётся, вьётся, вьётся.  
 Кто-то в белой кофточке  
 У куста смеётся.

А в сырой осоке  
 Коростель трезвонит  
 И зовёт в дорогу  
 За собой влюблённых.

Не мешай, не надо.  
 Счастье, друг, не вечно.  
 Будут ливни с градом.  
 Будет ветер встречный.

Отпоют, отлюбят,  
 Отпылают очи  
 И другим уступят  
 Тропочки и ночи.

И другая птица  
 Будет до рассвета  
 И стонать, и биться  
 В травостое лета.



Я получил твоё письмо.  
 Оно меня прожгло, как пуля,  
 И больно память всколыхнуло,  
 Как будто крепкое вино.  
 И засочились кровью раны.  
 Средь ночи, как в наркозных снах,  
 Жену зову на помощь, няню,  
 Бьюсь в чьих-то трепетных руках.  
 И, пересилив шок, по полю  
 Спешу с такими же, как сам,  
 На смену доблестным героям,  
 Подмогой братьям и отцам.  
 Нас на войне не берегли,  
 И мы не береглись как надо:  
 Мы в полный рост в атаки шли  
 И облетали листопадом.  
 Как много-много гибло нас!  
 Вот с ним ползли мы к доту рядом.  
 И на моих глазах фугас  
 Попал в него—  
 И нет солдата.  
 Меня слепили, как Адама,  
 Из груды грязи.  
 Вот—живу.  
 И, что ни ночь,  
 К горящей Вязьме  
 Спешу—и брежу наяву.

Не приходите плакать на могилы,  
 Не убивайтесь в столах и мольбе.  
 Мы мало жили,  
 Очень мало жили,  
 Но нашей позавидуют судьбе.  
 Не приклоняйте головы седые  
 К пожухлым травам...  
 Наш—другой удел:  
 Мы были и остались молодыми,  
 И тленье не коснулось наших тел.  
 Не мы, а время  
 Нам покорным стало.  
 Что годы?  
 Ветер!  
 А эпоха—миг!  
 Венками прошумят у пьедесталов  
 И прошуршат тома новых книг.  
 На смену им, теснясь, придут другие  
 И будут петь  
 И пить в помин вино.  
 Мы с ними рядом встанем, молодые—  
 Ведь смертью нам бессмертие дано.  
 Так не ходите плакать на могилы,  
 Не убивайтесь в столах и мольбе.  
 Мы мало жили,  
 Очень мало жили,  
 Но нашей позавидуют судьбе.

## Судьба моя

Судьба моя—родная деревенька  
 С прокуренными избами насквозь.  
 Здесь каждая тропинка и ступенька—  
 Родные и любимые до слёз.

Плечом к плечу—дворы и огороды,  
 Окно в окно друг в друга влюблены.  
 И петухи с коньков летят к восходу,  
 Как символы далёкой старины.

И тут, и там попыхиывают трубы,  
 Пекут землячки русские блины.  
 И, как невесты, подставляют губы  
 Черёмухи—красавицы весны.

Здесь вместе все  
 И в радости, и в горе.  
 И в разных судьбах  
 Есть одна судьба...  
 Чуть тронет снег—  
 В полях встречаем зори,  
 А осенью—до ночи молотьба.

С утра платки белеют на покосах,  
 Как на вершинах снежные белки.  
 И ветер песни по лугу разносит,  
 И радуются лету старики.

Уставший, в полдень сядешь у зарода,  
 С устатку выпьешь кружку молока,  
 И будто трудной не было работы,  
 И посветлели думы мужика.

А на пригорке—рожь стеной упругой,  
 Ячмень червонным золотом налит.  
 Страда к страде протягивает руки,  
 Судьба к судьбе тропиночку торит.

Так и живём—неброско и не звонко,  
 Ветрами продублённые насквозь.  
 Судьба моя—сибирская сторонка,  
 Родная и любимая до слёз.

## Мои стихи

Во здравие и на помин души—  
 Мои стихи,  
 Как водка перед боем.  
 Когда прочтёшь,  
 Об этом сам реши.  
 Да будет так,  
 Как суждено судьбою...  
 Мои стихи,  
 Как ножевые раны,  
 Покоя днём и ночью не дают.  
 И без меня останутся, как знамя,  
 Что я пронёс, не уронив в бою.

Анатолий Третьяков

## Райская жизнь

Опубликовано в журнале «День и ночь» № 9-10/2006

## Благодать

Кому за это должное воздать—  
 Дню солнечному, лета середине?  
 Но на душе такая благодать,  
 Какой давно уж не было в помине!  
 Так хочется лишь доброе свершать,  
 Откликнуться на первый зов тревожный,  
 Одним доверьем к бытию дышать,—  
 Опять так близко счастье, так возможно!  
 Тяжёлый груз забот с себя сложить,  
 Не думать вовсе ни о чём серьёзном,  
 Вдруг деве юной голову вскружить!—  
 Но это для меня, пожалуй, поздно...  
 Закинуть руки за голову, лечь,  
 Смотреть на небо, удивляясь выси.  
 Мне благодать в себе не уберечь,  
 Но не мрачней я от этой мысли...  
 К нам благодать нисходит, как любовь.  
 Лишь от неё бывают люди—братья!  
 ...Полёт к Луне теперь уже не нов.  
 Не к Солнцу же лететь за благодатью?

## Прощанье с летом

Прощаться с августом пора.  
 Уходит солнце раньше с просек.  
 И силы пробуют ветра,  
 И собирает тучи осень.  
 Холодным светом по ночам  
 Залиты до краёв ложбины.  
 Тревожно птицы прокричат—  
 И смотрят в сторону чужбины.  
 Туман с восходом не спешит,  
 Как прежде, покидать болото.  
 И каждый лист уже прошит  
 По краю первой позолотой.  
 А утром ягоды с росой  
 На землю опадают вместе...  
 Вот-вот с закатной полосой  
 Уйдёт последний летний месяц.  
 Мрачнее станут вечера.  
 И дождь придёт, чтоб не кончаться.  
 Прощаться с августом пора,  
 А с сентябрём пора встретаться.

## Гладиолус

*Кормухиной Зинаиде*

Всё ж гладиолус одноразовым  
 Нельзя назвать...  
 Сын зноя летнего,  
 Цветы, как бабочки, развязывая,  
 Он до цветка последнего  
 Всё цвёл.  
 Очнувшись в вазе, удивлённый,  
 Он воду пил так осторожно!  
 Цветы казались то зелёными,  
 То снежно-белыми—чуть позже.  
 Он жил и цвёл в привычной осени—  
 Хотя для него, конечно, первой.  
 Прекрасно, что его не бросили  
 Ронять в дождях на клумбу перлы.  
 Но сердце грустью не поранится...  
 Ведь гладиолус цвёл—поверьте!  
 В моей он памяти останется  
 Как символ жизни—после смерти!

## Желанье

Пижмы жёлтые таблетки,  
 Подорожник и лопух—  
 Он скорее «лапоух».  
 Льянчики—те, как златоцветки,  
 В поле и на огороде.  
 Столько всяких добрых трав—  
 Для аптек и для приправ...  
 Ну а я хозяин вроде  
 Этих сказочных богатств,  
 Что для всех даны от Бога!  
 Что-то грустно мне немного,  
 Даже пыл творить угас.  
 Ну а ягод на кустах!—  
 Мне они почти обуза...  
 Как початки кукурузы—  
 Облепила, но в шипах.  
 ...К урожаю стал глухим,  
 Пусть цветы и травы вянут...  
 Жаль, поэтом от сохи,  
 Видно, всё-таки не стану.

## Райская жизнь

Забуду ветер леденящий.  
 Ты без меня, Земля, кружись...  
 Уйду из жизни настоящей  
 В свою, придуманную жизнь!  
 Где нет болезней, нету смерти,  
 Где меж собою все дружны.  
 Туда путей не знают черти,  
 Там только ангелы нужны!  
 Где нету старости, увечий—  
 Дана всем молодость взамен!  
 Любовь бывает только вечной—  
 Без ревности и без измен.  
 Там хлеб насущный днесь даётся  
 Без пота, тяжкого труда.  
 Свет благодатный с неба льётся,  
 Туч не бывает никогда.  
 Но всё цветёт и вызревает,  
 И без дождя родит земля.  
 А как вкусны там караваи!  
 Ну прямо как для короля!  
 Совсем не там, по всем приметам,  
 Придётся счастья мне искать...  
 И хорошо, что рая нету,  
 А к аду нам не привыкать!

## Летний ветер

Вновь, нагулявшись по полям,  
 Где был то ласков, то неистов,—  
 Как птицы перья—  
 Тополям  
 Перебирает ветер листья.  
 В немолчном шуме городском  
 Совсем не слышен этот шорох...  
 Мальчишки рады жечь тайком  
 Пух тополиный—белый порошок!  
 А ветер, снова взяв разгон,  
 Спешит на пляж, где все раздеты.  
 И по песку гоняет он  
 Зонты, и шляпы, и газеты.  
 Волну поднимет на реке,  
 Где есть и парус одинокий...  
 Но от морей он вдалеке—  
 И ветер тихо стих в осоке.  
 А мог бы ураганом вдрут  
 Обрушиться—уж вы поверьте!  
 Что, если мы с тобой, мой друг,  
 Разочаруемся, как ветер?

## Огородный июль

После ливней—в зелёных кострах огороды.  
 Две пластмассовых утки  
     в малюсеньком дремлют пруду.  
 Благодать и покой дарит щедро природа.  
 Наливаются ягоды соком в июльском саду.  
 В белый пух облаков  
     вдруг войдёт самолёт на мгновенье.  
 Смолкнет гром от турбин—  
     и наступит опять тишина.  
 За берёзовой рощей раскинулось вольно селенье.  
 И с любого пригорка почти вся округа видна.  
 Что ещё человеку, казалось бы, надо?  
 Раствориться в блаженстве—  
     и вместе с природой цвести!  
 Здесь условны границы...  
     И даже у многих ограды  
 Хмель красиво и густо—так быстро—  
     успел заплести!  
 И совсем не работа—она не пугает, пожалуй,—  
 Как обрадовать может  
     взращённый тобой корешок!  
 Жаль, нельзя уберечься от жизни,  
     стихий и пожаров.  
 А в июле нигде не бывает, как здесь, хорошо!

## Полдень

*Людмиле Метальниковой*

Полдень. Воздух раскалённый  
 Над избушкой.  
 В ней темно,  
 Словно шторую зелёной  
 Занавесил хмель окно.  
 Тишина здесь и прохлада—  
 Хоть останься с ночевой!  
 Ничего-то мне не надо,  
 Ну ей-богу, ничего...  
 Лишь бы только не кончались  
 Эти солнечные дни.  
 От всех бед и от печалей  
 Пусть меня спасут они.  
 ...Поле, дачи, огороды,  
 Нивы, в зелени холмы.  
 Нет! Ещё жива природа—  
 Значит, будем живы мы!



## Алитет Немтушкин

# Нить жизни

Опубликовано в журнале «День и ночь» №11-12/2005

### Нить жизни

В Эвенкии он известный человек, был когда-то партийным, считался — по праву! — лучшим оленеводом, за это его и славили. Ушёл на пенсию, пришли другие времена, и вот теперь я могу рассказать о нём как о шамане.

Зовут его по-русски Константином Егоровичем Гаюльским, а по-эвенкийски просто и коротко — Кутэ (произносится — Кучэ), что означает «счастливый», «удачливый».

— Это оттого, что я родился в рубашке, вот так, — Константин Егорович проводит рукой по поясу. Унего выразительная жестикуляция — видимо, потому что заикается. — Старики говорили, шаманы рождались в рубашках. Унашего родового шамана Боюто, говорят, только пятки торчали наружу.

— А в чём состояло твоё счастье, удача?

— Бог знает в чём. Может, в том, что я уцелел, дожил до пенсии, а то ведь все мои сверстники «там», — он тычет пальцем вниз.

Во времена появления на свет Гаюльского в эвенкийской тайге ещё не было больниц, тогда всех ребятишек, как шутили наши родители, находили в лесу под колодинами либо, как маленьких оленят, ловили в тундре, ломали руки-ноги и укладывали в зыбки, чтобы заживить их в суставах и чтобы потом, крепко стоя на своих ногах, мы без усталости кочевали по безбрежной матушке-тайге в поисках своего утеряннного счастья.

Тогда с первого вздоха на этой Срединной земле таёжника сопровождала чудесная поэтическая сказка, объясняющая и наше появление, и всего окружающего мира.

И если ко всему сказанному добавить, что тот же Гаюльский, по нашим языческим понятиям, происходит из старинного рода людей-Лебедей (Гаивул — люди-Лебеди, при крещении их записали Гаюльскими), священных не только у нас, но и у других народов птиц, то на современного человека пахнёт такой древностью, что он вполне серьёзно может усомниться: а о каком же времени речь-то идёт, и не сказки ли и легенды хочет нам рассказать автор? Но спешу успокоить читателей и уверяю: в моём рассказе не будет выдумки. Да, на дворе конец двадцатого столетия — век космоса, век научно-технической революции, но

и век шаманов. К великому сожалению, нашему поколению о шаманах и думать-то запрещалось, а говорить разрешалось только как о шарлатанах и врагах народа.

И всё же, несмотря на всесокрушительные бури нашего века, они уцелели. И народности Севера так и не сумели совершить исторического прыжка из первобытнообщинного строя в распрекрасный социализм. А ведь как только нас не «цивилизывали»! Словно из всех интернатских ребятишек хотели сделать учителей, врачей, космонавтов! Большинство северян оказались неблагодарными, не оценили по достоинству государственные кашу и компоты и, как тот поговорочный волк, всё смотрели в лес и при первой возможности бежали в свои клятые-переклятые холодные и дымчатые чумы, по воле партийных функционеров превратившиеся в символы отсталости и дикости. И там, в оленеводческих бригадах, по вечерам у костров, вдали от глаз начальства, наспех и примитивно совершали свои древние языческие обряды и шаманские камлания.

Но не будем ханжами и откровенно скажем: не всё плохо было и в нашей сегодняшней жизни. Мы, северяне, научились понимать смысл мышинных следов, начертанных рукой человека на белой бумаге, и благодаря этому перед нами открылся огромный неведомый мир, о котором и в сказках-то наших не говорилось. А если опуститься с этого слова чуточку пониже, то разве плохо, что мы, северяне, кроме чума, как своё кровное, родное ныне воспринимаем простой деревянный дом — жилище русских людей? В нём в самые трескучие морозы тепло и уютно, одним щелчком зажигаем яркую электрическую лампочку, в домах говорит радио, а в последние годы засветились голубые экраны.

«Аяко!» — греют спины у горячих плит старики и старухи. В той же Суринде, где живёт Константин Егорович Гаюльский, прекрасно сохранившей свою национальную самобытность, старики и ребятишки всё морозное время отсиживают в тепле, а после весеннего суглана (общего собрания) и окончания учёбы почти вся Суринда перекочёвывает в тайгу старинными дедовскими тропами.

Многолюдно становится в стойбищах оленеводов. Замечено, что с приходом весны и лета настоящий эвенк бежит из посёлка, деревянный дом ему кажется уже душным, закрывающим небо и светила над головой, и лучшим, желанным жилищем снова становится древний дедовский чум. Так что не надо сжигать чум, он тоже таким не сразу стал, его создал коллективный разум сотен поколений, он ещё нам послужит.

А Суринда, без преувеличения, посёлок что надо. Нет в Эвенкии больше таких посёлков — компактный, светлый, радующий глаз новизной домиков. Ни одной развалюхи. А на самом бойком месте, на берегу одноимённой речки Суринды, что означает «сиговая», весело смотрятся окнами аккуратные домики, построенные по одному проекту, с хозяйственными пристройками, в которых живут совхозные ветераны — оленеводы и охотники. Здесь живёт и Константин Егорович. И надо добавить: улица продолжает расти, ветеранов с каждым годом становится больше. Строит совхоз, благоустраивает посёлок — и всё благодаря оленю. Старинная поговорка, что олень — это жизнь, не потеряла своей актуальности и в наши дни. Там, где исчезали олени, исчезают и эвенки, а где олени сохранились, там обеспечивается традиционная занятость таёжников, не теряется национальная самобытность, не утрачивается язык, развивается культура и люди живут достойной человеческой жизнью. Суриндинцы с оленями, их пятнадцать тысяч, потому и богачи. В прошлом году они получили чистой прибыли больше полутора миллионов рублей, да ещё открыли свой валютный счёт, что позволило им закупить в Японии телевизоры, видеомэгафоны, кухонные комбайны, стиральные машины и другие товары на сто тысяч долларов. Оленьи панты оказались поистине золотой жилой, пятьсот долларов за килограмм! И это всё на фоне нашей всеобщей нищеты, когда некоторые хозяйства еле сводят концы с концами, сидят на шее государства...

Я пришёл в гости к Константину Егоровичу в сумерках. В комнате горел огонь, а сам хозяин сидел в кресле, уставившись в телевизор. Пока я раздевался, произносил приветственные слова, объяснял, что пришёл по очень серьёзному и деликатному разговору, в печке гулко стрельнуло полено.

— Хингкэчо! — встревоженно вскрикнула на кухне жена Гаюльского, Елена Алексеевна, которую тоже иногда называют и своим национальным именем — Лолбикта, что переводится — «водоросль».

Родилась под осень, когда водоросли всплыли, вот и получила имя. А возглас её означал, что я пришёл напрасно, огонь протестует, и Гаюльский действительно отказался говорить:

— Не могу, я сейчас беззащитен... Нельзя попусту беспокоить духов. Приходи утром, я по старой

привычке встаю рано, часов в пять уже на ногах, топлю печь, кипячу чай... У меня сейчас много мыслей стало, делать нечего, вот и поговорим...

Утром Константин Егорович встретил меня более приветливо. Сообщил, что не спал эту ночь, готовился к разговору, который он ждал очень давно, и наконец-то это время пришло.

— Ты видел вчера луну? Какое у неё было красивое, полное лицо. Три дня будет устойчивая погода... Все мы ходим под нею, под солнцем, под звёздами. У каждого из нас есть своя звезда, под которой мы родились, она просвечивает нас своим лучом-гарпа, как рентгеном, отсюда у каждого из нас свои удачи и несчастья, свои болезни и беды, своя судьба Майн. Молодые эвенки не знают и не понимают, что для того, чтобы родиться на нашей Срединной земле, нужно и Небо. Земля и Небо — наши главные родители, а родившая тебя женщина — это мать на Земле. Ты ещё в чреве своей матери, а луна уже отсчитывает месяцы, и в положенное время у тебя появляются глаза, сердце, мозг. Рождаешься ты на свет, раскрываешь рот для первого вздоха, крика — твоя звезда пронизывает тебя своим лучом-гарпа, небесной невидимой нитью жизни. Проникнув через рот в сердце, эта нить жизни прирастает к нему, и так мы становимся связанными с Верхним миром — Угу Буга, концы которого держит в своих руках Экшерри — Верховное божество. Он хозяин всего, в том числе и наших людских судеб. Солнце же крепит эту невидимую нить, потому что без солнечных лучей никто не может выжить в нашем Срединном мире. Одна из главных забот шаманов — следить за этими нитями жизни своих сородичей. Если истончалась нить, шаман поднимал свой бубен и обращался за помощью к Экшерри, чтобы укрепить, связать концы разорванной нити... А потом шаманов уничтожили, люди стали бояться проводить родовые обряды и церемонии, отреклись от всего того, что было написано на роду, и остались без корней, стали беззащитными, и стали обрываться молодые жизни.

— Положим, умирали люди и раньше, бывали эпидемии, уносившие целые роды...

— Но раньше у нас не бывало такого, чтобы здоровый телом человек добровольно уходил в Нижний мир — Хэргу Буга. У людей не стало опоры, из нас вынули души. Нам в школах стали говорить, что только мы хозяева своих судеб Майн, что мы, люди, на Земле главнее всех, но это глубокое заблуждение. Мы всего лишь букашки, соринки Земли. Мы едины со всем этим миром, недаром нашими прародителями являются лебеди, медведи, таймени, кедр, багульники и всё, окружающее нас. Но мы задрали нос, стали нарушать законы природы, и пришёл хаос, вот и стали рваться нити жизни. Вроде бы беспричинно, но это только на первый взгляд. Мы ошибаемся, присваивая

только себе право на мысль, а всем известно, что ею проникнуто всё, ничего на свете не существует без смысла, заложенного в нём, и только так мог возникнуть наш мир. Не надо думать, что мы были тёмными, дикими людьми, это тоже глубокое заблуждение. Эвенки очень древний народ. Возможно, от китайцев пошло знание звёздного неба, может, от них мы знаем, что с самого сотворения мира разум владел миром. А теперь мы, букашки, хотим владеть этим миром. Мы уничтожаем Землю, сдирая с неё кожу, ради забавы убиваем зверей, рвём и дырявим небо. Человек, нелепо губящий свой корень, не может владеть миром. Сейчас мы начали бег к своей всеобщей смерти. Шаман знал и понимал это, он воспитывал душу человека, чтобы тот достойно прожил на земле отведённый судьбою срок. Долг человека — оставить хороший след на Земле, чтобы люди тебя вспоминали добром. Есть у нас в байкитской тайге легенда о Ховоко, умном и умелом предводителе эвенков. Он был реальным человеком, вот кому надо бы подражать нашим ребятишкам, но мы не знаем своей истории.

— А в чём, на ваш взгляд, суть и смысл жизни?

— А кто тебе сможет что-то определённое сказать? Не знаю. Вот у меня много детей, полно ребятишек и у моих братьев. Почти все уже взрослые. Сын Никита вместо меня стал бригадиром оленеводов, племянник Виктор — директор нашего совхоза, его брат Артур — заместитель председателя окр-исполкома. Все выросли достойными людьми, есть кому продолжить наш род. Смысл жизни, видимо, в том, чтобы никогда не прерывалось звено людских поколений. У всего живого таков закон. Женщина никогда не могла стать шаманкой, пока не исполнила своего главного назначения на земле — произвести на свет своё продолжение. Переставала рожать, тогда и Экшери соглашался быть её помощником в шаманских делах. За годы новой жизни мы чуть не лишились и своих женщин: одни поддались водке и вину, другие стали начальниками, некогда стало рожать. Много фамилий исчезло навсегда. Ну кто теперь из молодёжи сможет вспомнить, что в нашей байкитской тайге лет пятьдесят-шестьдесят назад кочевали эвенки родов Балигир, Кималь, Топороколи, Курисоли, Кирэктэл, Кунногиры?... Они все ушли дорогами предков, не сумев приспособиться к новому миру, к машинам.

— А вчера вечером вы кого опасались, кем не были защищены?

— Своими духами. Родовыми. Здесь, в посёлке, много людей из разных родов. У всех есть свои духи, защитники. Они носятся, кружатся в воздухе, как радиоволны, враждая, борясь. Наши оленеводы и ребятишки в посёлке чаще болеют. Врачи это объясняют какими-то микробами, а наши шаманы говорили, что чужие духи проникли

в человека, они тоже невидимые, вот и едят внутренности человека, превращаясь в червей... Здесь, в посёлке, трудно собирать своих духов.

— А сейчас, утром, не опасно?

— Духи тоже, как люди, по утрам отдыхают. Они живут активно по вечерам и ночам, почему и шаманы выбирали эти времена для своих действий. Зря их нельзя тревожить.

— Когда вы поняли, что обладаете даром шамана?

— Ещё в детстве. Жив был мой дед, шаман Богото. Он сразу выделил меня и взял к себе на воспитание, Я должен был заменить его, шаманы не могли уходить в Нижний мир, не оставив себе замену, кто-то должен был защищать от чужих духов свой род. Я был ещё маленький, учиться не пришлось, а в тайгу пришли перемены... Бедняги, наши эвенки, не понимали даже, что такое кулак, что такое враг народа. Потом объяснили: у кого много оленей, тот кулак, а шаманы — это обманщики, значит, враги. На них уже были заготовлены списки в тузриках (тогда у нас были туземные советы). Сообщали, к какому числу все люди должны были прибыть на фактории, там и арестовывали. Бедняги сами приходили, никто за ними по тайге и не гонялся. Увозили в Байкит, затем в Подкаменную Тунгуску, но, говорят, шаманов так и не привели туда — видимо, чтобы не возиться, по дороге расстреляли. Помню, как уводили из фактории к берегу реки, чтобы плыть в Байкит, моего деда Богото. Поведут, оглянутся, а вместо него идёт учуг — ездовой олень. Он умел застилать людям глаза, сильный был шаман. Рассказывали, как однажды в устье Чуни встретили купца, плавившего в Байкит товары. На спор дед мой выиграл у него карабин. В том месте Чуня широкая, но он нырнул, и все видели, как он выходил на берег на другой стороне. Там нырнул снова в воду и вынырнул на этой. Вышел из воды, а одежда сухая... И ещё один эпизод никогда не забыть. Увезли всех арестованных, а осенью произошло солнечное затмение. Солнце уже катилось к закату, и вдруг в один момент словно кто-то шторкой стал закрывать его. Наступила кромешная темнота, ничего не видно. «Конец света!» — кричали обезумевшие старики и старухи. Хоркали олени, лаяли собаки, стоял невообразимый шум. Около одного чума горел костёр, и вдруг на него с криками стали падать гуси, они кружились, кричали. Картина такая, будто наступает конец света. Страшно было, по всему телу бегали мурашки, некоторые чуть не сошли с ума. Кричащие где-то в темноте гуси воспринимались как зловещий знак огромной беды, как кара за все грехи и несправедливые дела. В ту ночь несколько оленей и телят утонуло в речке, они затоптали друг друга. А вскоре один наш эвенк, активист новых властей, помогавший арестовывать шаманов, был найден в лесу мёртвым. Его никто не убивал, причина смерти так



и осталась невыясненной, но люди говорили, что это тоже Божья кара.

— А как появился твой шаманский дар?

— Люди сразу по приметам определили, что я должен стать шаманом. Весной, когда от избытка воды вспухали все реки, всё кружилось, образовывая воронки, почему-то начинала «кружиться» и моя голова. Врачи говорили, нервный я, психически больной. Из-за этого не смог учиться в школе, выучил только буквы. Меня даже в Тинскую возили—есть такая станция в нашем крае, там находится больница для ненормальных... А потом я почувствовал, что могу лечить. Я просто лечил людей, оленей.

— Раньше бывали шаманы-жрецы, умевшие предсказывать. У вас не было такого?

— Погоду любой эвенк может предсказать. Для этого и шаманом быть не обязательно. Но мне удавалось и большее. Как-то раз пастухи мне говорят: «Нет двух оленей, двух хороших учугов». Я им говорю: «Не беспокойтесь, к вечеру они прибегут живые-здоровые, их волк гоняет». — «Откуда волк?» — удивляются они. — «Следов-то нет». — «Прибегут», — говорю. К вечеру раздались крики ребятишек: мол, бегут олени. И среди них те учуги. Прибежали прямо к чумам, к своим хозяевам, еле дыша, высунув языки. Потом выследили волка. Беды и несчастья я очень хорошо чувствую, могу иногда предотвратить их. И предотвращал, но только всегда при этом надо присутствовать, быть рядом. В чужих краях моя сила теряется, но предчувствие остаётся и на расстоянии. Лет пятнадцать назад, а может, чуть побольше, я, как передовик оленеводства, ездил в Магадан. Там вдруг всё во мне заняло—места себе найти не мог. Беда дома, определил я. И точно, не стало моего друга, оленевода Виктора Ивановича Савватеева.

— А сейчас лечишь людей?

— Меня лечит, — раздался голос жены, Елены Алексеевны, из соседней комнаты.

— Она сама медик, Туринское медучилище закончила. А себе помочь не всегда может. Я помогаю—снимаю боли. И самого себя вижу насквозь, как

на рентгене, знаю, что болит и как лечить. Жалко, что этим в молодости всерьёз не занялся. Шаманы знали назначение всех трав, умели делать свои мази, лекарства. Все секреты они, к сожалению, унесли с собой. Это искусство, наверное, навсегда потеряно, не слышно больше о таких людях, но был бы рад ошибиться.

— А шаманство?

— Я об этом много думал, вот и эту ночь не спал. Раньше мне казалось, что всё наше прошлое ушло навсегда безвозвратно, но видишь, как времена повернулись. Лишь бы не запрещали, не преследовали, тогда можно сказать, что возрождение шаманства возможно, но не в посёлках, а в тайге, в стойбищах оленеводов. Надо, чтобы человек жил, соприкасаясь с природой, с луной, с солнцем, со звёздами. Природа сильнее нас, своих соринков, и мы никогда не сможем постичь всех её тайн, но пытаться разгадать их—это стремление останется в нас всегда, значит, будем всяк по-своему объяснять происхождение нашего мира. Шаманством надо заниматься всерьёз. То, что делаю я,—баловство. Надо иметь хороший шаманский костюм, бубен, это—половина дела. Особенно важен бубен. Музыка завораживает, действует на душу, разум... Для настоящего камлания нужно строить нымнгандяк—шаманский чум с изображениями духов и с изгородью—марыля, с шаманским мировым деревом. Нужны люди, помощники, которые вовремя подадут тебе нужную вещь, подпоют, это ведь целое представление, главное действующее лицо которого—шаман. Он—отчасти артист. У него есть свои актёрские тайны, но не такие, чтобы обманывать людей в главном. Мы не причиняем вреда людям, мы желаем им только добра. Крепим веру и души людей.

— Значит, наши бубны ещё будут греметь в тайге?

— Думаю, будут...

Я уходил, он вышел проводить. Коренастая фигура, крупная, лохматая седая голова. Вид внушительный. Именно такими представляются шаманы. Я пожалел, что у меня не было фотоаппарата.

Геннадий Малашин

## (Не)забытые голоса Сибири

## Эссе первое

*«...прирастать будет Сибирью»**Что есть поэзия? Вид редкого недуга, наказания или награда от Господа?**Болезнь прилипчивая и мучительная иль лекарство от всего этого?**С уверенностью можно сказать, что от одной неизлечимой и давней болезни иль напасти, название которым—одиночество, поэзия избавляет...*

Виктор Астафьев

Тайны русской поэзии, о которой так проникновенно, так горько и светло говорил наш великий земляк, каждый из читателей открывает по-своему.

Её, поэзии, у русского читателя всегда было в избытке. Одними только золотым и серебряным её веками можно было б питать и питать жаждущих поэтического слова, утолять и утолять не иссякающую никак у человека эту жажду. А ведь рядом, совсем рядом с нами—руку только до ближайшей буккроссинговой полки протяни,—рядом совсем окажется и бессмертная, гениальная порою поэзия «железного», «атомного» двадцатого столетия. Тут и удивительное разноречивое поэтическое новаторство двадцатых годов, и подлинно патристические и до удивления человечьи строки «сороковых, роковых», и «оттепельные», изумляющие слух и тревожащие душу поэтические откровения шестидесятников... А сколько талантливых молодых и не очень молодых стихотворцев дарят нам свои строфы прямо сегодня в социальных сетях и на специальных сайтах! Возможно, прямо сейчас первые свои строчки рифмует (или—не рифмует, увлечённый современными стихотворными технологиями) будущий новый Пастернак, или новая Ахматова, или новый, ранний или поздний, Заболоцкий!..

И кажется, при таком обилии «всемирно отзывчивых» общепризнанных русских классиков, больших «общероссийских» поэтов—дойдут ли когда-нибудь у нас руки до стихов, написанных нашими земляками, живущими или жившими совсем рядом с нами? Давно ведь известно, что «нет пророка в своём отечестве». Да и нужна ли вообще, не устарела ли совсем эта маркировка: «классик», «русский поэт», «сибирский поэт»?

...Вспоминаю интервью, которое дал нам Виктор Петрович Астафьев двадцать пять лет назад для документального фильма «Щепки летят», фильма о жизни-подвиге канского музейщика Галины Ивановны Усольцевой, о роковой судьбе так и не созданного в Канске, несмотря на её (и Астафьева!) усилия, многострадального зазубринского музея и об участии практически забытых в Сибири писателя Владимира Зазубрина и поэта Вивиана Итина.

«Мы с вами—заевшаяся нация,—говорил Виктор Петрович.—Где-нибудь в Прибалтике такого уровня писатели и поэты почитались бы все-народно всей нацией, наряду с самим Райнисом. А у нас, в России и в Сибири, в каждой волости таких Райнисов—пруд пруди... Богаты мы слишком на литературу... Оттого-то мы по-прежнему все—„ленивы и не любопытны“...»

Может быть, этим-то желанием донести до нашего слуха хоть по одному стихотворению каждого из «сибирских Райнисов» и был осенён реализовавшийся в 1988 году замысел Виктора Астафьева и Романа Солнцева, когда была ими подвижнически составлена удивительная антология «одного стихотворения России», названная просто и точно: «Час России»?..

Но при всём не подъёмном одному человеку обилии сибиряков, писавших и пишущих очень хорошие, хорошие и просто стихи, при всех наших хронических цейтнотах, ставших неременным явлением современной жизни, при всей невозможности взяться однажды и посвятить хотя бы пару вечеров стихам, родившимся, допустим, в Красноярске в двадцать первом веке,—при всём при этом разве может пройти кто-нибудь из истинно любящих поэзию читателей мимо таких вот строчек?..

Эхо

Открой мне поэтов закрытых.

Открой мне поэтов забытых.

Открой мне поэтов из Фетов,

Чтоб грусть вместе с ними изведать.

Постигнуть сплетения красок,

Их таинство слова и веры.

А вскоре, издавав огласки,

Узнаешь волнение премьеры.

Отвергнув всю вычурность слога,  
 Решишь для себя и навечно,  
 Что ясность и тайна—от Бога,  
 И жаль только—жизнь быстротечна.

А Бог—вон за тем переулком,  
 А может, за тем перелеском.  
 И эхо покатится гулко  
 И трижды над нами воскреснет.

Любимая выйдет из дома  
 И мимо пройдёт незаметно.  
 А мы ведь ещё незнакомы  
 И любим ещё безответно.

И я прошепчу через осень:  
 Открой мне хоть чуточку плена,  
 Чтоб эхо к ногам твоим бросить,  
 Забыв про Рембо и Верлена.

Это Гамлет Арутюнян, наш земляк и наш, увы, ушедший уже из жизни, современник... Признаемся честно, что сами мы эти великолепные строки открыли для себя совсем недавно, уже начав работу над циклом фильмов и публикаций, название которого оказалось первой строчке приведенных стихов (да и духу их всему!) абсолютно созвучно...

«(Не)забытые голоса Сибири»—так решили «окрестить» свой новый медийно-издательский и просветительский проект его организаторы, собравшиеся в стенах успешно продолжающего свою жизнедеятельность на красноярской земле Центра духовной культуры «Касьяновский дом». Замысел получил поддержку учреждений и деятелей культуры и науки Красноярского края, став в середине 2023 года победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Среди коллег, всемерно поддержавших этот проект,—редакция журнала «День и ночь», Литературный музей имени В. П. Астафьева, Красноярская епархия, вузы, библиотеки и музеи края...

Посвящён проект поэтам Приенисейской Сибири конца девятнадцатого—начала двадцать первого веков. С одной стороны—тема, досконально известная специалистам и просто ценителям поэзии и прозы, созданных на красноярской земле, получившая своё большее или меньшее отражение и в специально составленных антологиях и сборниках, и в научных публикациях, и в журнале «День и ночь», конечно же, и, в двадцать первом уже столетии, в интернет-пространстве. Однако, положи руку на сердце,—многим ли живущим на берегах великого Енисея «обычным» читателям, особенно молодым, досконально известны биографии и творчество хотя бы «самых-самых» красноярских поэтов разных поколений, начиная с авторов знаменитого «Енисейского альманаха» на 1828 год», инициированного два столетия назад первым губернатором Енисейской губернии?

Вспоминая свои студенческие годы на филфаке КГПИ, пришедшиеся на начало в Красноярском крае памятного многим до сих пор движения «Превратим Сибирь в край высокой культуры», автор может с уверенностью сказать и о том, что и тогда даже для будущих филологов знакомство с литературой их малой родины зачастую ограничивалось буквально несколькими, самыми яркими или самыми известными, именами. (Как, собственно, и знакомство с историей родной земли тоже часто на практике сводится у нас в итоге к знакомству с несколькими, очень «избранными» страницами, которые успели нам открыть наши наставники на уроках истории в школе, на спецкурсах в вузе или которые мы сами обнаружили случайно, при чтении научно-популярных публикаций или талантливых книг...)

Поэтому проект «(Не)забытые голоса Сибири» призван приоткрыть прежде всего для начинающих читателей, зрителей не только не часто, может быть, востребованные страницы поэзии, но и интереснейшие, хрестоматийные даже вроде бы, но не всем известные страницы истории.

Ведь сейчас, спустя годы или даже многие десятилетия после событий, о которых пойдёт речь в проекте, становится очевидным, что, например, стихи, поэзия советских лет запечатлела мысли, устремления, дела сибиряков, создававших экономическую и духовную мощь Сибири, богатствами которой продолжала прирастать и в двадцатом веке Россия.

И как бы противоречиво ни воспринимали мы сегодня, на исходе первой четверти нынешнего столетия, «век минувший», мы не можем не признать, что в поэтических строчках наших земляков двадцатого века навсегда оказались запечатлены любовь авторов к родине и своему народу, открытый и щедрый взгляд на окружающий мир, в них сохранилась искренняя романтика «боевых и трудовых подвигов», которые на самом деле совершали сибиряки разных поколений, покорители целины, строители Красноярской ГЭС, молодые деятели науки и искусства.

Да, конечно же, сегодня во многом иначе смотрим мы и на перекрытие Енисея, и на подъём залежных земель, во многом совсем иначе, чем смотрели на это наши земляки, допустим, шесть десятилетий назад,—но сам-то их романтический порыв, их энтузиазм, их героизм в исторической, да и в человеческой памяти остались!.. Как и чеканные стихотворные строки, с их подвижничеством связанные...

#### *Билет до станции Курагино*

Последние шпалы,  
 Последние рельсы,  
 Последнее из последних звено.  
 На митинге нашем последние речи—



Так ли уж это было давно?  
 Но, думаю,  
 станет легендой когда-то  
 Для новых строителей древней земли,  
 Как мы,  
 комсомольцы шестидесятых,  
 Таёжную трудную трассу вели,  
 Как мы на сибирских морозах жёстких  
 Мёрзли,  
 и стыли, как на ветрах,  
 И как мы тоннели в Саянских горах  
 Пробили, и как покорили Джётку.

...У каждого в жизни путь один,  
 Один — единственно верный.  
 Бригадир путейцев Гена Бахтин —  
 Обычный парень, наверное,  
 В меру веснушчат, в меру лукав,  
 И белокрыс не в меру,  
 Он был когда-то единственно прав,  
 Сердце приняв на веру.  
 А сердце ему диктовало: будь  
 Не лежебокой — Колумбом,  
 А сердце ему диктовало: в путь!  
 На месте сидеть — глупо.  
 У каждого в жизни путь один,  
 Один — единственно верный.  
 Бригадир путейцев Гена Бахтин  
 Всё же герой, наверное.  
 Как мы без его обошлись бы рук  
 Там, в сражении с Кролом?  
 И там, где Каспийский виадук?  
 И где-то ещё, кроме!  
 Он все перегоны здесь наизусть,  
 Как пять своих пальцев, помнит.  
 И вам это имя запомнится пусть  
 Как память о нас, потомки!

...До свидания, парни,  
 девчонки, и вы, до свиданья!  
 Будут новые земли, а эта дорога сдана...  
 Но останутся с нами  
 гудки над морозною ранью  
 И мосты,  
 и тоннели,  
 и станции,  
 и поезды!

Это строки из красноярской поэзии шестидесятых годов двадцатого века. «Билет до станции Курагино» Аиды Фёдоровой. Написано стихотворение было после завершения знаменитой Всесоюзной ударной комсомольской стройки, железнодорожной магистрали Абакан — Тайшет. Не лишним, кстати, будет здесь напомнить и о том, что Аида Петровна Фёдорова внесла свой особый и искренний вклад в дело увековечения памяти первопроходцев-изыскателей этой когда-то гремевшей в общественном сознании «Трассы

мужества». Стихи Фёдоровой были положены на музыку красноярским композитором Александром Шемряковым и на долгие годы стали одной из подлинно любимых песен сибирской молодёжи.



Шумите, Саяны, шумите  
 Вершинами сумрачных крон  
 И миру всему расскажите,  
 Как мы воевали за Крол.

То ливни по скалам,  
 То жёсткого снега стена.  
 Но кто там про жалость?  
 Не жалость нам вовсе нужна.

Три имени, как будто три салюта,  
 Взметнулись у истоков городов.  
 Три имени в пути в одно сольются:  
 Кошурников, Стофато, Журавлёв.

Прощайте, ребята, прощайте!  
 Спасибо, спасибо, спаси...!  
 И ветер уносит, уносит  
 Привет твой прощальный, Южсиб!

Здесь надо заметить, опережая, может быть соответствующие «шестидесятнические» выпуски фильмов и публикаций нашего цикла, что лучшие красноярские поэты всегда, отражая необходимые, согласно духу времени, социально-политические реалии советской эпохи, старались избежать в своих стихах «квасного патриотизма» и принятых (это слово из строки тоже не выкинуть) в коммунистической идеологии дежурных штампов. Они, эти советские поэты, были как минимум искренни, оставаясь в своих таких нужных их времени стихах — поэтами.

...Палатки... Костры... Весёлая песня...  
 Стол — земля и постель — земля...  
 Хлеб от мороза жёсткий и пресный.  
 Как бы я прожил неинтересно,  
 Если бы мёрз у костра не я.

И в подвиге строившего коммунизм, а затем и «развитой социализм» народа наши талантливые земляки пытались разглядеть не лозунги, а неповторимые человеческие судьбы, за пафосом найти «лицá необщее выражение» конкретных героев того времени.

А ещё сквозь идеологическую логику эпохи поэты старались рассмотреть и запечатлеть те приметы её и те удивительные черты окружавшего их «советского мира», которые разглядеть и передать может только поэт.

Как, например, в этих строчках новосибирского поэта Елизаветы Стюарт, которую любили (и любят, наверное?) читатели на берегах соседнего с Обью Енисея:

*Сибирский пейзаж*

Упор высоковольтной линии  
 Колокольчики такие синие!  
 Грузный упирается металл  
 В землю, отдыхающую в травах.  
 Он её не смял и не попрал —  
 Спора нет меж ними, оба правы,  
 И энергия и красота  
 Рядом уживаются, не ссорясь:  
 Дальние сибирские места  
 И — руками сделанное море.  
 Просеки, прямые, как стрела,  
 Чуть приметный запах аммониа...  
 Мать-лосиха тихо постояла  
 И лосёнка в чашу увела.  
 Там стрекозы, тишина озёр,  
 На воде фарфоровые лилии,  
 А сверху рванулись на простор  
 Провода высоковольтной линии...  
 И в воде меж лилий изоляторы  
 Чашечки фарфоровые спрятали —  
 Опрокинулись в глубины синие  
 Лилии высоковольтной линии...

Может быть, поэтому так удивляют, трогают наше читательское сердце в сборниках процитированного чуть выше одного из самых, на наш взгляд, не разгаданных, не дочитанных до конца сибирских поэтов двадцатого века — приехавшего на берега Енисея по комсомольской путёвке Зория Яхнина — не программные, не большие его стихотворения, а, казалось бы, случайные, — пейзажные поэтические зарисовки. Но, как почти всегда у Яхнина, только мы доходим до последних строк его стихов — и здесь вдруг, как и положено у поэтов, для яхнинского читателя «мир опять предстанет странным»... Мы на секунду вдруг увидим этот мир, мир минувшего и прошедшего, иным взглядом...

Вот строчки, впервые помещённые в третьей книге З. Яхнина, пусть и тоненьком сборнике «Границы», но вышедшем в 1965 году в престижном московском издательстве «Советский писатель»:

*Два века*

В пыли и скрежете железа,  
 Где роют котлован для ГЭС,  
 Там экскаватор, землю взрезав,  
 Случайно в давний век залез.

Два века в тайниках планеты  
 Сошлись у енисейских скал —  
 С ковша посыпались монеты  
 С наивным звоном в самосвал.

(Сейчас, когда завершены уже глобальные и помпезные реставрационные работы, приуроченные к 400-летию основания старинного Енисейска, стихи эти обретают вдруг дополнительный, возможно

что — и заложенный когда-то самим автором в них, смысл...) И вот ещё восемь «зарисовочных» строк, уже из более поздних циклов Зория Яхнина:

*В парке*

Старый сторож на лавке зевает сладко,  
 Отдыхает нагретая за день земля,  
 Пыль осела давно на спортивной площадке,  
 И, под звёздами стоя, спят тополя.

За ограду умчался ветер крылатый,  
 Он не хочет мешать тополиному сну.  
 И гранитный солдат замахнулся гранатой,  
 Не решаясь бросить её в тишину.

А сколько удивительных, неповторимых, потрясающих порой, далёких от всяких временных и идеологических привязок — сколько сугубо лирических откровений сокрыто в бескрайней сокровищнице красноярской поэзии!.. Вот возьмём хотя бы наугад, откроем первого, как правило, по алфавиту в красноярских поэтических антологиях автора. Это строчки замечательной Лиры Абдулиной:

Говорят: беда лиха, —  
 Я не верила,  
 Далеко ли до греха —  
 Я не мерила.  
 Высоко ли до небес —  
 Не заглядывала.  
 Дождик будет или снег —  
 Не загадывала.  
 Говорили: с милым рай, —  
 Я не ведала.  
 Говорили: выбирай, —  
 А я медлила.  
 Говорили: разлюби, —  
 Я не спорила.  
 Сердце вынуть из груди —  
 Что мне стоило?

Сколько же ещё лежит их — не востребованных, не прочитанных, может быть, до этого нами, не открытых до этого — строчек о любви, о верности, о предательстве, о жертвенности, о дружбе, обо всём, чем всегда (какой бы ни была в этот день политическая и социально-экономическая «погода» на планете) живёт, дышит, духовно растёт любой человек на этой земле...

И вновь:

Открой мне поэтов закрытых.  
 Открой мне поэтов забытых.  
 Открой мне поэтов из Фетов,  
 Чтоб грусть вместе с ними изведать...

Открытие — то слово, которое мы, авторы цикла, начав слушать (и слышать наконец-то!) «(Не)-забытые голоса Сибири», повторяем для себя почти

ежедневно. Открытие совсем новых имён — и не читанных ещё нами стихотворений, подписанных именами, уже давно знакомыми. Открытие строк из биографий, открытие оборванных «строф» из судеб поэтов — и открытие целых неизведанных дотолы пластов поэтического прошлого родной Приенисейской Сибири: например, стихи Вивиана Итина в «Красноярском рабочем» на персональной поэтической странице, которую «товарищ юрист» вёл столетие назад (и, заодно, рядом — стихи местных рабочих и крестьян, которые исправно приносили ему в главную газету губернии сами авторы)... А открытие таких разных и таких забытых газет и журналов, выходивших в городах и весях необъятной сибирской земли?... А главное открытие — долгожданное открытие толстых и совсем тонких, припылённых, пожелтевших от безжалостного времени или вдруг на мелованной бумаге изданных книг сибирских поэтов?..

Но, пожалуй, для пишущего эти строки одним из самых больших открытий в преддверии будущего цикла стали странички (совсем не пожелтевшие, а очень даже хорошо сохранившиеся!) уникальной поэтической книжечки, полвека с лишним назад вышедшей в Красноярском книжном издательстве и счастливо приобретённой нами недавно в чудесном букинистическом салоне, который готовится к открытию на правобережье Красноярска.

Составлена эта замечательная книга была двумя ведущими тогда красноярскими поэтами — Романом Солнцевым и Вячеславом Назаровым: «Красноярск. День поэзии. 1967» (не преминем отметить добрым словом коллег из «Дня и ночи» за содержательную публикацию об этом сборнике, размещённую в недавнем третьем номере журнала). Тут всё в этой книге — открытие. И созвездие имён, собранное составителями, — от до сих пор популярных до совсем уже (и — не заслуженно!) забытых поэтов, от школьников — до аксакалов, акынов и мэтров. И тщательнейший, точнейший редакторский отбор действительно лучших, удачнейших строф и строк.

А особо поразила нас одна из публикаций в этом сборнике, посвящённая... Михаилу Успенскому.

Многолетний мой бывший коллега по телевизионному цеху и будущий автор прославленных прозаических книг, Михаил Глебович Успенский на страницах этого сборника предстаёт совсем юным красноярским школьником и — поэтом...

Одно из двух его стихотворений, включённых в тот 1967 года сборник, в «Дне и ночи» уже было опубликовано. А второе стихотворение называлось «Романсеро о гранадской тишине».

В 1960-х Федерико Гарсиа Лорка только-только начал открываться советскому читателю в русских переводах (до этого «Избранное» Лорки было выпущено лишь однажды, в 1944 году). И вот — два

прекрасных полноценных сборника Лорки вышли посреди идеологической оттепели, в 1960 и в 1965 годах в Москве. И попали их экземпляры в Сибирь.

И вот — «Гренадская волость в Испании есть...» ...И стихи далёкого испанского поэта накрепко, видать, западают в душу красноярского десятиклассника... Западают очень глубоко — настолько сильно в строчках ещё только робко начинающего путь в большую литературу юного Миши Успенского чувствуется и понимание поэтики его собрата, и проникновение в ритмы и образы, в поэтический мир его расстрелянного коллеги по поэтическому цеху...

### *Романсеро о гранадской тишине*

*Посвящается памяти*

*Федерико Гарсиа Лорки*

Тихо и страшно в Гранаде —  
Луну из пушек разбили,  
Тихо звенят гранатами  
Чёрные автомобили.  
Чёрные карабины  
Тихо готовы к расстрелу.  
Обычая не забыли —  
Расстреливать на рассвете,  
Чтоб кровь, как рассвет, растеклась  
По горизонту гранатово...  
Оливы как из стекла.  
Тихо и страшно в Гранаде.  
Все отрелись — ты не наш.  
Республиканцам не выстоять...  
Но чем сильнее тишина,  
Тем беспощаднее выстрел!  
Небо, как чёрный колодец,  
Надвинулось на глаза!  
Сто бандерилий колотят,  
И отвести — нельзя!  
А он шептал как во сне:  
«Нет!»  
Не в меня,  
Нет!»  
А он говорил: «Не надо!»  
Скачет чёрная гвардия...  
Снова тихо в Гранаде,  
Только Гранада —  
Без Гарсиа...

И сколько юношеской искренней боли в этих строчках, сколько искренней ненависти к беспощадным франкистам, убивавшим великого поэта, убивавшим гордость Испании...

...А впереди — ещё столько открытий во времени и пространстве предстоит и нам самим, и будущим зрителям и читателям нашего цикла.

«Машина времени» — таким было рабочее кодовое название проекта. Наша «машина времени» — это небольшая и уютная гостиная «Касьяновского

дома» с книжными полками, с оранжевой (не—зелёной...) лампой в её глубине. Шелестит забытыми в эфире радиоголосами старенький радиоприёмник. Устало отдыхает немало на своём веку поработавший «Ундервуд». Сменяют друг друга на стене-экране лица наших героев, события нашего и предшествующего ему веков...

Отсюда начинается наше повествование, в ходе которого мы попадаем в разные географические места и в разные исторические периоды в поисках ответа на множество вопросов, возникающих у нас всякий раз, когда мы берём с книжной полки сборник стихов очередного нашего визави.

Сюда к нам в гости на огонёк заглянут артисты, читающие стихи героев очередного фильма, здесь же могут собраться эксперты нашей программы, размышляющие о поэзии. В нашей «машине времени» звучит музыка тех эпох, в которые мы путешествуем. И конечно, в этих фильмах участвуют по возможности свидетели, очевидцы — люди, которые помнят поэтов и, что не менее важно, помнят их время. Ещё один непереносимый участник всех путешествий во времени и пространстве — непосредственно сам читатель; это дети, подростки и молодёжь, это и люди старших поколений, открывающие/открывшие для себя новые поэтические миры.

Пространство нашей виртуальной гостиной может расширяться до пространств краеведческих музеев и научных библиотек, красноярских «Столбов» и исторических улиц городов края, залов Литературного музея и студенческих аудиторий края — или, просто, до пространств Млечного Пути, с которыми наши поэты всегда были запросто, накоротке, на «ты»...

Экспертами первого, уже взятого в работу фильма из цикла «(Не)забытые голоса Сибири» стали наши замечательные земляки: профессор Николай Дроздов и поэт Марина Саввиных, доцент Татьяна Садырина, музевед Иван Черкасов, переводчик Сергей Щеглов. Над фильмом работают журналисты Геннадий Малашин и Юрий Пасхальский, научный сотрудник Литературного музея имени В. П. Астафьева Роман Минеев, сотрудники медиацентра «Касьяновского дома» Андрей Андрушкин, Константин Шульгин, Максим Бурнышев, Валентин Нарчук, Роман Бобров.

А завершить наш первый рассказ о проекте мы должны, конечно же, стихами. В размышлениях о поэзии Виктора Петровича Астафьева, с которых мы начали наш рассказ, есть и такие мудрые слова:

«...стихотворец... верит, что слово его спасёт мир от бурь и потрясений и если не заслонит человека от невзгод и бед, свалившихся на него, то хотя бы его утешит. И так было всегда — поэзией двигала вера в доброту и милосердие, поэт и музыкант всех ближе к небу и Богу».

И поэтические страницы Приенисейской Сибири, которые мы начинаем в ходе проекта открывать вместе с красноярцами, подтверждают и подтверждают правоту великого сына нашей земли. Как в этих вот, написанных уже в наши дни, строках ещё одного интереснейшего поэта, нашей землячки и первого лауреата Астафьевской премии Марины Саввиных:

...Каждому дню довольно своей заботы!  
Очи отверз — а там уж трубят отбой.  
Главное — узнать в этой жизни, кто ты,  
Чтобы потом оставаться самим собой...  
Так отделись, душа, от костей кумира!  
Не изменяй себе и не торгуй лицом!  
Самое лёгкое — глиной в ладонях мира.  
Самое трудное — в Божьей руке резцом.

Запомним, начиная предстоящие труды, и эти строфы...

Пусть помогут они нам в начавшемся путешествии по времени и пространству в поисках «(Не)забытых голосов Сибири»...

## Эссе второе

*«Краснояры сердцем яры...»*

*(Приенисейская Сибирь  
в поэзии XIX–XX веков)*

Одна из первых встреч, которые состоятся при участии Центра духовной культуры «Касьяновский дом» и редакции журнала «День и ночь» со зрителями и читателями в рамках грантового проекта Президентского фонда культурных инициатив 2023 года «(Не)забытые голоса Сибири», будет посвящена страницам сибирской поэзии девятнадцатого — начала двадцатого веков.

Конечно же, «подготовленному» читателю — филологу или поэту — хорошо известен целый ряд научных и научно-популярных публикаций, сборников, антологий, посвящённых литературе Сибири разных периодов. А читателю, только начинающему знакомиться с «сибирским текстом», с поэтическими произведениями, написанными о Сибири и в Сибири на рубеже девятнадцатого — двадцатого веков, можно рекомендовать взять в руки двухтомную хрестоматию, несколько лет назад изданную трудами сотрудников Красноярского литературного музея: «Сибирь: коллекция представлений. Книга для чтения по сибирской литературе». Поэты Сибири в двух этих томах достаточно лаконично, но убедительно представлены. Ещё интереснее, наверное, читателю будет — взять потом в руки сами бесценные, чудом сохранённые в музеях и библиотеках до наших дней дореволюционные издания книг, альманахов, журналов. И, преодолевая особенности дореволюционной орфографии, поэтической стилистики, принятой столетие или два назад, совершить



для себя открытие поэтов, творивших на нашей земле в эпоху, когда ещё не было ни айфонов, ни компьютеров, ни даже автоматических и шариковых ручек...

Наша же задача гораздо скромней—только разглядеть на старинных книжных полках имена на книжных обложках, только назвать и услышать эти прошлые, эти глуховатые, эти так и (не)забытые голоса Сибири...

Историю Приенисейской Сибири невозможно представить себе без её отражения в сибирской литературе, особенно—в поэзии... Действительно, как ещё можно было бы передать неповторимые картины этой земли, если не в таких вот поэтических строчках?..

### *Ночь на Енисее*

О, сколь пленительно весеннею порой  
(Когда денницы ночь погаснет за горой  
И месяц от холмов восстанет, пламенея)  
Мечтать на берегах картинных Енисея!

...Пустынен Красноярск, в безмолвии ночном,  
Над блещущей рекой, объятый тихим сном:  
Все, все—и вид полей, и вид окрестных гор—  
Объемлют грустию Поэта пылкий взор...

...Эти строчки скромного чиновника Енисейской казённой палаты и незаурядного литератора Ивана Матвеевича Петрова почерпнуты нами из одной уникальной книги, о которой речь впереди. Но вернёмся пока на несколько столетий в более далёкое прошлое.

Лежащая за Уралом, на берегах могучего Енисея, страна вызывала восхищение и удивление первопроходцев, четыре с лишним столетия назад начавших освоение этой земли.

Чувства и мысли этих людей запечатлевали сначала немногочисленные дошедшие до нас архивные документы, а затем и постепенно рождавшиеся проза и поэзия Сибири.

«...Уральские горы, отделяя Сибирь от России, делают её особенной во всех отношениях. Какая богатая страна эта Сибирь, какой мощный край! Понадобятся ещё столетия. Но когда со временем она будет заселена, то сыграет великую роль в анналах мира»,—так пророчески сказал о судьбе Сибири в восемнадцатом, «безумном и мудром», столетье дворянин, писатель и арестант Александр Радищев.

«Особенными во всех отношениях» оказались и многие создаваемые впоследствии книги, посвящённые Сибири.

Настолько, видимо, было велико восхищение пришедших людей Приенисейской землёй, что ещё до возникновения на берегах Енисея первых стихотворных произведений—народных песен, любительских виршей, излюбленных красноярцами «эпиграмм» (последними особо славился

в восемнадцатом веке первый, по существу, красноярский литератор, диакон Григорий Скрябин)—поэзия проникала на страницы прозы.

И в этом смысле к первым сибирским стихотворцам можно было бы условно причислить одного опального «прозаика»—ссылного раскольника, мятежного протопопа Аввакума Петрова, в середине семнадцатого века воскликнувшего по прибытии в цепях и оковах в окрестности Енисейского острога:

«...Горы высокие, дебри непроходимые, утёс каменной яко стена стоит, и поглядеть—заломя голову!  
В горах тех обретаются змеи великие; в них же витают гуси и утицы—перье красное, вороны чёрные, а галки серые; в тех же горах орлы, и соколы, и кречаты, и курята индейские, и бабы, и лебеди, и иные дикие—многое множество, птицы разные.  
На тех же горах гуляют звери многие дикие: козы и олени, и зубри и лоси, и кабаны, волки, бараны дикие—во очию нашу, а взять нельзя!..»

И вот ещё строчки о Сибири:

«Сибирь... В этом слове звучит железо. Вчера это был звон цепей и скрип колючей проволоки... Сегодня—звонки подъёмных кранов и рокот великих строек. Сибирь—удивительная страна...»

Эти прозаические строчки тоже принадлежат поэту, но уже поэту из двадцатого столетия, одному из будущих героев наших фильмов—писателю, кинорежиссёру и сценаристу Вячеславу Назарову.

Но о его времени, когда наша земля стала местом «великих строек», речь впереди. А тогда, в восемнадцатом, в девятнадцатом столетиях, по словам видного историка Сибири Петра Словцова, «Сибирь как страна заключала в себе золотое дно, но как часть государства представляла ничтожную и безгласную область». И голосами безгласной в прошлом земли становились книжные строки, созданные первыми сибирскими писателями и поэтами. (Не)забытые голоса Сибири...

Началом «регулярной» литературной жизни на берегах Енисея исследователи считают вот эту небольшую книгу. Теперь она доступна широкому читателю. Благодаря инициативе Литературного музея имени В. П. Астафьева в 2008 году вышло современное репринтное переиздание этой книги, первого в наших краях и на несколько последующих десятилетий—увы, единственного в Енисейской губернии—литературно-художественного сборника, «Енисейского альманаха на 1828 год». Экземпляры же легендарного первого издания альманаха, к счастью, в малом количестве сохранились, и их можно увидеть в нескольких музейных и библиотечных фондах Красноярска.

История этой книжечки сама по себе составляет сюжет, достойный поэмы или, по крайности,

стихотворного цикла, и рассказывать эту историю лучше всего в сквере на улице Копылова, близ двух замечательных современных памятников (губернатору А. П. Степанову и в честь двухсотлетия основания нашей губернии), напоминающих нам об этом времени...

За шесть лет до издания альманаха была учреждена Енисейская губерния. Красноярск постепенно становится одним из крупных центров не только золотодобывающей и иной промышленности, но и общественной и культурной жизни Сибири. Неожиданно, казалось бы, появившиеся на берегах Енисея литературные дарования объединяются вокруг первого енисейского губернатора, Александра Петровича Степанова, человека просвещённого, умного, любящего Сибирь, а ещё и — пишущего. Великий полководец Александр Суворов во время Итальянского похода даже отметил литературный дар восемнадцатилетнего прапорщика Степанова и шутливо прозвал его «мой маленький Демосфен».

Изданный по инициативе Степанова уникальный альманах открыл и будущее литературное, и будущее краеведческое направления в интеллектуальном освоении Приенисейской Сибири. «Первым литературным явлением с берегов Енисея» назвал тогда выход альманаха обозреватель знаменитого «Московского телеграфа».

Целый ряд интереснейших поэтических имён надолго ввёл в читательскую жизнь сибиряков этот альманах. Можно назвать здесь имя составителя альманаха и одного из его ведущих авторов, прозаика и поэта Ивана Петрова; судебного чиновника, племянника губернатора А. П. Степанова, известного русского литератора Владимира Соколовского; прозванного «сибирским Барковым» поэта-сатирика Ивана Варлакова... Каждое из этих имён — незабываемый след в «романтическом реализме», а порой — и в едкой сатире первой половины девятнадцатого столетия. Каждого из этих поэтов (короткая, к сожалению) судьба — примечательна и необычна. Как и сама Сибирь.

Вот, к примеру, Александр Кузьмин — чиновник, прозаик и стихотворец, занявший по предложению губернатора Степанова должность окружного минусинского начальника, в истории же литературы Сибири оставшийся благодаря в том числе ярким картинам, посвящённым им ставшему для него родным «Минусинскому краю»:

Я видел мощный Енисей,  
Где он стрелой летит из края  
Родной Монголии своей,  
Хребет Саянский рассекая.  
Там рвёт он камни и древа,  
Крушит, грозой в Россию мчит.  
Притёк — и вдруг, на рукава  
Делясь, покойнее стремится.

Я видел древних письмена  
На диких скалах Енисея.  
Таинственная старина,  
Потомков поздних не жалея,  
Проводит хитрые черты  
Для их гадательной мечты.  
И ты не можешь быть нам вестник,  
И ты, сам Енисей-река,  
Давно минувшему ровесник,  
Чья непонятная рука  
Чертила нам сии загадки,  
От едкой древности остатки...

К сожалению, цензурный запрет из Петербурга остановил подготовку второй книги альманаха. Запрещена была и «Красноярская литературная беседа» — кружок, который начал создавать губернатор А. П. Степанов.

Однако семьдесят пять экземпляров «Енисейского альманаха» (таким был скромный тираж этой бесценной книги) заложили фундамент будущей литературы Приенисейского края.

Современники считали, что своим альманахом «Степанов начал приводить в цветущее состояние словесность, предмет, до него не известный в южной Сибири». А мелодия, написанная красноярским мещанином Андреем Поповым к завершившей альманах «Песне» губернатора Александра Степанова, «сочинённой во время плавания по Енисею в Туруханск», в 2001 году стала звучать и над современным Красноярском при бое главных его часов, «Красноярского Биг-Бена»...

Я лечу под парусами  
Между гор и средь лесов,  
Вслед за бурями и льдами.  
Бог — мой щит и мой покров!...

С Ангары до устья моря  
Вижу дикия страны;  
Нет здесь радостей, нет горя:  
Образ вечной тишины!

В тундрах нет зелёной сени,  
Нет здесь ночи, ни зари;  
Лишь являются, как тени,  
По утёсам дикири...

Девятнадцатый век стал временем становления главных тем и основных мотивов поэзии сибиряков на Енисее.

С одной стороны, этому способствовали значительный подъём социально-экономического развития Сибири, безудержная стихия жизни на енисейских берегах. С другой — благотворное влияние российских поэтов, и опосредованно, через книги, и через личное вольное или порою невольное присутствие самих поэтов на берегах сибирских рек.

Как известно, для «цивилизованного мира» наша Сибирь десятилетиями и столетиями была

не столько даже экзотическим краем с пушниной и золотом, с дикарями-язычниками, с медведями и другими хищниками на улицах, но известна была она миру ещё и как вековое место каторги, ссылки...

Поэтому, когда два уникальных литературных сборника в восьмидесятых годах девятнадцатого века продолжили труд составителей «Енисейского альманаха», естественным стало присутствие в них рядом с именами или псевдонимами урождённых, «кондовых» сибиряков — также и славных по всей матушке Руси имён...

...О Сибири писали ссыльные декабристы — можем тут вспомнить Василия Давыдова, Вильгельма Кюхельбекера и Александра Одоевского, Павла Бобрищева-Пушкина и Александра Бестужева-Марлинского. В антологию сибирской поэзии входят имена казнённого декабриста Кондратия Рылеева и опального соратника Герцена Николая Огарёва, наряду с именами Петра Павловича Ершова и Алексея Константиновича Толстого, вместе с великими именами Пушкина и Некрасова...

Действительно, не найти, наверное, строк более проникновенных, чем строки, обращённые Александром Сергеевичем Пушкиным к лицейским друзьям в России и в Сибири через год после суда над декабристами, 19 октября 1827 года:

Бог помочь вам, друзья мои,  
В заботах жизни, царской службы,  
И на пирах разгульной дружбы,  
И в сладких таинствах любви!

Бог помочь вам, друзья мои,  
И в бурях, и в житейском горе,  
В краю чужом, в пустынном море  
И в мрачных пропастях земли!

Эти едва ли не первые поэтические сборники Сибири изданы были по инициативе деятелей возникшего во второй половине девятнадцатого века движения областников, мечтавших об автономии Сибири, в частности — одного из его ведущих идеологов, Николая Михайловича Ядринцева.

Эти книги, вообразившие трудами их составителей наиболее значительные поэтические произведения Сибири и о Сибири, были изданы на средства знаменитых сибирских купцов-меценатов: Иннокентия Михайловича Сибирякова (будущего афонского схимонаха Иннокентия) и Юлии Петровны Матвеевой (дочери красноярского купца Петра Ивановича Кузнецова, в те же годы основавшей вместе с мужем, Иннокентием Алексеевичем Матвеевым, будущий Красноярский краеведческий музей).

«Сибирские мотивы» и «Отголоски Сибири» — так названы были эти, вышедшие один — в 1886 году в Петербурге, другой — в 1889 году в Томске, уникальные сборники.

Настроение, мысли, владевшие издателями, хорошо выражены в весьма поэтическом предисловии к первой из этих книг:

«Каждому естественно любить свою родину, а под влиянием этой любви воспитывается чувство и ютится поэзия. Нечего удивляться поэтому, что и среди сибиряков таится привязанность к суровой и не всегда гостеприимной для других, но дорогой и милой им родине.

Для этой бедной матери также нашлось у её детей тёплое чувство, горячая слеза и песня.

На этой снежной пустыне, среди диких скал, суждено было вырваться своему поэтическому мотиву, своей мелодии. Как бы ни были бедны и скромны эти песни, но они ценны как выражение тёплых чувств, как первые проблески любви, первые весенние цветы на сибирских полях».

Все исследователи сибирской литературы отмечают, что один из непререкаемых первых и главных героев сибирской поэзии — Ермак Тимофеевич. Уподобляемый народом, по словам Н. М. Ядринцева, знаменитому богатырю Илье Муромцу, покоритель Сибири был прославлен как в народной поэзии, так и в литературном, поэтическом поле Сибири... Вот, например, строки из знаменитого стихотворения «Смерть Ермака» Петра Ершова.

Тяжёлые тучи сибирское небо одели;  
Порывистый ветер меж сосен угрюмых шумел;  
Венчанные пеной иртышские воды кипели;  
Дождь лился рекою, и гром полуночный гремел.  
Спокойно казаки на бреге высоко сидели,  
И шум непогоды дремоту на очи навёл.  
Бестрепетный вождь их, под сенью ветвистых ели,  
Опёршись на саблю, на смелых казаков смотрел...  
И злая кручина на сердце героя лежала,  
Главу тяготила, горячую кровь волновала.  
И ужас невольный дух бодрый вождя оковал.  
Вдруг дикие крики... Казацкая кровь заструилась...  
Булат Ермака засверкал — толпа расступилась —  
И кто-то с утёса в кипевшие волны упал.

Кандальный звон и суровая природа Сибири — как мы уже говорили, без этого невозможно представить её поэтический облик... «Песню каторжного» сочиняет один из сибирских поэтов девятнадцатого столетия, Пётр Шумахер. Прототипов героев он много раз наблюдал сам во время государевой службы на Дальнем Востоке и в Приенисейском крае.

Ой ты, горечь, злая мачеха Сибирь!  
Снежной степью разметалась вдоль и вширь;  
Не приветна, не привольна, не людна,  
Неприглядна, неприютна, холодна!  
Не грызи ты злобой-местию своей  
Беззаступных горемык, страдных людей,  
Что томятся в чуждеальной стороне  
С лиходеями-ворами наравне.

...Не томи ты, дума чёрная!  
 Не греми ты, цепь зазорная,  
 Что бренчишь на степь пустынную  
 Про вину мою безвинную!..

Безутешно и горько нарисованы эти обитатели Сибири в целом ряде стихотворений. Пожалуй, самая беспросветная картина открывается в размещённых в сборниках стихах Алексея Константиновича Толстого:

#### *Колодники*

Спускается солнце за степи,  
 Вдали золотится ковыль, —  
 Колодников звонкие цепи  
 Взметают дорожную пыль.

Идут они с бритыми лбами,  
 Шагают вперёд тяжело,  
 Угрюмые сдвинули брови,  
 На сердце раздумье легло.

Идут с ними длинные тени,  
 Две клячи телегу везут,  
 Лениво сгибая колени,  
 Конвойные с ними идут,

— Что, братцы, затынете песню,  
 Забудем лихую беду!  
 Уж, видно, такая невзгода  
 Написана нам на роду!

И вот повели, затанули,  
 Поют, заливаясь, они  
 Про Волги широкой раздолье,  
 Про даром минувшие дни;

Поют про свободные степи,  
 Про дикую волю поют,  
 День меркнет всё боле, — а цепи  
 Дорогу метут да метут...

Но ведущей темой стихов самих сибиряков была, конечно, их любовь, искренняя любовь к их малой родине... Так, инициатор этих сборников Ядринцев опубликовал под псевдонимом Н. Семилуженский стихотворение «Родина», которое начинается так:

Я рождён в стране далёкой,  
 К чьим гранитным берегам  
 Вечно холодной струёю  
 Плещет грозный океан.

Я рождён в земле обширной,  
 Где границ пространствам нет,  
 Где от моря и до моря  
 Разостался белый свет.

Я из той страны привольной,  
 Где начала нет рекам,  
 Где зелёными морями  
 Лес бушует по долам...<sup>1</sup>

Один из наиболее плодовитых авторов сборника «Отголоски Сибири», публиковавший под псевдонимом Омудевский поэт и писатель-разночинец Иннокентий Фёдоров, прошедший через аресты и заключение, со своей Сибирью разлучённый, обращался к своей малой родине со словами прощания и любви:

#### *Из гроба*

Сибирь родимая! повсюду и всегда  
 С любовью к тебе я устремляю взоры, —  
 Несётся песнь моя туда,  
 Где степи ты раскинула и горы  
 Картиною, чарующею глаз  
 Любого путника. О, много, много раз,  
 Воскреснув в памяти, они мне напевали  
 Отраду бодрую взамен живой печали!  
 Необозримая лежишь ты предо мной  
 В немом величии, страна моя родная!  
 Народ твой спит ещё, но в грёзе молодой  
 Мерещится ему судьба родного края!  
 Желал бы я, чтоб в недра дорогие  
 Мой прах ты приняла, родимая земля.  
 Лежать в чужой стране, где люди все чужие,  
 Где чуждые кругом раскинуты поля,  
 Я не могу!

А рассказ о двух уникальных поэтических сборниках сибиряков восьмидесятих годов девятнадцатого века хочется завершить словами видного сибирского литературоведа и критика, покойного профессора Галины Максимовны Шлёнской. Однажды она попросила своих коллег-чехов, побывавших в Сибири, одним словом, одним эпитетом определить, что такое этот край, эта земля. Разные варианты прозвучали в ответ: «суровая Сибирь», «богатая Сибирь», «бескрайняя Сибирь»... А один из опрошенных произнёс: «Грустная Сибирь...»  
 «Это самое точное, наверное, определение Сибири», — сказала Галина Максимовна...

Говоря о красноярской литературной жизни рубежа девятнадцатого — двадцатого веков, нужно сказать и о событии, для неё кульминационном, как бы итоговом для периода, предшествующего революционному февралю и октябрю 1917 года...

Первый, долгожданный, полноценный толстый литературно-художественный и научно-публицистический сибирский журнал начал выходить в январе 1916 года в столице Приенисейского края.

«Сибирские записки» — так назвал его инициатор, составитель и редактор журнала, знаменитый врач, политик, государственный и общественный деятель Владимир Михайлович Крутовский.

Это имя было известно сибирякам в конце прошлого века в основном в связи с ленинской темой.

1. Семилуженский Н. (Ядринцев Н. М.) Родина // Сибирские мотивы, СПб, 1886. — С. 14.

О путешествии доктора Крутовского в 1897 году «в одном вагоне с Ильичом» охотно писалось после окончания сталинских времён в публикациях, приуроченных к ленинским юбилеям. Гораздо реже позволительно было говорить о том, что в разгар сталинского террора, глубоким стариком, «вагонный» спутник Ильича, немало в своё время поспособствовавший его направлению не на ледяные северные просторы, а на юг губернии, в благодатные шушенские края, был репрессирован.

Умалчивалось и об огромном вкладе В. Крутовского в развитие культуры, общественной жизни и медицины Сибири, обходились вниманием те месяцы 1917-го, когда доктор Крутовский был комиссаром Временного правительства по Енисейской губернии. Мало кто знал и о его общественно-политической деятельности в период Гражданской войны.

Но вернёмся к страницам дореволюционной поэзии.

За четыре неполных года, с 1916 по 1919 год, когда вышли в свет двадцать номеров «Сибирских записок», журнал стал, по признанию современников, интеллектуальным центром культурной и общественно-политической жизни региона — исполнилась страстная мечта старших соратников Крутовского, областников Потанина и Ядринцева.

История этого журнала достойна отдельного рассказа, и, может быть, не одного. Исследователи только начинают изучение его влияния на развитие литературы Сибири — ведь, помимо всего прочего, журнал этот оказался фактически непосредственным предшественником знаменитых «Сибирских огней», начавших выходить после Гражданской войны в Новониколаевске.

И о поэтическом разделе журнала Крутовского можно было бы говорить очень долго. Страницы «Записок» открывали вдумчивому читателю как начинавших, так и уже состоявшихся сибирских поэтов: Фёдор Филимонов, Виталий Калашников-Кручинин, Дмитрий Глушков (Олерон), Георгий Вяткин, Пётр Драверт, Фёдор Лыткин...

Направление журнала, надежды, с которыми он начинался, настроение поэтического раздела хорошо характеризуются стихотворными строчками без подписи, открывающими самый первый номер:

В горах ещё мороз алмазными цепями  
Пытается сберечь свою былую власть,  
Но солнце ласку шлёт горячими лучами,  
И шествует весна, могучая, как страсть.

Ручьи журчат, природу пробуждая,  
В долинах робкие фиалки зацвели,  
И чародействует, тяжёлый сон стогняя,  
Улыбка первая проснувшейся земли.

Выходит сеятель. Уверенной рукою  
Бросает зёрна дождь на грудь земли родной.  
И верит сеятель: зелёною волною  
Взойдёт посев его грядущей весной...

Последовавшие за первыми выпусками «Сибирских записок» годы революций и войн вдребезги разбили надежды его создателей и авторов. Своеобразным ответом-реквиемом на эти надежды могли бы служить строки о сеятелях, написанные за столетие до этого, пушкинские горькие строки:

Свободы сеятель пустынный,  
Я вышел рано, до звезды;  
Рукою чистой и безвинной  
В порабощённые бразды  
Бросал живительное семя —  
Но потерял я только время,  
Благие мысли и труды...

А ряду авторов «Сибирских записок» предстояло потерять не только «мысли и труды», но и самую жизнь...

Долгие годы имена репрессированных поэтов и писателей — выходцев из дореволюционной Приенисейской Сибири — будут замалчиваться. Но стихи — искренние, сердечные, талантливые — останутся.

Как эти вот немного загадочные строчки из того же самого легендарного первого выпуска «Сибирских записок». Его автор — будущий редактор знаменитой газеты «Свободная Сибирь», расстрелянный в Красноярске сразу после возвращения власти Советов. Называется это стихотворение Фёдора Филимонова «Тени»...

Треща, огонёк погасает,  
Тихонько мерцая во мгле;  
Последние тени бросает  
Увядающая жизнь на стене.

Длинна роковая дорога,  
Немало изведать пришлось...  
Пред нами теней этих много  
За целую жизнь пронеслось.

Они нас поутру будили,  
А днём — наполняли нам дни;  
Являлись, и вновь уходили,  
И вновь приходили они.

Ну что же?! Молись, на колени  
Готовый смиренно упасть,  
За эти волшебные тени,  
За их непонятную власть...

...В следующем выпуске проекта «(Не)забытые голоса Сибири» нас ждут стихи горьких, драматических, жестоких времён Гражданской войны. Но эту, до семнадцатого года, встречу хочется завершить светлыми, чистыми и ясными словами.



Принадлежат они не поэту, а художнику: великому Сурикову, тоже уроженцу Сибири. Но согласитесь, что эти записанные поэтом Максимилианом Волошиным со слов Сурикова прозаические, сказовые строки сродни долгой, протяжной и полной веры в свой народ и его будущее казачьей песне...

«...В Сибири народ другой, чем в России: вольный, смелый. И край-то у нас какой!

Сибирь западная — плоская, а за Енисеем у нас горы начинаются: к югу тайга, а к северу холмы, глинистые, розово-красные. И Красноярск — отсюда имя; про нас говорят: „Краснояры сердцем яры“.

Горы у нас целиком из драгоценных камней — порфир, яшма. Енисей чистый, холодный, быстрый. Бросишь в воду полено, а его бог весть уже куда унесло...»

ДиН ПАМЯТЬ

Роман Солнцев

## В долгие сумерки лета

Опубликовано в «ДиН» № 4-5/1998

### Тайное общество

Самое таинственное общество — музыки классической любители, нам всегда уединиться хочется, чтобы криком, храпом не обидели, пусть на чердаке, в любой обители, где лишь пламя свечи нервно корчится, мы сидим — да в небе вроде росчерка Моцартову молнию мы видели, — а виолончели, скрипки нежные нас в миры уводят запредельные, за моря зелёные безбрежные, за поля угрюмые метельные, но сосуды, так сказать, скудельные, мы идём ослепшие, потешные, при мерцанье музыки безгрешные, позабыв редуты и котельные, и сюда ворвись ОМОН, полиция: что, мол, собрались и что тут слушали?.. кажется, и публика приличная, спирт не пили и вино не кушали, но спокойно разойтись не лучше ли?.. знаю и во сне все наши лица я — гордо не ответим! Пусть измучили где-то нам подобных! Плакать — лишнее... Мы не назовём им ни Бетховена, ни Чайковского, да и ни Моцарта! Пусть потом все будем похоронены — но смолчим! А эти будут досыта бить нас! Только мозг майора Пронина не поймёт нас! Ах, луна обронена в реки золотые... в травах росы там... Наше общество вспомнит Родина!

### На огороде

Вчера перед грозой, которой не было, явились комары... и красной кровью оделись наши лбы... О, как же, небо, здесь заниматься свёклой и морковью? С утра перед войной, что, слава Господи, к нам не дошла — явились мародёры... Погнали мы их палками и досками. Как комары, смеются на укоры.



То дождь, то снова жаркий свет, меж туч обламываясь, льётся... Трава растёт, меняя цвет, и птицы вьются, как колёса. И шмель в смородине возлёт на нежный белый лепесток. О да, мы с ним всегда упрямы... Пырей здесь выживет не вдруг. В земле я сам ползу, как плуг. И от трудов шершавость рук напомнила мне руки мамы.

Владимир Алейников

## Отец

...Он был невероятно музыкален, мой отец, как-то грандиозно, всеобъемлюще музыкален, музыкален — весь, целиком, настолько зримо, и слышимо, и очевидно, так щедро, так впечатляюще, так сказочно и загадочно, что порою (особенно в те минуты, а то и часы, когда ощущал он прилив долгожданного, драгоценного вдохновения, и музыка изливалась из глаз его, словно сияние, и всё озарялось вокруг этим редкостным, дивным сиянием, и всё совершенно, в доме, во дворе, в саду и на улице, на что лишь взглядывал он, к чему он едва прикасался, тут же преображалось, начинало мгновенно жить какою-то новой, особенной, исполненной высшего смысла, пленительной, чистой жизнью) мне казался он то ли выходцем из каких-то неведомых стран, то ли впрямь лучезарным пришельцем из далёких, прекрасных миров, то ли попросту воплощённой в нём, конкретном, родном человеке, частицей в нём отражённого, вечно звучащего космоса, — и слух у него, слух — дух, слух — свет, слух — сплошное творчество, слух — жречество, слух — волшебство, как мне теперь представляется, был именно уникальным, другого слова не скажешь, поскольку определений для чуда в природе нет, слух — празднество, слух — постоянство, сквозь время и сквозь пространство, вне всякого самозванства, смутянства и вольтерьянства, слух истинный, несомненный в своей правоте сокровенной, был, безусловно, лучше хорошего — моего.

Самоучка, он как-то естественно, как заправский профессионал, так, что многие были уверены, что учился всерьёз он музыке, играл на многих — да, многих, вот что было совсем удивительно, существующих, чуть ли не всех, и вот это уж вправду загадка, небывалый уж точно случай, — музыкальных, послушных ему, чародею, звучавших таинством откровения, инструментах.

В нашем доме — помню это с детства — были:

скрипка, легчайшая, изящная, вишнёвого цвета, сделанная однажды, под настроение, по вдохновению, по наитию, по чутью, самим отцом, созданная им, сотворённая — так вернее, — на которой отец, вскинув её левой рукой к подбородку, а правой рукой тут же плавно и свободно взмахнув гибким, тоненьким, будто прочерчивающим в воздухе

узкую волосяную полоску, смычком, — играл, слегка покачиваясь в такт льющейся музыке всем своим статным, поджарым корпусом, оставаясь при этом на месте, как заворожённый, — и лицо его становилось задумчивым, грустным, он был уже не здесь, а где-то совсем далеко, там, в мыслях своих, в своей музыке, — так мне казалось, — и глаза его, светлые, жемчужно-серые, с просвечивающей голубиной, точно такого же цвета, как небо осенью в наших краях, осенью, в октябре, когда он был рождён, осенью, которую так он любил, теплели, грустнели, светились сквозь полуопущенные миндалевидные веки с густыми, пушистыми ресницами каким-то вечерним, осенним светом, словно из Тютчева, стихи которого он так ценил, понимал и всегда близко к сердцу принимал, и чёрные брови его взлетали высокими дугами, и хрящеватый, с горбинкой, нос как-то резко обозначался, и я видел, как перекатывались под кожей у него на щеках желваки, и острый кадык иногда внезапно, судорожно вздрагивал, и отец то опускал пониже, почти на грудь, свою точёную, хорошо вылепленную, гордую голову, то поднимал её, — и в лице его, во всём его облике вдруг проявлялась, вспыхивала благородная, мужская, степная красота, и видна была в нём эта древняя, козачья, запорожская порода, — и что он там, в грёзах своих и в музыке своей, прозревал, не знал я тогда, а теперь уже не узнаю, —

и была балалайка, играя на которой, отец преображался, чуть ли не до неузнаваемости, — нет, разумеется, был он узнаваем, но какой-то весёлый стих находил на него, весёлое, удалое настроение охватывало его, а с ним и всех домашних, — вот он и наигрывал, вот он и ударял по трём балалаечным струнам, да так лихо, с таким азартом, что смотреть было на него любо, —

мандолина — и с ней иной тон, иное настроение, иная музыка, лирического склада, — и звучали неаполитанские мелодии, звучало нечто сердечное, нежное, щемящее, трогательное, —

потом баян — и сжимались, разжимались меха, отцовские пальцы бегали по круглым кнопочкам, которые выпускали на волю звук за звуком, и мелодии то хрипловато вздыхали, то переливались, как рябь на речной воде, летом, под лунным светом, —

и, конечно же, пианино, чтобы я в свои школьные годы тоже учился музыке, —

и отец на всех на них, наших домашних музыкальных инструментах, попеременно, под настроение, но довольно-таки регулярно, — играл.

Он хорошо, нет, здорово, с чувством, играл на гитаре, на любой, коли случай представится, шестиструнной и семиструнной, — помню, помню в руках отцовских эти простенькие, фабричные, вроде чуть скруглённых восьмёрки, желтоватые и потемнее, скользким лаком слегка сверкающие, отражающие лучи солнца, бьющего к нам в окошко сквозь листву, если это было днём, а то электрический свет, если вечер стоял, — гитары! — берёт он вначале аккорд, потом ещё и ещё аккорды, слегка рокочущие, как будто бы воздух щекочущие, певучие, гармоничные, полновзвучные, не тепличные, струны перебирающие, за живое их задевающие, — и вот уже из рокотания, из струнного бормотания вырастает, встаёт мелодия, вся искрясь, глубоко дыша, и звучит до того естественно, свободно и непосредственно, что ликует и радостью полнится причащённая тайн душа, —

играл он, легко, уверенно, с мастерством немалым, на домре, — и звучала домра негаданным откровением, очнувшись вдруг от своей дремоты приевшейся, немоты своей опостылевшей, — и узоры струнные множились, образуя звучащий круг, —

он играл и на аккордеоне, — и клавиши оживали, рождая звучание новое, и вздрагивали басы, и вспыхивало за гранью напевной воспоминанье о чём-то, чему названья не ищешь в плену красы, —

мог играть он и на бандуре — тихонько, в светлой печали, напевая при этом старые украинские песни, думы.

Он замечательно пел.

Песней — жил. Песней — знал. Песней — верил.

У него был не просто хороший, а особенный, настоящий, то есть редкостный, может быть, даже и получше, чем у Козловского, украинский именно, то есть отличающийся от российских чем-то светлым, невыразимым, западающим в душу, волшебным и тревожным, словом, таким, как закаты в степи, когда листья дышат воздухом пряным широко и легко, и травы, разомлевшие среди зноя, расстилаются далеко, по холмам и балкам, куда-то к югу, к морю, и реки плещут щедрой влагой по перекатам, разливаются вдоль скалистых, в рудных жилах, крутых берегов, и щебечут какие-то птицы, и поют на селе девчата, и криница ближняя тянет неуклонно к себе — напиться всласть холодной, мягкой воды, и вздымается куполом звонким над землёй исполинское небо, на котором позже зажгутся звёзды крупные, а пока в нём подсвечены облака заходящим солнцем, и сердце замирает от изумленья перед чудом живой природы, перед

будущим, — ну а в прошлом здесь немало чего бывало, — но зачем теперь, на закате, о таком устало вздыхать? — вот и смотришь вокруг, и дорог белый свет, и полынный горек стебелёк, и края степные благодатны и велики, безграничны, да, так точнее, всяких прочих земель вернее, и с младенчества мне близки, — небывалый, чистейший голос. Чудесный, мягкий, звучащий задушевно, лирично тенор.

Но и более низкие, баритонные партии исполнял он с таким же успехом, как и славные теноровые, поскольку диапазон его полновзвучного, сильного, с мощным, долгим дыханием, голоса был, учёным профессионалам и всем прочим на удивление, гибок, ярк, богат и широк.

Голос его был поставленным — от природы. Его природы. Той, которую — воспевал он. Той, которой обязан — всем.

Он постоянно пел —

народные украинские и русские песни, которые очень любил,

оперные арии, широко известные и менее известные, романсы, которых помнил он множество и на которые ещё в детстве моёму открыл мне глаза, песни Вертинского, Лещенко, песни Утёсова, Козина, цыганские песни и романсы, приобретавшие в его исполнении новые краски, открывавшие, как драгоценные камни, ранее скрытые, сверкающие грани,

эстрадные песни, полузабытые и недавние, из довольно обширного репертуара тогдашней советской эстрады,

а порой, с некоторой оглядкой, как нечто полудозволенное, но, в силу этого полужапрета, ещё более желанное, — и джазовые песни, причём и джаз он — а далеко не каждому это дано — именно умел петь.

Так что дом наш — построенный, кстати сказать, отцовскими, материнскими и бабушкиными руками — в послевоенное, памятное мне время подъёма духа людского, восстановления и укрепления прочного быта, воскрешения жизни, обретения счастья, покоя и веры в грядущее, в сорок восьмом году, — уже с малых лет помню я наполненным музыкой.

Над рекой, изогнутой невольно, там, где ветру дышит привольно, тополь есть, высок и одинок, — времени туманного оброк был ему по силам, — он стоял, словно завершая расстояние, — вынес он с листвою расставанье, — там я наконец-то побывал, тесные строенья обогнув, где стоят растения, уснув, — пустошью, засыпанною снегом, вышел к возвышению над берегом — и высокий тополь увидал. Таяла заснеженная даль, окна за рекою загорались, — а передо мною возвышалась тополя сухая вертикаль. Что же он тянулся к облакам, к зимнему высот столпотворенью, словно приносил

благодаренье родине, природе и векам? Что же он безропотно сносил горькую безлиственность и холод, словно уговаривая город не жалеть и нежности, и сил, чтобы в отношениях людей зримое тепло существования выросло для наименования судеб, и порядков, и вещей? Странное название — Ингулец, лунное, полынное мерцанье, ломкие морозца восклицанья, хрящ тропинок, ёканье сердец, звяканье калиток и бряцанье, хрумканье сосулук, прорицанья, звон ключей, сцепление сердец. И отцовский тополь — в тишине, в серебре чёрном предвечерья, чуткого исполненный доверья к вести света в скифской стороне.

Всё, что связано с вестью света, с настоящим, спасительным творчеством, — исстари, навсегда, прочно соединено для меня, и в прежние годы, и тем более в годы нынешние, в как бы времени заплутавшие ненароком, — с моим отцом.

Он работал художником-оформителем — в недавно построенном, представлявшемся всему населению нашей Гданцевки, нашего заречного райского уголка, настоящим великолепным дворцом, — с шестью массивными колоннами по фасаду, с большим, вмещающим пятьсот человек, залом, с вестибюлем, верхним двусветным фойе, паркетными полами, мраморными лестницами, буфетом, библиотекой, внушительным числом всяческих, имевших конкретное назначение, помещений, с многочисленными, самой разной конфигурации, окнами, с обнесённым красивой оградой громадным двором, — словом, являвшемся шедевром отечественной архитектуры середины пятидесятих годов местного значения, расположенном чуть наискось, но всё равно можно считать, что напротив, ну, почти напротив памятника Богдану Хмельницкому, воздвигнутого на одноимённой площади в честь трёхсотлетия воссоединения Украины с Россией, Доме культуры завода «Коммунист» — завода, здесь же, неподалёку, находившегося.

Там, на втором этаже, в верхнем фойе, между двумя ведущими в зал исполинскими дверями, расположенными одна от другой на таком внушительном расстоянии, что между ними вполне можно было устраивать бег на короткую дистанцию, на стене, уходящей ввысь, к украшенному лепниной и увенчанному чудовищного размера люстрой роскошному потолку — такому высокому, что, стараясь увидеть его, ты отчаянно закидывал вверх голову и даже отчасти прогибался назад, — занимая почти всю стену, занимая её безоговорочно и просто вытесняя с неё всё остальное, включая хрустальные плафоны и тяжёлые бра, в обе стороны, подальше, раздвигая пространство, так, как пловец разгребает руками в обе стороны воду, являясь каким-то суперакцентом во всём помещении

фойе, так что даже окна, величиной с двухэтажный дом, тускнели и меркли перед этим торжеством примитивной, но безотказно срабатывавшей магии, неудержимо притягивая к себе все взгляды, вызывая всеобщее внимание, висела сверхогромная картина — «Бой Пересвета с Челубеем», — и я любил разглядывать изображённых на ней персонажей. Наглядность картины была очевидной и более чем азбучной. Использовался принцип лобового, простейшего противопоставления: плохое — хорошее, чёрное — белое. Хорошими были русские войска, плохими — противостоящие им степняки, всякий пёстрый восточный сброд. Витязь Пересвет, просветлённый, уверенный в своей правоте, сражался с богатырём Челубеем, коренастым, плотным, в полосатом халате-чапане, держащимся в седле нарочито свободно, косящим налитым кровью глазом, диким с виду человеком, но дикостью своей, отчаянностью своей почему-то и симпатичным — во всяком случае, вызывающим к себе интерес, обликом своим напоминающим почему-то писателя Куприна. В лице Пересвета угадывались, как несколько позже мне казалось, черты писателя Бунина. Что этим сходством хотел сказать неведомый мне живописец, выполнявший большой заказ, — осталось неясным. Все фигуры на этом полотне были колоритными. Обыгрывались детали, подробности одежды, конской сбруи, оружия. Это была иллюстрация к истории. Я видел противостояние двух сил, двух народов. И, хотя агаряне и были нарисованы поинтереснее, я, конечно же, целиком был «за наших», за русских. Недавняя Отечественная война окончилась победой над тёмными силами, шедшими на нас с запада. На картине, по существу, впрямую указывалось на то, что и с востока можно ждать всякого. Тогда на идущую с востока угрозу не обращали внимания. Проявилось всё это уже теперь, в конце столетия. И я вспомнил звучавший в детстве с этой картины, исходивший от её образов осознанный призыв: быть бдительными, быть начеку — Восток может преподнести любые сюрпризы, он непредсказуем — для нас, и там всегда найдутся свои Челубеи, — а вот свои Пересветы — найдутся ли ещё на Руси?

Там, на первом этаже, находилась большая библиотека, самым прилежным читателем которой был я в течение многих лет, — и я любил библиотечную тишину, здесь совершенно естественную, и ровный электрический свет в помещении, и запах книг, который выразить трудно, а он был, бумажный, тоже ровный, шуршащий, слежавшийся, чуть пыльный, застоявшийся, но приятный, настраивающий на хорошее запах, и сам вид книг, эти длинные ровные ряды книг на полках, на стеллажах, и само дыхание чтения, присутствовавшее здесь, ощущаемое здесь, дыхание новизны, дыхание знаний, и свет этой новизны, этих таящихся в книгах знаний, ровный,

спокойный свет,— и заведующая библиотекой, Раиса Абрамовна, хроменькая горбунша с истомлённым лицом страдальцы, на котором пылали громадные, чёрные, скорбные, чуткие, одинокие, ласковые глаза, всегда выдавала мне книг больше, чем положено, потому что я быстро прочитывал их и приходил за новыми, а потом стала выдавать мне книги сразу на несколько абонементов, на всю нашу семью, так условно считалось, потому что потребности мои в чтении всё возрастали.

Там директором был человек по фамилии Бессараб— и я помню его круглый, складчатый, бритый затылок, и всегда красное лицо, похожее на крепко сжатый кулак, и костюм его, мешковатый, хотя и хорошо выглаженный, и повадки его, панибратски-валяжные, неуловимо-скользкие, и замашки его, диктаторские, и движения, неторопливые, и походку его, с топотом, и его появление в глубине коридоров, и несомое с важностью, со значением,— всё же персона!— как-то странно раздутое изнутри, слишком грузное тело на коротких, негнувшихся, но упрямо шагающих по натёртому полу ногах, и глаза, на рацыи похожие, и начальственный голос.

Там устраивали новогодние праздники, утренники для детей—

и мы с младшим братом приходили туда, оставляли пальто в раздевалке, поднимались по мраморной лестнице вверх, в фойе,

и вставала вдруг перед нами изумрудной, пышной громадой, и сияла всеми огнями привезённая к нам, вот сюда, из каких-то далёких, неведомых, заваленных снегом лесов, пахучая, свежая, колкая, пышущая, светящаяся новогодней, праздничной радостью, ёлка-великанша, под сенью которой весело общались с детьми двое главных персонажей новогодней сказки—

Дед Мороз, красноносый, ватнобородый, в толстой шубе до пят, в шапке-ушанке, на которой наклеен был или как-то иначе прицеплен, прикреплён порядковый номер нового года, в большущих, подшитых, сорок пятого размера валенках, с высоким посохом в одной руке, с прижимаемым другой рукою холщовым, плотно набитым чем-то заманчивым, под завязку прямо набитым, это видели все, мешком,

и Снегурочка, небольшая, спортивная, светленькая, в лёгонькой кругленькой шапочке на хорошенькой круглой головке, в белой шубейке до щиколоток, в белых сапожках, в голубеньких рукавичках, с длинной льняной косой, лежащей на её прогибающейся спине, между худенькими лопатками, как свёрнутый парус, вся румяная, возбуждённая, компанейская, ясноглазая,—

а ещё был концерт, который давали специально приглашённые артисты, и выступление участников художественной самодеятельности,

и раздавали всем подарки в бумажных, приятно шуршащих пакетах с новогодними поздравительными надписями, и там, внутри пакетов, угадывались даже на ощупь карамель, и драже, и печенье, и редкие шоколадные конфеты, и ещё что-то, пока что непонятное, но наверняка вкусное,

и гремела, гремела праздничная, оживлённая, громкая, взвинченная, вся искрящаяся, заводная новогодняя музыка, и сверкали, переливаясь, отражаясь в оконных стёклах, безмятежно искрясь на виду, на весу, наверху, игрушки на ёлке, и горели хрустальные люстры, плафоны на лестницах, в коридорах и в переходах, в прохладе и просторе вестибюля, горели все лампы, отражаясь в стёклах венецианских, круглых, квадратных, прямоугольных и прочих окон,

и хрустели осыпавшиеся с ёлки зелёные, но уже подсохшие иголки под ногами, на ступенях мраморных лестниц, на паркетном, натёртом до ярого блеска, скользком, как лёд, полу, и воздушные, развернувшиеся пружины серпантина свешивались с ветвей ёлки, с люстр, со штор, с дверных, сверкающих начищенной медью, гипертрофированно-больших, представляющих собою соединение боевой палицы с орнаментальными растительными завитками, ручек, с открытых форточек, отовсюду, за что уцепились,

и всё на время праздника предоставленное детям пространство Дома культуры было усыпано разноцветными, аккуратно-круглыми, крохотными кружочками конфетти,—

и все стены, все вертикальные плоскости, которые можно было заполнить, во всех помещениях этого, сказку дарящего, дома, или — для нас — дворца,— были увешаны праздничными, новогодними, сказочными панно, написанными моим отцом.

Там, в этом Доме культуры,— как войдешь в него с главного входа, то из нижнего вестибюля— сразу направо по коридору, потом ещё раз направо,— была у отца мастерская. И я часто приходил к нему, и любил находиться там, у него, и разговаривать с ним, и смотреть, как он работает,— и до сих пор помню запахи красок, терпкие, острые, сочные, маслянистые, запахи загрунтованных холстов и картонов, клея, варящегося или подогреваемого в банке, на маленькой электроплитке, запахи свежего дерева подрамников, рулонов бумаги, вымытых в растворителе или в ацетоне кистей,— запахи, напрямую связанные с творчеством, с рисованием, с живописью, с трудом художника, с особым этим трудом, вдохновенным, рождающим зримые образы, светлым трудом.

Там, у него в мастерской, на его деревянном просторном рабочем столе, среди всяких нужных для оформительской работы шуток, я увидел однажды небольшую книгу в тёмно-синей картонной



обложке. Что-то буквально подтолкнуло меня к ней. Я подошёл к столу—и взял книгу в руки. Причём, что поразительно, я как сейчас помню, происходило всё это весьма странным образом, будто во сне. Или, скорее всего, в состоянии транса—так я могу, кое в чём разбираясь, теперь уточнить. —А. Грин,—прочитал я на обложке книги,—«Бегущая по волнам».

Здесь же, стоя у отцовского стола, я открыл эту книгу—и не закрыл её до тех пор, покуда не прочитал всю, от корки до корки.

Потрясение, которое я испытал, трудно выразить. На меня нахлынула тогда властная, глубокая, наивная и пленительная мистика гриновского мира.

Я сразу же, несмотря на свой школьный возраст, понял, что никакая это не романтика, в советском, расхожем смысле этого слова, а нечто другое, очень мне близкое и крайне для меня важное, и почувствовал, что это сослужит мне добрую службу, поможет мне на моём пути,—вот только нужного определения для этого ощущения своего тогда, разумеется, не мог ещё подобрать.

И это, очень скоро, действительно очень мне помогло в моём тогдашнем, довольно раннем, становлении.

(Да какой Грин, к шутам, романтик? Он мистик. Прежде всего—и во всём абсолютно. Серьёзный. Искренний. Подлинный. Он—проводник, улавливатель сигналов, знаков—свыше. И выразитель этих знаков—для того, чтобы люди вдруг спохватились, опамятавались, прозрели, чувствуя зов красоты, слыша призыв неведомого, за которым ждёт их, быть может, ключ к пространству и времени, к душе или к речи, или тайна самого бытия.

—Какой он был, Александр Степанович,—не такой, как все остальные?—спросил я лет десять спустя вдову писателя, Нину Николаевну Грин.

Спросил—и смутился наивности своего вопроса.

Но она—всё и так поняла. Она подняла мне навстречу светящееся лицо своё, обрамлённое белыми, ковыльными волосами.

—Конечно, не такой, как все,—спокойно ответила она,—особенный, непохожий на всех. Потому и Грин.

А. С. Грин. Феодосия, 8 апреля 1930 года.

Из письма:

«Религия, вера, Бог,—это явления, которые в чём-то искажаются, как только обозначишь их словами. Религиозное чувство, религиозное знание, вера—слишком обширные понятия, для того чтобы определять их словами. Слово ограничивает эти чувства. Не знаю почему, но для меня это так, между тем как другие чувства—любовь, нежность,

например, привязанность и так далее—ощущаются полнее, когда названы словами.

Мы с Ниной верим как дикари, просто, ничего не пытаюсь понять, так как понять нельзя. Нам даны только знаки участия Высшей Воли в жизни. Не всегда их можно заметить, а если научиться замечать, то многое, казавшееся непонятным в жизни, вдруг находит объяснение».

Ведический человек!

Отношение к вере. Понимание Бога.

Понимание сущности, призванности слова—на земле.

Я вспомнил своё чтение гриновских книг, своё восприятие и понимание их. Вспомнил белый домик в Старом Крыму летом шестьдесят пятого года, и Нину Николаевну, и её рассказ о Грине и о том, как здесь, в этом домике, этой хатке—так она этот домик порой называла,—Грин болел около года и мучительно умирал,—

и она, чтобы хоть ненадолго облегчить его страдания, колола ему морфий, и он забывался, боль уходила на время,—но была и другая боль—от понимания: столько не удастся уже написать.

—Все грехи свои он искупил своими страданиями,—говорила чуть слышно, воскрешая былое в памяти, Нина Николаевна.

Шестидесятые. Годы под знаком Грина.

Летний вечер. Теплынь.

Звезда в удивительно чистом, глубоком, спокойном небе.

—Грин был единственный в мире душевно мне полностью близкий человек,—сказала Нина Николаевна.

И мгновенно пришедшее дуновение ветра—от чьего-то присутствия, пусть и незримого, но неизменного, здесь, а старокрымском белёном домике, здесь, где вечер, и небо, и свет одинокой звезды в непостижной, но кровной, родной высоте, в глубине, в чистоте непреложной, в этой песне вселенской и доле нелёгкой земной, здесь, где смысл моей жизни уже предо мной раскрывался,—ощутил я тогда.)

Вот и отец мой был—до мозга костей, до малейшей клеточки своей—ведическим человеком.

Отношение к вере. Понимание Бога. Мироощущение. Осознание призванности своей—на земле.

Вспомним Гоголя—об украинских песнях:

«...их вера так невинна, так трогательна, так непорочна, как непорочна душа младенца. Они обращаются к Богу, как дети к отцу; они вводят Его часто в быт своей жизни с такою невинною простотою, что безыскусственное Его изображение становится у них величественным в самой простоте своей».

Вот таким и был мой отец.

...Я оторвался, наконец, от книги, ощущая себя именно как в сновидении. Окружающий мир успел, за время чтения, для меня измениться. Думаю, это и был творческий импульс.

Отец видел моё потрясение. Он был тактичен, деликатен, выдержан, как и всегда. Он ни о чём меня не спросил и ничего такого, что могло бы ненароком разрушить впечатление от книги, и не помыслил даже сказать. Он просто ждал, когда я закончу чтение. Он, конечно, позволил мне взять книгу с собой. И дома, вечером, я, не мешкая, тут же ушёл в гриновский мир снова.

Отец мой был удивительно талантлив — совершенно во всём, что ни делал, за что ни брался. Он вечно что-нибудь изобретал, что-нибудь особенное придумывал. Он был, согласно хлебниковской формуле, истинным, прирождённым изобретателем, в противовес и в укор унылым приобретателям. Возьмёт в руки любой, даже непонятного назначения, предмет, повертит его так и этак, поразмыслит — и вдруг куда-нибудь его да и приспособит, что-нибудь этакое, новое, необычное, штучковину какую-нибудь, где этот предмет обретёт своё место и значение — им, отцом, придуманное, изобретённое значение, — смастерит. И всё уже — существует, живёт. Чудо!

Когда я был маленьким, он сам делал мне игрушки. Я помню их все, наперечёт, от деревянного маузера — чтобы такой был, как у Чапаева! — до деревянного же, но замечательно сделанного, ну прямо как настоящий, большого грузовика, который я как-то случайно забыл возле нашего дома, на куче песка, где я играл, и который у меня, понятное дело, тут же спёрли соседские мальчишки. Он делал мне самолёты необычных конструкций, пружинно и резко взлетавшие ввысь и долго державшиеся в воздухе пропеллеры, дивных бумажных змеев, красивых, обдуманных во всех деталях, с обязательным учётом технической эстетики, змеев, созданных для того, чтобы парить в небе. И всё сделанное им работало. Гудело, жужжало, двигалось, вертелось, летало. Он делал великолепные флюгеры. И мало того, что они исправно показывали направление ветра. Они были ещё и произведениями искусства.

Однажды он сконструировал и сделал — из ничего, из подручного, имевшегося в распоряжении материала — складную лодку. Очень компактную. Во всех отношениях — оригинальную. И вовсе не тяжёлую. Вдвоём с ним мы преспокойно донесли её до выбранного нами для испытаний лодки водоёма. Им был старый, заброшенный, глубокий, до краёв заполненный водой карьер. На берегу этого карьера мы развернули лодку. Оказалось это делом совсем простым. Под силу это было

сделать даже мне одному — настолько всё в этой лодке отец продумал. Мы спустили нашу лодку на воду. И там же, на глубоководье, мы её испытали.

Эх, вот было плаванье! — мы вдвоём с отцом, ликующие, счастливые оттого, что испытание нашего судёнышка проходит успешно, — мы вдвоём, посреди немалого, глубиной в несколько десятков метров и длиной в несколько сот метров, серьёзного, можно сказать, водоёма, — на своей собственной, самодельной, да, самодельной, но зато совсем настоящей, и не думающей тонуть, а спокойно плавающей, поддерживающей обоих нас, лёгкой, подвижной, манёвренной, превосходной лодке, — мы с отцом, покорители водоёмов, покорители водной стихии, увлечённо, старательно машущие самодельными маленькими, но удобными в обращении вёслами, — и плывущие в летнюю даль, по глубокой и чистой воде.

Как забыть это первое плаванье?

Он придумывал и делал всякие тележки, нужные в хозяйстве, — и тележки эти тоже оказывались удобными и лёгкими, и катились преспокойно на разной величины колёсах — от маленьких, снятых с отслужившей своё детской коляски и тут же пущенных в дело, до больших, велосипедных, и выдерживали тележки немалый груз, только поскрипывая, покачиваясь порою, но и не думая разваливаться, потому что были прочны, а ещё рукоятки и ручки их выдвигались и задвигались, закручивались болтами, а ещё были у тележек и особые приспособления для поддержания груза — ремни с застёжками, провололочные поперечины и прочие воплощённые в жизнь результаты смекалки, и каждая из тележек не похожа была на предыдущую, да отец этого и не мог бы допустить, потому что оригинальность и новизна конструкции в каждом отдельном случае подразумевались сами собой.

Он делал лестницы для работ в саду и для дома, деревянные и металлические, складные, раздвижные и обычные, то есть просто представляющие собою соединение двух длинных жердей или узких и длинных досок, с перекладинами-ступеньками, но и лестницы получались у него особенными, не заурядными, не такими, как у соседей, а художественными какими-то, действительно близкими к произведениям искусства, и он красил их в разные цвета, и служили эти лестницы подолгу, — и я помню, на каждой из них, отца, то поднимающегося на чердак за орехами или сушёными фруктами, то обрызгивающего из усовершенствованного им специального пульверизатора деревья в саду, то собирающего вишни или яблоки, то срезающего с виноградных лоз тяжёлые, крупные, налитые сладчайшим соком, напитанные солнечным светом гроздья.

Он делал оконные рамы, полки, скамейки, стулья, табуретки, шкафы, стеллажи, тумбочки и столы, двери—простые, филёнчатые, с распахающимися навстречу или открывающимися вовнутрь, ладными, лёгкими, крылатыми створками,—

и сам этот материал—дерево—очень любил он, и хорошо разбирался в нём, и всегда, что-нибудь новое изготавливая из дерева, так подходил к делу, что и фактура дерева была видна, и порода угадывалась, и налицо были универсальность материала и красота.

Он делал, вырезая их из кровельного железа, красивые козырьки над крылечками, по которым потом барабанил осенний дождь, на которых потом налипал рыхловатый снег, но они, защищая нас от превратностей непогоды, не ржавели подолгу, не старились, а, казалось мне, только становились всё краше.

Он делал сказочные фонари, внутри которых вечером, в ступающей темноте, в густолистном нашем саду, вдруг загоралась яркая лампа, и на гранях фонарных стёкол мелькали блики и отсветы, и отшатывались в шелестящую глубину, в синевато-лиловую, тёмную, с густо-зелёной основой, прохладу вечернего сада поспешные длинные тени, и высвечивались, оживая и щурясь, вдоль садовых дорожек, прощаясь с дремотой, цветы, и, шалея от тяги слепой и от власти, с которой справиться им не под силу, отовсюду, как будто на зов, всё летела на свет мошкara, и, мерещась уже средоточьем земного, скорее всего, магнетизма, всё горели, горели, сквозь ночь и сквозь детство, сквозь юность мою и сквозь жизнь, фонари там, в саду, за раскрытым окном.

Он сделал мне великолепные санки, широкие, со спинкой, с полозьями, загнутыми впереди весёлыми кренделями, санки, в которых так удобно было сидеть и в то же время катиться с горки, руками в связанных бабушкой варежках крепко держась за туго натянутую верёвку и тем самым управляя ими, воображая себя шофёром, ведущим машину, или кучером на бричке, или наездником на лихом коне, или даже пилотом,—а вокруг, посреди восклицаний взрослых, раздавался смех детворы—и кружился, кружился, кружился в морозном небе, оседаая снежинками звёздчатыми на пушистый мой воротник, новогодний, праздничный снег.

Он научил меня кататься на велосипеде—и, сразу усвоив его уроки, с давних пор, с малолетства, по мере своего взросления меняя и велосипеды: вначале был трёхколёсный, но это уже не в счёт,—вначале был маленький, детский, но зато двухколёсный, потом—подростковый «Орлёнок»,

потом—настоящий, взрослый, и даже, бывало, гоночный,—много дорог и тропинок, без усталости путешествуя, изъездил я в прежние годы по нашим краям степным.

Он научил меня кататься на коньках—и я вижу сейчас, как прикреплял он к ботинкам первые мои «снегурочки», вырезая для этого в подошвах специальные дырки, привинчивал коньки к ботинкам, делая всё старательно, основательно, на совесть, а иначе работать он и не мог, только так,—и я надевал ботинки с привинченными к ним коньками и приучался стоять в них, сохраняя равновесие, а потом и ходить, и мне хорошо это удавалось,—и вот мы шли с ним на реку, замёрзшую, покрытую сплошным, прочным, гладким льдом, ещё не занесённым снегом и даже не запорошённым снегом, потому что случались в детстве такие вот бесснежные, хоть и морозные, зимние месяцы,—и там, на реке, на льду, бескрайнем, тёмно-зелёном, отражающем сизое, серое, серебристо-жемчужное, ртутное, отрешённо-слоистое небо и давно облетевшие, голые, но привычно стоящие толпами над рекою в ледовом панцире, на обоих её берегах, чутко дремлющие деревья, на льду с пузырьками воздуха в некоторых местах, внутри, в ледяной толще, как бы замороженными там, во всяком случае, непонятно как оказавшимися там, где-то посередине, между подразумеваемой внизу речной водой и поверхностью льда, на которой, поскольку уже постепенно начинало темнеть, отражались, лучась, мерцая, зажжённые фонари, на льду, поддразнивающим, завлекающим, зовущем ринуться вперёд, незамедлительно помчаться по нему с невероятной, всё нарастающей скоростью, в беге, в ликующем движении, и незаметно как-то взять да и вырваться из бега в полёт, на льду, который своё движение, застывшее, замёрзшее, временно, разумеется, струение, течение воды, движение в пространстве, словно передавал нам,—катались мы вместе с отцом на коньках, увлечённо, самозабвенно, и детская радость моя шла об руку с его взрослой, а на самом деле такой же мальчишеской радостью, и не только шла, но и мчалась, и даже летела вниз по реке, вдоль изгибов её берегов, по звенящему льду, всё вперёд и вперёд, в грядущее, и оба мы были счастливы, и оба мы улыбались,—а потом и коньки мои, так же как и велосипеды, сменялись всё более взрослыми, более настоящими, ну а значит, спортивными, классными, от «снегурок» и «дутьшей» до «ножей» и «норвежек»,—и движение в зимнем пространстве, устремлённость вперёд и вдаль, бег, а в нём—ожидание полёта, неизменно живы во мне.

Он приучил меня ходить на лыжах—и я катался, испытывая всё то же восторженное, радостное

чувство свободного движения в пространстве, а может, и во времени,—кто знает?—вначале с ним, а позже и один, в посадке, по улицам ближним и дальним, по всей округе, вдоль берега и на другом речном берегу, в огромных, пустынных, дремотных парках,—и везде, где хорош был снег и сверкала на солнце укатанная лыжня или едва обозначалась, только что проложенная мною, но всё равно это было здорово,—а зимы стояли мягкие, пушистые, снежные, гоголевские, и морозец прихватывал щёки, но не крепнул, не лютовал,—и было мне любо глядеть на деревья в белых одеждах, и снег искрился и таял на ресницах, у самых глаз.

Он сам переплетал книги и журналы. Он органически просто не мог переносить вида растрёпанной книги, а тем более—изорванной, измятой, в чернильных кляксах и жирных пятнах. Такая книга представлялась ему—страдающей. Он незамедлительно хотел одеть её в переплёт—чтобы она воспрянула духом, что ли, духом, который был в ней и с которым столь варварски, преступно поступали. Он принципиально желал придать книге нужный, достойный и её содержания, и значения её как книги, серьёзный вид. Аккуратный во всём, что касается быта, щепетильный порой в мелочах, но всегда справедливый, так уж привыкший себя вести, вообще не переносил он никакой расхристанности. При виде истерзанной кем-нибудь книги сразу начинал он нервничать—и даже вполне мог прийти в ярость, впрочем, быстро у него проходившую и сменяющуюся деловой озабоченностью: что-то срочно надо ведь делать! Книгу надо—спасать! И он принимался за дело спасения книги. И книга вскоре была спасена. Книга—оживала. Книга—снова чувствовала себя не какой-нибудь там стопкой мятых, истёртых листков, а именно—книгой. Переплёты его и обложки, как и вообще всё, сделанное когда-либо отцом, были просты, прочны, эстетичны, оригинальны и—уж это как фирменный знак, принципиальность, необходимость—все узнаваемы: сделано им!—каждая же в отдельности, всегда,—со своим лицом, и лицо создавал ей—отец. До сих пор переплетённые им подшивки «Огонька», начиная с сорок восьмого года, и других журналов, а также собрания сочинений разных авторов, русских классиков и писателей советской эпохи, и отдельные томики в целостности и сохранности стоят на полках в нашем криворожском доме.

Он хорошо умел шить. И, при надобности, шил—на бабушкиной ножной, вечной, ни разу не ломавшейся, купленной в двадцатые годы в Средней Азии, в Ашхабаде, где она некоторое время, в период поволжского голода, жила и работала, зарабатывая на прокорм семьи, для меня—легендарной, швейной машинке,—шил всякую всячину, для

себя, для хозяйства, для садовых работ, для дома, для рыбацкого снаряжения, шил самые разные вещи, от какого-нибудь простого чехла до брюк или куртки,—да мало ли что он шил! И сшитые им вещи были точно такими же, как и всё, что хотя бы когда-нибудь сделано было им,—прочными, эстетичными, простыми, практичными, ладными, в каждом отдельном случае—неповторимыми, то есть все—со своим лицом. Всё, что он делал, было не механически, не шаблонно сделано им,—нет, и в мыслях такого не было у отца, сроду такое в голову прийти не могло ему,—да и с какой это стати кого-нибудь там повторять?—нет, слава Богу, фантазии своей у него хватало,—и всё, что он делал, было не сделано—создано им.

Он сам чинил всей семье обувь. И делал это профессионально, надёжно, на совесть. Что бы ни требовалось починить—сапоги, ботинки, ботики, туфли, сандалии, валенки, домашние тапочки, модельные женские туфли, босоножки, кеды, калоши—всё, что угодно, всё, что носили мы в разную пору года, всё, что стирали, сбивали, снашивали, продырявливали и рвали,—всё он брал и чинил. И мелькали в умелых руках его молоток, и мелкие гвоздики, и заплатки, и клей, и дратва, и большая, с кручёной суровой нитью, игла—цыганская, толстая, с широким ушком, и шило, и полоски резины, и кусочки кожи,—и обувь после ремонта была ну прямо как новая—потому что, и ремонтируя, то есть воссоздавая её, отец всё равно, в силу изобретательского своего дара, по привычке своей творческой, неизменно её—создавал.

Инструменты всегда—для многих случаев и для многих дел—были у него наготове. Множество инструментов. Но ведь и дел—множество. Инструменты, самые разные, были ему нужны. Содержал их отец в образцовом порядке.

Он хорошо—и даже, в целом ряде случаев, отменно хорошо, профессионально,—и вот ведь что поразительно,—видимо, интуитивно, ведь не учился же этому никогда и нигде, а действовал по наитию—и вдруг начиналась практика, быстрый процесс усвоения, постижения всяких секретов—и всё, он понял, в чём суть,—разбирался в технике, в моторах, в электричестве, мог починить часы, отремонтировать газовую плиту, водопровод, сам проводил отопление в доме, сам настилал полы, самолично же выстругав предварительно и обработав каждую доску, сам настилал и ремонтировал крыши дома, летней кухни, сараев, садовых построек, сам вымачивал двор, сам делал забор, сооружал навесы и беседки, ремонтировал стены и потолки,—ну и так далее, всего не перечислишь,—знал он все строительные и ремонтные работы. Он столярничал, слесарничал, плотничал,

токарничал. Он умел, похоже, делать всё на свете. Вот какое ремесло, какое занятие ни припомню — всё, решительно всё умел делать мой отец.

Если он увлекался виноградарством, например, то не так, как все окрестные жители, а по-своему, непременно — с открытиями, с новшествами, и он писал об этих своих новшествах статьи в специализированные садоводческие журналы, и статьи эти охотно публиковали, а потом и соседи, потихоньку, один за другим, а за ними и всё население Гданцевки, перенимали эти новшества, и урожаи у всех в округе бывали отменными.

Если я сейчас расскажу, какие, в мои детские и отроческие годы, бывали у нас урожаи — то мне и не поверить могут, особенно — люди, которые сроду ничего подобного не видывали и которые даже приблизительного, даже отдалённого представления, даже крохи этого представления не имеют о том, что такое — в прежние-то годы, при условии должного труда на своей земле, на украинском щедром чернозёме, когда не была ещё угроблена экология, в окружении доброй, отзывчивой, благодатной природы, и небес, на которых, казалось, высвечивается имя древнего нашего ведического бога — Нэбо, посреди разливанного птичьего щебета и высокого шелеста буйной зелёной листвы, в дни, когда драгоценная радость людская, великая сила, не только жива была в нас, но и ширилась, и возрастала, а с нею, конечно, цвела на земле и любовь, — были настоящие урожаи. А между тем это святая правда. Скажу, чтобы поняли: сон, предание, сказка.

Если он увлекался рыбалкой, то опять-таки, не как все мужики, просто удил рыбу, и все дела: мол, повезёт — не повезёт, как уж выйдет, и нечего тут мудрить, — но обязательно — с выдумкой, со своей бесконечное восхищение до сих пор у меня вызывающей, неизменной природной фантазией, только — с творчеством, с изобретательством, — придумывал какие-то особые снасти, каких раньше сроду не бывало, но без каких он уже не мыслил для себя рыбалки, придумывал рыбацкое снаряжение, в котором, конечно, учитывался опыт прошлого, но в котором вдосталь, с избытком, было нового, им предложенного, своего, им увиденного — в воображении, воплощённого им — в реальности, в деле, как и всегда у него бывало, — предлагал применять какие-то разработанные им специальные приманки, на которые рыба шла косяками, просто валом валила, ну как мошкарка на огонь, и клёв рыбаку был обеспечен с гарантией, и рыба клевала, клевала, и оставалось только вытаскивать и вытаскивать её из воды на берег, — и прочее, и многое другое, в чём я, к сожалению, не очень-то разбираюсь, но что и меня, мало понимающего

в рыбалке, неизменно восторгало своей непохожестью на стандарты, острою ищущей и всегда находящей нужное решение мысли, свежестью и новизной, — и писал об этом статьи, которые печатали уже в рыболовских тогдашних журналах, статьи с прилагаемыми к ним рисунками, схемами, чертежами, наглядными, простыми и доходчивыми, — и вскоре окрестные рыбаки перенимали эти его новации, и рыбы ловили вдоволь, на радость супругам и детям, и всегда возвращались домой с хорошим уловом, и уже не представляли для себя рыбалки без такой вот регулярной удачи.

Однажды он написал целую книгу о труде художника-оформителя — большую, полезную книгу, настоящее серьёзное исследование, где, помимо его интереснейшего авторского текста, открывающего многие секреты его мастерства, содержащего собственные его размышления и соображения об этом мастерстве, были изображены на специальных, тщательно выполненных иллюстрациях и подробно описаны десятки изобретённых им приспособлений, упрощающих, улучшающих и усовершенствующих этот оформительский труд, — и охотно делился своими открытиями с местными художниками, с товарищами по цеху, по ремеслу, и всем им давал читать свою книгу, машинописную, с нарисованными им от руки иллюстрациями, и те охотно перенимали его открытия и пускали их в ход, в дело, благо все указания, рекомендации, советы, предложения для этого были налицо, и оформительское мастерство в нашем городе вскоре действительно возросло, более того — смело могу утверждать, что уровень его стал по-настоящему высоким, — а книга так и не была издана, — о чём отец, вначале повздыхав, позже особо и не печалился.

Он увлёкся чеканкой — и достиг в этом деле больших, надо признать, высот. И в этом был он неповторим. Оригинален — не то слово. Именно неповторим. Такой чеканки, как отцовская, не припомню я что-то. Лицо работ, почерк, тематика — всё было его собственное, им, прямо по ходу, придуманное, тут же осмысленное, сразу же созданное. В чеканке проявился и декоративный его дар. Материал, приёмы работы — всё было незаёмным, своим. И ощущение от каждой вещи, двойное, — и вещи именно, то есть изделия, рукотворного, которое приятно было в руках держать, и произведения искусства, которое следовало повесить на стену и долго рассматривать, — отчётливо помню я. Такое вот объединение — ремесла и искусства. И отец это сам прекрасно осознавал. Работы свои — раздаривал.

Он увлекался деревянной декоративной скульптурой. Ему всегда нравилось работать с деревом,



резать по дереву. Ему нравился этот материал. Природный! Он трудился увлечённо. И выходили — чудеса. Он делал великолепные деревянные подсвечники. Делал какие-то резные, сквозные, лёгкие подставки, на которых оживали букеты осенних цветов. Астры, упругими, звёздчатыми кружочками раскрывшие, плотно, один к другому, расширяющимися рядками, от жёлтой сердцевины в стороны, вытянувшие свои лёгкие, перистые лепестки. Георгины, тяжёлые, сочные, словно налитые тёмной, густеющей кровью, со стеблями, зелёными, крепкими, пьющими круглыми, широкими срезами, как через тростинку, воду из глиняного, только что налитого до краёв, отсвечивающего солнцем кувшина. Хризантемы, лиловые, белые, жёлтые, розоватые, сизо-бордовые, всякие, с горьковатым и терпким их запахом, с привкусом осени и предвестием сонных туманов, ночей, где на западе виден в густой темноте звёздный Ковш, и Полярная — Ур, звезда наших предков, русов, называет север по имени, окликает его в небесах, и бескрайний Чумацкий Шлях сквозь пространство и время уходит прямо в Ирий, где вечен свет, светел дух и жива любовь, — хризантемы, каскадами, гроздьями, ворохами, охапками в вазах, банках стеклянных, кувшинах, долгим празднеством прочно стоящие вот на этих отцовских подставках, — видно, надо бы их называть по-другому, да не знаю уж, как их теперь и назвать — волшебством, или сном, или музыкой, связанной нитью незримой с цветами. Он делал трости, трубки, мунштуки. Даже садовую скульптуру деревянную, больших размеров, — она и стояла прямо у нас в саду — делал.

Он сам построил себе мастерскую в саду — небольшую, но очень удобную, с застеклёнными восточной и южной сторонами, всегда светлую, полностью залитую нашим тёплым, золотистым солнечным светом, — и долгие годы, вставая, как обычно, с зарёй, увлечённо работал в ней.

И действительно, кто рано встаёт — тому Бог даёт.

Многое, очень многое давал Бог моему отцу.

Он воскресил память о криворожском лётчике и авиаконструкторе-самоучке Григории Прокопенко.

Вот об этом — достаточно сжатый, но, поверьте мне, важный рассказ.

Надо, пожалуй, сознательно подчеркнуть мне, что Криворожье — особая, не похожая на другие края, земля. Во многом, в очень уж многом загадочная — для учёных. И не только для них одних. Я-то знаю, что говорю. Таинственная. Вот именно. И настолько, что диву даёшься. Ведическая. Свидетельствую: сверх меры порой — магическая. Древняя. Даже очень. Потому-то ещё — и мистическая.

Здесь проходит издревле некий, очень странный, разлом почвы. Здесь повсюду такая мощная энергетика, что над проблемой прямого её воздействия и на среду окружающую, и на людей давно уже стоит всерьёз призадуматься. Здесь всегда почему-то было буквально великое множество талантливых, удивительно, щедро, празднично как-то, людей во всех областях человеческой обширнейшей, бурной деятельности, от связанных с техникой, скажем, прикладных, до сугубо творческих — писательской, композиторской, художественной и так далее, вряд ли стоит перечислять, потому что и так всё ясно. То есть, можно сказать, и физиков, и самых отпетых лириков здесь всегда, при любых властях, во все времена, хватало. Не говоря уж о тружениках просто необозримого по размаху, исконного, сельского, налаженного с умом и с толком немалым, хозяйства и мощнейшего, по масштабам великанского, производства, всей представленной здесь промышленности, всех карьеров и комбинатов, этих шахт глубоких бесчисленных, рудников колоссальных, фабрик, с целый город размером заводов. Но в том-то и штука, сознательно акцентирую ваше внимание на факте, не любопытном, а прямо из ряда вон выходящем, нет, вырывающемся, что среди всех этих местных, симпатичных вполне, людей было, ну хоть отбавляй, — с избытком — способных и даже очень способных, таких, чей дар проявлялся и крепнул, а то и очень талантливых.

Откуда такое обилие действительно светлых голов? Откуда столько различных, впечатляющих дарований? Почва такая. Природа. Память. И — явь. Среда.

Есть у нашего края свои собственные, незаёмные, а именно геокосмические, ни больше ни меньше, особенности. Можно сказать, что он — часть некоей уникальной, обширной, загадочной зоны, одной из важнейших, возможно, из подобных ей на Земле. Можно сказать, что это — нечто вроде Бермудского треугольника, что ли, поскольку затрудняюсь я подыскать более точное, правильное, по науке, определение — это учёные пусть сами определяют.

Именно здесь находится часть большой, известной давно, магнитно-радиационно-гравитационной аномалии. Она связана с очень древним разломом земной коры. Когда-то здесь был — представляете? — океан, да ещё и первый на планете нашей, — могучий, величественный океан. А вернее — праокеан. Этот разлом снизу доверху заполнен различными рудами. Как известно, у нас в Кривом Роге добывают, не только со скифских, но и с более ранних времён, железную, первосортную, очень качественную руду. Есть в этой руде и золото. Есть ещё и уран. И даже какие-то, вроде зелёные, драгоценные камни, забыл их название, по значимости своей, может, равные изумрудам,

есть в нашей железной руде. Наверняка и ещё немало чего в ней есть.

Здесь сгруппированы, именно здесь почему-то сосредоточены — уверен, что не случайно! — словно специально собраны в одном месте мантийные каналы и своеобразные гравитационные трубопроводы, которые, как считают знатоки, соединяют центр Земли нашей — согласитесь, действительно любопытной планеты! — с другими, очень важными в этом общем единстве, в этой прочнейшей связи всего и со всем, центрами Вселенной. Не нарушена, нет, — продлена и прочна эта древняя связь. То-то звёзды в краю моём сердцу близки и душе. Потому-то и жив там Агни. Потому-то и много там неба и света. Всем пространством степным — прямо к звёздам. Незримая связь и духовная нить. И оттуда — опять возвращенье. Представляете? Вот и хорошо. Так всё и есть.

Известно, что в наших степях — привольных, полынных, бескрайних, седых, с глубокими балками, с каньонами рек, со скалами крутыми, холмистых, бугристых, словно брови грозно сдвигающих при виде врагов, плодородных, поросших буйной растительностью, с тополлями традиционными и вербами над водою, с большими и малыми сёлами, с густыми садами, с колодцами-журавлями, с птичьими стаями в синем небе, с приветливым солнцем, с полнолунием волшебным, со звёздами, столь светло и роскошно сияющими по ночам с непостижных высот, что задумаешься поневоле, почему так тянет порой ввысь, туда, к этим звёздам, с земли, благодатной и обжитой, но родство искони с ними чующей, — очень много древнейших курганов. Им по несколько тысяч лет. А в те времена, далёкие, согласитесь, и легендарные, для некоторых — мифические, для знающих — исторические (поскольку память о прошлом никому не удастся вытравить из сознания), у народа нашего удивительного была одна, всех решительно устраивавшая, привычная, да к тому же ещё и надёжная, крепкая власть — жрецы. Так вот, курганы, такие загадочные, и всё же почти домашние, наши, местные, располагались вовсе не наобум, не наугад, лишь бы только воздвигнуть их где придётся, да и дело с концом, — нет, они располагались на выходах мантийных — подчеркну это сознательно, чтобы запомнили вы, — каналов. Можно вообразить, какая здесь энергетика, если в один клубок, в узел один крепчайший когда-то соединились наша, здешняя, местная, магнитная энергетика, да ещё и, к ней в дополнение, две других, серьёзных вполне, — радиационная и гравитационная! Жрецы ведические знали своё дело. Они создавали святилища. Вечная, кровная связь неба с землёю. Стержневое мышление русское. Дух, Свет, Путь, Дом. Нить крепчайшая. Родина речи.

Замечу, что православные, то есть более новые, храмы, недавние, относительно, конечно, для нас,

но для нашей истории — точно уж новые, обычно, так было принято, возводились на месте древних, чтимых предками, русских святилищ. Там, где энергетика особая.

Вне всякого сомнения, энергетика эта очень даже воздействует и на сознание, и на подсознание. Воздействует на людей, обитателей этих мест. Активизирует внутренние, дотоле временно дремлющие или долго дремавшие силы. Пробуждает их, разом, вдруг. Побуждает людей к действию, к поступкам, к подвигам, к творчеству. Я уверен, что мощнейшие эти энергии действуют и на мозг, и на душу, и на строй мыслей, и на образ жизни. Самое поразительное в них — способность давать людям камертонный, как в музыке, творческий, всё в дальнейшем решающий импульс. И тогда начинается — творчество. А оно, земное, небесное, человеческое, Божественное, гармоничное, светлое творчество, — сущность нашей, людской, природы. Естества непростого нашего. И всего мироздания — нашего с вами, все мои современники, все минувшие и грядущие поколения, то есть общего, встарь, и днесь, и впредь, навсегда, для всех нас, други, единого для всех, поверьте, родного. Работа. И — только так. Прежде всего — работа. Человеческий, певческий, творческий, вдохновенный, провидческий труд. Созидание — в мироздании. Для продолжения жизни. Для возрождения жизни.

Змееборчество. Творчество. Жречество. Подвиг вечный — во имя отечества. Прави явленной торжества. Коло. Таинство. И — волшебство.

Интуиция. Подсознание. Взгляд осмысленный. Слух открытый. Путь осознанный — вглубь и ввысь. Озарение. И — прозрение. На свободном пути — горение. Выход — в небо, к другим, неведомым, познаваемым лишь в движении, в устремлённости всей в пространство, в изменении самые разные, чтоб единство Вселенной нашей там, вдали от Земли, постичь и на Землю вернуться вновь с новым знанием, с твёрдой верой в неизменный спасительный свет над судьбою, над речью, чутким к нам, землянам, отзывчивым исстари, понимающим нас мирам.

Стержневое мышление русское. Нить наития. Стёжка узкая. Стержневое. Навек. Насквозь. Шлях Чумацкий. Земная ось.

Здесь, в стенах наших, есть этот стержень — стержень духа, и света, и дома, и пути, и всемирной культуры. Здесь — важнейшие, древние, жизненные, полнокровные, светлые силы, долготелья залог, для меня. Здесь — моя, родимая почва. Велико её притяжение.

Чтобы светом её напитаться, возвращаюсь я к ней отовсюду, где бы ни был я, снова и снова — ибо здесь возрождение духа, ибо здесь она, родина речи.

Почва. Природа. Среда.

Издrevле — и навсегда.

Вот и лётчик наш, Прокопенко.

Самоучка ведь. От природы—удивительно просто, сказочно, да и только, невероятно, так, что лишь руками приходится развести, понимая это, грандиозно талантлив был. Человек украинский, сельский, родом из одного с моим отцом процветающего, большого степного села, с юности, даже с детства, тянулся он почему-то не к чему-нибудь там иному, что попроще, но именно к технике. Причём к такой, обращаю на это внимание, технике, в которой в первую очередь, обязательно, всенепременно, была бы не просто новая какая-нибудь особенность, но, прежде всего, новизна, непохожесть на ранее виденное, и лучше всего—небывалость.

Ведическая, несомненно, добротнейшая закваска была у этого жаждущего новизны во всём человека. Почва—степная, приречная, чернозёмная, то есть извечная, череду поколений взрастившая, пропитавшаяся за столькие отшумевшие где-то века кровью предков, её защищавших, потом предков, на ней трудившихся, светом солнечным благодатным, полновластным сиянием лунным, звёздным, видимым в ночи, мерцанием, всеми запахами—и трав, и цветов, и костров, горящих на холмах, и печных дымов, и, особенно, выпекаемых в хатах белых, как день, хлебов,—совершенно всего, что связано с нею, доброй, щедрой, любимой, от беды издревле спасающей, плат небесный вдали поднимающей, словно мать родная,—была.

Особенно—вот что существенно—влекла его авиация. И понятно уже—почему. Тяга—давняя, кровная—к небу. Выход—с детства увиденный—в небо. И к другим, полагаю, мирам. Стержневое мышление русское. От земли—до самых небес.

Он мечтал научиться летать—и, конечно же, научился—и стал, от случая к случаю, помаленьку, не часто, летать. Но это—полёты на кем-то другим, чужим сконструированном и сделанном самолёте—его уже не устраивало. Он мечтал создавать самолёты. Свои собственные. Такие, какими всё чаще, всё чётче рисовались они ему в его не знаящем удержу, пылком воображении. Ни на один из уже известных—совсем непохожие. Небывалые. Словом—новые. И он, решившись однажды, начал их создавать. Начал строить. Сам, своими руками. Здесь, у нас, в провинции, в городе, у себя во дворе, возле дома, прямо в старом просторном сарае. Никогда и нигде он этому, разумеется, не учился. Но ему ведь было—дано. И он воплощал мечты свои в явь—конструировал смело и строил, один за другим, в одиночку, свои самолёты. И все они без исключения—вот уж чудо так чудо—летали, да ещё и прекрасно летали!—и он испытывал их, и летал на них увлечённо сам, на собственных, на своих, им же созданных, самолётах.

Власти ему не мешали. Ну что делать, бывает всякое, увлечение у человека, не совсем обычное,

да, это верно, такое, особенное,—самолёты—надо же!—строить. Странноватый, конечно, согласны, человек. Да уж ладно, спокойный. Идеями да открытиями своими всегда одержимый. Работой своей увлечённый. Никому никогда не мешает. На основной работе—где числится он механиком—зарекомендовал себя он, судя по многим отзывам, хорошо, всяческих порицаний и выговоров никаких не имеет и не имел, не прогульщик, не лодырь какой-нибудь—наоборот, старательный, честный, трудолюбивый, серьёзный, весьма полезный работник. Нормальный член рабочего коллектива. Бывали и поощрения, получал и похвальные грамоты от начальства, всё честь по чести. Ну а то, что свои самолёты дома строит,—ну что с ним поделаешь?—блажь, конечно, ещё и какая, наподобие детской игры, хоть и взрослый он гражданин,—да ведь, как ни крути, согласитесь, увлечение это, и всё тут, в нерабочее время, понятно, между делом, так, на досуге, потихоньку, без лишнего шума,—фантазёр, наивный мечтатель, весь в себе, и у нас на виду. Словом, чем бы дитя ни тешилось. Ну и пусть себе строит, пожалуйста, на здоровье, никто не против, что-то в этом, возможно, есть. Не опасный вовсе для общества человек. И не вредный. Может быть, допускаем, даже полезный. Всё-таки—самолёты.

Учёные ровным счётом о нём ничего не знали. «Мы ленивы и нелюбопытны»,—лишний раз, увы, подтверждается пушкинское утверждение. Учёные находились—где-то там, совсем далеко, в других, больших городах, и прежде всего в столице. Где-то там, далеко, днём и ночью работали предприятия, на которых энтузиасты строили самолёты. Где-то там, далеко отсюда, кипела всяко интересная, полнокровная, щедрая жизнь, бурлила научная мысль. А здесь была—глушь. Типичная. Натуральная. Просто—глушь.

Летом, рассвет встречая, по дворам петухи голосили, с утра надрывался где-то за рекой заводской гудок, а потом, словно вмиг спохватившись и смутившись, разом стихал, но зато прорезался в тёплом, пронизанном солнцем воздухе деловой, басовитый гудок маневрового паровоза, какое-то время держался на весу, вместе с облачком пара, и вдруг исчезал, надолго, может, и навсегда, только сорванные гудками с ветвей деревьев и с крыш галки да воробьи носились шумными стаями в небе, крича, по-своему, что-то почти понятное всем, о покое и воле, цокали по булыжной мостовой подковы смиренных лошадей, натужно скрипели несмазанные колёса то пустых, то гружённых всякой всячиной телег, изредка резко визжали тормоза редких автомобилей, топали по тротуарам стёртые подошвы совслужащих, кирзовые сапоги красноармейцев, шумели увлечённые азартной своей игрой мальчишки, но все эти звуки доносились точно сквозь сонную пелену,

и налетающий нехотя ветер поднимал обильную пыль, и день казался чрезмерно долгим, и зной, обволакивающий окрестности, постепенно становился тягостным, а позже и невыносимым, но к нему всё равно привыкали, как и вообще ко всему в украинской провинции привыкают в итоге люди, к любым переменам, в погоде ли, в жизни ли, приноравливаются, к любым событиям, сколько их было — не сосчитать, да где они, кто его знает, но быт оставался таким, каков есть он, каков, наверное, будет и там, в грядущем, то есть самим собою, и город был просто самим собою, таким, каким постепенно складывался, вместе с развитием в нём производства, заводов, шахт, рудников, открытых карьеров, где добывали железную, нужную всем, руду, и основой его, сердцевинной, был старый центр, где здания, построенные в симпатичном, не без некоторой нарядности, традиционном для всех южных губерний дореволюционной России архитектурном стиле, чередовались, теряясь от негаданного соседства, с белёными саманными хатами, с невероятными скопищами откровенно убогих лачуг, с огородами, обнесёнными отдалённым подобием заборов, с разросшимися на приволье широко и свободно садами, порою каким-то чудом удерживающимися на опасных высотах, над приречными кручами, порою же как-то радостно сбегаящими вниз, к речной прохладной воде, для всего живого желанной, и особенно в летнюю пору, и вокруг странноватого этого, с причудами явными, города простирались на все четыре стороны белого света бескрайние степи, холмистые, изрезанные морщинами оврагов, каньонов, балок, полынные, Дикое Поле, древняя Русская Степь, Индия приднепровская, Славия, Оратания, Аратта, со всеми её ипостасями, всеми названиями, огромная, благодатная, могущественная страна, и всё это было в прошлом, и всё быльём поросло, и стояло в округе лето, и сияло солнце, и вечер наступал с тишиной усталой, а потом приходила ночь, и с мерцанием звёздным сливались песнопенья бессонных сверчков,

осенью шли дожди, куда-то на юг, наверное, в блаженный, сказочный Ирий, улетаели, прощально взмахивая расправленными крылами над родными краями, птицы, осыпались жёлтые листья, оголялись ветви деревьев, одичалый ветер бродил по садам окрестным, в тумане, в одиночестве, сквозь пространство с островками редких огней,

зимой было снежно и холодно, река замерзала, время шло медленнее, чем обычно, клубились в небе дымы,

а весной пробуждалась природа, вся разом, и жизнь продолжалась в разливах чистого света, сплошного, вне всякой тьмы.

Здесь никто не придёт к тебе, не посмотрит, что ты там делаешь. Здесь никто тебе ничего не

подскажет, лучше не жди. Не посочувствует даже. Здесь — всё делаешь сам, только сам. Но зато — вопреки всему, в чём ни отзыва нет, ни внимания, ни участия, ни поддержки, — делаешь то, что хочешь. И даже, коль к этому призван, — собственные самолёты.

Для того она, видно, и глушь, чтобы в ней всё больше рождалось светлых душ. И светлых голов. На разломе коры земной. Да ещё при явном наличии такой вот, с творческой сутью, энергетики небывалой. На выходе — прямо в небо. И к другим, конечно, мирам. На родной криворожской почве.

А в городе он был — героем, легендой. Ещё бы! Наш, местный, многим — знакомый, и даже хорошо знакомый, человек — и не кто-нибудь там попроще, а творец самолётов. Это вам не хухры-мухры.

«Без діла слабіє сила», — украинская поговорка. Была у Прокопенко сила, было дело. Дающее ему новые силы. «Хто дбає, той і має», — украинская поговорка. В своих бдениях, в неустанных своих трудах имел Прокопенко то, к чему стремился, видел реальное воплощение мечтаний своих — свои самолёты. «Правду не сховаєш», — украинская поговорка. И прокопенковской правды — его трудов, его самолётов, — никак не спрячешь.

Это был не одесский Уточкин — человек рискованный, спортсмен, гонщик, лётчик, герой, конечно, да ещё и немножко клоун, цирковой, безусловно, рыжий, с сумасшедшинкой, общий любимец, над которым, им восхищаясь, можно было и пошутить, потому что черты смешные проявлялись всё время в нём, несмотря на его спортивность и бесстрашие, — человек на виду, на слуху, известный, ну а всё же чужак, и баста, говоря грубее — чужаки, балаганный паяц, да и только. Это был — наш, местный, свой в доску, хоть и странный слегка, криворожский Прокопенко, хлопец что надо, создатель своих самолётов. То есть герой иного рода, уже серьёзный, тут ведь и так всё ясно, — рангом куда повыше.

И вообще, людей, подобных ему, Прокопенко, просто не было, вот в чём дело, вот в чём весь парадокс, тогда. (Полагаю, что нет и сейчас. Днём с огнём не найдёшь такого — и в былом, отшумевшем времени, и в сегодняшнем смутном времени. Если есть — уже не такие. Интересы у них — другие. Но таланты — живы в народе. Может, кто-нибудь нас — удивит.) Уникум он был. Единственным, неповторимым, таким вот, каков он есть, — украинским, провинциальным, самолётостроителем страстным, в нерабочее время, в условиях зарождающегося повсюду, чтоб окрепнуть, социализма, с его постоянной, нужной, нередко и самоотверженной работой на благо родного, хорошего вроде бы общества, прежде всего, и только потом уже, после трудов на производстве, скажем, или же на селе, со всем остальным, стоящим на втором и на третьем плане, включая пристрастия

личные, увлечения самые разные, и так далее, всё по порядку, по какому-то непостижимому предписанию, вроде сурового, в духе сводок военных, декрета, по приказу, считай, кремлёвскому, всем, для всех, чтобы все подчинялись, чтобы место знали своё, чтобы жили, не выделяясь, в массе всей, как положено,—был. Оригинал? Да. Может быть, и чудак. Но—не чужой, а—свой.

Любили его в городе. И уважали. А местная детвора—та его почитала, та его обожала. И ведь было за что почитать, за что обожать. Для мальчишек он был сверхгероем, примером для подражания, недосыгаемым покорителем неба, существом почти сказочным, исполином, кумиром.

Отец помнил, как человек-легенда, в собственном, сконструированном им же, большом открытом автомобиле, весь, с ног до головы, в кожаной одежде, в кожаном шлеме, со сдвинутыми на лоб защитными очками-консервами, подтянутый, молодцеватый, перетянутый тугими ремнями, скрипящий кожей, приветливый, улыбающийся, но и таинственный, словно гость из будущего, приезжал к ним в село, к своей родне, выбегавшей из хаты к нему навстречу, говорившей торопливые слова приветствия и всплскивавшей руками, и долгожданный их гость—просто из города ли, действительно ли из будущего—выходил из машины и шёл к ним, и следовали объятия, поцелуи, восклицания, причитания, и вся родня, вместе с гостем, шла в хату, где уже накрывался стол, и начинался пир для собравшихся родичей, сельское застолье, и вскоре к звону чарок примешивались женский хмельной смех, мужское басовитое гудение, а потом из всех окон на улицу, заросшую спорышом и полынью, со столбиками мальв, напоминающих праздничную иллюминацию, и плетью кручёных панычей, увивавших тын, на котором торчали кверху дном глиняные глечики, вырывалось дружное громкое пение, постепенно, по мере выпитого самогона, превращавшееся в разлаженное, покуда совсем не утихало, покуда не наступал чарующий сельский вечер, тихий, пронизанный травянистым плавучим, цветущим запахом медленной, сонной влаги от близкой реки, с пастушьей Венерой в небе, с надвигающейся с востока тягучей и леностой тьмотою, а потом наступала и тёплая, тёмная, осенённая звёздами ночь,—

а наутро, умывшись у криницы, гость уже шёл к стоявшей возле хаты родственников машине, где его уже ждали сельские ребяташки, и широким весёлым жестом приглашал их, всех вместе, забираться вовнутрь, что они и делали немедленно, залезая, запрыгивая, ныряя в просторное нутро автомобиля, устраиваясь и на сиденьях, и на полу, всё равно, не важно, лишь бы всем оказаться—там, только б всем поместиться там, чтобы не было ни

у кого ни досады, ни слёз, ни обид, и в итоге все помещались,—

и Прокопенко, пришелец из будущего, таинственный гость в кожаном облачении, в кожаном шлеме, в огромных дорожных очках, делавших лицо его, простое, крестьянское, неузнаваемым, неземным, катал их, ребяташек, долго, к всеобщему их удовольствию, катал по селу, по окрестностям, выезжал и в степь, далеко, и рулил по холмистой, поlynной, изрезанной балками, с чередой курганов у черты горизонта, наполненной ветром степи,—и казалось, летел он по воздуху, в своём самолёте, вместе со своими пассажирами, сельскими ребяташками, а не ехал, хотя и быстро, с ветерком, по степной дороге,—

и отец навсегда запомнил ощущение не поездки—полёта, и руки в перчатках с раструбами на круглом, со спицами, насаженном сверху на торчащий откуда-то снизу штырь, послушном руле, руки шофёра, руки пилота, руки создателя самолётов, и запах бензина, смешанный с запахом поднимаемой целыми тучами по сторонам, вылетающей из-под шуршащих колёс горячей пыли, и запах кожи, и скрип этой кожи, скрип сидений, скрип богатырского облачения их кумира, и дорогу, и ветер грядущего, бьющий прямо в лицо, и глаза Прокопенко—ясные, как степная, родная даль.

Отец видел его самолёты, его полёты на них. В синем небе, вверху, над зелёной землёй—рукотворные лёгкие птицы. Красавцы-самолёты. Самодельные. Самиздатовские, так сказать. Лаконичные, точные очертания фюзеляжей. Лёгкие крылья, широко раскинутые в стороны. Гул работающего мотора. Вращающийся пропеллер—точно светлый, бликующий на солнце диск. Состояние подъёма духа—и подъёма самолёта в воздух. Состояние радостного возбуждения—и успешного приземления самолёта. В кабине его—витязь в кожаном шлеме, гость из будущего, покоритель воздушной стихии, человек-легенда, Прокопенко. И—восторженный рёв толпы. И—всеобщее неудержимое, жгучее желание: снова увидеть героя—в действии, в небе, в полёте. Увидеть—и опять возликовать.

Шли двадцатые годы. Прокопенко продолжал усовершенствовать свои самолёты. Новые идеи буквально переполняли его. Творческая фантазия была в нём ключом. Сделает самолёт, полетает на нём—и вот он уже не устраивает конструктора, уже нужен новый, более совершенный. Трудился человек. Сплошное горение шло в нём.

Наконец, в Харькове, тогдашней столице Украины, прослышали о Прокопенко. Вначале посмеялись, для порядка: да что вы за сказки, мол, рассказываете такие? «Ну как это может человек запросто, чуть ли не шутя, у себя дома, во дворе, строить самолёты?»—«Да кто он вообще такой?»—«Самоучка? Самородок?»—«Ну, это ещё поглядеть

надо». — «Поживём — увидим». А потом и заинтересовались им: «А мало ли что?» — «А вдруг это надежда авиастроения?» — «И посмотрите ведь — из народа». — «Выходец из низов, так сказать». — «То, что надо». — «Подходящая фигура». — «И ведь, заметьте, летают его самолёты, и хорошо летают!» — «Что-то, видимо, в этом самоучке есть, определённо есть». Дошло наконец и до властей, и до учёных: ведь собственный, украинский авиаконструктор у нас имеется. Прирождённый. Талантливый. «Товарищи, это такая находка!» Приехали столичные посланцы в Кривой Рог, поглядели на прокопенковские творения — и ахнули. Пора, ох пора привлечь такого человека к настоящему делу — конструированию самолётов, уже в государственном масштабе, и к производству таковых.

Был какой-то очередной праздник. Прокопенко попросили полетать — на его новом, очередном, самолёте — да так, чтобы собравшимся людям было на эти полёты смотреть интересно. Попросили показать различные фигуры пилотажа. Ну и всё, что умеет. По его усмотрению. Лишь бы здорово было.

Прокопенко пришлось согласиться. Ему уже надо было ехать в Харьков, приступить к конструированию новых самолётов, — на предприятии, где его с нетерпением ждали. Но он отложил ненадолго свой отъезд.

На празднике он поднялся в воздух — с ипподрома, находившегося в те годы на Гданцевке нашей, на берегу Ингульца, — в пяти минутах неспешной ходьбы от дома, в котором я вырос.

После войны ипподром упразднили, а на этом месте построили автобазу, — и знал я о нём только понаслышке, но ясно представлял себе, где он был расположен.

Прокопенко взлетел — и стал выполнять всякие сложные фигуры пилотажа. Он увлёкся. Он уже продемонстрировал чудеса. Он уже превзошёл, можно сказать, себя самого. Но ему, герою, воздушному витязю, козаку-запорожцу на крылатом коне, — и этого было мало. Собравшаяся на ипподроме в честь праздника толпа восторженно приветствовала его воздушную акробатику. Такого здесь ещё не видавали. Прокопенко хотел, видимо, поразить людей — чем-то вовсе уж необычным. На одном из фантастических витков — он чего-то не рассчитал. И разбился.

И погиб криворожский Икар. Славной смертью погиб, как в бою, — подчиняя стихию воздушную. Подчиняя воле своей пространство и время. Погиб создатель прекрасных крылатых машин, хотевший, помимо упрямого освоения сложного, непри- вычного для него витка в небе, ещё и подарить радость собравшимся посмотреть на его полёт людям, — да, прежде всего — дать, принести эту радость чудесного всем, кто пришёл сюда. Так, отважно, героически, погибали в сражениях его

предки-запорожцы, но радость победы их узнавали защищённые ими люди. И молва о них долго, веками, жила в народе. Погиб потомок славных запорожцев. Рухнул его самолёт на родную землю. И обломки крыльев разлетелись по воздуху, далеко, широко, на все четыре стороны света. И степные чайки взмыли, крича и плача, в синее небо, и сильные крылья их реяли в синеве, так похожие на крылья прокопенковского самолёта. И сизые горлицы заплакали, запричитали, встревоженные увиденным. И люди, сбежавшиеся отовсюду к месту падения самолёта, ничего уже не могли сделать. Погиб козак. Было ему всего тридцать три года.

В Харькове погоревали о том, что талантливый изобретатель, самоучка, их надежда, вне всякого сомнения — восходящая звезда отечественного авиаконструирования и самолётостроения, натуральный подвижник, герой, погиб в столь молодом возрасте, — да и забыли о нём. И в Кривом Роге, с годами, — забыли.

Но отец мой — нет, не забыл. Многие годы спустя после пересказанных мною событий, уже в восьмидесятых, — он словно услышал зов. Словно голос услышал — призывающий его к действию. Он расспросил всех помнивших Прокопенко людей. И узнал о нём, по возможности, — всё. Он написал о Прокопенко большую статью — и опубликовал её в местной газете «Червоний гірник». Он нарисовал — по памяти — выразительный его портрет. Криворожский основоположник местного, домашнего, самиздатовского, самостоятельного, но и поистине замечательного самолётостроения — смотрит с этого портрета на забывших его земляков, смотрит во всём богатырском своём облачении — в кожаной куртке и в кожаных брюках, в кожаном шлеме. У него открытое, широкое славянское лицо. Как окно — нараспашку — в пространство! Лоб его чист и высок. И крупна голова его. Сколько же там, в светлой этой голове, содержалось потенциальных открытий, сколько новых проектов готовилось там, в этом испытывавшем неустанное творческое горение, изобретательском мозгу! Сколько новых, уникальных самолётов могли бы взлететь в синее отечественное небо! Если бы... Да, вот это «если бы». Если бы не столь ранняя, нелепая гибель. Смотрит Прокопенко на земляков, смотрит в будущее, смотрит распахнутыми в мир, совершенно детскими своими глазами, и глаза эти — очень серьёзные. Вечная ему память! И спасибо — отцу моему.

В Доме культуры, где он работал, был знаменитый на всю страну танцевальный коллектив. Я помню статьи о его триумфальных выступлениях на разных сценах Союза, репортажи, фотографии — в газетах, в журнале «Огонёк», снятый



о нём документальный фильм, который смотрела, здесь же, в кинозале Дома культуры, вся наша Гданцевка, все поголовно жители заречного нашего рая, и потом приходили снова — и смотрели ещё и ещё — ну а как же? — ведь это наши, наши местные, все знакомы, все знакомы, и вот — известны, ну а может, и знамениты, ну конечно же, знамениты, ведь недаром же их снимают и показывают в кино.

В Доме культуры было множество всяких секций, в том числе и музыкальных. Может, назывались они и не секциями вовсе, а кружками, не скажу сейчас поточнее, слишком времени много прошло. Но они были — в Доме культуры. И они были — для культуры. И — во имя культуры. Уж такой, какова была она. Уж такой, каковой представлялась всем — в пятидесятых годах. И, надо сказать, занимались в этих секциях, или кружках, где была среда, где были собеседники, единомышленники, — охотнейшим образом, увлечённо, самозабвенно, вечерами, в свободное от работы на производстве или от занятий, у кого — в школе, у кого — в институте, время, — самые разные, в тяге своей к культуре — прекрасные, страстные, знакомые, местные люди. Огромной и властной была эта общая тяга к культуре. Тяга к творчеству, прежде всего. Люди — жаждали творчества. Люди хотели творить — и творили — искусство. И ведь какая прорва способных и талантливых людей заполняла громадное здание Дома культуры — и представить себе не могут этого нынешние гданцевские жители. В пятидесятых люди жили — на полную катушку. Им надо было самовыражаться. Им требовался выход — к небу, в свет. Они и шли сюда — здесь было им светло.

Особенной популярностью у моих земляков — при всеобщей, повальной певучести и музыкальности их, — разумеется, пользовались музыкальные секции.

И я помню в отцовских руках — самые разные музыкальные инструменты. Возьмёт, посмотрит внимательно, попробует, как это звучит, припоровится, сосредоточится — и вдруг играет! Как это ему удавалось? Откуда это было в нём? Не знаю.

Нет, знаю. От природы. От Бога. Такой вот дар. Сроду он не учился музыке — а так её чувствовал, так понимал, так хорошо умел играть.

Я не помню в его руках разве что саксофона.

И то вполне вероятно, что в ту пору, когда в Доме культуры, как раз после произведшего переворот в сознании у молодёжи всего Советского Союза, да и не только у неё, проходившего в Москве Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, организовали местные энтузиасты джазовый ансамбль, для маскировки, для приличия, по-советски, называемый, конечно же, эстрадным ансамблем, который, в ходе концерта художественной самодеятельности, уже в самом конце

концерта, на закуску, словно сюрприз или вкусное лакомство, ожидаемый всеми в зале, потому что из-за него-то все, и я в их числе, и пришли в этот вечер сюда, ожидаемый, предусмотренный, всем нам загодя твёрдо обещанный — и всегда неожиданный — вот он! — застающий всех нас врасплох, чтобы, вдруг спохватившись, ликуя, в предвкушении музыки, и не просто эстрадной, а джазовой, мы восторженно, даже неистово, разом, вместе, авансом, заранее, не дождавшись и первого номера, аплодировали ему, — появлялся вдруг перед нами на высокой, просторной сцене, весь в сиянии света, бликующего на пленительных инструментах, из которых вот-вот польются хрипловато-гортанные звуки всем знакомых в то время мелодий, этих лодок, летящих под парусом по речной расплещенной влаге, среди солнечных отсветов, лунных отражений и звёздных высей, в ритмах ветра и листьев шумных, в пёстрых россыпях брызг и синкоп, — и высокий парень-рабочий, руководитель ансамбля, вскидывал, вверх и к губам, пылающую, нет, пышущую безмерным внутренним жаром, готовую звуком излиться, начищенную трубу — и подавал музыкантам неуловимый знак, и — вот оно, вот оно, ну, наконец началось! — раздавалась, нет, вырывалась — к нам, притихшим, с восторгом внимавшим чуду джаза — «Аппассионата», или марш «Сент-Луи блюз», или грустный ноктюрн «Ночь в Гарлеме», — всё равно, мы всему — внимали, восторгались — всем, что звучало, принимали всё, что играли музыканты, поскольку всё это было тогда в новинку, совпадало с биеньем крови, с нашей школьной взрослостью, с нашей независимостью от правил той игры, что хотело время, вместе с властью, всем нам навязать — посреди столетия, в начале нашей жизни, — нет, мы хотели быть всегда самими собою, как бы жизнь ни сложилась, — выход мы искали из духоты, из обмана, из глухоты, из провинции, — к свету, к людям! — и прорывом всеобщим в завтра жили все мы, и в жилу был нам так победно звучащий со сцены, разрешённый гданцевский джаз, — отец мог, вот так же, под настроение, взять да и поиграть на саксофоне. Наверняка получилось бы!

Ему было — многое дано. Дано — многое сразу, и — щедро.

Но основной его дар — был дар художника.

Был он просто замечательным акварелистом. Выдающимся.

Подобных я не встречал.

Фонвизин — великий мастер, виртуоз акварели, и там — игра, там изыск, и полёт — цирковой, и мир — камерный, комнатный, сжатый вовнутрь, и всё это полно блеска, и детскости, и обаяния, и тайны, и нешуточной, но — галантной какой-то, деликатной, воспитанной, сдержанной силы. Я знал

Артура Владимировича. Видел, как он работал. Ещё в шестьдесят пятом году, в самом конце мая, в период разгрома СМОГА и моего изгнания из университета, накануне отъезда на Тамань, в экспедицию, прямо в речь, что открылась мне там, прямо в лето, в новую книгу, написал он портрет мой, сказав: «Вот, Володя. Теперь смотрите. Вы — поэт настоящий. И я написал вас таким — поэтом». Я взглянул на портрет — и увидел себя, вдохновенного, юного, золотым озарённого светом, с запрокинутой ввысь головою, с полуприкрытыми глазами, читающего, от сердца человека к человеку, старому художнику стихи свои, читающего — поющего, себя — в звучании речи, в звучании музыки — той, что рождалась в ту пору во мне, чтоб книгою летнею стать, а с нею — и жизнью грядущей моею, той жизнью, которую я вспоминаю теперь, и вижу, и слышу, и сизнова переживаю, — а ветер гудит за стеною и плещется в окна с дождём. Честь и слава художнику! Помню, помню всё — наши встречи, беседы, — и, даст Бог, расскажу о нём.

А отец мой — другой. Он — сам по себе. И подход к акварели, и техники, и методы работы, всё — своё, личное, ни на что и ни на кого не похожее, да такого и быть у отца не могло. Отец — пейзажист. В работах его, прежде всего и всегда, в любой его вещи, — есть то, что Грин называл парением духа. Он дарил людям — радость. Нёс он — свет. Выражал — дух, созидательный, творческий, древний, — родного края своего, родного мира своего. Дома своего. Почвы.

Я помню, как восторгались работами отца моего московские художники, мои друзья-приятели, герои и подвижники неофициального русского искусства, новаторы, авангардисты.

Игорь Ворошилов, когда он жил у меня, в конце шестидесятых, и очень много у меня работал, или просто потом, в начале семидесятых, захаживал, по привычке, по старой приязни, ночевал, застревал, бывало, надолго, рисовал, философствовал, пил вино или водку или гонял бесконечные чаи, в зависимости от настроения, состояния души, отсутствия или наличия средств к существованию, это уже не важно, важно — что приходил, и довольно часто, и горение в нём продолжалось, творческое, высокое, — рассматривал порой подолгу отцовские акварели, и задумывался, и вздыхал, и закуривал, и негаданно вдруг оживал, и взволнованно, всюю душою, говорил мне:

— Володя! Ты посмотри, сколько света! Старик, ты взглядишь только: видишь, какой свет? Откуда? Я понимаю: отец твой — человек особенный. В каждой его акварели, какую ни смотришь, везде этот свет. Небесный? Ну да. Но и земной, понятное дело. Он у него — единый свет. Вселенский.

Созидательный. И ты знаешь — он мне жить помогает. Кроме шуток. Я говорю совершенно серьёзно. Вот бываю я у тебя — и всё время на картинки твоего отца поглядываю. Притягивают они к себе. Чувствую это. И я вначале просто поглядываю — то краем глаза, то повнимательнее, трезвыми глазами. А потом начинаю — смотреть. Не на них, а — в них. Туда, в глубь их. Вглядываюсь в них. Вхожу. Это можно сделать, ты знаешь. При условии, если картинки — настоящие, с тайной. И они открываются мне. В них — свои измерения. И свои — пространство и время. С ними можно жить — и в них можно жить. Они сами — живые. И принимают к себе — понимающих их людей. Они открываются мне — потому что чувствуют это. И начинают — звучать. Да, звучать. А что? Это правда. В них есть музыка. Я сказал бы, что это — музыка бытия. Свет и звук — в каждой вещи. Что-то волшебное. Может, и самое главное. Они, акварели эти, меня — врачуют. Душу мою исцеляют. Я это уже несколько лет ощущаю. И посмотри, какое в работах твоего отца небо! Как говорил мой любимый Бёме о небе? Я напому. Он так говорил: «Теперь замечь себе образ неба: когда ты смотришь на мир сей, то пред тобою прообраз неба». Чувствуешь? И ещё говорил он о небе: «Звёзды знаменуют Ангелов: ибо подобно как звёздам надлежит пребыть неизменными до конца сего времени, так и Ангелы должны вечно пребывать неизменными в вечном времени неба». И я это вечное время неба вижу, когда смотрю все эти акварели. И за ними, далеко, глубоко, звёзды вижу. И присутствие Ангелов чувствую. И когда отца твоего изредка вижу, сразу Ангелов почему-то вспоминаю. Представляешь? Почему так бывает? Загадка. Вот ещё что Бёме говорил, о небе: «Стихии знаменуют дивную соразмерность и переменность образа неба: ибо подобно как глубина между землёй и звёздами непрестанно меняется в образе своём, то она дивно светла, а то затуманена, то бывает ветер, то дождь, то снег, и глубина бывает то голубой, то зеленоватой, то беловатой, то тёмной. Такова и переменность неба в многообразии цветов и образов; однако не по тому роду, как в мире сём, но сообразно восхождению духов Божиих: и свет Сына Божия сияет в нём вечно, но одно восхождение бывает всё же больше в этом рождении, нежели другое: потому дивная премудрость Божия непостижима».

И Ворошилов, глядя то на отцовские работы, то на меня, пристально, в упор, выразительно простирает руку ввысь.

Он сам был чистейшим и светлейшим человеком, добрый мой друг, Игорь. И, несмотря на внешний свой, нередко почти охламонский, вид, — чрезвычайно образованным человеком. Своего любимого Бёме цитировал он в наших с ним незабвенных беседах часто, охотно, порою целыми страницами, наизусть. И сейчас, вспоминая

ворошиловские слова, рассуждения его об отце, об отцовских работах и— ну как обойтись он без них мог?— цитаты из Бёме,— я всего-навсего уточнил и проверил по книге текст.

На протяжении нескольких лет Ворошилов неизменно мне говорил:

— Ты, когда к родителям в Кривой Рог поедешь, приветы им от меня передай. Маме, конечно. И отцу— большой, большой привет передай. Так и скажи: от Игоря Ворошилова привет вам огромный.

Своих родителей с детства называл он на «вы». И в его сознании, как понял я позднее, образы моих родителей, о которых столько я ему рассказывал в часы наших с ним душевных бесед, как-то соединились, что ли, сопоставились, укрепились рядом, совсем близко, и даже наравне с образами его, ворошиловских, родителей, проживавших тогда на Урале.

— Не забудь,— говорил Ворошилов,— привет отцу от меня передай. И моё почтение, искреннее. И восхищение. Скажи ему: это искусство. Как я его понимаю.

Я, разумеется, твёрдо обещал ему передать приветы от него— и передавал их. И родителям, особенно отцу, это было приятно. И важно. Для него— для художника. Потому что его— понимал Ворошилов. Самого Ворошилова— мой отец давно понимал.

Володя Яковлев, полуслепой, но— всё чующий, зрячий внутренним зрением, ясновидчеством дивным своим, подойдёт, бывало, к висящей на стене отцовской акварели. Вплотную приблизит к ней лицо своё. Всматривается, сильно щуря глаза. Будто внюхивается даже. Вдыхает её. Вбирает, впитывает в себя.

Потом отодвинется от работы, отойдёт на шаг, всем корпусом, резко, повернётся ко мне. Снова сощурится, всматриваясь, глядя уже на меня:

— Алейников! Твой отец рисовал?

— Да,— отвечаю ему.

— Настоящий художник! Так ему и передай— от меня. Скажи: Володя Яковлев просил передать, что он— настоящий художник.

— Обязательно передам!— обещаю.

А сам— радуюсь, там, внутри. Для меня самого это— важно.

Яковлев— интуит. Он искусство— нутром, хребтом чувствует. И если уж он, в общем-то не такой уж щедрый на похвалы человек, такое говорит— значит, так всё и есть.

Впервые увидел Яковлев отцовские работы у меня дома, в шестидесятых. Дома— это в той квартире, где я тогда жил в Москве. И с тех пор, неизменно, при наших с ним встречах, которых в дальнейшем было множество, вспоминал о моём отце.

— Настоящий художник! Ты сказал ему это? Передал, что я о нём думаю? Ты сказал, что я так считаю?

— Передал, конечно, передал ему всё,— отвечал я,— и о том, что ты так считаешь, сказал.

— Ну, здорово! Хорошо!— и в почти чёрных, с огромными, расплывшимися зрачками, глазах Яковлева появлялась какая-то тёплая лучезарность.

Вслед за этим, регулярно повторявшимся, допытыванием, передал ли я отцу яковлевское мнение о нём, без пауз, Володя уже тащил меня в свой рабочий угол— смотреть новые гуаши. Что я и делал— с превеликой охотой.

Толя Зверев, Тимофеич, как некоторые любили его называть, в меру выпивший, но всё на свете ясно и трезво понимающий, позабыв о привычном своём ёрничестве, нередко и юродстве, которое было для него старым, испытанным русским способом самозащиты, задумчивый, несколько посветлевший всем своим колобродным, но всё равно притягательным, магнетическим обликом, похрюкивая, посапывая, что-то там про себя приговаривая, ходил, бывало, кругами, полукругами и прочими напоминающими знак бесконечности фигурами движения в пространстве— по комнате, по середине её, вдоль стен, в углах, где только можно было ещё двигаться, можно было пройти, чего-нибудь не нарушив, не задев на пути, поводя широкими, покатыми плечами, покачивая всегда взъерошенной, самолично— по тени на стене— подстриженной головой, и всё поглядывал остро сощуренным глазом, будто бы ненароком, будто всколъзь, из-за плеча, вполоборота, по ходу, в процессе движения, на отцовские акварели,— и вдруг не выдерживал, разворачивался, подходил к ним ближе, плотнее— и впиался глазами в них, что-то мурлыча, почти напевая, и высматривал в них что-то нужное только ему, и смотрел, и потом затихал, и глаза его карие становились добрее, теплее,— и, в итоге не в силах сдерживать неких мыслей и чувств, накопившихся там, внутри, и в сознании стройном его, и в душе, говорил: — Слушай, Володя! Твой отец— то что надо художник. На пять с плюсом!

Скажет— и лицо его преображается. Сияние в нём появляется. И всё куда-то улетучивается, мгновенно исчезает с глаз долой— одутловатость, небритость, вся его нарочитая неряшливость,— будто стряхивает он их с себя,— и вот он, весь как есть, стоит передо мною, Зверев, тамбовский, русский, светлый человек, и знает он— что говорит и как мне говорит он об отце.

Володя Пятницкий, таинственный, чудесный, тишайший, светом внутренним сияя, добрейший Пятница, милейший человек, в часы бессонниц

собеседник задушевный, закинув свою как-то выразительно, подчёркнуто красивую, с длинными, словно отброшенными далеко назад, за худые плечи, за воротник, на спину, волосами, точно изваянную на редкость удачно природой, в порыве вдохновения, казачью голову, голову художника, прозревающего в своих работах то, что не дано было прозреть другим, постоянно находящийся в своих, прочим не ведомых, наркотических, сновидческих, ясновидческих состояниях, не замечающий по этой причине ни жары, ни холода, ни похвал, ни обид, равнодушный к людской суете, сильный—своей внутренней силой, верный—своему пути, своему духу, своему свету, стоял, в длинной, старой солдатской шинели, заменяющей ему пальто, перед отцовскими акварелями—и появлялось у меня ощущение, что он—пребывает сейчас там, в отцовских пейзажах, путешествует в них, бродит, смотрит на мир отцовский чистейшими своими глазами, и хорошо ему там, покойно, вольготно ему там бродить себе не спеша, думать свои, неизвестные всем, бесконечные думы,—и мир этот близок ему, дорог ему, потому что он светел и чист,—и Володя поворачивал ко мне своё измождённое, бледное, с узкой бородкой, лицо, которое, несмотря на его худобу, и скуластость, и отрешённость от быта, от мирской несуразицы, и глухие следы разрушения от наркотиков и алкоголя, проступавшие временами на нём, всё равно оставалось сияющим таинственным светом, в чистоте своей—просто прекрасным, и которое так и хотелось сравнивать иногда с постоянным источником света, потому что светилося оно изнутри, из души,—говорил: —Светлый человек твой отец. Светлый художник. И в акварелях его—светлая радость!

Ну а Петя Беленок—тот к отцовским работам оставаться равнодушным никак не мог. Они приводили его в небывалое волнение. Причём волновался он искренне, откровенно и непосредственно, как ребёнок.

Длинный, худющий, в старых джинсах и старом свитере, посверкивая лысиной, потряхивая круглой головой, пощипывая своей длинной, узкой, чуткой кистью скульптора, с тонкими, нервно подрагивающими, на ощупь способными ваять из глины, из гипса, из всего что угодно скульптуры пальцами седеющую, коротко подстриженную бородку и аккуратно подстриженные, седеющие усы, Петя рассматривал отцовские акварели, то близоруко поднося их почти вплотную к небольшим, глубоко сидящим, иногда беспомощно-детским, столь доверчивым, светлым глазам, то отодвигая их, на вытянутых руках, на некоторое расстояние, и всё причмокивал языком, поахивал, покряхтывал, постанывал, отчего издаваемые им звуки сливались в

сплошное какое-то «ох, ух, ах»,—и видно было, что работы очень, просто очень ему нравятся—и это он так переживает их, так выражает своё одобрение, своё восприятие их.

Оторвавшись от работ, Петя говорил мне: —Твой отец—молодец! Работы—люкс! Не как либо что, а что либо как! Наш хлопец. Это наша Украина.

Особенно любил Беленок подчёркивать это украинское: вот, мол, видите, какие мы все, украинской землёй выращенные, гарные люди! Сами видите, сколько у нас настоящих талантов.

Он и по-человечески очень любил моего отца. Сядут, бывало, в сторонке от всех вдвоём, беседуют по душам—иногда и на мове, по-украински. А то и поют, вдвоём,—украинские песни.

И отцу моему симпатичен был Беленок. Всегда он меня о нём спрашивал: «Как там Петя?» Приветывали его, разумеется, передавали.

Сближала их—любовь к родной природе. И даже не сближала, а роднила. И верность родине. И песням. И, конечно,—незыблемая верность их—искусству.

Выходец с Украины, из-под Чернобыля, Петя Беленок тосковал в Москве. Жил как на чужбине. Однако не возвращался. Да и куда было возвращаться? Тем более, после аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которую Беленок заранее предчувствовал и последствия которой с потрясающей силой выражал в своих многочисленных работах (вот загадка: где же все они теперь?), и возвращаться—то было некуда: родное село—оказалось в зоне.

Петя тосковал. Выпивал. С годами—всё более в себе замыкался. Доходило до того, что месяцами он из мастерской, а потом и из квартиры своей, на улицу не выходил. И происходило с ним—что-то очень уж тяжёлое, страшное, что он всячески стремился от друзей, от знакомых—скрыть, по традиции защитной своей отшучиваясь, остра, переводя разговор на другую тему.

А его тема была—родина. Эту духовную нить, незримую связь Петя сызнова чувствовал только в беседах со мной. Только в нашем долгом, доверительном, плодотворном, дружеском по-настоящему общении он порой раскрывался.

Пожалуй, один я—из всех—и знаю его таким, каков был он. А человеком был он чистым, грустным, ясным—как песни, что певали мы вдвоём, те песни украинские, что встарь звучали—там, в подвальной мастерской на Абельмановской, потом—на кухне полупустой его квартиры, где близко, в двух шагах, через дорогу, чуть шелестело листьями Кусково, и вставшие на цыпочки деревья заглядывали ночью к нам в окно.

И сколько раз подобное бывало, и сколько добрых слов—не счесть—я слышал, от множества

знакомых об отце и творчестве его в былые годы!— в шестидесятых, семидесятых, восьмидесятых годах.

В своих пейзажах отец мой так выразил дух, душу и свет наших степей, с их реками и облаками, берегами, заросшими вербами и тополями, с их холмами, садами, селениями, с их временами года, чередующимися столь же естественно, как естественна, чиста, светла, щедра и земля эта, с их состояниями природы, с проявлениями силы их и красоты, со всей растительностью их, всею тайной и всею славой,— как никто, пожалуй, не сумел больше этого сделать.

И его органичное, светлое, созидательное и целительное творчество, его акварели, полные музыки, и добра, и внимания к естеству, и понимания сущности мира, космической сущности, и вселенских незримых связей, и невидимых нитей духовных в пространстве и времени, и гармонии мира, и любви, и единства сущего, повлияли, слава Богу, на меня—благотворно, хорошо, вовремя повлияли, помогли мне в моём становлении творческим куда больше и серьёзнее, нежели многое другое.

Несмотря на то, что по образованию своему я историк искусства, не стану я сейчас рассказывать подробно об отцовских акварелях. Рассказ об этом пусть придёт в мои тексты сам. Скажу только, что у отца было немало персональных выставок, и людям, приходившим на эти выставки, отцовские работы очень нравились, люди чувствовали в них—своё, родное, чувствовали—дух и свет своей земли. Об этом свидетельствуют и многочисленные благодарные, нередко и восторженные, записи в сохранившихся книгах отзывов, оставшихся в родительском доме, и публикации в прессе.

Отец, помимо того что рисовал, ещё и всегда сам окантовывал свои работы. Под стеклом, в паспарту, в раме, акварели делались, мне казалось, ещё выразительнее и сильнее.

— Глубина у них появляется!—объяснил мне отец.

Он сам делал рамы, сам их красил, покрывал лаком. Сам нарезал стёкла нужного формата. Сам находил наиболее подходящее оформление для каждой работы—и я привыкал вот к такому именно виду конкретной работы, и потом, иначе оформленной, мне уже трудно было её представить.

Он сам привозил или приносил свои работы на каждую выставку, если таковая была в нашем городе, сам обдумывал экспозицию, сам развешивал работы.

Когда-то, во время учёбы моей в мгу, преподававшая нам директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина, «пушкинского», или

«на Волхонке», как мы его называли, Ирина Александровна Антонова, поставила мне пятёрку за экспозицию.

Отцу моему я поставил бы три пятёрки, с плюсами.

Его вело чутьё.

Во всём, что он делал, была гармония.

Интуитивно всегда находил он самое верное решение, что бы ни делал он, чем бы ни занимался.

В нём было много наивного, детского. Он был—чистая душа. И ещё он был не просто светлым. Просветлённым. Когда в шестидесятых годах, в Старом Крыму, навещал я, бывало, Григория Николаевича Петникова и слушал его рассказы о друге его молодости, Велимире Хлебникове,—я всегда вспоминал своего отца. Что-то свойственное Грину было в нём—и что-то свойственное Хлебникову. И некоторая схожесть их обликов была чудесна—в духовности, в чистоте этой и наивности, в отрешённости от суеты мирской, в сосредоточенности—в себе, в красоте этой, внутренней прежде всего, да и внешней отменности, выразительности лиц их и судеб,—прозревал я родство этих душ, прозревал, различал эти нити духовные, эти незримые связи, которые чувствуешь вначале, а потом уже различаешь. И всё же, во всём совершенно, был отец мой—самим собою и никем, никогда, иным. Личность—вот что сразу чувствовали все без исключения, от простых людей, с улицы, до людей искусства. И ещё—сберегающий тайну. Хранитель традиции. Ведический человек. В одиночестве светлом своём—долголетнем, земном. В устремлённости к небу. В подвижничестве и затворничестве. В этом жречестве, в этом служении истине праведном. В творчестве. Где весь мир—его дом.

Отец, щедрая душа, любил дарить людям свои работы. Иногда он дарил одну-две акварели. А иногда раздаивал их чуть ли не пачками. Причём остановить, сдержать его в таких случаях было невозможно. Ему нравился сам процесс дарения. Ему вообще нравилось делать что-нибудь приятное, хорошее симпатичным ему людям. А если человек оказывался понимающим, если отец чувствовал, что работы его такому человеку дороги, что чувствует он их по-настоящему, глубоко, что они близки такому вот чуткому, чующему их подлинность, осознающему их сущность, восприимчивому их особую музыку живописную, их ясный свет, серьёзному, толковому зрителю, собседнику, ценителю,—тут он волновался, вдохновлялся, был растроган, обрадован—и, как правило, делал этакий широкий жест, осуществлял, так сказать, большое дарение,—и счастливцу такому, случалось, доставалась целая серия великолепных

пейзажей, просто так, от души. С удовольствием отец надписывал свои работы, даря их кому-то, причём дарственные надписи получались предельно искренними и трогательными, тоже — от души.

Дарить, отдавать, раздавать — чтобы радовать людей, чтобы радости, а с ней и желанного света, больше в мире стало, — это было его, врождённое, родовое и вместе с тем — осмысленное, сознательное, целенаправленное и упрямое, именно отцовское, творческое, — в порыве, по чутью, жертвенное в известном смысле, может, и ритуальное даже, а может, и магическое действие, — да и праздничное, быть может, — ну да, потому что подобные ситуации, когда ясны были и понимание, и взаимопонимание, и высекался огонь доверия, а с ним и веры в искусство — для собеседника, принимающего дары, — были для отца всякий раз, неизменно, — праздником.

Всегдашнее стремление Божьего дара — одаривать и других.

На то он и Божий дар, чтобы не быть эгоистичным, чтобы не замыкаться только на себе самом.

На то он и дан, Божий дар, человеку, художнику, чтобы отдавать на пути своём в мире, пусть и называется этот мир юдольным, чтобы целыми пригоршнями раздавать, чтобы любыми мерами и ёмкостями, что под руку подвернётся, — берите, держите, всё — ваше, всё — для вас, добрые люди, — раздаривать напропалую, безоглядно и вдохновенно, это свечение, это сияние, это слияние с естеством, и Вселенной, и космическим разумом, эту взаимосвязь всего и со всем, это единство всего сущего, сущего, душу художника не гнетущего, но по жизни ведущего, сущего — для грядущего, там, в грядущем, потом, понимания полного ждущего, — и оно, понимание, — будет.

Вначале добро — творить.

И тут же добро — дарить.

Отец, как некогда Зердест Спитама, называемый Заратуштрой, по-своему решал извечный вопрос о добре и зле в мире. И так же, как и Зердест, сын Догды и Старошаста, твёрдо верил в окончательное торжество добра над злом.

Человек — говорил Зердест — обладает свободной волей и может сам выбирать между добром и злом.

Отец мой выбрал — добро.

Истинным человеком — так говорил Зердест — может быть назван лишь тот, который, сердцем своим исповедуя правую веру, всеми своими силами всегда стремится содействовать победе добра над злом: противится вредному и плохому, приветствует всё полезное и хорошее, берёт под своё покровительство и опеку все создания,

приносящие пользу, возделывает землю, соблюдает законы и правила, чтит священный огонь, воду и землю, отродясь не лжёт, сдерживает страсти свои и желания.

Мой отец был — таким.

Когда Зердест напрямую спросил Ормузда, светлого бога: какое из Божьих созданий самое лучшее? — Ормузд ответил ему: лучше всех — человек, чистый сердцем.

Отец мой — сердцем был чист.

Он, как и Зердест Спитама, умер на семьдесят восьмом году жизни.

Для меня он — жив.

Зер-дест. Украинское «зір» — «зрение». Дающий зрение. Спи-та-ма. «Спросить» по-украински — «спитати». «Ма» — это «мать». «Ма!» — говорят дети. «Ма» — это и «мя», «меня». Спроси — меня. Ну прямо украинского, читай — древнерусского, давне-русского, типа — имя и родовая, из рода Спитамидов, фамилия у русского пророка. И почему это он к персам причислен? Ну, бывал там, жил некоторое время, проповедовал своё учение. (Впрочем, персы — от русского корня. Вспомним Рама, с его исходом, вместе с частью народа нашего, из Поднепровья — на восток, поначалу — на территорию будущей Персии, где основан был им город Вер, и только потом уже — в Индию, в страну, созданную предками нашими, название которой дали они по имени реки родной, Днепра, — древнего Инда.)

Родом Зердест — с Южного Урала. Из города Агарты (Гдани). Из страны Ариана-Вейи — Арьяварты.

Не столь уж далеко от этих мест, от Аркаима, где Зердест, предательски убитый в спину, ножом, жрецом Рарогом, судя по всему, и похоронен, поскольку с юга возвратился он сюда, неподалёку от его родной земли, — родина моих предков по материнской линии. Селение Сарма. На берегу реки — Большого Ирги́за. Сар-ма. «Сар» — это «царь». «Ма!» — говорят дети матери. Мать царей? «Ма» — это и «мя», «меня». Царь — меня — основал? Сарма. Сар-матия. То есть — та же Русь!

В Кривом Роге, на родине отца, на Гданцевке, где я вырос, была Царская Могила — особо почитаемый народом курган. Стоял он на низинном берегу Ингульця — Пантикапеса скифов. «Панти» — это «путь». «Капа» — «рыба». Путь рыбы. И действительно, очень рыбная была река, ещё и в довоенное время, в двадцатые и тридцатые годы, — это мне отец рассказывал. Местность, заречная, тихая, закрытая от степных ветров высокими прибрежными холмами, которая уже где-то на грани девятнадцатого и двадцатого веков стала называться Гданцевкой, раньше так и называлась — Царская Могила, и одновременно называлась — Тихий

Притулок, то есть Тихий Приют, Тихое Пристанище—так, приблизительно, по-русски, сейчас можно перевести. Но ведь было, с таким же значением, как и на украинском языке, хорошее русское слово—«притул». И ещё—«притулье». То есть «приют», «пристанище», «пристань». Убежище, кров и защита. «Ни притулу, ни затулу»,—поговорка русская. А здесь—был притул. Так и следует перевести—Тихий Притул. Ну, ладно уж,—приют. «Курган» по-украински—«могила». Их много в наших краях. Царскую Могилу—почему-то снесли, срыли. А делать этого, да ещё этак вот, варварски, не зная, что к чему, никакого понятия не имея о том, что творят,—не следует. Мало ли какая энергия высвобождается тогда? Жреческая магия, пусть и многотысячелетней давности, силу свою вечно сохраняет. Древние наши жрецы, несколько тысяч лет назад,—очень многое знали—из такого, к чему нынче люди, ищущие ответы на множество вопросов, только робко приближаются. Да и земля у нас, почва,—особенная. Выше я говорил об этом. Но мы жили на Гданцевке. В Тихом Приюте. Как в раю жили. Возможно, высвобожденная энергия, щадя людей и природу, и помогала нам.

— Там наші петри!—говорили порой старики.  
«Петри» по-украински—это «паттары».  
Пращуры, предки.  
«Пішов до петрів»—значит, умер кто-то.  
Так говорили.

Бабушка Марфуша, отцовская мать, в молодости—красавица, южного, восточного типа, смуглая, черноволосая, глазастая, которую в детстве называли в селе—цыганча, всем обликом своим невероятно походила на женщин, которых мы видели в индийских фильмах. И немудрено. Из наших же приднепровских краёв и увёл в своё время часть народа Рам—в Индию. Старики говорили, что позже, спустя долгие столетия, часть народа снова вернулась обратно, на родину, в приднепровские степи,—да ещё люди принесли с собою вишню. И разрослись вишни по всей Украине.

Моя бабушка по материнской линии, Пелагея Васильевна Железнова, урождённая Кутузова, родом из Южного Поволжья, с берегов Большой Иргиза, из Сармы, часто рассказывала мне, что род наш—очень древний. Мы, в семье, звали её бабой Полей. Она тоже была красавицей в молодости, но другого, более светлого типа, да и всегда, всю жизнь, была именно красива—и внешне, и духовно. Она обладала просто феноменальной памятью. Мне открывались в детстве, благодаря ей, сокровища фольклора. И редкостное благородство было в ней, чистота сердца и души. Ах, бабушка! Скольким я ей обязан!

Все женщины в нашем роду были—красивы. Так повелось, так выходило. Мама моя—красавица.

И духовно, и внешне. А ещё—есть в ней сила великая. И обе дочери мои, Мария и Ольга,—тоже красавицы.

В поволжских степях, на родине бабушки и мамы,—река Большой Иргиз, селение Сарма.

В украинских степях, на родине отца,—река Ингулец (Пантикапес—скифов, Хингули—ведической древности), город Кривой Рог, и в нём—наша Гданцевка, где был Царский Курган.

В Поволжье—древний русский род, сарматский, материнский.

И на Украине—древний украинский, то есть тоже русский, скифский род, отцовский.

Недалеко от Гданцевки, в нескольких километрах к югу, за поворотом реки,—родное село отцовское.

Там, на берегах Ингульца, несколько старых сёл.

Сичевановка (от украинского слова «січ», то есть—«сечь», Запорожская Сечь),

Скелеватка (украинское «скеля»—это, по-русски, «скала»,—и действительно, берег реки порою высок и скалист, а ещё скала—символ стойкости духа, и недаром Тычина сказал: «Стою, мов скеля, непорушний»—«Стою, как скала, несокрушимый»),

Ново-Николаевка, где мы, в сорок шестом году, всей семьёй приехав с Урала, некоторое время, в доме бабушки—отцовской матери, жили, да и позже сюда погостить приезжали летом,

Новосёловка—вплотную к Ново-Николаевке,

Шамановка (не случайно это название—и шаман, из прапамяти, ну а может, из памяти более свежей, далеко не случаен),

Катериновка—на другом берегу,

Латовка—на другом берегу, на отлогом,

Рахмановка (вот и рахманы, из древних легенд украинских, то ли мудрейшие, лучшие из всех живущих людей, то ли умершие пращуры,—ещё в старину, в незапамятные времена, ушли с Украины, родной земли своей, далеко ушли, за Синее море,—и с той поры, все годы, в день церковной Пасхи,—по-украински «Пасха»—«Великдень», и слова этого ведическая суть—день Брахмы, Велесов день,—бросают люди в реку скорлупу от крашенок-яиц, чтоб весть река рахманам принесла—отсюда, с родины,—увидев скорлупу, свой Великдень они за морем пусть отметят,—и есть второй, Рахманский Великдень, когда у нас на Украине покойных родичей смиренно поминают,—но всё-таки не все ушли рахманы за море Синее, и брахманы-жрецы не все ушли отсюда, и волхвы не все исчезли,—нитью ли духовной, незримой связью ли, сквозь время и пространство, мышление проходит стержневое, исконно русское, и нет ему преград, и что ему запреты и гоненья, когда грядёт, уж скоро, возрождение родного дома, духа, света и пути,—тогда и ты мои страницы перечти).



Некоторые из этих сёл основали мои прямые предки, запорожские козаки, которые, после упразднения Екатериной Второй этой степной, приднепровской вольницы, Запорожской Сечи, можно сказать — государства в государстве, страны козаков — кшатриев — воинов, осели на этих приречных, чернозёмных, плодоносных землях и постепенно превратились в хлебопашцев, садоводов, огородников, то есть сельчан, по-украински — селян, весьма вольнолюбивых, впрочем, колоритных и талантливых даже в ведении своего хозяйства людей, но прошлое своё — не забыли.

А несколько подальше на юг, почти на юго-восток, неподалёку от Днепра, есть в степях таинственное урочище, связанное с нашим родом по отцовской линии. Периодически вспоминаю о нём — но не раскрываю тайн.

Все эти совпадения, сближения — не случайны.

Что сблизило отца и маму? Что заставило моих родителей приехать после войны на отцовскую родину? Я знаю — что. Призыв отцовской матери, моей бабушки Марфуши, урождённой Бурлаченко, фамилия которой происходит от украинского слова «бурлака» — «вольный козак», «свободный человек», — призыв её, даже — властный приказ: вернуться на родину предков. И жить именно здесь. Что отец мой и осуществил. Для него они были едины — мать родная и мать-Украина. Так я и вырос здесь, в украинских вольных степях, на родине предков своих.

Морозная цвела на стёклах вязь — на речь в ночи немое притязанье, — и должно ли, улыбочиво склонясь, рассматривать старинное вязанье, что, памятью заволжскою светясь, печаль уже наваяло степную? — продлись, мой род! — не рвись, живая связь! — сквозь время щурясь, всех я именую!

Были предки исполины — благодать на воле! — были души исцелимы от хандры да боли. Были судьбы опалимы огоньками дали — от Урала и до Крыма пели да рыдали. От ушедшего к закату ключ не оброните, отыщите же когда-то связанные нити. Багровеет под ногами, вспыхнув гранью среза, берегами Саксагани скифское железо.

И лакомствами полная кошница, и соль земная в старом узелке, и всё, что впредь, наверно, отоснится, ещё и здесь — и где-то вдалеке. Ещё стоят над краями туманы, но свет за ними чудится сплошной — и где-то там, за Индией, — рахманы во всём блаженстве жизни островной.

Степной изъезженный простор, малороссийский, не монгольский, уклон, порывистый и скользкий, подъём, неспешный до сих пор, тот путь

кремнистый, как-нибудь, а всё же к югу выводящий, из мрака на море глядящий и не смущающий ничуть, всё льющий млечную теплынь, да выющий нити смоляные в часы пустынные ночные, да раздвигающий полынь, речную плещущий волной, листвою струящийся незримой, чтоб голос пел неповторимый о том, что сбудется со мной.

Между прочим, Юрий Петрович Миролюбов, тот самый, что, находясь в эмиграции, переписал с дощечек «Велесову книгу» и тем самым её спас, до революции жил именно в наших краях, чуть севернее Кривого Рога, и даже, скорее, в окрестностях города. Именно здесь слышал он от стариков много интересного о старине нашей, наблюдал различные древние обряды, случаи чудесного исцеления — обычные в практике сельских знахарей, встречал ворожей, знатоков подлинных Вед, узнавал поразительные подробности быта народного, прочными корнями связанного с ведическими временами, как и народная духовность, как и народное творчество. Именно здесь начал делать он свои первые записи об увиденном и услышанном. И хотя изрядная часть миролюбовских записей была утрачена в годы революции и Гражданской войны, немалая часть их всё же уцелела — и в дальнейшем послужила основой для большой серии написанных этим, выходит, земляком моим книг, незаменимых для слишком долго лишаемых исторической памяти современных людей, которые хотят знать, кто же они такие на самом деле есть.

Что за радость и что за величье в этой песне сплошной, в этом ставшем родным безграничье, где пахнуло весной, где шумерской тоской между-речья сквозь прапамять ветвей и корней будет край мой охвачен за Сечью до скончания дней.

Чтоб услышать поистине странный предзакатный старинный рассказ о героях из Трои туманной, о потомках троянцев среди нас, — встань вот здесь, где в саду, за верандой, мы беседуем тихо в тени, — да и розу называли трояндой не случайно в минувшие дни.

Не лишним будет заметить, что и я, ещё с детства начиная, в наших краях немало чего повидал и услышал от старых людей, о чём обязательно постараюсь ещё рассказать. Это — к слову. Но к слову, разумеется, — ведическому. Как и вся моя родина. Родина речи.

Верни заветное, дыхание продли давнишней радости и нынешней печали, со мной в затворничестве участь раздели и в мир войди со мной, — чтоб так же, как в начале, тобою полнилась расплёснутая мгла — и вера ясная с надеждой возростала,

с любовью крепнула, хранила и вела,—пойдём же, речь моя,—пора моя настала.

Здесь и повсюду, ночью и днём—Дух, Свет, Путь; знать, это чудо,—то-то с огнём—жуть, нить, суть. Мира не спрятать, не изменить мхом, сном, льдом; душу в юдоли будут хранить—Бог, Речь, Дом.

Мой отец превосходно умел рисовать с натуры, но не любил этого делать. Рисовал он—по памяти. А память была у него удивительная. С ведической основой.

Любил он просто бродить по живописным окрестностям, наблюдать состояния природы. Иногда брал с собой небольшой блокнотик. Вынет его, сделает два-три штриха простым карандашом, понятных только ему, и достаточно. И убирал его. А порой и вовсе его не доставал. Просто—смотрел. Впитывал в себя увиденное.

Дома—рисовал. Работал быстро. Очень чувствовал ритм. На одном, долгом, свободном дыхании писал он свои акварели. Был перед ним—лист ватманской бумаги. Или просто—белой бумаги. Небольшого формата. Даже—маленький листок. Лист—пустой. Без ничего. Белый. Ждущий. И вдруг этот лист—начинал заполняться. Начиная оживать. На нём проступал—образ природы. Образ того уголка окрестностей, который хотел выразить в своей акварели отец. Образ—лицо. Образ—душа. Дух этого места, конкретного, узнаваемого, и вместе с тем—изменённого, трансформированного, обобщённого, преображённого воображением отцовским,—оживал. Какие-то детали измельчались, какие-то—укрупнились. На бумаге оживало—само лицо этого уголка. Всё приходило в движение. Всё начинало дышать. И всё было пропитано, пронизано, поддержано, оправдано—дивным, ясным, чистейшим светом, исходящим от акварели. Она буквально пела. Она звучала, эта свежая, только что написанная отцом акварель,—звучала музыкой сущего. Звучала, отзываясь в сердце точнейшим образом выраженным состоянием—утра ли, полудня ли, вечера ли,—состоянием, бывшим в природе в то время, когда отец увидел его, услышал его, запомнил его—и только потом уже выразил.

Процесс рождения отцовских акварелей надо было видеть. Не выразишь этого словами, какими бы приподнятыми ни были они.

Я предпочитал не тревожить отца в то время, когда он работал. Ему нужно было уединение. Срабатывала наша семейная этика. Не хотел я отвлекать отца, мешать ему, перебивать настроение. Всё это понятно само собой. Правильно я делал. Но всё-таки—видел я, видел, и неоднократно, много

раз видел, как отец мой рисует. Употребляю это детское слово, хотя солиднее бы сказать—пишет. Ничего. Мы так между собой говорили: рисует. Рисование-то рисованием. Но изумляло всегда то, что в итоге перед тобою оказывалось очередное отцовское чудо! Потому-то и счастлив я был в свои детские годы, потому-то и сам так тянулся к творчеству, что жил—среди чудес.

Позже, когда я был уже взрослым, отец рисовал и при мне, и это нисколько ему не мешало. Но, конечно, предпочитал он работать—один. Там, в своей мастерской домашней, в саду, в тишине, в затворничестве, в отдалении—от суеты, от житейской, огорчавшей его, нелепости, подальше от стрессов, от хлопот, от забот, которые всё равно то и дело норовили задеть его ядовитыми жалами, локтями, злыми словцами. Он чурался хаоса. Он сторонился бессмыслицы. Он был очень раним. Слишком раним. Более чем раним. Слишком уж близко к сердцу принимал он всё, что происходило и с ним, и с родными, и со всею страной. Слишком близко. Но как же—иначе? Иначе он и не мог. Всё в нём было обострено, каждый нерв его. Всё он чувствовал точно, мгновенно. Защищался—работой. Спасался—работой. Фронтовик, повидавший на войне много чего тяжёлого, видевший войну воочию, в лицо, переживший ранение, контузию, долгое лечение,—он никогда не любил говорить о войне. Он боролся за жизнь. Он воспитывал себя, заставлял себя быть здоровым, приучал себя—к действию, к постоянному, ежедневному действию. За день он многое успевал сделать. Весь дом был на нём, всё хозяйство. И сад, в котором, трудясь, отдыхал он душой. И семья была для него—самым ценным, что у него было. И творчество его было столь же естественным, сколь естественным, сколь подлинным был он сам—в семье, в быту, на работе, с соседями, со знакомыми, на рыбалке, на улице, дома, на прогулке—да где угодно,—был он просто самим собой. Но самым важным, самым главным, самым подлинным самим собой—был он в творчестве.

Некоторым казался он чудачком. Например, коллекционировал облака. Да, ему это нравилось. И сколько он облаков этих—написал! И какие они живые!

Некоторым казался он странным. Да, бывало. Идёт, вдруг задумывается. Прислушивается к чему-то—в себе ли, в природе ли. На вопросы отвечать мог рассеянно, невпопад. Или что-нибудь там ещё, из такого, что людей озадачивало, удивляло.

Ну и что? Да, казался он странным. Но в нём шла постоянная работа. Он ведь не только писал акварели, и всё. Он столько успевал нафантазировать, придумать, изобрести, что и на несколько

десятков людей хватило бы. Я уже говорил об этом. Он был — уникал. Редкий — по дарованиям своим — человек. Украинский Леонардо да Винчи прямо. Который тоже, впрочем, был потомком этрусков, а значит — русом. В нём шло движение творческой мысли. Его осеняло. Он знал озарения. Он прозревал — своё. Он хранил в себе — первозданное. Он открывал — новое. Он просто — жил, в конце концов! Жил — творчески безукоризненно, щедро, искренне, с полной отдачей. Жил — как в музыке это бывает: когда звучание, когда сама гармония тебя ведёт и открывает на пути этом то, что можешь и хочешь открыть она только тебе. Он жил — творя, создавая: свои образы мира, свой образ времени. Которое, соприкасаясь, соединяясь с любимым его степным, свободным пространством, вызывало к жизни — движение духа, парение духа, рождало — свет, и поэтому, видоизменяясь или вовсе уж становясь несколько иным понятием, о котором он что-то существенное, уж поверьте мне, знал, позволяло ему существовать так вот светло, независимо, просто, благородно, достойно, — и ещё оно, время, открывало ему грядущее.

И поэтому он — жив. И поэтому здесь, в многолетнем своём затворничестве, я беседую с ним, как и прежде. И я знаю, что сам я — такой вот как есть — плоть от плоти его, свет от света его, — и обязан я ныне сохранить и продлить этот свет, по возможности дольше, уберечь этот свет на безумной земле — потому что лишь с ним и дружна благодать. И любовь, и надежда, и вера.

И нет числа врачующим путям — земным ли только? только ли небесным? — виденьям надивившимся чудесным, что делать нам, неведомым гостям, негаданно явившимся из мглы на пир чужой — и мглой вновь сокрытым, чтоб людям, тенью зелени увитым, не знать о том, что думы тяжелы, но звёзды заповедные чисты, даруемые нам воспоминаньем, — и наши высветляются черты под этим исцеляющим сияньем.

Ах, отец, я и тысячной доли того, что хочу сказать, не сказал ещё о тебе!

И прослыл мудрецом, как дитя, кто-то странный, чуть видный в окне, — и, бессмертье в любви обрета, так и прожил, от всех в стороне, чтоб с огнём и с водою срослось всё, что к чуду сквозь наледь рвалось, чтобы всё, с чем расстаться пришлось, возвратилось и в рост поднялось.

Открываю, бывает, — в Москве ли, в Коктебеле ли, в Кривом Роге ли, — папки с отцовскими акварелями. И вот — смотрю их, всё смотрю их. И дышу — их летом, осенью, зимою и весной.

Где паутинкою, летящею с полей, ты нить найтёшь не отыщешь, куда не прикажет Водолей идти, — и с прошлого не взыщешь за то, что столько было на пути всего, что сизмала томило, чтоб смог потом и ты, как ни крути, коснуться старого кормила, ветрила новые поставив на челне, рекой пускаясь без оглядки туда, где замыслы, не ясные вполне, роились исподволь, с тобой играя в прятки, туда, где домыслы двоились и росли, туда, где вымысла с годами было мало, чтоб там, где марево не таяло вдали, тебя мгновенно что-то поднимало — и мучило, и сызнова вело куда-то дальше, глубже, выше — за грань доступного, где нечто расцвело, разбухло гроздьями, отпрянуло за крыши.

Надо жить. Возвращаться туда, где истоки твои. Возвращаться туда, где начало, где свет изначальный. Нет подобного больше, и подлинней этого — нет. Что же делать вот здесь, в одиночестве? Жить, восставая из тоски, из печали. За ними — спасенье твоё.

Где настанет, с тоской заодно, от пристрастий былых отречение, где всему, что исчезло давно, вместе с листьями плыть по теченью, где нахлынет раскаянье вновь и пристрастья обратно вернутся, проживи — и поможет любовь до воскресших щедрот дотянуться.

Вот и всё. Ну а книга моя? Что же в ней за магия такая? Что за притяжение в ней? Зачем этот строй насыщен до предела и свободен? Некуда свободней — кто-то скажет. Нет, ещё вольней звук его, чем раньше был. Ещё бы! Нет препятствий сердцу моему в мире этом. Сердце это — бьётся. Всё во мне и я во всём — уж точно. Дни идут. И речь моя — жива.

Не дневник, но летопись такая, не ночник, но светопись тепла, чтоб весна, к холмам перетекая, тёмной влагой к окнам подошла. Если сон — смиришься с ним отныне, если явь — сроднишься с ней, даст Бог, чтоб родник, струящийся в теснине, хоть однажды жаждущим помог.

Да, непросто бывает совладать с состоянием — перед рывком, вглубь и вдале.

Ничего, совладаем.

Об отце — о живом.

Он давно и хорошо понимал — кто он такой. Но жил он — в Кривом Роге, в провинции. Выхода на столичные выставки, лучше всего — в Москве, в прежние годы у него не было. Сколько раз я ни пытался ему с этим помочь — ничего не выходило. Словно преграда непонятная всякий раз вставала на пути — причём оба мы с отцом физически

чувствовали наличие этой преграды. Что это было? Поди гадай теперь!

Отцу очень хотелось, чтобы люди видели его акварели в достаточно полной мере, чтобы могли составить о них должное представление. Чтобы его выставка — пусть одна всего, не за количеством ведь гоняться, — была полноценной, большой. А довольствоваться приходилось — выставками небольшими, по числу представленных на них работ, — хотя и персональными. Но это ведь были — частицы, клочки, разрозненные фрагменты его, отцовского, единого целого, некоего живописного лирического эпоса, в котором всё взаимосвязано, его гармоничного, целостного, органичного художнического мира. А в такой мир — надо войти, надо немалое в нём увидеть, чтобы если и не во всём, так хоть в чём-нибудь разобраться, чтобы осмыслить то, что предстаёт перед человеком.

Внимание, да и понимание, со стороны людей, зрителей, любителей, знатоков — было, конечно. Не такое, какого заслуживал отец, но было.

Множество отцовских работ, постепенно, в течение нескольких десятилетий, разошлось по частным собраниям.

Вспомнил сейчас, что в начале девяностых годов целую гору старых и новых работ, не только акварели, но и живопись маслом, которой отец как раз в эту пору увлекался, уж такой вот период был творческий у него, — незадорого, по смешным, как нынче говорят, ценам, скупил у отца какие-то работавшие тогда в Кривом Роге немцы — и увезли с собой, в Германию. Где они там, эти работы? Кто его знает?

Отец, скорее всего, просто обрадовался там, у себя, в провинции, в своих-то немалых тогдашних годах, такому вот повышенному, я бы заметил — странному, по своей прыткости и сообразительности, а для отца, в таких ситуациях, да и в других, человека по-детски наивного, ещё и — подумайте, надо же, в кои-то веки! — деловому, коммерческому вниманию, — со стороны наверняка поразивших его своей восторженностью — деловой, разумеется, и прежде всего — деловой, — но отцу-то какое до этого было дело, если видел он то, по чему стосковался давно, — неаигранные восторги негаданных зрителей, да ещё и притом покупателей, вроде бы и не обычных любителей, а хороших ценителей многообразных отцовских искусств, — небывалому вниманию заезжих иностранцев, желающих немедленно купить, и более того — в количестве внушительном купить, вот здесь, на месте прямо, вот сейчас, отцовские холсты и акварели, — и он расцвёл, потом разволновался, расчувствовался: ценят, понимают! — и взял да и отдал им, оптом, все эти сокровища — почти даром. И, само собой, вовсе не за немецкие марки, а за тогдашние

украинские купоны, что ли, с многими нулями, которые вообще ничего не стоили и которые тут же истрачены были на питание и на прочие житейские насущные нужды. А работы — ушли.

Или, в те же самые годы, — история с продажей отцовских работ через открывшийся в Кривом Роге художественный салон. Хозяин салона, помню, недоумевал: почему это Дмитрий Григорьевич назначает за работы свои такие низкие цены? И ведь раскупают их охотно и быстро! Мог бы и цену поднять. Всё равно покупали бы. Но так думал — хозяин салона.

Отцу же — просто приятно было, что работы его покупают. И он рисовал, рисовал, рисовал. И приносил, приносил, приносил в салон всё новые вещи. И они тут же, по символическим, самолично отцом назначенным, идеально устраивающим покупателей, ценам, — незамедлительно приобретались людьми. И, соответственно, — исчезали, исчезали, исчезали из поля зрения.

А отец — был по-детски доволен. Ему, в сущности, наплевать было на количество денег. Ему куда важнее было знать: его работы — у людей, их покупают — значит, ценят, смотрят, их собирают — значит, в самом деле довольно многим — они нужны.

Ни в этой путанице и чехарде со сменой денег, ни в курсе рубля, вообще в этом валютном, денежном, купонном хаосе, нагрянувшем внезапно, всех смутившем, обрушившемся так неотвратимо на головы растерянных сограждан, вдобавок ко всему и разделённых, как будто разведённых по загонам, определённых на жительство в отдельных, с их мнимой независимостью, странах, — отец и вовсе сроду не разбирался. Да и не нужно ему просто всё это было.

Помню, гостил он у меня в Коктебеле. Осень девяносто третьего, солнечно, тепло. Сидим мы с ним вдвоём, отец с сыном, беседуем о том о сём. И вдруг он говорит мне, с необычной для него, таинственной, заговорщицкой интонацией в голосе:

— Володя! Хочу тебе кое-что важное сказать.

Смотрю на него, внимательно, удивлённо:

— Что, папа?

Отец, понижая голос, почти шёпотом:

— Ты знаешь, сынок, — у меня есть миллион!

Господи Боже Ты мой!.. А я-то уж думал: мало ли что?

Я, уже начиная догадываться, но на всякий случай:

— Чего — миллион?

Отец, полушёпотом:

— Денег!

Я, уже улыбаясь:

— Каких же?

Отец, с откровенно победным видом:

— Как это — каких же? наших, конечно. Дозволенных. Тех, что сейчас ходят. Украинских.

Выдержал паузу. И, торжествуя:  
— Заработал, сынок. Это — за мои картины.  
Я, разводя руками:  
— Папа! Но твой миллион ничего ведь не стоит.  
Это ведь, по существу, одни нули, да и только!

Отец, почти обижаясь:  
— Как это — ничего не стоит? Это ведь — миллион!

Смочит на меня в упор, явно гордясь, младенчески чистыми глазами своими. Ну ребёнок сущий. Игрушке новой радуется.

Попробовал я было толковать, что к чему. Да махнул на это рукой. Бесполезно это. И ни к чему это делать. Зачем разуберять человека? Зачем огорчать его? Всё равно ведь отец по-своему всё представляет. Всё равно в его фантастическом воображении — это действительно миллион. Целый миллион. Настоящий. Заработанный им честно. Вот представьте, на старости лет. И — пожалуйста, миллион. За собственные свои картины. Так и верил отец: у него — миллион. А не ворох пыльных нулей. Даже тогда, уже вскорости, когда и нули эти в натуральную пыль превратились.

Не прилипла к нему житейская шелуха. Из обособого, видимо, теста был он создан. Из света над миром. Человеком был в мире — высокого ранга. И высокого — в небе — полёта.

Вот, отвлёкся ненароком. Заговорил уже о постсоветских временах.

Но ведь это — отец мой! И всё к лучшему.

Ну а теперь вернёмся в годы прежние, когда...

...отец мечтал выставиться, когда-нибудь, хоть один раз, так, чтобы виден был и ясен стал зрителям его лирический эпос, его мир и его путь. Отцу крайне важно было, чтобы его работы — смотрели. И тогда он — взял да и подарил большое число акварелей. Много. Первокласные работы. Среди них, через одну, — настоящие шедевры. Да что там вспоминать сейчас, прикидывать, если и так ясно мне, что уровень этих раздаренных работ был высок, чрезвычайно высок. Только вздыхать о них и остаётся.

Итак, подарил. И кому же? Часть — заводу «Коммунист». Часть — в рабочее общежитие. Целую выставку — Дому культуры, где он долго работал, — с условием, что там будет висеть его постоянная экспозиция. И, несколько позже, ещё изрядное количество работ — одному научно-исследовательскому институту, в котором он, сравнительно недолго, работал дизайнером.

Столько лет уж прошло, как нет на свете моего дорогого отца! И что же случилось с его раздаренными — вроде, как считал он, на пользу людям, — работами? Их — растащили. По одной, по две. А то и пачками. Так, на память. Потому что нравились они людям.

...В стране всё перевернулось вверх дном.

Была — империя. Советский был Египет. И вдруг он — рухнет? Сгинет в одночасье?..

Египет — был, и нет его. Зиянье. Искусство — остаётся навсегда.

Спит отец мой в земле родной. Для меня он — жив навсегда. Свет искусства дарил он щедро, ясный свет — сквозь ночные недра, чтобы люди светлее были. А работы его — растащили.

Висевшие на виду в перечисленных выше зданиях акварели отцовские стали практически бесхозными. Их можно было преспокойно снять со стены, унести к себе домой. Прямо на глазах у всех. Никто и не почесался бы. Никакого контроля, никакого учёта. Некому за ними присматривать. А ведь хорошие! Нравятся! Вот так, по частям, вначале постепенно, с оглядкой, а потом всё быстрее, всё шустрее, потому что чего там теряться — наоборот, надо брать, пока есть, пока бесхозное это добро безнаказанно унести можно к себе, в свои дома и квартиры, где картинкам спокойнее будет, и в доме с ними радостнее жить будет, — всё и растащили.

В один из прежних своих приездов в Кривой Рог, к маме, на склоне минувшего века, в девяносто девятом году, зашёл я в Дом культуры, специально, чтобы посмотреть: что там с отцовской постоянной экспозицией?

Зашёл я с главного входа. С главного. Некогда — славного. Словно с листа заглавного — в песнь о культуре. В оду. В оду — читай: свободу. В давнюю. И — родную. В пятое время года. В некую даль земную. В ясную высь небесную. В глубь за незримой гранью. В явь. Для меня — чудесную. К тайне и к пониманию. Как, впрочем, и полагается. Как в детстве ещё заходил. (Так вот — стихи слагаются. Кто бы сие подтвердил?)

Открыл я тяжёлую, скрипнувшую ржавью, совсем нежданную, изрядно меня смутившую и сразу насторожившую, входную знакомую дверь, шагнул широко, привычно, как в годы былые, когда был я здесь частым гостем, в подавшийся мне навстречу проходный, куда проходнее, чем некогда, полумрак — и оказался внутри.

В нижнем вестибюле, вслед за полумраком, ко мне навстречу качнулась дежурная, будто материализовавшаяся из него, из полумрака, который действительно был ни то ни сё, так, некая половинчатость, неопределённость, и только. А может, был он жутковатой оболочкой пустоты.

В прежние — внешние, нежные, может быть, чуточку грешные, с грустью, всегда неизбежной, радостью, блажью неспешной, тенью под старой черешнею, стайкою птиц над скворешнею, болью, порой безутешною, верою, вестью нездешнею

о небывалом и новом, чуемой в мире суровом сердцем, душой и хребтом, всем, что пришло на потом, всем, что гнездилося в груди, всем, что ждало впереди, чтобы сбываться и впредь, чтобы учиться смотреть прямо в глаза бытию здесь ли, в родимом краю, в землях ли чуждых, куда лишь кочевая звезда вдруг уводила меня, в свете ли каждого дня,—чистые времена—такого здесь не наблюдалось.

Я объяснил возникшей из этого слишком уж странного полувоздуха, полувакуума, всё ещё этак расплывчато, призрачно, бестелесно, как в голливудском фильме ужасов средней руки, зыбко, туманно, привычно покачивающейся, нет, пошатывающейся, что ли, висящей передо мною, весьма условной дежурной, с какою конкретной целью пришёл я сегодня сюда. Она, плывя в пустоте, прямо как в невесомости, отшатнулась куда-то в сторону, бестелесная,—звать директора.

Им, директором, оказалась немолодая с виду, но зато вовсю молодящаяся дама, весьма умеренно, хоть и с точным расчётом, раскрашенная, в заграничном, строгом, неброском, но добротном, не из дешёвых, и приятном для глаз костюмчике.

Стало быть, директриса. Директриса. Отчасти—актриса. Нет, не кэрроловская Алиса. Проповедница компромисса. Смысла здорового. Взгляда торгового. На любой—в поле зренья—товар. На гешефт. На желанный навар. Бизнесумен—пошиба нового. Современная дама. Начальница. Ни о чём—никогда—не печальница. Не кикимора вовсе. Кто же? Кукла, может быть? Что ж, похоже. Механическая мадам. Ей игрушки—не по годам. Не про таких ли—песни из Одессы? Есть у неё другие интересы.

Я рассказал ей доходчиво, кто я и что конкретно здесь, во владеньях её, хочу непременно увидеть.

Молодящаяся директриса, помолчав с полминуты, не больше, несколько напряжённо, растерянно и достаточно путано, так, что этого нельзя было не заметить и тут же не насторожиться, не глядя в глаза мне, как-то глухо пробормотала, что, мол, конечно, да, пожалуйста, разумеется, безусловно, идите, смотрите, это всё там же, в том же, прежнем, вон там, помещении, раз уж вы помните, знаете, да вы знаете, там, где и раньше.

И ушла. Да не просто ушла. Нет, исчезла. Разом пропала. Так, словно вдруг испарилась. Ни следа от неё не осталось. И намёка не сыщешь нигде. Ну, испарилась. Бывает.

Направляясь к помещению с отцовской экспозицией, я успел заметить, что библиотеки в Доме культуры уже почему-то не было. Словно вырезали её из массива знакомого здания какими-то жуткими, ржавыми, тупыми, громадными, видимо, чудовищными, наверно, из кошмаров, из бреда, ножницами—да и выбросили куда-то, подальше

отсюда, чтобы и следа от неё не осталось, чтоб вовек её не найти ни читателям, ежели есть таковые в наше-то время, ни кому-нибудь из людей, коим дороги дни былые, кто придёт сюда, вроде меня, ностальгией, что ли, ведем или чувством необъяснимым, для которого нет преград в этом сумрачном настоящем, в мире, трудном для душ и сердец. Точно вырвали с корнем её. С кровью вырвали. Упразднили. За ненадобностью—изъяли. Зачеркнули—тут же забыв. Странно. Куда же она, хотелось бы знать, подевалась? Всё-таки—библиотека. Пусть не Александрийская. Пусть поскромнее. Но всё же... Как же людям—без книг?

Поразило меня, даже ранило, так вернее, и совершенное, безнадежное, беспредельное, без малейших признаков даже человеческого присутствия, очевидное до такой бесконечной, безгранной степени, что в сознание не укладывалось, как ни тщишься ты его постичь, фантастическое безлюдье. Беспросветное. Без луча пресловутого—в тёмном царстве. Без спасительной ариадниной нити—в нынешнем лабиринте. Без возможности перемолвиться с кем-нибудь на пути хоть словом. Без намёка пускай—на то, что кого-нибудь вдруг да встретишь. Беспощадное. Так-то. Глухое. Стабильное, так сказать. Ни одной души. Ни единой. Тихо, как будто в склепе. Мраморные широкие лестницы, прямо дворцовые, ведущие плавно, степенно, без суеты излишней, без торопливости всякой пустой, на второй этаж, почему-то перегороджены какими-то непонятными щитами, нелепыми загородками. Будто здесь баррикады уличные возводили. Паркет на паркет не похож. Так, нечто невзрачное, мутное, полускользящее, полущершавое, ржавое, тусклое, стёршееся—там, внизу, под ногами. Оконные стёкла немые. Давно, пожалуй, немые. Какие-то демонстративно, подчеркнуто, вызывающе, по-хамски, вульгарно, грутально, как-бы-временно грязные. А может, и зря я вот так, сгорая, с досады,—о них. Может быть, просто—забытые, отупело-усталые, брошенные на произвол судьбы, совершенно кем-то запущенные. И такое может ведь быть. В любом, и особенно в нынешнем, случае—свет вовнутрь они, захиревшие, сырые, почти что не пропускают. Паутина в углу. Матёрая. И ещё, и ещё—паутина. Ошмётками, клочьями, сгустками, комками, нитями, прядями. Волокнами, мхами, махрами. И даже густыми сетями. И не только в углу. Повсюду. Пыль сплошная. Нет, не из Киплинга. Пыль, в которой—полный, полнейший, омертвевший подобный штиль. Везде—вопиющие признаки запустения и уныния. Везде—приметы старения, разрушения, угасания. И нет за ними призраков былого. Неужто всё к гибели готово? Темно. Бывает ведь так непостижимо темно! Чем же наличие тьмы нынче предрешено? Повально-темно. Провально.

Подвально-темно. Буквально. Без крохи преувеличения. Сплошные вокруг огорчения. Две-три лампы, грустно мигающие, тьму развеять не помогающие, в разных, дальних концах горят — и это на весь-то этаж.

Дежурная эта, призрачная, материализовавшаяся из мглы, темноты, запустения, покачивающаяся фантомом, почти бестелесная, полуплывущая в здешней нынешней пустоте, следом за мною движется. Вроде и в безвоздушном пространстве должна бы плыть — однако по полу всё же идёт, семенит, оказывается, пыхтит беспокойно, прямо на пятки мне наступает. Я обернулся к ней и вежливо ей объяснил, что дорогу давно, хорошо, даже прекрасно, знаю, провожатые мне не нужны. Отстала вроде. Отстала. Преследовать перестала. Зато набычилась, пялится издали серой волчицей.

Что это за изменения в знакомом Доме культуры? Что случилось? Зачем? Почему? Тишина повсеместная, дикая, тревожная, необычайная. Неестественная, неправильная тишина, и впрямь неживая.

Кошка по коридору прошла, ну, прошла бы, и ладно, так ведь слишком уж неразборчивого цвета, если вглядеться, кошка. Направилась кошка к дежурной, попыталась к ней как-то нехотя, механически, между прочим, по привычке, возможно, ластиться. Та её сразу шутнула. Кошка, представьте, даже ни чуточки не обиделась. Мотнула тусклой змеиной головой с уголками-ушами, вильнула туда-сюда паутинно-махристым хвостом да и ушла себе неизвестно куда восвояси. В пустоте легко растворилась. Растаяла вдруг в полумраке.

И тут с характерным хлопаньем, как будто разбухшая пробка вылетела из бутылки открываемого шампанского, распахнулась тяжёлая дверь упразднённого, за ненадобностью, очевидно, своё отжившего, потому-то и просто бывшего, где-то в прошлом, увы, растерявшего посетителей прежних, буфета. И я увидел на ней разукрашенную разудальными, панибратски помигивающими, аляповатыми, по-диснеевски броскими, нет, ещё туповатее, будто из комикса, звёздами, зазывающую в никуда, не в воздушную, нет, в безвоздушную яму, и не в яму — в бездушную прорву, в галактическую пучину, или, может быть, прямо в пустоту ледяную, потому что дохнуло оттуда не просто зимой, а скорее — взрывной волной, и за нею — кошмаром: планетарной атомной долгой зимой, сулемой и сумой, нищей почвой, холодным пожаром, ядовитой водой за кормой, из комиксо-космоса взятую впрок, покуда не вышел ей срок, ухмыляющуюся, похабную, захватскую надпись: «Кафе „Зодиак“. Работает круглосуточно». И грянула тут же из этой бывшей буфетной двери — шальная, придурковатая, уродливая псевдомызыка. Кто-то из нынешних модных попсовых «как бы эстрадников» завопил,

замычал в усилителе, заурчал, заревел, завизжал. Дверь заскрипела, вздрогнула, затряслась, ходуном заходила. Выглянула из двери круглая, наглая, жирная, коротко, в лад с как бы временем, остриженная голова с оттопыренными, багровыми, словно их кипятком ошпарили, нестриженными ушами и с золотой, в два пальца толщиной, острой цепью. Наверное, думала, если способна была хоть что-нибудь, хоть когда-нибудь, изредка, думать, сквозь свой кайф, что я — посетитель. Сообразила, видимо, что не тот я вовсе, не тот, за кого она, как бы нижняя часть, известная всем, туловища, как бы — вроде бы! — голова, как бы сдуру меня принимала. Хмыкнула, помутнела. Стала белее мела. Сжала смурное рыло. Хваткую пасть закрыла. И скрылась за нарисованными китчевыми как бы звёздами. Втянулась исподволь, всосалась, ускоряясь, тусуясь в децибелах, испаряясь, в электрокакбымузыкальный грохот — и в Лету канула. Зачем ей зодиак?

Я прошёл, не замедлив шагов своих, не глядеть стараясь на выверты расплодившегося чрезмерно, разгулявшегося безобразия и не слышать стараясь рёва псевдопесни попсовой, мимо. И не рядом вовсе прошёл, не хватало ещё мучений, но — подальше от бреда, осторонь. Прошёл, держась, разумеется, на некотором расстоянии от какбыкафешного грохота. Открыл высокую дверь нужного помещения — того, где работы отцовские должны, я верил, висеть. Заглянул осторожно вовнутрь. Потом, помедлив, зашёл.

Там, за столами, теснящимися в странном, неестественном изобилии, склонившись над этими вытянутыми — в пустоту, в никуда — плоскостями, за компьютерами и какими-то другими машинами, может быть, вычислительными, ну а может — и вычитательными, уж не знаю, что это за механизмы такие, мигающие экранами, опутанные проводами, — сидели какие-то тихие, безликие, тусклые, непонятные молодые люди — молодые, казалось бы, люди, без особых примет, но не только без них, но и просто без лиц, ну а может быть — и без имён, с номерами — и только, со сплошными нулями в полустёртых, шаблонных, какбывременных их номерах, — все как один в хороших бесцветных, тусклых костюмах, все при галстуках, тоже бесцветных, кое-кто — в бесцветных очках, все на стульях сидели бесцветных, в эмпиреях своих безответных, в лабиринтах своих беспросветных, и похоже, что дело их — швах, — сидели всё в таком же, как и в вестибюле, как и в коридорах, полумраке, вакууме, в безвоздушном, пустотном, нездоровом каком-то, ненадёжном, условном, расплывчатом логове комнаты, в обречённом, пещерном, тяжёлом, бредовом, предусмотренном, видно, заранее отъединении, отделении,



безоговорочном, не обсуждаемом, нарочитом, расчисленном, обморочном отдалении их — от не нужного вовсе им внешнего мира, и от улицы, и от погоды, отрешении их — вообще от всего живого. Они не обратили на меня никакого внимания. Они что-то делали, что-то своё, им понятное, но не мне. Полудвигались, будто включали их в сеть. Полузамирали, будто их отключали. Роботы, что ли? Придатки своих механизмов? Никто из них и головы на меня не поднял. Они полусуществовали. Может, это была виртуальная реальность? Не знаю. Пустота, плоскостная, экранная. Полутени на ней.

К потолку, проскользнув незаметно сюда из-за плохо прикрытой двери, косяком пернатых метнулись не вполне ещё ясные, но, похоже, знакомые призраки. Я внимательней к ним присмотрелся.

Ну так и есть! — конечно же, они здесь оказались: Сальвадор Дали, с растёкшимся в ладони циферблатом; Франц Кафка, с шестерёнкой хризантемы в петлице пиджака; Альфред Хичкок, как фокусник, со стаей птиц безумных за пазухой; Андрей Платонов, грустный, с пером гусиным, с гаечным ключом; и чуть левее, осторонь, — Владимир Набоков, со свечой и книгой «Дар».

Пронеслись по комнате наискось — и за дверь. Может, бродят там, в опустевшем Доме культуры, эти призраки — литературы и кино, да ещё и живописи? Кто захочет — узнает сам.

Посмотрел я тогда — на длиннющую и высокую стену, где раньше в несколько рядов отцовские акварели висели. И увидел — только жалкие остатки некогда полноценной, представительной, постоянной экспозиции. Лишь несколько работ смотрели на меня. Смотрели — я это чувствовал — со стоном, сдерживая рыдания, сдерживая крик. Несколько. И те почему-то выцветшие, в бурых пятнах, — а ведь все окантованы, все под стеклом. На месте остальных — зияния.

Были — щедроты, стали — пустоты. Изредка — гвоздь в стене торчит, на котором раньше работа висела. Да обрывок лески на гвозде болтается. Или — вообще ничего. Пусто. Нет отцовских работ. Растащили. С кого теперь спрашивать?

Махнул я рукой — да и ушёл, огорчённый безмерно, из Дома культуры этого, бывшего — дома, бывшей — культуры. Вырвался — из безвоздушности, из пустоты. Из бездушности вырвался. Из бессердечности. Из безысходности. Из разлухи.

На улице, на площади, перед памятником Богдану Хмельницкому, вздымающему к небу свою булаву, — тем самым памятником, о котором друг молодости Слава Горб лет этак тридцать пять назад написал: «Из времени торча лишь булавой, Хмельницкий схвачен прошлым за сапог», — подышал я

сырым мартовским воздухом. Походил немного. Посмотрел на знакомые с детства места — на дома с явными приметами разрушения, с облупленными стенами, с обнажившейся кирпичной кладкой, на шоссе с выбоинами, в которых под колёсами проезжающих по ним грузовиков хлюпала и обречённо позванивала измельчёнными льдинками стылая серовато-бурая вода, на обрезанные похмельными садоводческими бригадами, спиленные почти под корень, как-то не по-людски, обрубки бывших кустов и сероватые, просвечивающие пустотой остовы деревьев, тоже — бывших, на такой же, как и почти всё вокруг, состарившийся, обрюзгший, захиревший, давно не ремонтированный, заброшенный Дом культуры, когда-то представлявший нам настоящим, сияющим дворцом, — и почуял стелющийся низко над землёй, как дымок, полуветерок-полухолодок запустения, с душком полугари-полупыли, шаткий, валкий, разваливающийся, расползающийся прямо на глазах, как сырая, гнилая верёвка, на отдельные махрящиеся, рвущиеся, трухой осыпающиеся волокна, — и ведь это была весна, уже весна по календарю, но её вроде и не было, полубыла она, полутотествовала — или, может, стояла вон там, в стороне, над рекой, у разрушенного, почему-то не ремонтируемого подвесного моста, бывшего красавца, вход на который был тоже перегорожен, а рядом с ним наведён временный низкий понтонный мост — для сквозящих полутенями в полуреальности бывшего дивным когда-то весеннего мира прохожих, — стояла безмолвно, бесслётно, совсем отрешённо и скорбно, посреди равнодушия общего, но давно отстранясь от него, в преддверии равноденствия, в неизвестности и забвении, сдерживая рыдания, а с ними и горький крик: неужели теперь никому она здесь не нужна? Постоял и я рядом с нею. И — нет, не успокоился. Как успокоиться? Просто — осознал: вот оно, ещё одно свидетельство как бы времени.

Разглядеть бы вблизи хоть раз не разрез, но излом в природе — некий сдвиг, раздвоения вроде, распознать бы, не щуря глаз. На земле зимовать нельзя одному — то в зиянье втянет, ну а то, истомив, отпрянет, не на шутку порой грозя. Не зовёт меня очень вдаль, но сама не спешит покида расставаться — ну вот и чудо, а за ним, на потом, — печаль. Холодам ли к рукам прибрать некий свет, нисходящий свыше? Словно вздох облегченья слышу — и шумит золотая рать.

Мама потом рассказала: в доме бывшей культуры, прямо в бывшей мастерской моего отца, предприимчивые местные новые украинцы открыли магазин подержанных заграничных вещей — секонд-хенд.

Акварелей отцовских — из той — бывшей — постоянной его экспозиции — совсем не осталось.

Ах, отец, отец! Наивный, чистый, светлый человек! Хорошо, что ты всего этого не видишь. Каково было бы тебе узнать о разграблении искренних твоих даров? Неужели остаётся мне утешаться тем, что людям, растащившим, укравшим твои работы, они очень нравятся? А может, отец, всё ты видишь — и всё понимаешь?

Свет в окне — для тебя.

И свеча. И степная полынь.

...Я помню в детстве поездку в степь, за шиповником. Я уверен сейчас, что событие это — а иначе никак и нельзя мне простую, обычную эту поездку назвать, простая она — для кого-то, обычная — для других, для меня же — событие, только событие, именно так, — и стало для меня началом творчества.

Был это самый первый, первейший, всё и решающий сразу, однажды и навсегда, импульс — именно к творчеству, к писательству, к насущной необходимости — порывы души, движения сердца, ощущения удивительной жизни в мире, полном смысла и света, раскрывающемся вокруг меня, вместе со своими истинами, чудесами и тайнами, — выразить в слове. Да, именно в слове. В своём, а не чьём-нибудь, слове. Просветление? Озарение? Да. И то, и другое. Просветление и озарение. Совсем ещё детские, разумеется, наивные состояния. Но — подлинные. Чистейшие. Однажды и навсегда. Истоки. И это — было. Второй, уже более осознанный, импульс, призыв к творчеству, почувствовал я позднее, летом пятьдесят четвёртого года, во время первой своей, вместе с родителями, поездки на Чёрное море, на Кавказ. Третий, уже и не импульс даже, а зов — туда, вперёд, в путь, самостоятельный, творческий, с ощущением призванности, с ясным осознанием всего происходящего со мною, с абсолютной убеждённости в правоте и окончательности своего выбора, — не просто почувствовал я и не просто испытал, а всем существом своим пережил ещё позже, лет через пять после первой своей встречи с морем, — и он-то всё и решил.

А сейчас — о начале творчества. Сколько же лет мне было? Вспоминаю: четыре года. О, тогда я умел уже читать. Научился читать — сам. Начал — с кубиков. Произносил вслух написанные на них буквы. Пытался соединять буквы — в слоги, а слоги — в слова. Мама помогла мне с этим справиться. На то она и была преподавателем русского языка и литературы, лучшим в нашем городе. Учителем — с большой буквы, учителем — от Бога. Я внимательнейшим образом, одержимый своим столь ранним желанием во что бы то ни стало научиться читать, прислушался к ней — и вскоре уже читал книги. В жизни моей появился новый,

прекрасный смысл. Чтение стало — страстью. Чтение стало — счастьем. Уже тогда, в четырёхлетнем возрасте, вроде бы только что, вот-вот научившись читать, я и не думал стоять на месте, а неустанно совершенствовал технику чтения, с озадачивавшим взрослых упорством двигался вперёд и вперёд — и читал запоем. Книги влекли меня к себе неудержимо. Боже мой, я так помню всё это, вот сейчас, на таком чудовищном временном расстоянии от блаженной поры моего книгоцелства, так обострённо, нет, сильнее — пронзительно, всем сознанием, зрением, памятью, чувствую это, сызнова, всем вострепёвшимся, глухо забившимся сердцем переживаю те, такие далёкие от меня, из почти полувековой глубины отдаления этого внутренним взглядом воскрешаемые, камертонные в чём-то, — нет, не в чём-то — во всём, безусловно, во всём, настраивавшие тогда мою детскую душу на грядущее, на сплошные труды, события, — для меня, тогдашнего, — огромной важности события, — будто это происходит со мною сейчас, вот сейчас, — ну, может быть, ладно уж, происходило, а не происходит, но тогда уж — только вчера. Довольно скоро я прочитал все имеющиеся в доме детские книжки. Прочитал и по нескольку раз перечитал их. Они были не просто знакомы мне, а слишком уж хорошо знакомы. Я их все, до единой, просто знал наизусть. Мне постоянно, ежедневно требовалось новое чтение. Всё новое и новое. Всё новое и новое. Мне открывались, один за другим, целые миры. Всё новые и новые, поразительные, питающие меня, но не насыщающие, а лишь подхлестывающие воображение, поскольку за ещё недавно бывшим новым, но уже открытым был ещё более новый и ещё не открытый, а за ним ещё и ещё, ждущие меня, зовущие меня, необходимейшие для меня, радующиеся моему проникновению в них, моему постижению их сущности радужные миры. И я, лет с пяти, потянулся к более толстым книгам, более интересным для меня по причине внушительного их объёма, а значит, и пространного текста, самого содержания их, таящего в себе, там, внутри, за ровными рядами довольно-таки однообразных типографских строчек, обильную информацию обо всём на свете и упоительную новизну. Причём я именно потянулся к ним, в буквальном смысле этого слова. Я шёл напрямик к маминому книжному шкафу, довольно высокому и достаточно широкому деревянному сооружению, у которого не было обычных дверей, раскрывающихся от середины в обе стороны створок, а вместо них на каждой из полок имелись такие вытянутые по ширине шкафа, продольные, стеклянные, заключённые в узкую деревянную рамку, вначале открывающиеся снизу вверх, а потом, когда они принимали горизонтальное положение, задвигавшиеся вовнутрь, для того чтобы открыть, оголить всю полку и получить

возможность выбрать себе нужную книгу, перегородки, или панели, не знаю уж, как их и называть, потому что из-за такой вот конструкции, из-за её нетрадиционности, нешаблонности, напоминал иногда этот изготовленный на отечественной мебельной фабрике шкаф многоярусную восточную пагоду, и, может быть, это и были даже такие вот своеобразные дверцы, но тогда уж, скорее, присутствовало в них нечто оконное, форточное, ну пусть это будут перегородки, даже загородки, поскольку они ведь загораживали книги, защищали их от пыли, поблёскивая своими периодически протираемыми влажной тряпкой, отражающими солнечный свет или свет электрической лампы, а заодно и отражающими, словно в тусклом зеркале, всякие предметы находившейся в комнате обстановки, да ещё вдобавок и открывающими взгляду стоящие за ними книги стёклами,—и я, уже приоровившись это делать, привычным движением, снизу вверх, приподнимал эти лёгкие, но упругие, слегка вибрирующие и поскрипывающие от прикосновения к ним, а от нажатия на них, а тем более от приподнимания их рывком вздрагивающие и что-то вроде бы шепчущие или бормочущие перегородки, затем, с усилием, вдвигал их вовнутрь, отчего на поверхности оставался только краешек деревянной рамы, видел перед собою уже доступные книги, нацеливался на них острым, нет, зорким, вполне уже развитым, натренированным, как у охотника, жаждущим добычи взглядом, высматривал там что-нибудь особенно манящее и доставал нужную книгу, но это—на нижних полках или на тех, что были чуть повыше, но я мог до них достать, а вот что касается верхних полок, тут дело обстояло иначе, и к ним-то как раз и приходилось тянуться, дотягиваться,—и, ещё маленький, пыхтя от усердия и упорства в достижении своей цели, становясь на цыпочки, а иногда и придвигая к шкафу стул и неуклюже залезая на выручавший меня не раз и не два этот высокий, шаткий, тоже вибрирующий и поскрипывающий, только словно в другой тональности, почти опасный, но в данном случае необходимый стул, вначале коленками, а потом, осторожно распрямляясь на нём, и обеими ногами,—я тянулся к стоящим на полках таинственными, пока ещё молчаливыми, пока ещё не заговорившими рядами, корешок к корешку, новым для меня книгам. Я доставал какую-нибудь из них, особенно мне приглянувшуюся, будь это массивный, большого формата, солидный с виду, толстый, довоенный ещё, выпущенный к столетию со дня смерти поэта однотомник Пушкина с непрерывно идущими один за другим, в подбор, для экономии места, разнообразными, изумительными, настолько живыми, что, казалось, они в любой миг, непринуждённо, будто так и надо, могут выйти с книжной страницы сюда, ко мне, текстами, стихотворениями, поэмами и прозой, напечатанными

отчётливым, хорошо воспринимаемым глазом, не мелким и не крупным, а как раз таким, как следует, как раз подходящим шрифтом, в две колонки, с иллюстрациями, вместительный, толково составленный однотомник, из которого, вместе с то и дело выглядывающим в мою реальность, страсть как интересующимся, что же здесь, вокруг меня, нынче происходит, да и на меня с любопытством поглядывающим русским гением, неуловимым для кисти, карандаша или резца, каковы бы ни были его изображения, целыми стаями, кличками, поющими, за собою зовущими, устремлёнными сразу и ввысь, и вдаль, и в глубь времён, в грядущее, вырывался наружу летящий пушкинский почерк,—или подобный ему, но объёмом поменьше, и тоже с картинками, с портретами бравых военных, с эполетами и саблями, с пышными гусарскими усами и безусых, и длинношеих, томных, с оголёнными круглыми плечами, скромниц, но с живыми, лукавыми глазами, с необычными причёсками, гладкими посередине, но с весёлыми кудряшками по бокам, романтических светских дам, с захватывающими дух видами Кавказских гор и сценами кровавых сражений, а также с портретом самого поэта, совершенно одинокого, как и парус в тумане моря голубом, воспетый им, невысокого, несколько отрешённого от той жизни, что бушевала на картинках, странного, сосредоточенного на чём-то внутри себя, грустного человека с огромными, углями пылающими глазами, говорящими о жёре его души, растратенном в пустыне, не меньше, чем стихи его, и поэмы «Демон» и «Мцыри», и прочие, прозаические, с Печориным, одновременно и реальным и фантомным, и драматические, с отзвуками завораживающего маскарада, сочинения, однотомник Лермонтова,—или «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя, настолько близкие мне по духу, по мироощущению, что всё зло сразу же стало родным, или, его же, «Миргород», с потрясавшим меня «Тарасом Бульбой», среди соратников которого так и хотелось мне видеть своих запорожских предков,—или однотомник Некрасова, где «Зелёный Шум», «О Волга, колыбель моя», «Мороз Красный Нос», «Дедушка Мазай и зайцы», и «Коробейники», и «Еду ли ночью по улице тёмной», и «Что ты жадно глядишь на дорогу», и «Кому на Руси жить хорошо», где та Россия, которая жила в нашем украинском доме вместе с бабушкой и мамой и которую, особенно Волгу, да, её—прежде всего, я так надеялся не когда-нибудь, а скоро, совсем скоро увидеть,—или шекспировский «Гамлет» в пастернаковском переводе, с Эльсинором, с тенью отца-короля, с черепом, флейтой, Офелией, с вопросом «Быть или не быть?»,—или катаевский «Белеет парус одинокий», с Одессой, в которую всегда мне так хотелось попасть и где оказался я только в семьдесят четвёртом,—

или просто мамина школьная, с аккуратными пометками на полях и многочисленными узкими, с короткой надписью для памяти на каждой из них, закладками, хрестоматия по русской литературе,—или учебник по русской литературе,—или великолепная, тоже довоенная, тоже большого формата, в сером плотном переплёте, с виньетками, с чудесными репродукциями старых гравюр и титульных листов двухвековой давности изданий, с роскошным Державиным, прямым и вальжным, в меховой шапке, взирающим на меня с желтоватой страницы, из своего века и своей славы, с победным звуком его од, и поныне звучащим во мне, хрестоматия по русской литературе восемнадцатого века, составленная Гуковским,—или «Казаки» и «Воскресение» Толстого,—не важно, все они были для меня интересны, все они были желанны, все они были тогда хороши, а главное—все новые,—раскрывал я взятую с полки книгу—и тут же, не сходя с места, прямо возле волшебного для меня книжного шкафа, принимался её читать. Потом я спохватывался, отходил от шкафа, но так, чтобы не слишком уж далеко от него удаляться, и здесь же, в самой большой комнате нашего нового дома, которую мы так и называли—большой комнатой, или, иногда, для солидности, что ли, залом, находил для себя местечко, пристраивался или на диване, забравшись на него с ногами, или на стуле, возле окна, и продолжал читать.

Пятидесятый год. Конечно, это был пятидесятый год. Шёл год Тигра, а Тигр, тотем этого года,—аналог моего созвездия, Водолея,—но я тогда ничего ещё не знал обо всём этом, и все мы тогда, не только дети, но и взрослые, об этом, о созвездиях своих и тотемах, о зодиаке, об астрологии, о всяческих, столь распространённых нынче, сведениях, получаемых прямо с небес, ни больше и ни меньше, без особых церемоний, с публикациями астрологических прогнозов в периодике, с гороскопами для любого желающего, и не слыхивали. Я любил разглядывать географический атлас, красочный, довоенный, с картинками, поистине магическими для меня, и на одной из цветных картинок помню изображённого где-то на самом краю земли человека, неизвестно как добравшегося туда, но оказался он именно там, на краешке земли, на кромке, на грани земной, знакомой, оставленной позади, жизни, и, самое поразительное, человек этот, явно любознательный, ищущий новизны, каким-то образом умудрился пробить дыру в небесной тверди и высунуть туда, к неизведанному, свою любопытную голову, и вот он взирал, изумлённый, на то, что открылось ему, и видел близкие и дальние звёзды, и сгустки созвездий, и просторы Вселенной, и другие, неведомые миры. Наверное, в чём-то схож он с теперешним мною, тоже оказавшимся, волею судеб, на краю земли,

в Киммерии, на самой кромке века, уходящего от нас навсегда, на грани тысячелетия, тоже, вместе с веком, уходящего, и тоже навсегда, и не в чём-то, а во многом схож он со мною, изумлённо взирающим, в одиночестве, ночью, на бессчётные звёзды, близкие ли, дальние ли, но все без исключения высокие, и на сгустки созвездий, и на эти ночные просторы Вселенной, и на открытые мне одному неведомые миры. А когда-то, в пятидесятом, время было такое, что звёзд с неба никто не хватал. Но каждый час его был для меня поистине звёздным. Я словно родился тогда заново. Я жил среди сплошных открытий—это ли не прекрасно?! Я просто читал и читал.

Разумеется, и окружающий меня мир—природа прежде всего, смена времён года, состояния природы в течение каждого дня, жизнь в нашем новом доме, быт нашей семьи, наш сад, совсем ещё юный тогда, и двор, и наша длинная широкая улица, и вся наша Гданцевка, с её старыми громадными тополями и шелковицами, с её загадками и тайнами, которые чувствовал я буквально на каждом шагу во время прогулок, представлявших мне увлекательными путешествиями, и река Ингулец, окаймлявшая Гданцевку живым, постоянно струящимся серебряным полукольцом, и неведомая Черногорка, диковатое и глухое с виду урочище на крутой и высокой горе на другом, на чужом берегу, место тёмное, хулиганское, даже бандитское, с дурной известностью, запретная территория, куда категорически запрещалось переходить через реку по узенькому мосту, называемому кладочкой, отдающее жутью, вздыбленное, заслоняющее часть неба, словно изнутри кем-то подталкиваемое вверх пространство, с крутыми, почти отвесными, скалистыми обрывами, с лепившимися плотно и густо, клочками, пятнами, одна над другой, хибарами, будто зависающими в воздухе, с огородами прямо над бездной, с прерывистым собачьим лаем и слаженным пением лягушек, с пресным стойким запахом приречной растительности и речной воды, дотягивающимся и сюда, к нам, а ещё и посадка, так её называли, целый лес, настоящий, дремучий и, понятное дело, запретный, и совсем ведь, совсем рядом, да и многое, многое, всё, совершенно всё—было радостью, и новизной, и сплошно цепью открытий.

Пятидесятый год. Я—у окошка. Я напряжённо вслушиваюсь в мир. Я вглядываюсь в сумрак заоконный—туда, где тополь выпрямился дальний, встречая ночь, как прежде,—в полный рост, вдыхая ветер, с запада идущий. Я вижу крыши соседних черепицу—просветы меж подвижными ветвями, разбухшими от долгого дождя. Я слышу гул—подспудный, монотонный, Земля вздыхает, набок накренившись, уходит влево, вправо подаётся,

назад качнётся—и опять вперёд: ей нет покоя. Что её томит? Что не даёт ей нынче ненадолго уgomониться, дух перевести?

Четырёхлетний, очень домашний, общий любимец, пока что—единственный ребёнок в семье, день за днём, взгляд за взглядом, шаг за шагом, входил я в этот заоконный, удивительный мир—я втягивался в него, сживался с ним, свикался с ним,—и всё равно не переставал он, да и не перестанет никогда, изумлять меня. Время было—послевоенным.

В израненной, усталой, скорбной почве—бесчисленные рваные обломки чудовищного туловища страшной, народом уничтоженной войны: изломанные тусклые обоймы; утратившие вес пропавшей пули, но свист её таящие в себе пустые гильзы прямо под ногами, звенящие, когда отбросишь их, о сизый выступ рудного пласта; снаряды, ожидающие взрыва; затянутые вязким чернозёмом, до времени умолкнувшие мины; немецких ржавых касок погремушки, зазубренные плоские штыки—и что ещё? Там—склад боеприпасов, от грохота которых содрогнётся окраина, заросшая полынью: да, это подорвались пацаны... Там—бомба тупорылая, там—финка, там—всё ещё исправный пистолет, там—остовы корявые машин, там—гусениц безжизненные ленты, podobные раздавленным гадюкам, в конвульсиях распластанным в пыли с навеки переломанным хребтом... А между тем журчащая вода уже к реке стремится вдоль дороги—и путь её сквозь отзвуки беды, как бы прочерченный невидимой рукою, на редкость прям. И юная весна действительно приносит избавление от долгого, жестокого кошмара и новизной пронизывает мир, который всем принадлежит отныне. И мы, в одежде, бабушками сшитой, с сияющими лицами,—мы, дети сороковых,—на улицу выходим, идём к ручьям с бурлящею водою, кораблики весёлые пускаем, поскольку знаем: к морю уплывают решительные наши корабли под ветром, прилетающим с востока, сквозь щебет птичий, сквозь весенний день. И я стою с тетрадкой драгоценной, и радостное солнце я рисую, затронутые зеленью деревья, голубизну бездонную небес,—и слово я пытаюсь написать единственное, искреннее слово, вмещающее всё, что вижу я, что слышу я, что сердцем понимаю... А жизнь—она ведь только началась.

Жизнь, однажды начавшись, всё-таки продолжалась. А творчество—начиналось. И начиналось оно—с рисования. И вскоре—о, уже очень скоро!—и в тетрадках моих и на разрозненных, исчерканных бесчисленными рисунками моими листках—появились и первые мои слова. Слова эти, да и какие-то строки, предложения, были написаны мною, как сейчас хорошо понимаю,

не просто так, не как упражнение, а уже как некий текст, собственный, моего сочинения, и в подобных текстах стремился я к связности, к цельности, старался, в меру детских моих сил и возможностей, выразить чувства и ощущения, не просто переполнявшие меня, а какими-то световыми завихрениями окружавшие меня ежесекундно, и за каракулями этими всегда слышал я совершенно особенный, побуждающий меня к писанию, призывный и властный звук, и различал встающие за каждым словом образы. Нужен был, видимо, какой-то особенно важный толчок, пусть и один, но главный, импульс, чтобы я, тогда ещё, в детстве, окончательно осознал себя человеком творческим. Так и случилось. Этим, всё и определившим, импульсом—стала поездка в степь, за шиповником.

Говорили: скоро поедem. Говорили: вот-вот поедem. Говорили—взрослые: папа, мама и бабушка. Я, ребёнок,—этого ждал. И слова воплотились в дело. Обещанье взрослых—сбылось.

Помню: ранняя, тёплая украинская осень. Мама и бабушка собирают меня—в путь. Как в поход собирают. И вот я одет. Я в сшитой бабушкой курточке, свободной, удобной, называемой почему-то толстовкой. На мне сшитые опять-таки бабушкой штанишки до колен, с лямками. Ещё совсем тепло, солнечно—и нет нужды одевать меня именно по-осеннему, понадёжнее, потеплее. С одеждой было тогда негусто. Вся одежда моего детства—домашнего, бабушкиного производства. Самиздатовская одежда—улыбнись я сейчас. Но тогда—она всех выручала. Ещё не только тепло, но даже, можно сказать, жарко. Солнце поднимается всё выше, припекает. Щекой я чувствую его лучи—горячие, всепроникающие, привычные.

Мы, трое, ждём—одного. Мы ждём папу. Ещё утро, ещё довольно рано. И всё же—пора ему появиться, пора. Он—обещал. Мы его ждём с нетерпением, особенно я, маленький. Он должен появиться вскоре—и не просто так, а на коне. Да, не на лошади. Не на какой-нибудь там лошади. Это слишком условно, общо. Нет, папа приедет—на коне. Конь—это да! Это совсем другое. Это вам не просто—лошадь. Конь—это прекрасно. Это по-нашему, по-мужски. Почти по-боевому. По-козацки, уж точно.

Вчера вечером папа сказал:

—Мне дают на заводе коня.

Так и выразился: коня! Не какую-то там лошадь.

Вчера вечером мама сказала:

—Сынок, завтра утром, втроём, мы с папой и ты вместе с нами, мы поедem в степь, за шиповником.

За шиповником! В степь! Ничего себе! Представляете? Каково мне было дожидаться утра?

И дождался. Мы были в сборе. Не хватало—нашего папы. Где же он? Ну когда он приедет за нами? И папа наш—появился. И конечно же—на коне.

Боже, что это был за конь! Жеребец, игреневый, то есть рыжий, со светлой, не белой, а белесоватой, дымчатой, туманной гривой и таким же точно хвостом. Он заржал. Мы услышали с улицы ржание. Мы, все трое—мама, бабушка и я,—вышли за калитку. Я—выбежал за калитку опрометью, а как же—иначе? Я увидел коня. Он, красавец, фыркал и всхрапывал. Он перебирал длинными, стройными, точёными ногами. Он прыдал крупно вырезанными стрелчатыми ушами. Ноздри его раздувались. Да, он был, несомненно, красавцем. И всем видом своим он показывал нам, людям, это. Вот, мол, я каков. Словно одолжение нам делал—так он себя вёл, так себя перед нами держал. Ишь, мол, какие! Запрягли, вынудили к работе. И теперь—вези вас, и никуда уж от этого не денешься. Да ладно уж, чего там. Повезу куда скажете. Не привыкать.

Конь стоял и грыз удила. Он запряжён был в эту такую повозку, бедку—так её у нас называли. Маленькая, лёгкая—и даже, можно сказать, изящная повозка, двухколёсная, с бортиками по бокам и одним сиденьем внутри, повозка—на двоих, ну, в крайнем случае—на троих, если этот третий—ребёнок, а таковым и был я тогда. Повозочка. Бедка. Что-то было в ней удалое, задорное, даже отчаянное. Казачье? Да, наверное. Вспоминаю кадры из фильма «Кубанские казаки». Да, точно. И там, в этом фильме, вот на таких повозках и ездили герои. Бедка. Наверное, для быстрой, лихой езды. (Что-то было в этой повозке—от боевой колесницы древних русов,—думаю я сейчас. Кстати, боевую эту колесницу изобрёл не кто-нибудь там, а Зердест Спитама, пророк и воин,—называемый позже, среди других, народов, Заратуштрой. Так что родина её—Южный Урал. Те края, где недавно открыт Аркаим.) Конь, норовистый, красивый, с белой звездой на лбу, запряжённый в чудесную бедку, должен был нас везти в степь, за шиповником. В степь! Далеко, в степь!

В бедке сидел папа. В руках у него были вожжи и кнут. Он улыбался. Он радовался, я это видел. Он звал нас с мамой:

—Залезайте! Скоро поедем!

Вспоминаю—словно прищуриваюсь и вглядываюсь—туда, в свою память, в далёкую даль, в детство. И вижу, отчётливо вижу: на улице, напротив нашего дома,—игреневый конь в сентябре. Конь—солнечный, как и утро. Конь—солнечный свет. Он косился на меня жарким своим глазом. Иногда он мотал головой, словно приглашая меня—ехать. Ехать в степь, за шиповником.

Как его звали, этого игреневого, солнечного коня,—не припомню. А хорошо бы вспомнить сейчас его имя. Имя солнечного коня. Первого—в моей жизни. Того, кто должен был, кто готов был всех нас, всех троих, папу с мамой и меня, вскоре везти—и не куда-нибудь там, а в степь.

Ещё немного, совсем немножко, немножечко подождать, потерпеть—и начнутся чудеса, я это чувствовал. Можно сказать, они уже начинались. Нет, они уже начались.

Папа легко спрыгнул на землю. Я бросился к нему навстречу, прижался к нему. Мне так хотелось—ехать!

Папа сказал:  
—Скоро поедем, сынок!

Взрослые о чём-то говорили меж собою. Но я уже почти ничего не слышал. Да и просто—не слушал. И слышал—всхрапывание игреневого коня, и видел перед собою—жаркий его глаз и всё его литое из золота, сильное, мускулистое тело, бывшее, конечно же, конским телом, телом животного, с шелковистой короткой шерстью по всему туловищу, со вздутыми под кожей крупными пульсирующими венами, но уже представлявшим мне в беге, даже в полёте, каким-то птичьим телом, соколиным, орлиным, снабжённым даже оперением, то есть свободным, широким крылом гривы, и завитком растрёпанной чёлки, и прямо-таки ручьём, а может, и водопадом, струящимся, стекающим низко, почти до земли, белёсым, туманным хвостом. Конь, одно слово. Настоящий конь. Пора, пора было ехать.

Мама залезла в бедку. Папа подхватил меня сильными своими руками—и одним движением, в котором успел уловить я предвестие полёта, переместил меня с земли—туда, к маме. Бабушка стояла рядом с бедкой. Она протягивала маме свёрнутые грубые, колкие мешки. Мама взяла их и положила внизу, в ногах. Папа, опять одним лёгким движением, вскочил в бедку и уселся на сиденье, на твёрдой скамеечке с твёрдой же, но не прямой, а чуть наискось сдвинутой спинкой. Он сидел слева. Мама сидела справа. Я сидел в центре, между папой и мамой. Бабушка, провожавшая нас, что-то говорила маме. Мама что-то отвечала ей. Я не слышал их слов. Я весь был в ожидании дороги. В ожидании—пути. А может, и полёта. Кто знает? Ну, вот и пора! Теперь уж точно—пора.

Папа натянул вожжи. По-особенному как-то, непривычно, чмокнул губами, языком. Цокнул, может? Дал коню—знак. Приказал ему: трогай! В папиных руках были вожжи и кнут. Папа строил коня с места. Игреновый конь фыркнул—и не шагнул, а ринулся вперёд. Бедка плавно, вначале медленно, а потом всё быстрее и быстрее, покадилась по нашей заросшей большими деревьями улице к повороту. Вот оно! Мы уже ехали. Двигались. Мы ехали не просто так, не просто покачаться, не на прогулку. Нет, у нас была—цель. Мы ехали по делу. Мы ехали в степь, за шиповником. У поворота я не выдержал—и оглянулся.

Бабушка стояла у калитки—и махала вслед нам рукой. Небольшая, ладная фигурка её—там, у калитки,—навсегда врезалась в память. Через

какое-то не столь уж долгое время, лет через десять-двенадцать, когда я подрасту и начну уходить вечерами гулять, — бабушка будет стоять у калитки и ждать меня — даже если я буду задерживаться и приходить поздно, совсем поздно, почти ночью. В темноте, в тишине, молчаливо, привычно, — она будет стоять — и ждать. Образ терпения и ожидания — сквозь жизнь её, бабушкину, тяжёлую жизнь, сложную, — и мою жизнь, тогда только начинавшуюся, но потом, позже, оказавшуюся тоже непростой, — высветился навсегда, вышел из прошлого, слился с её, бабушкиным, обликом, с певучей поволжской речью её, с глазами её, с естеством её, с миром её и со всем тем, почти не объяснимым словами, что значила она для меня, и значит, и впредь будет значить, — образ этот вошёл в мою душу — и остался в ней навсегда.

Итак, мы ехали. Мы ехали втроём. Ехали в самой настоящей степной, удалой, подвижной, удобной, весело подпрыгивающей на ухабах бедке.

Папа держался молодцом. Сказывалась его степная, украинская порода. Запорожская, козацкая. Будто всю жизнь он ездил вот в таких бедках. И не только в них. Но и верхом. На лихих, горячих конях. Я представлял его — всадником. Да и как не представить? Высокий, стройный, поджарый. Подтянутый, прямо держащий спину. Затянутый офицерским широким ремнём, в гимнастёрке, в брюках галифе, в хорошо начищенных сапогах. Ещё недавно — офицер. Горбоносый, смуглый, чернобровый. Темноволосый, кудрявый. Молодой — всё ещё впереди!

Мама им любовалась. Мама, тоже молодая, ещё моложе папы, прекрасная в своей врождённой, родовой, отнюдь не вызывающей, но всеохватной какой-то, удивительно сильной, внутренне сильной, доброй, умной, светлейшей своей красоте, с открытым чистым лицом, с голубыми сияющими глазами, с затянутыми в тугую и тяжёлый узел тёмно-русыми волнистыми волосами — целым проливом этих пахучих, густых, до колен достоящих волос, когда она их расчёсывала дома, бывало, — в косынке, в скромной юбке и скромной кофточке, моя дорогая, родная мама, — улыбалась, вся залитая, даже словно увенчанная золотым тёплым солнечным светом.

Папа лихо правил игреневым конём. И конь, как я видел и в чём всё более убеждался, с удовольствием даже, во всяком случае, охотно, как знающего толк и в лошадях, и в езде на них, верховой ли, в повозке ли, опытного и уверенного в себе человека, слушался его.

Папа и мне давал подержать вожжи. Помню это ощущение: я держу в своих маленьких руках, в плотно сжатых кулачках, две прочные упругие ленты — и оттого, что я держу их, волшебным образом по обе стороны от нас, веерами, наискось лежащимися крыльями, полосами и пятнами,

световыми вспышками и сквозными, обдающими ветерком проёмами далее, разворачивается пространство, — и мы углубляемся в него, мы проникаем в него всё дальше, мы уже почти освоились в нём — да, мы движемся в нём, а может быть — и летим, и нам хорошо в нём, привольно, спокойно, — и состояние это, песенное какое-то, творческое, это уж точно, — я и сейчас готов сызнова испытать.

Мы проехали по нашей улице, а потом свернули с неё на другую улицу, перпендикулярную нашей, а потом ещё раз повернули направо, а потом и налево — и ехали уже по шоссе, к западу. Солнце стояло на юге. Оно было слева — и краешком глаза я всё время улавливал свет его, блеск его, всё ещё жгучий, всё ещё заставляющий щуриться. С нашей Гданцевки, из приречной низины, мы поднимались вверх по шоссе, всё выше, всё выше. И не то чтобы крут был подъём, но шоссе уходило вперёд и вверх, а знакомые улицы оставались сзади, внизу, вначале — не слишком заметно, а потом — далеко внизу, там, за нашими спинами, за облачком пыли, поднятой конскими копытами и колёсами бедки. Мы поднялись вверх по шоссе — и вдруг повернули к югу. Повернули — к солнцу, к свету его.

Мы выехали в степь. Она раскрылась перед нами, как книга. Она открывалась передо мною впервые, во всей высоте своей, потому что была холмистой, и холмы эти были действительно высоки, и во всей широте своей, которой предела не было, и во всей глубине своей, которая там, вдалеке, всеми нами угадывалась, и во всей красоте своей, присутствие которой здесь, рядом с нами, вокруг нас, везде, совершенно везде, — вдруг я сразу почувствовал. Она распахивалась перед глазами — и город оставался внизу, совсем, совсем далеко.

Вокруг была только степь — и это был мир, целый мир, совершенно новый, явленный только что, мир, встречающий нас. И хотя для меня это было впервые — это был мир, почему-то странно узнаваемый, близкий мне, родной, узнаваемый — хребтом, сердцем, душой, струением крови. Просто — было всё это в крови. Родовое, степное, наследное, кровное. Непрерывное. Передаваемое по наследству. Живущее в генах, в прапамяти. Вечное — как и сама степь.

Местность, холмистая, напоминающая даже горную, до того высоки были некоторые холмы, была изрезана балками, иногда глубокими, как ущелья, со склонами, порою отвесными, порою более покатыми, с густыми синими, лиловыми тенями, со складками почвы, похожими на грубые морщины, с выступающими на поверхность красновато-сизыми скалами, подёрнутыми седыми волокнами полыни, с травами, бесчисленными, на удивление многообразными, и не думающими увядать, а наоборот, кое-где ещё цветущими, пахнущими свежо и терпко, с привкусом горечи, привкусом сладости, медовости, со смутным запахом



винного, ягодного брожения, с присутствием во всех этих запахах—солнца, солнечного цвета и солнечного света, прежде всего, во всех степных растениях.

И я помню их—заросли, колючие, очень колючие, плотные, цепкие заросли, целые растительные массивы, живые, живучие, растущие на приволье, под степным солнцем, на чистом, свежем степном воздухе, лесоподобные образования, джунгли, бесконечные, беспредельные, звенящие под солнцем своими спелыми красными ягодами, словно колокольцами или серьгами, уходящие в глубину степи неровными, тяжёлыми, издающими явственно различаемые звон звеньями длиннющей живой цепи,—заросли шиповника на склонах уходящих в неизведанную глубину балок и уводящих в заповедную крутизну холмов.

Неужели стоял сентябрь? Да, конечно, конечно, сентябрь! Солнце ярко светило в синем, громадном, выпуклом небе, золотистое, золотое, ещё тёплое, очень тёплое, жаркое, щедрое, доброе, сильное, родное, степное. И червонным золотом отливали на солнышке ягоды шиповника, целые россыпи, и не просто россыпи, а собранные здесь в несметном количестве, только нас и ожидавшие—и вот уже дождавшиеся, готовые обрушиться на нас, хлынуть на нас, потому что это—для нас, фантастические дары, сказочные богатства.

Папа остановил коня—где-то далеко, совсем далеко в степи. Мы вылезли из бедки на землю. Игреновый наш конь остался ждать нас. Он принялся пощипывать влажными губами траву, изредка пофыркивая и отгоняя взмахами своего длинного туманно-белёсого хвоста назойливых мух. Конь—отдыхал. Он довёз нас до места—и теперь отдыхал. Ну а мы—оказались в степи. Наедине со степью.

Папа с мамой, не откладывая дела, принялись собирать шиповник. Великое множество кустов шиповника было вокруг. И все они были от земли до вершины усыпаны оранжевыми, красными спелыми ягодами. Я тоже попробовал собирать их. Ягоды были мясисты, на вкус непривычны, но приятны. Некоторые из них были посуше, потвёрже, поменьше. А иные были крупны. Продолговатые в основном, но иногда и кругленькие, гладкие в основном, но иногда и усеянные крохотными колючками, этакой шероховатостью, как напильник или наждачная бумага, но больше всё-таки гладкие, чистые, поблёскивающие кожурой своей, точно умытые, поражали они, прежде всего, своим изобилием, избытком. Но их надо было—рвать. А кусты были—с шипами.

Папа с мамой надели было брезентовые рукавицы. Но в них собирать ягоды было неудобно. Тогда папа с мамой сняли эти рукавицы—и стали собирать ягоды просто голыми руками. Ну, колко. И даже больно. А что поделаешь? Надо. Шиповник нужен был—для здоровья. Его прописали пить

врачи. Кому прописали? Маме? Папе? Не помню, да это и не важно. Важно—что для здоровья. А оно нужно было и маме, и папе, нужно было—всем нам. Это я хорошо понимал.

Папа и мама трудились. Они терпеливо и методично, постоянно натываясь на острейшие шипы, царапая руки, изранив их, но стойчески это перенося, собирали ягоды, висящие на ветках гроздочками, кистями. Собранные ягоды они складывали вначале во что-то, что было у них в руках, а потом, по частям, пересыпали в мешок. И количество пересыпанных в мешок ягод всё прибавлялось. Мешок толстел, разбухал.

Колючие кусты, усыпанные спелыми ягодами шиповника. Мама с папой, оба молодые. Папа—прямо казак лихой, с загорелым лицом, с чёрным кудрявым чубом. И мама—просто красавица, степная красавица, вся счастливая, светящаяся красотой, любовью и молодостью. И я с ними вместе—маленький, четырёхлетний, но зато уже всю читающий, книгочей и мечтатель, ещё, наверное, светлоголовый, с чубчиком,—это потом уже, позже, волосы у меня потемнели, а потом и поседели,—а тогда я стоял в степи, хоть и маленький, но для своего возраста рослый, широкоплечий, скуластый, с веснушками,—это я там стоял, в степи, и это мы там были, в степи, все трое.

Как сказал Хлебников: «Это было. Это верно до точки». И я стоял в степи, я ходил по степи, я вслушивался в неё и всматривался в неё,—и понимал, что она—живая.

Степь—звучала. Она не молчала. А зачем ей было молчать? Она звучала своей музыкой, своей собственной, такой музыкой, которую принял я в сердце и в душу свою мгновенно, которую впитал в себя раз и навсегда. И в ней, в этой музыке, было и время, по которому мне предстоит ещё научиться свободно передвигаться в дальнейшем, в будущем, научиться путешествовать, по своему желанию, в любую его пору, потому что время земное моё—это память моя,—и было в этой музыке пространство, по которому тоже предстояло мне в грядущем передвигаться, оказываясь иногда незнамо где,—и была ещё в этой музыке—почва, та, на которой стоял я тогда, в детстве, та, которую вдруг ощутил как основу, а потом, уже позже, осознал всё значение её, всё величие, и родство её, и таинство, и естество.

Что-то случилось тогда со мною особенное. Что-то вдруг почувствовал я, что-то услышал—зов ли, голос ли? И мне, до слёз, до плача, захотелось—хоть когда-нибудь, тогда, когда я вырасту,—но выразить, обязательно выразить—всё, что вошло в меня здесь, всё, что пришло ко мне само, всё, что вышло ко мне—вот из этого дня, вот из этого солнца, вот из этого света над осенней землёй.

И вся огромная степь дышала, звучала, пела—птицами, летящими в небе, собирающимися

в стайки, вспархивающими поодиночке, сидящими в кустах шиповника и на земле, в траве, кричащими, гугукающими горлицами, и скиглыми, ячащими степными чайками, и воробьями, чирикающими совсем рядом со мной, и синицами, тенькающими поодаль, и другими, ещё не известными мне тогда птицами, голоса которых я слышал, и кузнечиками, пиликающими и стрекочущими прямо у меня под ногами, скачущими со стебелька на цветок, с цветка на камешек, и травами, этим шелестом, шуршанием трав под налетающим временами ветром, хрустом, потрескиванием, шелушением, шевелением, поскрипыванием вокруг, и воздушным шелестом листьев на кустах диких маслин, и раскачиванием ветвей, и песчаным рассыпчатым шорохом, и земельным, подспудным, почвенным, всею грудью, широким вздохом, и напевами тёплого ветра, и звоном ягод шиповника,— всем вокруг, всею музыкой круга земного.

А потом шиповник был собран — и мы поехали обратно, домой.

Игреньевый конь со звездой на лбу, нетерпеливо перебирая ногами, бежал по степной дороге. И вдруг конь понёс! Испугало ли что его, или другая была причина, уж не знаю, — но он словно с цепи сорвался. Он мчался всё быстрее, вскинув голову, храпя, грудью рассекая воздух, — мчался, свернув с дороги, прямо по траве, куда-то вперёд. Мама испугалась, вскрикнула. Папа, подбадривая её, но весь напряжённый, старался справиться с ошалевшим конём. А того — действительно несло. Ему словно надоело повиноваться. Он был весь — в беге, в движении. Нашу бедку трясло, высоко подбрасывало, раскачивало во все стороны — и она, похоже, уже оправдывала своё название. Конь вырвался на вершину холма, на самый его гребень. Он буквально взлетел туда — и действительно было в нём что-то птичье, соколиное ли, орлиное. Он взлетел высоко на вершину — и разом остановился.

Папа сумел его удержать! Папа вновь подчинил его себе. Мы, все трое, посмотрели вниз. Глубоко под нами, начинаясь прямо от крутого каменистого склона, открывалась настоящая прорва, бездна — громадная, изъеденная трещинами, усыпанная выступами рудных пород, невероятная по своей вместимости, по своей отверстости, степная, дичайшая, заросшая кустарниками, глухоманная, подземной какой-то жутью веющая, холодная, безмолвная балка.

Почему-то мы — все трое — совершенно не испугались. Я прекрасно помню: не было страха! Интерес, любопытство — ишь, мол, какая прорва, батюшки! — были. Оживление, возбуждение — были. А страха — не было.

Зато была — радость: целы, и слава Богу. Зато была — мамина гордость: молодец, папа наш, справился с норовистым конём. Зато была — папина

уверенность в себе: ну чего там, пустяки, бывает, и не такое бывало, всё в порядке, все живы.

И наш игреньевый конь — преобразился. Ему вроде стыдно стало за своё поведение. Он повернул к нам голову. Он покачал головой, сверкнув белой звездой на лбу: простите меня — разгулялся, погорячился, но вот опомнился вовремя, больше не буду. И мы охотно простили его.

И мы, с грузом шиповника, поехали домой. Мы пели песни по дороге, пели — все трое. Нам было радостно: всё обошлось, все живы, все целы. Нам было хорошо втроём: ведь были мы в степи — все вместе. Нам было весело: мы пели и смеялись. И мы приехали домой.

Так что же это было? Постигание. Начало постижения. Открывшаяся мне музыка степи. И — в ней же, рядом, — предупреждение о бездне. Спасение. Чудо. И — свет в природе и в душе. И зов, и звук, и путь. И дом для песен. Родная почва. Степь. Дарованная жизнь.

Это был мой первый выезд на природу, в степь, которая взрастила всех нас — и мамин род, и папин род, — всех, всех, — ибо испокон веков называлась она Русской Степью — и простиралась от Дуная, и по Причерноморью, и по Приднепровью, и за Дон, и за Волгу, за Каспий, и дальше... Родители мои были в степи — дома. И я был в степи — у себя дома. С этих пор, с этой нашей поездки за шиповником, я навсегда — уже осознанно, ясно, светло — полюбил степь.

Дыханьем родины мне степь моя верна — милее лепета и заповеди строже, она дарована, смиреннее растрепанности, и нежит жалость, где дверь вторена, погудкой вспархивает, шороху родня, звенит над запахами, длительнее эха, — и в будущем ты Ангел и утеха, но прожитое ближе для меня. Мелодии священные ключи найдём ли мы к окрестности звучащей? — и в этой беззащитности щемящей не высветлить пред вечером свечи. Не выстоять пред облаком реке — и кровью, пробегающей по жилам, в печали по курганам да могилам она воспламенится вдалеке. Где столько навидался на веку, всё чаще око тянется к пернатым, привязанным к отеческим пенатам, и хатам с огоньками к огоньку. А степи не гадают по руке — и мгла полынная со временем роднится, распаивая нотные страницы, и смотрит маревом — и, вся накоротке, слетает заговором в музыку старинной, почти что тайною, где явь твоя — извне, и в жизни, брошенной былинкой в стороне, во притче памяти былинной. И негде выговорить: милая! с луною ужель найдём прибежище меж нив, чтоб, головы повинные склонив, нездешней надышаться тишиною, иной совсем? — на то она и есть, чтоб выговору вечности остаться и слову прозорливому раздаться — в нём боль и честь. И травы горькие мне кажутся добрей,

и странник их, как веру, обретает—и мнится: нет уже ни снега, ни дождей—а птицы певчие совсем не улетают.

Я стал вспоминать—и в голове начали оживать картины детства, одна за другой, да так, будто это сейчас происходит,—столь силён этот особенный эффект присутствия. Наверное, в мозгу нашем самое дорогое таится до поры до времени,—но вот затронь некую струну—и потянулась нить, одна деталь за другой выплывают, возникают просто из ничего, звучат голоса, эти непрерывные видения сменяют друг друга,—и всё движется, дышит,—и растёт, разрастается эта музыка прошлого, этот свет—из души, из памяти, из родного, земного, кровного, из сердечной глубины, из чаяний, веры чистой, светлой любви...

Сказал ведь Григорий Саввич Сковорода: «Все походить із безодні глибокого серця».

«Ой, коли б той вечір...»

Дерево.

Полюнь горячая, клонящийся ковыль. Степная кровь! Ты значишь слишком много. Ты в земли эти впитывалась долго—то каплями, то щедрыми ручьями, то реками, то буйным половодьем,—не потому ль так мягок чернозём, так плодоносен?... Дерево встаёт в багровом обрамлении заката, корнями вглубь уходит, ввысь—вершиной, подымлет ствол, надёжно защищённый пахучею смолистою корою, раскидывает крону широко, шумит листвою, осенью—карминной, соседствующей с южной бирюзой, прозрачною, как жилка горизонта, с прослойкою лазури на востоке, пульсирующей в дымке лиловой, как сонная артерия Природы, с мерцанием сапфировым на юге, с жемчужным вздохом севера вдаль; пунцовой, как щёки на ветру, пурпурною, как женские уста, иль алою, с оранжевым оттенком, как детские замёрзшие ладошки, коралловой, как старые мониста, рубиновой, как доброе вино; то огненной, роднящейся с кострами, то рдяною, как первый поцелуй, то люющей воздушным кумачом, то плещущей персидским кармазином, то сыплющейся золотом червонным, то сгустками запёкшимися лета ржавеющей на выгнутых ветвях. Всех это—кровь. Всё это красной нитью прошло сквозь лабиринт существования, по глине, по камням и по песку, и вырвалось на волю, пламеня, в дыму осеннем, в замкнутом кругу вокруг оси—торжественного древа, под куполом распахнутого неба, не улетая в Ирий, словно птицы, но падая на землю, становясь огнём подземным, жилами руды, извечной почвой, древнею опорой, земною твердью, соками растений в закатный час, у века на краю.

Звонит чуть слышно медная струна, желтеет опаль—родинки, веснушки. Подобно лебедю, склоняет шею конь, небрежно машет огненной гривой и воду пьёт. В серебряной воде, как в зеркале, он видит отраженье—такого же усталого коня, с ушами чуткими, с огромными зрачками. Вода темнеет. Конь идёт к холмам. Глядят с курганов каменные бабы на сёла, на уютные жилища, на россыпи прищуренных огней, мелькнёт сквозь стебли чаши камышовой трепещущий змеиный язычок, поднимет рыба тлеющий плавник, в золе проснётся жаркий уголёк. Немало звёзд на клёнах загорелось—и если к ним сегодня прикоснуться, не обожгут—притянет, как магнит, струящееся дерево крови нашей и даст им жизнь—в словах, воспоминаньях, и это—продолженье бытия.

О дерево, о тополь на закате, высокий чёлн, свеча преображенья, знаток неуловимых изменений в подлунном мире, сивоусый лирик, морщинистый хребет несущий прямо, который соль звезды и кровь зари соединили с космосом, хранимым в твоём сознании! Дерево благое, душа поющая, дыхание окрути, иглой шивающее жуткие прорехи меж вымыслом и явью! Прямо в песню несущее доверчивое сердце, а песню эту—к людям, прямо в жизнь!

Фонарики шиповника. Спорыш. Вкрапления цикория. Ромашки. Тысячелистник, белый свой венец с достоинством несущий. Подорожник, врачующий бесчисленные раны идущей по-над берегом тропы. Стручки акаций—серьги полнолуны. Дремотный вяз. У моста череда. И узкий мост. И берега громада. И скалы с фиолетовым отливом. И плещущая холодом река. И все сады. И степь—хрустящий свиток, развёрнутый у ночи на коленях. И свет в окне. И тополь за окном.

А потом, через много лет, в семьдесят восьмом году, этот сентябрь пятидесятого, и детство, и этот игрневый конь, и наша поездка в степь, за шиповником, и сама наша степь—вдруг вернулись, вспомнились, вновь пришли ко мне, уже несколько трансформированные в сознании, в памяти, в опыте прожитых мною лет, но главное, самое важное—осталось: этот солнечный свет в сентябре, эти сдвиги во времени, ощущение степного пространства, этот дух наших древних степей. И я, всё там же, на родине, живя и работая в родительском доме, писал о родном, был там—на холмах в сентябре.

Ты врождённой красы дороже, исчезающая заря, там, где в упряжи скачет всё же конь игрневый сентября. Что холмы?—кто-то сбил со счёта!—скалам некого приласкать—и стоят, словно ждут кого-то, кто сумел бы их отыскать. Мы с тобой забрели, однако, на ступень высоты степной—и рыжее руды собака смотрит с нами на край родной. Город весь в тополях и кровлях, точно стойбище

небылиц, где от скифской удачи в ловлях желтизна, словно след лисиц. Под ногами река петляет, белым чайкам кузнечик рад,—и никто, как на грех, не знает, что нельзя посмотреть назад. Там ночами не спят маслины, чтобы твой не тревожить взор, для которого всё едино в этой жизни с недавних пор. К ветви каждой и птице каждой ты внимательна, как дитя,—кто тебя наделяет жаждой?—кто учил тебя, не шутя? Кто тебя одарил вниманием и меня не забыл сейчас?—и страданий людских признанием просветляется этот час.

«Ты», «тебя»—это обращения к моей жене Людмиле, которая открывала тогда для себя мою родину во время наших с нею дальних прогулок по осенним окрестностям—тогда, в незабвенном семьдесят восьмом году,—но и к родине моей обращение.

Связность, между прочим, всегда есть—в том, что вспоминает человек. Он вспоминает—под настроение, в зависимости от состояния своего. От состояния души, прежде всего. Ничего не изымешь из памяти, как ни старайся порой что-то забыть сознательно, специально. Всё остаётся в мозгу, всё там, внутри нас, хранится—до какого-то времени, непредсказуемого, всегда неожиданного, когда вдруг, по вспышке,—вспоминается, возникает перед тобою. Связность—это целостность впечатлений. Это оставшиеся в памяти точные ощущения, сохранённые там состояния—те, давнишние. И всё, как ни крути, как ни отбрыкивайся от чего-нибудь, дорого, всё близко сердцу. Фрагментарность воспоминаний—кажущаяся фрагментарность. Как и фрагментарность прозы, которая тоже есть цепь воспоминаний о том, что знаешь сам, без выдумки, без придумок, без всяческой беллетристики, порождения чьих-то затуманенных неизвестно чем и сбитых с панталыку мозгов. Жизнь человека есть сплошное воспоминание. Каждый миг бытия—фрагмент этого бытия. Только что был он, только что пережит—и вот уже он в прошлом. Пока я пишу эту строку, миг за мигом уходят. Но не навсегда. Они остаются—во мне. И когда-нибудь, очень возможно, какой-нибудь из них, всё так же, по вспышке, в озарении, сам придёт ко мне, сам вернётся, вспомнится—в полной сохранности своей, в целостности, и свет его будет таким же, как и прежде,—только, может быть, опыт и время выберут несколько иной угол зрения на него, и этот угол зрения—внутреннего, наиточнейшего—будет самым верным.

«Огонь горит, пылает...»

Имена.

...Один мой дед с Чапаевым погиб во время переправы через реку—отчаянной, поспешной,

безоглядной и ставшей для обоих роковой. Ну кем они друг другу приходились—при жизни? После смерти же их кровь насквозь речную воду пронизала, влилась в легенды, память обогригла,—такие узы трудно разорвать. Не подвела их дружба боевая, не прервалась их родственная связь—и в этот миг. И две души рванулись в ночное небо, к звёздам—в те миры, куда они заглядывали оба в любимых песнях... Дед мой уходил в густую влагу, к берегу иному, в немую глубь холодного тумана, в руке сжимая ивовую ветвь. В ту пору он всего двадцать четыре коротких года прожил на земле. Он уходил—и уносил с собою жены прекрасный образ, взгляд дочерний, плач сына, все излучины Иргиза, Поволжье, степи, лодку на стремнине, своих грядущих внуков голоса... Войны гражданской с плеч нам не стряхнуть, не вырвать с корнем скорбную полынь. Вспомянем Железнова Михаила!..

Другой мой дед немало испытал за те года, что жил на белом свете. Отнюдь не избалованный судьбой, счастливым был Алейников Григорий. Он смотрит с фотографии—и вот лицо его меняется. В глазах проходят тени. Ответы пожарищ лежат на скулах. Кажется, дыханье прерывистое слышу. Это он самой Природой столь был одарён, умелец, мастер, труженик, мечтатель. Его сады цветут над Ингульцом, его слова становятся делами. Невидимые времени колёса вращаются—уже не удержать. Германская, гражданская... Недаром хотел он край степной преобразить, догадками делился он с людьми, пришедший в мир разумного труда с любовью к Украине. Это он сумел так много сыну дать, что тот любовь его, надежды, свет душевный в своих картинах воскресил... Отец—из той породы славной украинцев, что несколько столетий закалялась в горнилах битв. Он сед. Он фронтовик. Он жив—и вспоминать войну не любит, хоть вытравить её нельзя никак из сердца. Он стоит в своём саду, встречая солнце. Птицы распевают. Кружатся, осыпаясь, лепестки. Деревья кроны к небу поднимают. Я подхожу и говорю:—Отец, какое утро нынче на земле!—Он откликается:—Какое утро, сын! Как выразить вот эту красоту? Попробую!..—и щурится невольно. —Владимир! Дмитрий!—слышим. Это—мама...

Родители мои. Понятье: род. В нём—дух и свет. И—путь среди земных щедрот. И—дом, с которым связь не прервалась. И—та любовь, что с песней родилась.

Буддийские монахи, воспитывая детей, учили их испытывать на протяжении всей жизни чувство самого глубокого почтения к родителям. Ибо, как говорят буддийские книги: «Если бы сын взял мать свою на одно плечо, а отца на другое и нёс бы их в течение ста лет, то и тогда он сделал бы для них меньше, чем они для него».

Восточная мудрость? Жизненный опыт? Непрерывность любви, и надежды, и веры. Продолжение—в мире—и заветов кровных, и речи. Понимание—сути, основ. Правота бытия.

Широких крыл прикосновение, высоких сил благоговение, проникновение туда, где есть участие и внимание к душе—и все переживания на берег выплеснет вода. Невыразимое, земное, всегда идущее за мною, куда б меня ни завела стезя кремнистая, крутая, чтоб доля, некогда простая, в движении сложность обрела. Полуотдушина и полупечаль—и вновь, похоже, в школу брести, усваивая путь к чему-то важному, где мало усердия,—помнится, бывало, поэмка скрадывала суть. И так—в начале было слово, к чему-то новому готово, оно готовилось обрести ещё неслышанное право на весть из космоса—и славу, где вздохов горестных не счесть.

Когда, казалось бы, пора и возвестить о неминуемом наследстве в юдоли сущего,—и всё-таки грустить—смотрю и радуюсь, как в детстве, цветущей невидали—то-то навесить места, где в щедром первородстве я рос,—даст Бог понять меня им и простить!—всё тянет в нынешнем сиротстве.

Степь родная—с детства со мной.

Я об этом уже рассказал.

Въявь увидел рай свой земной.

Нити брезжущие связал.

...Но вернусь к музыке.

Я думаю сейчас, что желание, обоюдное родительское,—и материнское, с незаблемой верой в мои таланты, и особенно отцовское,—да, особенно его, отцовское,—было желанием, чтобы сын учился музыке по-настоящему, всерьёз, профессионально,—потому что ему, отцу, при его куда более сильных и широких способностях и талантах, нежели мои, хотя и у меня есть немало таковых, о чём говорю без смущения, поскольку многие и так об этом давно знают,—потому что ему, отцу моему, не представилась, в его детстве, такая вот счастливая возможность—учиться музыке по всем правилам, учиться—как полагается, и он так и остался в музыке самоучкой, любителем, пусть и действительно очень хорошим музыкантом,—и он, мой отец, таким образом, воплощал в жизнь свои детские мечты, свои чаяния,—давая возможность мне, своему способному сыну, учиться музыке.

Отец выбрал инструмент—именно такой, какой, по его мнению, был наиболее подходящим, наиболее хорошим из всех, имевшихся в магазине. Знаю, что руководило им—чутьё.

Пианино привезли на грузовике. Мы, находившиеся в доме и ждавшие, когда же, наконец, его привезут, мы, все четверо—мама, бабушка, я и мой младший брат Валера,—одновременно услышали

близкий, урчащий, громкий звук работающего мотора. И вот звук этот, вместе с хриплым кашлем и мокрым каким-то, недовольным чем-то, механическим ропотом, ещё разок проявился, прорезался рядом, за окном, за стеной, сердито чихнул напоследок и заглох. Мы вышли на улицу—встречать отца, встречать музыку. Напротив нашего двора, на дороге, по которой ещё тянулись, медленно оседая, слои поднятой колёсами пыли, стоял грузовик. Он был покрашен тёмно-зелёной краской, весь был зелёным, как кузнечик, или древесный лист, или трава у двора, и только толстые, надутые, будто чем-то обижённые, шины на колёсах были серо-сизыми от пыли, уже довольно изношенные, немало потрудившиеся, лысые, почти утратившие свою ребристость и пружинную гибкость новой резины, да ещё номерной знак еле различался сквозь густую пелену дорожной пыли на нём, напоминая принесённый ветром и прилепленный наобум трамвайный билетик или же ещё какую-нибудь случайную бумажку с цифрами, вроде квитанции. Отца мы увидели в окне кабины. Он сидел в кабине, рядом с шофёром. Он показывал шофёру дорогу к нашему дому. И вот они прибыли на место. Увидев нас, отец помахал нам рукой. А в кузове, деревянном, длинном, открытом, рядом с пианино, спрятанным, упакованным во что-то вроде ящика, сколоченное из досечек, во что-то вроде наскоро сварганенного футляра, сидели двое грузчиков, коренастых, краснолицых, в маленьких сплюснутых кепках с пуговками, с тогдашним шиком, лихо, набекрень сидевших, несколько по-птичьи, на их круглых, стриженных «под бокс», литых, чугуно-медных головах, и из-под надвинутых на их загорелые лбы козырьков косыми клиньями выбивались наружу взмоклие тёмные чёлки. Отец, высокий, стройный, моложавый, с точёной кудрявой головой, со своей так идущей ему военной, офицерской выправкой, придающей всей его худощавой фигуре особую, броскую стройность, одновременно и очень серьёзный, и очень взволнованный, даже несколько взвинченный, что сразу бросилось мне в глаза, вышел из кабины—и тут же принялся руководить выгрузкой пианино из кузова и дальнейшей доставкой его прямым в дом. В самой просторной комнате—из четырёх, имевшихся в нашем доме,—для инструмента было уже приготовлено заранее определённое место. Двое краснолицых грузчиков, пыхтя, вначале спустили пианино из кузова на землю и высвободили его из дощатого футляра—будто из плена музыку освободили,—причём красные лица их за это время успели уже стать лиловато-багровыми и в воздухе от их шумного дыхания распространился кисловатый запах винного перегара, а потом, в несколько приёмов, то поднимая тяжёлый груз и перемещая его на несколько метров вперёд, то опуская его для короткой передышки

на землю, то снова таща вперёд, с натугой, но, в общем-то, не особенно надрываясь, дело своё хорошо зная, благополучно подняли пианино на крыльцо, внесли в широко распахнутую для такого случая входную двустворчатую дверь, а потом продвинули в коридор и дальше, в глубь дома, в большую комнату, и там, со всей возможной для них аккуратностью, поставили его на поблёскивающий, чисто вымытый, тщательно, в несколько слоёв, недавно ещё выкрашенный отцом коричневой краской, скрипнувший от тяжести пол, возле простенка, увешанного отцовскими акварелями, на это приготовленное место. Потом, получив деньги и, в дополнение к деньгам, традиционное угощение—домашнее, приготовленное опять-таки отцом, сладкое, но крепкое вишнёвое вино, весело темнеющее в двух полных до самых краёв, самых вместительных из всех имеющихся в нашем кухонном, посудном арсенале, фаянсовых чашек, высоких и широких, матово-белых, с красными ободочками поверху, залпом опустошив эти, каждая граммов по четыреста, чашки, вполне довольные, они коротко поблагодарили хозяев и тут же удалились. Грузовик за окном зафырчал и уехал.

Новенькое пианино стояло на определённом для него месте, у простенка, между дверью в соседнюю комнату, спальню, и выходящим на соседский двор окном с отдёргнутыми шторами и открытой форточкой. Солнечный ясный свет, свет летнего утра, не струился, а изливался, обрушивался на него сразу из двух окон—южного и западного. Мы—вся наша семья—стояли рядом и смотрели на него. Крышка инструмента была закрыта. Весь его новенький чёрный лакированный корпус поблёскивал отражениями, играл солнечными зайчиками. Праздничность, радость были—в самом его виде, в его элегантных, простых, но выразительных, даже значительных в этой выразительности, потому что за ними подразумевалась, угадывалась, ждала своего часа таящаяся там, внутри, музыка,—очертаниях.

Но пианино—молчало. Нет, оно отнюдь не было немым! Звук был—там, в нём, внутри, в сердцевине его. Он только ждал выхода. Ждал—умения играть. Пианино—хотело звучать, я это чувствовал. Но—пока что ещё не решался приблизиться к нему, до того меня поразило уже само присутствие инструмента вот здесь, в нашем доме.

Отец пододвинул к пианино стул, сел на него. Отец привычным, уверенным движением открыл крышку инструмента, которая, легко откинувшись назад и мягко прислонившись к передней плоскости, уж не знаю, как её поточнее назвать, обнажила всю клавиатуру. Сами клавиши были тоже новёхонькими, поблёскивавшими, и чёрные—действительно выделялись своей смоляной чернотой, а белые—радовали чистейшей, почти

слепящей, белизной. «Украина»,—прочитал я название. И, чуть ниже: «г. Одесса».

Отец между тем откинул от повёрнутой к нам теперь лакированной своей изнанкой крышки специальную полочку для нот. Ставить на неё было пока что нечего. Ноты будут—потом, вскорости. Ноты—будут, и музыка, наверное, вскоре будет, наверняка будет, зазвучит, зазвучит тогда, когда я начну понемножку играть, когда я буду учиться играть, когда я научусь играть. А пока что—пианино молчало. И мы—вся семья—молчали и ждали. Ждали—звука. Звучания. Музыки. Отец как-то свободно примерился к инструменту, опустил свои крепкие длинные пальцы на клавиши—и так же свободно взял несколько аккордов. В их звучании я почувствовал начало гармонии. Только начало. Что же—дальше?

И отец—вдруг—заиграл. Это была уже—музыка! Музыка звучала в нашем доме! Мы—вся семья—оживились, заулыбались. Музыка! Радость! Всё это происходило в середине пятидесятых годов, летом, и погода, соответственно, стояла солнечная, тёплая, и настроение наше общее, само собой, было хорошим, а теперь оно ещё и поднималось. Мы уже готовы были ликовать. Ещё бы! Музыка! Своя музыка—у нас, в доме!

Но отец—так же, вдруг,—оборвал свою игру. Он повернулся к нам и убеждённо сказал: —Надо настраивать!

Как? Почему? Все мы чуть ли не негодовали. Ведь играет же! Звучит! Да ещё как! Зачем—настраивать?

Отец коротко пояснил нам:

—Инструмент расстроен. Я мог бы его настроить сам. Но лучше пусть это сделает хороший настройщик. У него есть камертон. Он знает своё дело. Я найду такого. Есть один на примете.

Ну—надо так надо. Отцу виднее. И слышнее.

И вот у нас в доме появился этот настройщик. Это был маленький человек, подвижный, гибкий. Но не шустрый и не суетливый, нет,—какой-то очень гармоничный во всех своих движениях. Вид у него был южный. Весь облик—южный. Но не южно-украинский, каковых в нашем городе было хоть отбавляй, а другой, какой-то другой, совершенно другой, не совсем ещё для меня ясный. Малый рост. Но в фигуре всё пропорционально. Маленькие ступни ног, обутых в лёгкие летние туфли с мелкими дырочками сверху, напоминающими частую сетку. Маленькие кисти рук, изящные, почти женские, с быстро шевелящимися, очень гибкими пальцами, причём я обратил сразу внимание на тщательно, коротко подстриженные, возможно даже отшлифованные пилочкой, красивой формы, ногти, перламутрового цвета, чистые, ухоженные. Смуглое лицо. Овальное, несколько вытянутое лицо, смуглое—природной смуглотой, это не был

загар. Нос с горбинкой. Довольно крупный нос, но не грубый, не вульгарный, а скорее аристократический, с широкими, чуть вздрагивающими при дыхании крыльями, нос—как у персонажей на репродукциях картин старых европейских мастеров, которые я любил разглядывать, листая отцовскую дореволюционную «Историю искусств» Байе. Пухлые влажные губы. Ежевичные, мягкие. И—карие, большущие, обрамлённые густейшими ресницами, двумя распахнутыми веерами ресниц, подчёркнутые ещё и мохнатыми, густо-чёрными, с пробивающейся в них кое-где сединой, бровями,—искрящиеся светом, выпуклые, широко раскрытые глаза. Над высоким, тронутым узкими морщинками, слегка покатым лбом—взлёт весьма длинных, для тех-то времён, вьющихся, непокорных волос. Артистический вид. Артистический, это уж точно, причём артистичность эта имела прямое отношение к музыке. Оказалось—итальянец. Настоящий итальянец. Просто—живёт здесь, на Украине, в Кривом Роге. Так уж вышло. Долго рассказывать. Да и зачем? Именно так миновал и пресёк он расспросы об этом.

Настройщик-итальянец времени зря не терял. Он прошёл к пианино, осмотрел его, попробовал, как оно звучит. В его жестах, в его повадках, в его движениях чувствовался отменный профессионализм. Он решительно похвалил купленное пианино: звук певучий! И принялся за дело.

Вот тогда я и увидел в его руках—камертон. Маленький инструмент этот—крохотной птичкой, легчайшей ласточкой—взлетал в его тоже неустанно взлетающей, гибкой, чуткой руке.

Настройщик извлекал из камертона—звук. Нужный звук. Необходимый. Единственно возможный. Он извлекал этот звук—и словно вкладывал его в пианино, словно отдавал его, дарил его, приносил в пианино, а заодно и в мир.

Он работал вдохновенно, даже неистово, одержимо. Он что-то мурлыкал себе под нос, бормотал, напевал. Он нагибался и выпрямлялся, качался то влево, то вправо. Он весь был в движении, в тяготении к чему-то такому, что знал он один. Он словно шёл вслед за звуком.

Да он и шёл за звуком. Он следовал за звуком—лицом своим, всею мимикой смуглого лица, глазами, то жмурящимися, то вспыхивающими, раскрываясь, губами, подёргивающимися, то сжимающимися плотно, то приоткрывающимися, и лбом своим, и волосами, длинными, вьющимися, которые от каждого его движения свободно взлетали над головой, и бесшумно падали на шею, и светились в солнечном свете, бьющем в оба окна, и руками своими, вытянутыми, протянутыми вперёд, что-то там, впереди, нащупывающими, угадывающими, что-то там совершающими, шевелящимися, опускающимися, поднимающимися, как у фокусника, у факира, и снова устремлёнными

туда, вперёд, к инструменту, к назревающей в нём, к будущей музыке, и всем корпусом—туда, вперёд, и ещё вперёд,—вслед за звуком.

Мелькнёт в руке его птичка маленького камертона: «Ля!»

Звук вырывается из стальной птички. Звук. Тон. И опять итальянец—туда, вперёд, в работу свою, в настраивание инструмента. Слышит—звук. Идёт—за ним, только за ним.

Блеснули, зарокотали вертикально расположенные струны—внутри, под крышкой пианино, вертикальные, как на арфе, разной толщины, густо, плотно идущие, одна за другою, струны, по которым барабанили мягкие, ворсистые, ранее скрытые от глаз молоточки.

Движение за движением. Вглубь, внутрь назревавшей музыки. Музыка, которую надо настроить—как на хороший лад человека настраивают. Музыка, которую надо обеспечить—поскольку профессия такая: настройщик,—а это обязывает. Музыка, которую надо—даровать людям.

Движение за движением. Звук за звуком.

«Ля!»—взлетает камертон.

Что-то подкручивает настройщик внутри пианино.

«Ля!»—отзывается клавиша, когда он её нажимает.

Оба звука—совпадают по тону.

Взлёт—птичий полёт—мелькание камертона. Отработанный, точный удар им—по твёрдой поверхности, по крышке пианино. Будто два ласточкиных крыла мелькнули в воздухе. Будто раздвоенный ласточкин хвост промелькнул. Птичка ринулась вниз—и взлетела немедленно вверх, вместе с поднятой вверх рукою настройщика. «Ля!»—звук камертона. Чистый. Чистейший. Копошение, подкручивание в нутре инструмента. Хирургическое, медицинское какое-то.

«Ля!»—отзывается клавиша. Тот же тон!

Движение за движением. Дальше, дальше, вперёд и вперёд. Звук за звуком,—всё больше их, звуков.

Шла—работа. Настройщик—работал. Этот процесс завораживал. Я смотрел на работу итальянца, не отрываясь.

И вот настройщик—перевёл дух. Вот он, несколько торжественно даже, уселся за пианино. Взмах его маленьких рук—и раздалась в доме радостная музыка! Итальянская. Льющаяся, как свет, брызжащая светом, сияющая музыка. Чистая. Свет и тепло.

Настройщик играл самозабвенно. Похоже было, он даже не замечал никого вокруг. Он весь был—там, в найденной им, в обрётённой им, в спасённой им для жизни музыке.

Настройщик играл, полуприкрыв глаза. Играл, видно, что в голову приходило. А приходило ему в голову многое. Мелодии и темы, то знакомые,



то не очень знакомые, то впервые мною услышанные, сменяли одна другую, налетали, одна за другой,—и часто, скомкав предыдущую, принимался настройщик тут же за новую, а потом и она словно отодвигалась им в сторону, а взамен её звучала новая, бурная,—и видно было, что настройщик не просто решил испробовать, как звучит инструмент, убедиться в том, что он хорошо звучит, что отлично звучит, так-то лучше,—нет, он играл, играл очень хорошо, профессионально, и это был музыкант, весь как есть, и музыка выплёскивалась из его глаз, передавалась его рукам, и пальцы летали по клавиатуре—и пианино звучало, звучало, звучало.

Настройщик играл и играл. И вдруг он—запел. —О соли мио!—пел он.

По-итальянски пел. Настоящий итальянец!

—О соли мио!—раздавался в доме нашем голос его, итальянский, мягкий, звучный, бархатный голос, в нашем доме, где отныне есть музыка, содержащаяся вот в этом, настроенном пианино. —О соли мио!—пел он, аккомпанируя себе,—и сложные, на слух даже крупные какие-то, как всплески воды под ладонями, на реке, под солнцем, во время купания, как зелёные ветви деревьев, когда их раскачиваешь, как охапки цветов, целые букеты, только что сорванные, огромные, свежие, влажные, в полёте, с размаху взятые аккорды чередовались с переливчатыми руладами, с разливающимися под его пальцами по всей радостно отзывающейся ему и восторженно повинующейся ему клавиатуре целыми ручьями, проигрышами между куплетами итальянской песни.

Настройщик перестал играть—и обернулся к нам—всей нашей семье,—находящимся здесь же, в самой большой нашей комнате, и слушающим его игру и пение.

—Си!—сказал он по-итальянски.—Си!

И тут же, спохватившись, весь расцветший в счастливой улыбке, перевёл по-русски для нас: —Да!

И продолжил:

—Да! Хороший инструмент. Очень хороший. Звук певучий. Настоящий звук! Звук есть—будет и музыка!

Он опять просиял улыбкой.

—Вы,—обратился он к отцу,—правильный выбор сделали. Я тоже выбрал бы именно этот инструмент. А у меня есть опыт. О, поверьте, большой опыт, очень большой. Этот инструмент—долговечный. Подумать только—одесская фабрика. Прекрасный инструмент. Я рад за вас.

Отец мой был доволен. На лице его тоже сияла улыбка. Он отлучился на минутку—и вот уже снова был здесь, и в руках нёс кувшин с домашним вином, собственного изготовления, виноградным вином, из его, отцовского, винограда, разрастающегося в нашем саду и во дворе,—он нёс кувшин с прохладным, только что из погреба,

золотистым, совершенно солнечным виноградным вином, чтобы угостить итальянца. Сам непьющий, он любил угощать людей—и вином своим, и виноградом своим, и всеми фруктами и овощами из нашего сада—тоже своими собственными руками выращенными.

И мама была довольна. Улыбающаяся, светлая, как солнечный свет, хлещущий в оба окна, вся в сиянии этого света, в сиянии летнего дня, в тяжёлой короне своих отсвечивающих солнцем тёмно-русых волос, моложавая, оживлённая, удивительно была она хороша собою тогда, и говорила что-то приветливое, хорошее, доброе—улыбающемуся, ставшему вдруг рыцарственным, галантным итальянцу, и открывала буфет, доставая оттуда стаканчики, и ставила их на стол, и опять говорила что-то хорошее—всем нам.

И бабушка, тоже помолодевшая, тоже оживлённая, лёгкая, быстрая—в движениях, в повадках, в походке, взглядывала своими добрыми, чистыми, с умиленной слезинкой, глазами, и тоже говорила что-то хорошее—всем, и уже хлопотала, накрывая на стол, принося с летней кухни сюда, в дом, тарелки, вилки, ложки, ножи, закуски—обильную, как и всегда у нас.

Настройщик пригубил отцовского вина из гранёного стаканчика, и на смуглом лице его выразилось явное удовольствие. Потом он неторопливо выпил содержимое стаканчика, оторвал от лежащих на столе, в стеклянной круглой вазе на тонкой, но устойчивой ножке, сияющих светом и наполненных сладким соком, только что сорванных, нескольких крупных виноградных гроздей три-четыре ягоды, разжевал их—и видно было, что ему нравится их вкус.

—Хорошее вино! Хороший виноград!—сказал он всем нам.

—Конечно!—сказал ему отец.—Всё своё, домашнее.

Настройщик обратился ко мне:

—Я так понимаю, это ты, мальчик, будешь учиться музыке. Учись. Музыка,—тут он сделал широкий и плавный жест своей маленькой гибкой рукой,—музыка—это всё. Это сама жизнь. С музыкой—жить радостнее. Да, да, радостнее. С помощью музыки душа познаёт Творца. Это не я сказал. Так говорил блаженный Августин. Ты будешь играть на этом пианино. И ты всё скоро поймёшь. Сам всё поймёшь. Играй! Будь с музыкой вместе всегда, всю жизнь.

И он сделал ещё один жест рукой—словно благословляя меня.

Итальянец. Надо же! «Си!» «О соли мио!» Блаженный Августин. Настройщик. Мастер. Знаток своего дела. Заставляет музыкальные инструменты—звучать. Заставляет их—играть. Даёт им возможность играть. И сам ведь играет, и хорошо играет. И поёт. Да ещё как поёт!

А фамилия его—как мне нынче припоминается—была вся по-птичьи звучащая, переливчатая, как у певчих птиц их фиоритуры, как утреннее птичье пение,—Беллини? Челлини? Что?—вслушиваюсь я в прошлое: неужели—Феллини?!

На верхней крышке настроенного итальянцем пианино—всё ещё лежал, серебристо посверкивая, маленькой вилочкой, птичкой, ласточкой, таящей в себе—звук, примостившись там, положенный туда—конечно же, ненадолго, только на некоторое время,—ласточкой, ну в точности как те, что были нарисованы на бумажных конвертах довоенных граммофонных пластинок Апрельского завода,—всё ещё лежал—положенный туда, но вовсе не забытый настройщиком,—чудесный камертон.

И вот он встаёт, итальянец. Прощается—со всеми нами, со всей нашей семьёй. Доброжелательно, учтиво, как-то даже грациозно прощается. Итальянец—здесь, у нас, на Украине, в Кривом Роге, хоть и большом, хоть и промышленном, но всё-таки провинциальном городе, пусть и хорошим, зелёном,—нет, чудесном, замечательном городе, волшебном городе, я это знаю, в роскоши наших садов, и в ясной лазури неба, в изобилии роз, и акаций, и шелковиц, и мальв, и тополей, шелестящих листвою с улицы, в окружении этой сплошной красоты, в разгаре светлого, летнего, августовского дня. Фряжский гость. Иноземец всё-таки. И говорит ведь с явным акцентом. И держится-то вовсе не так, как местные жители. Одним словом, итальянец. Первый человек в моей жизни—с иноземной кровью. И сразу же—итальянец.

И вот он подходит к пианино. И—берёт свой камертон. И я вижу, обострённо, отчётливо, зорко вижу, как этот маленький инструмент, серебристо блеснув на прощанье, словно звучащим, хранящим звук, ясным глазком своим блеснув—мне, для меня,—чтобы помнил о нём!—исчезает в кармане настройщика.

До поры до времени, конечно. До той поры, когда он снова будет извлечён на свет—чтобы настраивать другое пианино, уже совсем у других, неизвестных мне людей, тоже любящих музыку.

Моё пианино—уже настроено.

Моя музыка—уже готова звучать для меня.

Итальянец, жива музыка! И твоя, и моя.

Цело когда-то настроенное тобою пианино, итальянец! Оно стоит всё на том же месте, в родительском доме, куда хотя бы раз в году, но обязательно я приезжал. А музыка—та, которую ты вызвал к жизни, настроив наше пианино,—всё звучит и звучит.

И звук—первоначальный, важнейший—даровал ей твой, серебристо посверкивающий из глубины времени, или же памяти, а может—и вечности, маленький камертон.

«Есть особые люди среди нас, что встают, подобно холмам, и грядущее прозревают настоящего много лучше и отчётливей, чем былое».

Ну откуда она взялась, эта вспыхнувшая звездой в городской полумгле строфа, вдруг возникшая предо мною и пришедшая навсегда?

Из печали, конечно,—из этого старого, странного зеркала.

Всею ртутной, подвижною прорвой своею, подслеповатой и жуткой, донельзя, до невозможности бездонной, страшщей и всё же завораживающей, неудержимо и властно притягивающей к себе, зыблется и отрешённо мерцает оно где-то там, внутри, в такой умопомрачительной глубине и в таком невообразимом отдалении, что голова идёт кругом и всё тело охватывает беспокойная, зябкая дрожь.

Что же прячется в нём? Из каких измерений, из каких неизвестных миров доносится к нам невозможное эхо кричащей его немоты?

На каком языке говорит оно? На каких волнах, на каких частотах возможно отыскать и услышать хрипловатый голос его?

А ведь мы его слышим. Более того—понимаем. Чем? Как? Почему?

Значит, попросту нет немоты. Нет безмолвия в мире. Всё звучит, и в звучании—жизнь.

Тьма и свет, пограничные области и состояния—тоже наполнены звуком. Звук—залог выживания, выразитель продолжения и развития сущего.

Звук—злак. Из него растёт новизна. Причём корни её направлены вверх.

Тем, что вверху, питается мысль. Попробуй сдержи постижение сути!

«Корень становления человека—в небе. Небо—праотец человека»,—так твердил ещё во втором веке до нашей эры, в Китае, один мыслитель, по имени Дун Чжун Шу,—и он был прав.

Но, живущие небом, частенько мы скорее подразумеваем его, нежели чтим. И тогда земное—навёрстывает упущенное, берёт своё.

Так, в чередовании дней, забываем мы не только о главном, но и о второстепенном, вообще забываем о том, что даровано свыше, существуем словно в каком-то дурмане, как под гипнозом, среди совершенно ненужных занятий и всяких забот, в долгий ящик откладываем свои начинания, замыслы, тянем с тем, что давно уже надо бы сделать, пока не спохватимся,—а до этого надо ещё дожить, вот в чём досада.

Ну а зеркало? Что с ним тогда?

Привычное для исподволь бросаемого на него рассеянного взгляда, зачастую слегка припорошённое далеко не всегда замечаемым и слишком уж редко вытираемым, легковесным, почти пуховым налётом не грубо прилипчивой, въедливой пыли, а скорее пыльцы, притянутой им к себе, как магнитом, из непрогретого воздуха, из всего этого мнимого, без рассуждений урезанного

стенами простора лишь кажущегося надёжным, а на поверку очень условного, даже призрачного людского жилья, или же покрытое откровенно густым слоем самой настоящей пыли, плотно слежавшейся и тяжёлой, полузабытое, хоть и не отвергнутое, находящееся осторонь, словно выпавшее из круга интересов, отодвинутое на задний план, оставленное на потом, а пока что обойдённое вниманием, обиженное, никем не замечаемое и, по причине жестокой невнимательности этой, незаметно втянутое, как в воронку, в монотонную прозу повседневности, катастрофически утрачивающее поэтичность, заурядно будничное, ну разве что где-нибудь сбоку, в укромном уголке, украдкой спрятавшее на память, упрямо удержавшее рядом с собою, при себе, только им одним различаемый, только им и лелеемый отголосок минувшего празднества, крохотный, полный высокого значения след, так, ничего необычного с виду, вроде бы мелочь, пустяк, скромный, простенький знак, понятный только ему и тем более для него дорогой, если честно — то драгоценный, лежит оно среди прочих вещей, заполняющих быт наш хаотично и непреложно, где-нибудь здесь, под рукой, — до поры, разумеется, до своей вдохновенной поры, до того наконец-то пробившего часа, когда оно разом вступает в игру.

И тогда, совершенно некстати, преднамеренно или случайно, всем волшебным стеклом своим, скользким на ощупь, запотевшим, туманным, всей его твёрдой, тяжёлой, но всё-таки призрачной плоскостью, то отвесной, а то и наклонной, накреньясь в никуда, как Пизанская башня, уже застывает, зависает оно, онемев от решимости, обомлев от восторга, рискуя, на едва различимой впотьмах, осязтимой одним лишь чутьём, ускользающей, тающей, брезжущей грани вероятного, на хрупкой, чуть ли не ледяной кромке, на самом краешке реальности, прямо перед незримой, хотя и воспринимаемой почему-то как резко и отчётливо проведённая кем-то существующим по ту сторону от неё, пограничной, предельной чертой, за которой мгновенно встаёт и вопрошающе ждёт сама неизвестность, — и на глазах превращается в нечто живое, даже, может быть, — кто его знает? — одушевлённое, пусть и открытое только тебе.

Полустёртое, тусклое, такое огорчительно непрочное и — надо же — такое поразительно долговечное, изборождённое ломкой, извилистой сетью то едва различимых, то укрупнённых, неровной буквенной вязью расплзшихся по стеклянной поверхности и меланхолично образовавших кое-какие замысловатые арабески трещин, этих неумолимых примет разрушения, разительно несхожих, например, с плотно идущими друг за дружкой годовыми кольцами деревьев, гибкими, расширяющимися в диаметре от центра ствола к его краям, хорошо знающими себе счёт и продолжающими

увеличивать своё число в геометрической прогрессии характерными бороздками, буквально звучащими, как на граммофонной пластинке, было бы кому её завести и послушать, этими явными заметами для себя, дневниковыми записями роста, приметами созидания, — всё равно причастно оно к некоей тайне, и ничего с этим не поделаешь, и изменить этого нельзя никому.

Одним большим глотком студёной воды, сложным по составу, сразу и живой, и мёртвой, отравленной и целебной, намагниченной этой вот тайной, заряжённой прошлым, благословенной настоящим, осенённой грядущим, утоляющей жажду, хрустальной, прозрачной воды, вобрало оно в себя все суеверия мира, все недомолвки, загадки, легенды и сказки земли.

Холодным, струящимся, напоминающим лунное свечение серебром отсвечивает, каким-то беспредельным, наверное — вселенским, искрящимся эхом отзывается здесь, в тишине, в уединении сердца, в одиночестве чистой души, посредине житейской пустыни, чудесное это зеркало, это магическое зеркало, в которое, так и не смирившаяся с предопределённостью, не желающая сдаваться, выжившая и оттого безоговорочно родная, устало смотритса долгими вечерами, быть может, и постаревшая, но зато уж точно всегда нечаянная радость.

И не только из жгучей, из вещей печали.

Даже больше — из давней, матёрой, обострённой, ревнивой, очень личной, а может быть, кровной, наследной тоски, неуклюже скрываемой от окружающих, по привычке наивно таимой, но от этого лишь более очевидной, набирающей силу и власть, вошедшей во вкус, по живому режущей, застающей врасплох, изводящей умело, со знанием дела, неизменно жестокой, но порою внезапно добреющей, что ли, по крайней мере — чуть ослабляющей чудовищное давление, хотя и не прекращающей ни на долю секунды гипнотическое своё воздействие на всё моё существо, и тогда, взамен гнёта, в качестве дара, прямо в тон поговорке «не испытать горького — не видать сладкого», доверительно приоткрывающей пылливому и чуткому сознанию какие-то невыразимой новизной изумляющие вещи: ведущие именно туда, куда надо и куда средо не пройдут другие, непосвящённые, не ведающие о сложных наших с нею, тоской, отношениях, посторонние, чужие, одним лёгким прикосновением руки распаивающиеся тяжёлые с виду двери, за которыми — звук и цвет, взлёт и свет, поднимающиеся к откровенно новым измерениям ступени, потайные закоулки, подземные ходы под ничем о них не знающими, грузно раскинувшимися наверху городами, целые лабиринты, замаскированные лазы, узкие каналы, замшелые шлюзы, свежие родники, глубокие кривизны, степные балки, хмурые яры, скрывающие ключи к ведической старине курганы, узловатыми

жилами напрягшиеся древние валы, долгою чередой протянувшиеся холмы, горные кряжи, лесистые перевалы, подёрнутые седоватой хмарью или реющие в безоблачном небе вершины, птичьи стаи, сплетенья корней, чернозём да пески, камень да глина, чабрец да полынь, и вовсе не торные, а сокровенные тропы, и неожиданно обнаруживаемые прямо у ног, ещё не исхоженные, можно догадаться—явленные дороги, чтобы идти по ним да идти, поначалу вперёд, а потом и вспять, к истокам своим,—словом, все возможные и невозможные пути в пространстве, с которым я вроде бы давно уже накоротке, и особенно во времени, где, судя по всему, с годами я всё больше привыкаю ориентироваться и всё уверенней и свободнее начинаю перемещаться.

А ещё—из желания музыки, из томленья по музыке, из ожидания музыки,—из вселенской, божественной музыки, от рожденья дарованной свыше и вечно звучащей во мне, из разрозненных отзвуков её и сближающихся переливов, из отдельных нот и летучих мелодий, из переклички разнообразных инструментов, из которых невидимые исполнители извлекают звук, выдувая его, срывая, сощипывая, получая посредством удара, вытягивания со струн при помощи гибкого волосяного смычка, любым способом, лишь бы это звучало, слышалось, воспринималось, доходило, проникало, осознавалось, из хоров и оркестров, из разраставшейся в мозгу всеобъемлющей музыки.

И, само собой,—из обрывочных мыслей, из разрозненных воспоминаний, из роя ощущений, догадок, вопросов к самому себе, сомнений, находок, взглядов в окно, шагов по комнате, прислушиваний к чему-то почти произнесённому, будто слово движется навстречу и вот-вот появится, из всего того смутного, брезжущего, необъяснимого, непонятного тому, кто подобного не переживал, из неминуемого, сложного, многообразного состояния души, которое предшествует состоянию транса.

Вот тогда-то и начинается чудо.

Вот тогда и работает речь.

И поэтому, значит, жива и прекрасна земная музыка! Для всех нас—общая, наша. Та, которая—наше всё. Та, которая—жизнь сама. Та, с которой вдосталь всего и открыл, и прозрел я, и понял.

Отца моего, художника от Бога, творца, мечтателя, фронтовика, воителя духа, отважного вестника добра, хранителя радости, давно уже нет на свете. Есть—только его творчество, да ещё—всё то хорошее, что передал он мне, внушил он мне, подарил он мне в жизни. И поэтому он для меня—жив. Давно умерла моя бабушка, но и она—удивительная, единственная—жива для меня. И дом наш, дом, где я вырос, всё так же неудержимо, как и в прежние годы, притягивает, зовёт к себе меня: приезжай! И я приезжал—и меня встречала моя седа, голубоокая, драгоценная мама. Да теперь и её нет на свете. Хотя она для меня—жива.

Но многое, светлое, важное, нарушилось ныне в мире. И хаос пришёл на смену блаженной былой гармонии. И дом наш разграблен полностью. И все работы отцовские, которые были в доме, украдены. И награды, военные и трудовые, мамины и отцовские, украдены. Всё, что было в доме, что составляло быт и уют когда-то, что доставляло радость нашей семье, поскольку было простым, привычным, тем, с чем сжились мы, скромным, но дорогим для сердца и для души, причастным к творчеству, и отцовскому, и моему, что было светом любви и счастья дивным озарено раньше,—теперь исчезло. Не знаю, остался ли цел наш домашний архив. И всюду—приметы разрухи. И—дикости беспредельной. И—злости жестокой. И сад пришёл давно в запустение. И спилены и деревья, и виноградные лозы, посаженные отцом. И наше гнездо родовое разрушено. Грустно видеть руины бывшего рая. И где оно, это желанное внимание земляков к отцу моему, воспевшему в работах своих чудесных, расхищенных ныне кем-то, родные наши края? И всё сложнее становится на родину мне приезжать. И есть надежда, что всё же над злом, над затмением временным победу одержит добро. И сам я уже и сед, и немолод,—но силы при мне, и правота моя—со мной, и поэтому я говорю открыто и прямо о том, что было когда-то и есть в теперешней яви, и с речью родной я дружен.

А музыка—та, которая в детстве ещё началась, та, с чьєю помощью наша душа познаёт Творца,—не прерываясь даже на миг, живёт, разрастается—и всё звучит и звучит. И есть у меня убежденность, что музыка эта—бессмертна.

Евгений Лукин

## Блокадные фрески

## Блокадный голод

*В каждой ленинградской семье сохранился рассказ о страшном блокадном голоде. Когда началась война, актрисе Алисе Бруновне Фрейндлих было шесть лет. Хозяйство в семье вела бабушка Шарлотта. Получив по карточкам хлеб, она запирала его в шкафу и выдавала строго по часам. «Я, маленькая, сижу перед шкафом, — вспоминала актриса, — и умоляю стрелку часов двигаться быстрее — настолько хотелось кушать».*

Был шкаф похож на истукана —  
Угрюм и мрачен, груб и слеп.  
Достоин печки был жестяной,  
Но в нём всегда хранился хлеб.

Хранился он за мощной дверцей,  
Которую не отворить.  
У шкафа не имелось сердца —  
Он неспособен был любить.

Затем Алиса и молилась  
Не истукану, а часам,  
Чтоб дверца поскорей открылась  
От заклинанья: «Сезам!»

И в долгожданную минуту  
Лишалась дверца мощных креплений:  
Являлось сказочное чудо —  
Блокадный ленинградский хлеб.

На деле бабушка Шарлотта,  
Владея золотым ключом,  
Дарила девочке голодной  
Картину с радостным концом.

## Невская прорубь

*Наряду с хлебом, главным блюдом ленинградцев был «блокадный чай» — обычный кипяток. Воду брали из прорубей на реках и каналах. Одна из них была прорублена на Неве — напротив Медного всадника. Скульптура Петра Великого была обшита досками. Проходя мимо, ленинградцы заодно подбирали вокруг щепки для своих печек, чтобы приготовить блокадный чай, и, как бы извиняясь перед Петром, начертали на досках: «Тебе не холодно, а мы согреемся».*

К Неве ходили за водой,  
Где Медный всадник возвышался,  
Под чьей державною рукой  
У моря город основался.

И размышляли на ветру  
У проруби на невской льдине:  
«Спасибо мудрому Петру,  
Что город не воздвиг в пустыне».

Но с каждым днём всё тяжелей  
Ступалось тропкой гололёдной,  
Хотелось прошептать скорей:  
«Добро, строитель всенародный!»

Всё тяжелей была вода  
Из проруби на невской льдине,  
И всё мерещилась тогда  
Громада в ледяной пустыне.

Там возвышался на тропе,  
Обшит досками, всадник Медный.  
И думалось: «Добро тебе,  
В твоей темнице заповедной».

И размышляли на ветру,  
Сбирая щепки у темницы:  
«Совсем не холодно Петру,  
А нам бы кипятка напиться».

И чудилось, что иногда  
К ним обращался всадник Медный:  
«Друзья, минует нас беда,  
Но не минует час победный!»

## Блокадная экскурсия

*С началом войны бесценные картины Эрмитажа были эвакуированы на Урал. На стенах остались висеть только рамы. Весной 1942 года начальник охраны Павел Филиппович Губчевский провёл для сибирских призывников, отправлявшихся на фронт, экскурсию по пустым залам Эрмитажа.*

Укрыла на Урале стража,  
Подальше от враждебных стран,  
Сокровища из Эрмитажа —  
Джорджоне, Рембрандт, Тициан.

Не стало ни полотен ценных,  
Ни изваяний по углам.  
Лишь рамы на музейных стенах  
Раскинулись то тут, то там.

И вдруг солдаты строем важным  
Вошли сюда—за взводом взвод.  
Их вёл по залам эрмитажным  
Единственный экскурсовод.

Вставал у рамы опустелой:  
«Вот—Тициан! Великий дар!  
Взгляните: крест несёт тяжелый  
Христос—небесный комиссар».

Он воздавал хвалу Джорджоне:  
«Представьте: юная Юдифь  
Повергла фюрера на троне,  
Мечом могучим поразив».

Он так живописал словами,  
Что рембрандтовский Авраам  
Как бы сникал перед глазами  
И острый нож бросал к ногам.

И каждый из солдат недаром  
Вскипал от ярости, сравнив  
Себя с распятым комиссаром  
Или с разведчицей Юдифь.

Ведь каждый был готов из мрака  
Идти сквозь огненный буран,  
Где поведут его в атаку  
Джорджоне, Рембрандт, Тициан.

## Танк Победы

*Старший лейтенант Зиновий Колобанов, получив на Кировском заводе тяжёлый танк кв, выдвинулся на развилку трёх дорог у Гатчины, где 20 августа 1941 года в одиночку подбил двадцать два немецких танка, и своим ходом вернулся на завод. За этот подвиг он был представлен к званию Героя Советского Союза, но получил лишь орден Красного Знамени. Мало кто решился поверить в такое чудо.*

Тяжёлый танк выходит из Кировских ворот:  
Как богатырь былинный, на смертный бой идёт.

Клянётся старый мастер, кивая на броню:  
«В огне крестилась горнем! Не подведёт в бою!»

Танкисты у развилки дороги фронтовой  
Тяжёлый танк укрыли берёзовой листвою.

Вот движется навстречу железная орда,  
Грозя крестом тевтонским, как в давние года.

Не знает отступленья тяжёлый русский танк:  
Богатырю известен звон рыцарских атак.

Знакомы их бравады, их трёфовая бронь:  
Сподручно из засады вести по ним огонь.

Пылают на дороге, ворочаясь едва,  
Железные болваны—их ровно двадцать два.

Враги как ни старались в том роковом бою,  
Но не повергли наземь былинную броню.

И русский танк, крещённый огнём иных высот,  
Своим добрался ходом до Кировских ворот.

Подходит старый мастер: «Ну, братцы, как дела?»  
«Спасибо!—отвечают.—Броня не подвела!»

## Кабинет Фауста

*В годы блокады читальный зал Публичной библиотеки находился в так называемом кабинете Фауста, похожем на средневековую монастырскую келью. Здесь хранились редкие книги, а посередине стояла статуя немецкого первопечатника Иоганна Гутенберга. Однажды сюда попал немецкий снаряд...*

Из тьмы блокадной, бесконечной,  
Не зная никаких преград,  
Ворвался в зал библиотечный  
Крупнокалиберный снаряд.

Немецкий канонир, наверно,  
Не просто так сюда стрелял,  
А по наводке дальномерной—  
Туда, где тихий свет сиял.

Он круг старинных фолиантов  
Разрушил бы в единый миг.  
Ему был ад милее Дантов,  
Чем райский сад учёных книг.

Как варвар, тёмен, злобен, меток,  
Он просвещение отверг.  
Ему был чужд далёкий предок—  
Первопечатник Гутенберг.

Но тут: «Остановись, мгновенье!»—  
Учёный секретарь сказал...  
И вдруг снаряд, прервав движение,  
Болванкою свалился в зал.

## Ночной таран

*Ночью 4 ноября 1941 года младший лейтенант Алексей Севастьянов совершил первый ночной таран немецкого бомбардировщика в небе над Ленинградом. На допросе пленный немецкий ас заявил: «Русские сами виноваты, что мы бомбим их города. Почему они не сдаются?»*

Идя на невскую столицу,  
Он каждый камень ведал тут.  
Ещё лихой тевтонский рыцарь  
Сюда прокладывал маршрут.

Фриц говорил: «Мечи куются  
Затем, чтоб в битве победить.  
Пусть лучше русские сдаются,  
И мы не станем их бомбить».

Фриц говорил: «Отдайте земли,  
Отдайте сад, отдайте град.  
Все эти вотчины издревле  
Нам, избранным, принадлежат».

Бомбил его бомбардировщик,  
Хотя кругом царила тьма,  
Подряд вокзалы, рынок, площадь,  
Больницы, мирные дома.

Вдруг под ночными небесами  
Взметнулся русский ястребок  
И протаранил лопастями  
Залётному тевтону бок.

Среди Таврического сада  
Пришлось налётчику упасть.  
Другой земли теперь не надо —  
Он этой нахлебался всласть.

### Футбольный матч

*В воскресенье 31 мая 1942 года в Ленинграде состоялся первый футбольный матч. Его провели наперекор фашистской пропаганде, которая объявила Ленинград «городом мертвецов». Трансляция футбольного матча в эфире произвела сильное впечатление на немецких солдат, осаждавших город на Неве.*

Ефрейтор был не при параде.  
Слух до ефрейтора дошёл,  
Что в осаждённом Ленинграде  
Играют мертвецы в футбол.

Он пояснял: «Нам говорили,  
Что Ленинград отдал концы,  
А тут передают в эфире:  
В футбол играют мертвецы».

Был гауптман не при параде,  
Ему общаться было лень:  
«Что ж, в осаждённом Ленинграде  
Настал, видать, воскресный день!

У русских всё не по-немецки:  
Умом их не понять — хоть плачь.  
У них живые спят мертвецы,  
А мёртвые играют в мяч!»

Ефрейтор был в недоуменье.  
Он в морг прифронтовой полез.  
Узнал, что в это воскресенье  
Никто из фрицев не воскрес.

### Ленинградская симфония

*Зимой 1942 года дирижёру Карлу Ильичу Элиасбергу поручили исполнить Ленинградскую симфонию композитора Д. Д. Шостаковича, посвящённую осаждённому городу. Дирижёр собирал музыкантов повсюду — от передовой до госпиталей и даже моргов. Премьера симфонии состоялась 9 августа 1942 года.*

Симфония подобна чуду!  
Её сыграть — большая честь.  
И дирижёр собрал повсюду  
Всех скрипачей — какие есть.

Трубач из роты пулемётной,  
Хоть страшная метель мела,  
Явился к сроку в зал холодный,  
Где репетиция была.

Туда же валторнист роскошный,  
Боец зенитного полка,  
Спешил по наледи дорожной,  
Поглядывая в облака.

На санках, будто на карете,  
Доставили флейтиста в зал.  
Альтист, лежавший в лазарете,  
На костылях приковылял.

— А где ударник молодецкий? —  
Осведомился дирижёр.  
Ему ответили: — В мертвецкой!  
Там слушает небесный хор.

И, отыскав в мертвецкой тело:  
— Воскресни! — дирижёр шепнул.  
И вдруг мертвец заиндевелой  
Рукою тихо шевельнул...

А в день премьеры среди лета  
Он так симфонию сыграл,  
Словно, с того вернувшись с света,  
Он смертью смерть опять попрал.

## Русская мозаика

*Накануне блокады прославленный мозаист Владимир Александрович Фролов получил заказ—изготовить для московского метро серию мозаичных панно. В холодной мастерской при свете керосиновой лампы старый мастер выполнил заказ, отправил панно в Москву по «Дороге жизни» и тихо скончался от голода.*

Непрост заказ столичный,  
Но мастер все равно  
Из смальты мозаичной  
Выкладывал панно.

Мороз его седины  
Посеребрил, как дым.  
Но дивные картины  
Вставали перед ним.

Там хлеб крестьяне жали,  
Сооружали кров.  
Там рыбаки сгружали  
Серебряный улов.

Из горнего там края,  
Сияя в облаках,  
Сходила мать святая  
С младенцем на руках.

И чудилось, что с неба  
Несут волхвы опять  
Сто двадцать граммов хлеба,  
Точней—сто двадцать пять.

Старик заказ Отчизны  
Исполнил наяву  
И по «Дороге жизни»  
Отправил груз в Москву.

А сам в рубаше бедной  
Пошёл путём своим—  
Дорожкой заповедной  
В святой Иерусалим.

## Эвакуация

*С началом войны началась и эвакуация ленинградцев. Но многие отказывались уезжать, пока не исполнят порученное дело. Историк Сергей Аннинский получил заказ написать очерк об Александре Невском для солдатской серии. Только после сдачи рукописи в печать в феврале 1942 года учёный согласился отправиться в эвакуацию, но по дороге скончался от истощения.*

Ему, что ни день, говорил верный друг:  
«Скорее в Ташкент! Там лаваш и урюк!  
Есть место в машине, пока прочен лёд,  
А труд для печати пока подождёт».

Учёный ему пояснял: «Милый брат,  
Пишу я брошюру для русских солдат,  
Как били когда-то тевтонов на льду.  
Закончу брошюру и тотчас уйду».

И вновь говорил ему преданный друг:  
«Засохли давно и лаваш, и урюк,  
И ты исхудал, как подсушенный плод.  
Ну что, ты отправил тевтонов под лёд?»

Учёный с улыбкой ему отвечал:  
«Князь Невский победу в бою одержал.  
Я службу достойно исполнил свою.  
Сегодня брошюру в печать отдаю».

Дорога спасенья по Ладоге шла.  
Машина учёного по льду везла.  
Смирненно его леденели глаза.  
Шла эвакуация—на небеса.

## Янтарная комната

*Осенью 1941 года Янтарная комната была похищена немецкими солдатами из оккупированного Царского Села. Она предназначалась для мирового музея, который задумал создать Гитлер. Временно её разместили в Кёнигсбергском замке. Во время штурма Кёнигсберга советскими войсками Янтарная комната таинственным образом исчезла. Современные исследователи полагают, что она находится в США.*

Гремя подковою железной,  
Сверхчеловек вошёл сюда  
И обмер от красоты чудесной,  
Где слились пламень и вода.

Пред ним на зеркале паркета  
Сиял янтарный кабинет,  
Словно восьмое чудо света,  
Которого прекрасней нет.

Сказал: «Не может варвар русский  
Таким сокровищем владеть.  
Едва ли высшее искусство  
Ему дано уразуметь.

В музее всех народов мира,  
Как наш великий вождь изрёк,  
Ему отыщется квартира,  
Ему найдётся уголок».

И вот восьмое чудо света,  
Сокрытое под груз иной,  
Доставил грузовик секретный  
В тевтонский замок ледяной.

И с той поры над грузом ценным,  
Как бы исчезнувшим навек,  
В музее мира сокровенном  
Трясётся тот сверхчеловек.

А нам завещано отныне  
Найти янтарный кабинет  
И тайны отыскать иные  
В пустыне отпылавших лет.



## Ольга Берггольц

*«Муза осаждённого города» — так по праву именовали поэтессу Ольгу Берггольц. Её стихи, звучавшие по Ленинградскому радио в самые трудные дни блокады, помогли ленинградцам укрепиться в вере и дожить до победы. На каменной стене Пискаревского кладбища выбиты её нетленные строки: «Никто не забыт, и ничто не забыто».*

Приходила к печальным гранитам  
И вставала у каменных плит.  
Говорила: «Ничто не забыто».  
Говорила: «Никто не забыт».

Горожане сюда приходили  
И упорно искали родных:  
«Почему безымянны могилы?  
Почему только даты на них?»

О годах памятуя голодных,  
Не стеснялась она повторять:  
«Потому что бессмертен их подвиг  
И божественной славе под стать».

ДиН СИММЕТРИЯ

## Владимир Набоков

## Сердце я бережно нёс

Бережно нёс я к тебе это сердце прозрачное. Кто-то в локоть толкнул, проходя. Сердце, на камни упав, скорбно разбилось на песни. Прими же осколки. Не знаю, кто проходил, подтолкнул: сердце я бережно нёс.

Я помню в плюшевой оправе  
дагерротипную мечту  
и очи в северной дубраве,  
и губы в громовом порту.  
Но ты... Прямой и тонкой тенью,  
как бы ступая по стеклу,  
внимая призрачному пенью,  
вникая пристально во мглу,  
— во мглу, где под железным клёном  
я ждал, где, завернув с угла,  
сквозные янтари со стоном  
текли в сырые зеркала—  
безгласно в эту мглу вошла ты,  
и всё, что скучно стило встарь,  
всё сказкой стало: клён зубчатый,  
геометрический фонарь...

Ты... Платье чёрное мне снится,  
во взгляде сдержанный огонь,  
мне тихо на рукав ложится  
продолговатая ладонь.  
И вдруг, улыбкою неожиданной  
блеснув, указываешь мне:  
клин теневой, провал обманной

на бледной, на косой стене.  
Да, правда: город угловатый  
играет жизнью колдовской  
с тех пор, как в улицу вошла ты  
своей стеклянною стопой.  
И в этом мире небывалом  
теней и света мы одни.

Вчера нам снились за каналом  
венецианские огни.  
И Гофман из зеркальной двери  
вдруг вышел и в плаще прошёл,  
а под скамьёю в тёмном сквере  
я веер костяной нашёл.  
И непонятный выступ медный  
горит сквозь дальнее стекло,  
а на стене, косой и бледной—  
откуда?— чёрное крыло.  
Гадая, всё ты отмечаешь,  
все игры вырезом ночных,  
заговорю ли— отвечаешь,  
как бы доканчивая стих.

Таинственно скользя по гласным,  
ты шепчешь, замираешь ты,  
и на лице твоём неясном  
ловлю я тень моей мечты.  
А там над улицею сонной,  
черты земные затая,  
стеною странно освещённой  
стоит за мною жизнь моя.

Павел Шаров

## Тень солдата

1.

Не сыщешь больше в этом мире  
 страны четыреста четыре.  
 А там родился, жил и рос  
 великоросс, и малоросс,  
 и белорус—три русских брата.  
 Но сожжена родная хата.  
 Семья погублена. Один  
 стою, доживший до седин,  
 а степь бескрайна, небо низко.  
 Нет ни Креста, ни Обелиска.  
 Враг обложил со всех сторон.  
 О, где вы, витязи времён  
 минувших? Встаньте! Труд ваш ратный,  
 и добрый конь, и меч булатный  
 сослужат службу нам. И мы—  
 плечо к плечу—на Царство Тьмы  
 обрушим гнев наш, Боже правый,  
 покрыв себя бессмертной славой.

2.

Зло искуплено будет вполне,  
 Рейн вернётся в свои берега.  
 Проплывёт по волнам труп врага.  
 Ну а ты—вспоминай обо мне.

Когда в небе вечернем звезда  
 льёт на грешную землю лучи,  
 вспоминай обо мне—и молчи,  
 чтоб никто не узнал никогда,

что тебе лишь сказать я посмел.  
 Я в изгибах пространства увяз.  
 Я теперь—искорёженный вяз,  
 но внезапно умолк артобстрел.

Быть эоловой арфой не мне—  
 мои сучья-обрубки скрипят,  
 я дрожу от макушки до пят.  
 Я солдат. Я погиб на войне.

3.

Двадцать четыре. Лютый.  
 Вот уже год, как война.  
 Что ж вы? Опомнитесь, люди!  
 Или не ваша вина

в том, что мир русский—на плахе,  
 в люльке потух уголёк,  
 вылезли немцы и ляхи,  
 в зареве юго-восток?  
 Гвардия из Краснодона—  
 где ты? Мы сердцем с тобой.  
 Чтобы враги с небосклона  
 Солнце не свергли—на бой  
 мы выступаем. Отныне  
 нет вам пощады. Ведь вы  
 предали наши святыни,  
 вас развели на мякине,  
 вашими трупами рвы  
 доверху полны, до края.  
 ...Остовы выжженных хат...

Выплачет очи Украина,  
 в чёрный закутана плат.

4.

Сумерки—точно чай.  
 Выпей—уйдёт печаль.  
 Помни, мой друг, о прошлом,  
 а о грядущем—ни-ни!  
 Сколько налипло к подошвам  
 за минувшие дни—  
 не впроворот... Гром грянул—  
 значит, креститься пора.  
 Вот я на жизнь свою глянул—  
 нет ни кола ни двора,  
 рухлядь ненужная... Родина—  
 вечна только она.  
 Неисповедима, не пройдена.  
 И не достигнешь дна,  
 сколь глубину ни выпытывай—  
 что там? Не Китеж-град?

...Ныне стальными копытами  
 лезет на Родину Ад.  
 Каин, убивший брата,  
 орды твои, как встарь,  
 сгинут. О гул набата!  
 Громче ударь, звонарь!

5.

Говорят, мы доели последних ежей  
и беднее ободранной липки,  
а грядущая ночь будет «Ночью ножей»,  
ну а хрен доигрался на скрипке.

Это кто же Россию уделал, как Бог  
черепашу? Аморфная масса.  
Ничего здесь не будет — лишь чертополох  
да похлёбка из хлеба и кваса.

Говорят, что мы Мордор и места среди  
стран нам нет, мы проклятые орки.  
...Выйди в чистое поле, на небо гляди,  
на луга, перелески, пригорки —

это Русью зовётся, — её с молоком  
материнским впитав, нога в ногу  
мы уходим на небо бессмертным полком,  
на поверку на вечную к Богу.

6.

Не спишь. И детская кроватка.  
И тусклое мерцанье звёзд.  
Планета плачет, как солдатка.  
Свист пуль. И ширится погост.

А эта жизнь — игра без правил.  
И человека человек  
уничтожает: Каин — Авель.  
И ныне, в двадцать первый век,

как при Адаме и при Еве,  
родную проливает кровь  
родная кровь... Пусть еле-еле,  
но всё же теплится Любовь,

горит спасительной лампадкой  
во тьме эпох, во мраке войн.  
Земле не вечно быть солдаткой.  
Земле не сделаться вдовой.

7.

Земле — земное, душу — Богу  
отдать, на свет шагнуть из тьмы.  
Поодиночке на дорогу  
выходим. Путь кремнист. А мы —

мы сотканы из звёздной пыли  
и станем ей в конце концов,  
как и до нас здесь жили-были.  
Тех поколений праотцов

не счесть — и все ушли. А знака  
нет никакого: как вы? Где?  
Скрипят созвездья зодиака —  
звезда... звездою... о звезде.

В конце, как и в начале, Слово.  
И Рай в душе у нас, и Ад.  
И снова вопрошаем, снова:

«Что скажешь, Каин? Где твой брат?»

8.

Сейчас Россия на Голгофе.  
но будет Воскресенье — так  
судил Господь. А катастрофе —  
нет, не бывать. И ты, наш враг,

покайся, или будет поздно —  
безвестно сгинешь, как все те,  
кто только выглядели грозно.  
Сейчас Россия на Кресте.

Но между нами Бог распятый,  
и мы воскреснем, как и Он.  
Навис над вами час расплаты.  
Над нами же — пасхальный звон.

9.

Что я знаю о жизни? Немного —  
что у дома четыре стены,  
отведён красный угол для Бога.  
И огромное чувство вины —

это то, что я твёрдо усвоил.  
Что я знаю? Что жизнь — не игра.  
Джек построил, а я не построил  
дом, в котором четыре угла.

Но душа — пятый угол. Заснежен  
город-призрак. Незримый Христос  
отправляется в люди — безгрешен,  
беззащитен, и наг он, и бос.

Только в каждом живёт Инквизитор —  
пусть Любовь всё искупит сполна,  
мы готовы к формальным визитам,  
но к Пришествию — нет! Чья вина,

что Любви, о которой апостол  
говорил, мы не вынесем? В нас  
нет такого начала, мы просто  
разделились: вот эти за нас,

а вот эти — враги. Как завьюжен  
город-призрак. Ты слышишь, Господь?  
Уходи! Ты нам больше не нужен.  
В кровь Твою претворится и плоть

хлеб с вином — мы поклонимся Чаше.  
Это Таинство — просто обряд.  
Потому что есть «наши» и «ваши».  
И не души — лишь свечи горят

пред иконою, где Богоматерь  
Семистрельная, глядя на нас,  
тихо плачет и слышит: «Имать их,  
бо раскольники!..» Слышится Глас,

Глас Шестый... Что я знаю? Что смертен.  
Что я тлею, дымлю без огня.  
Что грехами насажен на вертел.  
Всё страшнее мне день ото дня —

я напрасно ищу пятый угол  
в непостроенном доме. В живых  
как остаться? Как жить среди кукол,  
среди этих фигур восковых?

## 10.

А что в этом мире не ящик Пандоры?  
В людских головах—ядовитые споры,  
мутится наш разум. Куда от безумья  
бежать? В голове несмолкаемый зуммер  
гудит. Как изгнать эти мысли-трихины?  
Как вырваться из мировой паутины,  
где в центре Паук, мы—безвольные жертвы?  
Нас всех перемелет убийственный жернов.

А что в этом мире? Хорошего мало.  
Но раму по-прежнему вымоет мама,  
и день впереди бесконечный, а лето—  
как целая жизнь. И не спишь до рассвета,  
мечтаешь о будущем... Мог ли ты разве  
представить такое, что мир этот язве  
гниющей вдруг станет подобен и кровью  
он будет сочиться, что Смерть к изголовью  
придёт и усядется тихо под вечер  
у детской кровати—как будто ей нечем  
другим поживиться?

Так было от века:  
война—человек убивать человека  
уходит на фронт, он мужчина, он призван.  
Другой—это враг, он нам виден сквозь призму  
прицела, и вот—либо нас, либо мы их.  
Какой-то у Времени дьявольский вывих,  
не вправить никак—ампутировать надо,  
чтоб сгинула нечисть в расщелинах Ада.

## 11.

Что плакать о погибшей Атлантиде?  
Я помню её песни. Я там жил.  
И вот теперь, последний старожил,  
сам на себя я в горестной обиде—  
не перекинуть мне волшебный мост  
меж тем и этим светом. Что посеешь,  
то и пожнёшь. А ты—во что ты веришь?  
Я верю в предков—вот они до звёзд

сумели дотянуться. Ну а мы  
друг друга убиваем на обломках  
страны атлантов—о таких потомках,  
чьи скорбные помрачены умы,

жалеют предки—те, кто средь держав  
не допустил фатального позора,  
планету эту, яблоко раздора,  
в своих ладонях чудом удержав.

## 12.

О чём трещат несносные сороки?  
О том, что по всему выходят сроки:  
ноябрь, предзимье—это время скорби.  
Пошарь рукой в дырявой жизни торбе,  
найди на чёрный день хотя бы пару  
незалежалых строф. Возьми гитару,  
спой про весну на улице Заречной.  
Ты сам-то кто? Чудак. Сверчок запечный.  
А в мире—гул снарядов и бомбёжки.  
Ты цедишь свой настой по чайной ложке,  
в нём ненависть замешана с любовью.  
Но кровь смывают только вражьей кровью—  
таков закон, и без войны нет мира.  
И пусть моя заржавленная лира  
не будет петь фальшиво и с надрывом.  
И пусть разрыв сменяется разрывом—  
мы победим во имя наших павших,  
не траки танков—плуг пройдёт по пашням,  
меч перекован будет на орало.  
Мы победим во что бы то ни стало.

## 13.

...Он шёл на Одессу, а вышел к Херсону...  
Мы сдали Херсон и ушли в оборону.  
Что скажет теперь нам матрос Железняк?  
Что десять гранат не пустяк?

Пустяк не пустяк—мы выросли в левый берег.  
Меж нами и ними Дніпро, а не ерик.  
В эфире слышна чужеземная речь.  
Что скажет теперь Запорожская Сечь?

Помогут ли, сынку, проклятые ляхи?  
А сколько голов вы сложили на плахе—  
забыли? А Днепр—он всё помнит, и гнев  
обрушит на вас, от стыда почернев.

Героев своих не забудет Отчизна.  
А вы—не по вам поминальная тризна.  
Мы русские люди—москаль и хохол,  
мы в детстве держались за общий подол.

Меж нами не Днепр—как ревёт он и стонет!—  
а крови река—в ней и братство потонет.  
Мы русские люди—хохол и москаль,  
мы братья, которым друг друга не жаль.

## 14.

О чём мы плачем? Во что мы верим?  
И что мы любим?... Уж лучше зверем  
лесным обхаживать свои тропы,  
не знать ни Азии, ни Европы,  
не знать ни Африки, ни Америк,  
а просто выйти с утра на берег,

напиться вдосталь и, морду в небо  
закинув, рыкнуть!.. А мы от гнева  
уже готовы стереть друг друга  
с лица планеты... Скажи, зверюга,  
ну что ты знаешь такое, что мы  
понять не можем? Готовим тонны  
боеприпасов—для истребления  
себе подобных. А искупленья  
людских пороков, людской гордыни—  
его покамест и нет в помине!

Не зверь лесной я, покрытый шерстью,  
и на окраине, по предместью  
иду, а звёзд—не окинешь оком.  
Весь этот мир, сотворённый Богом,—  
все звери в чащах, все птицы в рощах—  
он так прекрасен! А мы всё ропщем,  
а мы всё требуем: мало! мало!  
И Землю тянем, как одеяло,  
всяк на себя, не взыскав Града  
Небесного, а земли нам надо,  
чтобы укрыться от всех сражений,—  
любому хватит и трёх сажень.

#### 15.

Этот дождь нескончаемый, невыносимый,  
обложивший всё небо—он нужен на кой?  
Этот мир—как бы весь он не стал Хиросимой.  
Хорошо бы прижаться к подушке щекой

и уснуть, очутившись в придуманном мире,  
где ни войн, ни убийств—только всё это бред!  
Мир—как загнанный конь, он весь в пене и в мыле,  
но выносит пока. А навстречу—Конь Блед,

на нём всадником Смерть... И в холодном поту ты  
вдруг проснёшься, а там—то ли дождь, то ли снег,  
то ли «смерч», то ли «град». И в такие минуты  
тебе стыдно за то, что и ты человек.

#### 16.

*И. Китовой*

Ни мира, ни спокойствия, Эйрена.  
Очаг домашний разворошен—мы  
напряжены, нам чудится измена.  
И в сумрачном преддверии зимы

нам холод заползает в души, Ира,  
и гложет изнутри сомненья червь:  
дождёмся ли спокойствия и мира?  
И бесполезно спрашивать: «Зачем?»

Такой нам выпал жребий... А мир сужен  
до щёлочки дверной—а что за ней  
нас поджидает? И кому ты нужен  
в огне, в чаду междоусобных дней?

## 17.

Мой дед, погибший в Латвии в сорок четвёртом,  
мой дед, огнемётчик, каково тебе было  
за столько вёрст от родимого дома,  
где осталась жена, шесть сыновей и дочь?

В две тысячи двадцать втором я дышу морозным, но спёртым  
воздухом декабря, моя кровь ничего не забыла,  
это я кончаюсь от ран, и— снова-здорово—  
в катафалк запрягают кобылу-ночь.

Мы русские люди, мы мирные люди, только не надо  
тревожить берлогу медведя— очнувшись от спячки,  
он вас разорвёт— пропадёте без вести,  
не будет у вас могилы, так и сгинете без следа.

Великая Русская смута, а вы-то надеетесь: мол, моя хата  
с краю,— псы, от хозяев ждёте подачки.  
А мы за победным столом соберёмся все вместе—  
прадеды, деды, отцы, сыновья— не разлей вода!

Мой дед, в декабре погибший, ты был меня младше на семь  
лет. А я бы в сорок три года не справился с огнёмётом.  
Как на себе эту дуру таскать и метать по фашистам пламя,  
выжигать, выкуривать их из нор?

Пусть ты однажды споткнулся и пал, простреленный, наземь...  
Латвия— где она, эта Латвия? Каким-то гнилым болотом  
стала страна, у которой отшибло память.  
А пламя— горит в моём сердце с тех давних пор.

## 18.

Когда бы не столбы печного дыма,  
давно б на землю рухнул небосвод.  
А ты— молчи, воды набравши в рот,  
ведь жизнь настолько неисповедима,

что, вставши утром, ты не можешь знать,  
каким он будет, вечер. И об этом—  
будь графоманом ты или поэтом—  
умнее будет просто промолчать.

Январь, мороз, а кажется, весной  
уже пахнуло, но зима не дремлет,  
и ветер клубы дыма жадно треплет.  
Ты сам себя обходишь стороной.

Ты знаешь, что виновен. Только в чём—  
ты объяснить не можешь, не умеешь.  
Аника-воин, ты не уцелеешь,  
стремясь душой за солнечным лучом.

## 19.

Снег лежит на асфальте усталом,  
но не саваном, а покрывалом.  
Вечереет. Сгущается сумрак.  
Помнишь песню про детский рисунок—  
чтобы солнце, и небо, и мама—  
они были всегда, как и он?  
Те слова повторяю упрямо,  
потому что поставлен на кон

целый мир, и в запасе планеты  
нет другой. Тот мальчишка—ну где ты?  
Ты давно уже седобородый.  
Сколько душу свою ни уродуй  
и в какой ни погрузишься сумрак—  
вспомни песню про детский рисунок,  
вспомни солнце, и небо, и маму,  
и мальчишку—пусть будут всегда!  
...То не снег, а небесную манну  
озаряет лучами звезда.

## 20.

А ночью ты бродишь по лесу, богатому дичью,  
звериную речь понимаешь ты ясно и птичью.

С утра просыпаешься—хочется выкурить трубку  
желанного мира, но видишь войны мясорубку.

И ярость бессильна твоя: ну какой же ты воин?  
И деда, на фронте погибшего, ты недостойн.

И все твои предки—им стыдно, наверно, и горько.  
...А там, в твоём сне, занималась волшебная зорька.

И мир просветлённый, где лев и ягнёнок на равных.  
Живая вода—да, она исцеляет все раны.

И кто бы когда ни родился—он жив и поныне.  
Ни смерти, ни времени нет в том лесу и в помине.

## 21.

Апрель юн и свят, а ты грешен.  
Уже не осталось скворешен,  
что ты мастерил. И деревья  
исчезли, где были скворешни.  
Но ты не такой уж и древний,  
а воздух по-прежнему вешний.  
Дыши полной грудью. Пусть время—  
минута вослед за минутой—  
уходит, но ты ведь Иудой  
не станешь за бочку варенья,  
корзину печенья... Не эти,  
так те предадут. А на свете  
бушует весна. Взять шинели,  
пойти по домам—нет, не выйдет.  
Ведь мы—всей страной—на прицеле.  
Но Бог, он не фраер—всё видит.  
Шатаюсь без дела, как пьяный.  
Возьму инструмент—деревянный  
домишко построю—пернатых  
гостей дожидаться. Они ведь  
вернутся в родные пенаты.  
Скворцы! Я устал ненавидеть.

## 22.

...Мне больше не являлась тень солдата,  
но я хочу увидеть светлый день,  
когда война, где брат пошёл на брата,  
закончится, и пепел деревень

развеет ветер правды и свободы,  
и, павших помянув, мы рукава  
засучим (а работы нам на годы),  
и ни к чему здесь громкие слова.

Обуглена земля от «Солнцепёков»,  
но выжила, и травы встали в рост,  
и жаворонок—высоко-высоко,  
а ночь сойдёт—рукой достать до звёзд.

Здесь, на земле, зеркально отраженье  
небесной битвы, где Архистратиг  
архангел Михаил ведёт сраженье  
длиною в вечность. Ну а жизни миг—  
как искры всполох. Остаётся память  
в людских сердцах, из века длится в век.  
Огонь души. Самосожженье пламя.  
И призван Богом каждый человек.

## 23.

За сродников наших, живых и усопших,  
помолимся. Каждый пусть—мелкая сошка,  
но в нас—сквозь столетия—вся тяга земная,  
скрижали Завета и кручи Синая.

За воинство наше—а сколько их, павших?—  
помолимся, братья и сестры. На пашнях  
дымится земля, и рычат «Леопарды»,  
но кривде вовек не сломить нашей правды.

За Родину нашу—от Буга до Бога—  
помолимся. Будет нелёгкой дорога.  
Пройти предстоит через ад нам кромешный,  
чтоб к свету пробиться. И азъ многогрешный

что вижу? Я вижу, как темень нависла,  
как чёрными стали и Волга, и Висла,  
а Днепр—это Лета. Испивших забвенья,  
утративших память—уже поколения.

За Родину нашу, в былом и в грядущем,  
помолимся и поклянёмся всем сущим—  
пусть машут крылами безумные войны,—  
что памяти предков мы будем достойны.

## Анатолий Вершинский

# Родовая память

### Лестница

Красота земная—на виду  
и для всех доступна одинаково.  
Торгаши́нской лестницей иду,  
точно райской лествицей Иакова.

За море, земляк, не торопись  
к модным турам с джипами и гидами:  
тысяча шестьсот ступеней ввысь—  
пеший трек с открыточными видами.

Скалы Торгашинского хребта  
вытянулись гребнями зубчатыми.  
Склон окрашен в пёстрые цвета,  
сдобрен травяными ароматами.

Ясен день—и очень далеко  
видно с высоты полёта птичьего.  
Чем не место силы? Нелегко  
было бы без лестницы достичь его...

Кто держал по козьим тропам путь  
и в палатке жить привык по месяцу,  
вряд ли пожелает помянуть  
лестным словом эту чудо-лестницу.

Сбросить бы десятка два годков—  
я бы сам петлял тропой над бездною,  
но сегодня, право, не готов  
пренебречь подручницей железною.

Радуются ей и стар и млад,  
вверх идя ажурными пролётами.  
Где же, как не здесь, насытить взгляд  
редкостными горными красотами?

Здесь вольней и глубже дышит грудь,  
сдавленная бытом, будто латами.  
Люди здесь—не ангелы отнюдь—  
чувствуют себя в душе крылатыми.

.....  
1. Аланы—ираноязычные кочевые племена скифо-сарматского происхождения. Рухс-аланы («светлые аланы») — одно из сармато-аланских племён.

### Путь барса

Из южных в северные страны,  
где гуще травы и дожди,  
пришли, кочуя, рухс-аланы<sup>1</sup>  
с эмблемой барса на груди.

Они славянам имя дали,  
усвоив речь их и закон,  
и зваться русичами стали  
потомки слившихся племён.

Европа лезет вон из кожи,  
стремясь разъять наш общий стан,  
но барсы гербовые схожи  
у осетин и псковитян.

И у татар, и у хакасов  
на геральдических щитах  
мы видим барсов—тех окрасов,  
какие помнят в их местах.

У нас—при всех чертах несходных,  
стирать которые нельзя,—  
у всех народов, братьев сводных,  
одна судьба, одна стезя.

И коли с нечистью вживую  
столкнуться выпало в пути,  
окликни память родовую,  
преданья пращуров прочти.

Придут на помощь без отказа,  
лишь честь по чести попроси,  
и нарги—витязи Кавказа,  
и храбры—воины Руси.

И православные святые,  
и чудотворцы вер иных  
помогут ратникам России,  
как помогали предкам их.

Кто телом слаб—творит молитву,  
кто трус—бежит за Верхний Ларс,  
а храбреца ведёт на битву  
оживший в яром сердце барс.



## Речная страна

Как здорово, что рек в России много!  
(И волокы не худо помянуть.)  
Река зимою—санная дорога,  
а летнею порою—водный путь.

Живущие у рек уловом сыты.  
Когда же деревням грозит набег,  
то нету для селян верней защиты,  
чем город на мысу—на стрелке рек.

Речные воды с двух сторон детинца,  
а с третьей—крутобережный водный ров  
задержат и тевтонца, и ордынца.  
Так строилась Москва, а прежде—Псков.

И Новгород на Волге, сиречь Нижний,  
и многие другие города,  
от центра до которых—свет не ближний,  
ведь прямо не всегда течёт вода.

Дорогою, то зыбкою, то скользкой,  
влекомые судьбой на край земли,  
ватажники от пристани тобольской  
где реками, где волоками шли.

Препон хватало русским Одиссеям...  
Судите сами: из иртышских вод  
приплыл на стрелку Качи с Енисеем  
отряд казачий только через год.

Привёл дружину выходец из рода  
владимирских владетельных бояр  
Андрей Дубенский—первый воевода  
острога под названием Красный Яр.

Потомки удивляются доньне,  
как выжили их пращурь в пути  
и как им удалось в речной долине  
за две недели крепость возвести.

Служилые с крестьянскою закваской  
срубили прясла, башни по углам.  
А ту, что в центре стен, назвали Спасской:  
вверху—пищаль, внутри—церковный храм.

Не раз пальбой ружейной и картечной  
встречал острог непрошенных гостей...  
Прошли столетья. Дерево не вечно.  
Пропал и след сибирских крепостей.

И там, где открывает шустрой Каче  
широкие объятья Енисей,  
сегодня место выглядит иначе:  
высотки, мост, концертный зал, музей.

А в небе—сеть воздушных коридоров,  
открытых всем со взлётной полосы...  
У рек небесных свой и путь, и норы,  
и плыть по ним не месяцы—часы.

## Благовещение у колодца

...И, взяв кувшин, пошла за водой;  
и услышала: Радуйся, благодатная!  
Господь с Тобою; благословенна  
Ты между женами...  
Протоевангелие  
Иакова. Глава XI

Ревнители правил, судите без гнева  
и мастеру вольность не ставьте на вид:  
на мстёрской иконе Пречистая Дева  
у сруба колодца с ведёрком стоит.  
Как будто соседушка, ужин спроворив,  
пришла за водою, оставив шитьё.  
Хитон у Марии, как должно, лазорев;  
как должно, бордов омофор у неё.  
Иконный пейзаж канонично условен:  
скалистые горки, лесок вдалеке.  
Но этот колодец из тёсаных брёвен!  
Но это ведро жестяное в руке!

Согласно Писанию, встретила дома  
Мария архангела с вестью благой.  
Нам эта история с детства знакома  
из книги, написанной мудрым Лукой.  
Но повесть иную поведал Иаков;  
её не включили в церковный канон,  
хоть этот апокриф по-своему знаков:  
там корни у многих стихир и икон.  
Быть может, и в ваших сердцах отзовётся  
сумевший немало талантов увлечь  
сюжет Благовещенья подле колодца:  
колодец—первейшее место для встреч!

На мстёрской иконе—предвестие чуда:  
и в жестах фигур, и в палитре самой.  
Но сбудется чудо—помедлив, покуда  
Мария, опомнясь, вернётся домой...  
Знаток палестинских святынь и диковин,  
естественно, спросит, прищурясь хитро:  
а как же криница со срубом из брёвен  
и странный сосуд—не кувшин, а ведро?  
Отвечу: колодец до смертного часа  
у нас почитается кладезем благ.  
У Господа нашего, русского Спаса,  
и Матушка—русская. Разве не так?

## Дачники

Своею статью бесподобной  
не спорил город, слишком пёстрый,  
с деревней прежней, хлеборобной,  
где были избы точно сёстры.

Дома резьбою красовались —  
и пятистенки, и крестовый,  
но красовались, не бахвались  
перед соседями обновой.

Всяк дом жилой, каким бы старым  
ни стал, не мог прийти в упадок.  
Сторонке улицы недаром  
народ название дал: порядок.

И жить могли бы до сих пор мы  
с родной природой заедино,  
когда бы гиблые реформы  
не гнали в город селянина...

Теперь село не то, что ране.  
Дороги чиста от колдобин,  
скупают землю горожане  
и строят, кто на что способен.

Один мансарду к срубу лепит,  
другой возводит сущий терем,  
а третий — замок... Шок и трепет!  
Глядим — своим глазам не верим.

Бывали виды и плачевней  
в картине сельской, часто мрачной.  
Но как же муторно деревне  
не хлебодатной быть, а дачной!

## Русский план

Летом и зимой, и в зной, и в холод,  
льёт ли дождь, метёт ли снеговой,  
бережно хранит Довмонтов город  
древние фундаменты церквей.

Площадь крепостная — как пергамент:  
знаки, что на нём, не вдруг прочтёшь.  
А ведь каждый каменный фундамент  
представляет, в сущности, чертёж.

Если знать пропорции строения,  
ведомые прежде мастерам,  
этот план и должны уметь  
воссоздать позволят павший храм.

От иных остались лишь названия...  
Мы же ради блага, не со зла,  
разрушали мир до основания.  
Но основу почва берегла.

Вестники безбожного эдема  
русский план марали как могли.  
Но крестово-купольная схема  
проступала из самой земли.

Зодческая практика упряма —  
всем пора бы выучить на ять:  
на камнях разрушенного храма  
храму лишь по силам устоять.

Много из наследства праотцова  
мы продули, сбитые с пути.  
Но осталась прочная основа.  
Надо только стены возвести.

Ольга Козэль

## Тому, кто по уши влюблён

## Рождество

Ну не враги ж вы мне, овраги!  
 Не нужно вышибать слезу.  
 Травы малюсенькие шпаги  
 И кто-то маленький внизу.  
 Мадонна смотрит детски хмуро,  
 Сметая крошки со стола.  
 Она бела, широкоскула,  
 Широкоскула и бела.  
 И—ни ответа, ни привета.  
 Опасно истончилась нить.  
 И только, собственно, об этом  
 Мне хочется поговорить.



Живёт в Таганрогском заливе маяк.  
 Пока безымянный, но это пустяк.  
 В Москве маневровый пыхтит тепловоз,  
 А я отморожу и щёки, и нос,  
 Пока с обожаньем смотрю на него.  
 Живым дело есть до всего, до всего.  
 И всё-таки жизнь провести на боку—  
 Позиция самая верная.  
 Я имя придумываю маяку—  
 Придумаю скоро, наверное.



Если руки мне скрутит вина,  
 Пусть враги торжествуют победу!  
 На Кавказ я, пожалуй, уеду—  
 Там такие у трав имена!

Там томился в горах Прометей,  
 Был он мальчик, но травы моложе.  
 Ястребинец, бессмертник, алтей  
 За меня свои головы сложат.

Ну а если моя голова  
 От усталости болью взропщит,  
 Мне споёт вероника-трава,  
 Улыбнётся из рва расторопша.

За окошком крапивная тишь,  
 Каплет холод с неоновой крыши.  
 Что ты, ласточка, мне говоришь?  
 Я не слышу, не слышу, не слышу!

## Нефть и молоко

А если завод нефтяной,  
 Он пахнет, наверно, мазутом.  
 Репейники у проходной—  
 Ты тут не походишь разутым.  
 Пустынно у дальних ворот,  
 Но это, конечно, уловка.  
 Рабочий спешит на завод—  
 И пахнет металлом спецовка.  
 А я-то в окне, высоко,  
 Над вечным гореньем завода.  
 Я пью не спеша молоко,  
 Хоть это смешно в мои годы.  
 И запах во мне—молока.  
 Пусть нефть от обиды оглохнет.  
 Я буду стыдиться, пока  
 Оно на губах не обсохнет.

## Стихи о моём экспresse

За синюю кромкою леса  
 Синее больница во мгле.  
 Сажу я в кабине экспреса,  
 И руки мои на руле.  
 Цвет синий—холодный, бездушный,  
 Но нет на Земле горячей  
 Чужих и ко мне равнодушных  
 Рассеянных синих очей.  
 Отъехав от автовокзала,  
 Сто раз их припомню на дню.  
 Мне первой звонить не пристало,  
 Но всё-таки я позвоню.  
 В душе я рашу бессердечье,  
 Жар-птицыно пью молоко.  
 И как хорошо, что, конечно,  
 До старости мне далеко.  
 Скажу, что до лета, до лета  
 Прощаюсь, плутаю в зиме.  
 Экспресс тоже синего цвета,  
 Но это не видно во тьме.  
 А в Гжели сапфиры, сапфиры  
 Рассыпаны возле дорог.  
 А в Гжели торгуют пломбиром—  
 Тягучим и сладким, как вздох.



Май милей котов и женщин.  
По земле рассыпан жемчуг.  
Словно линии в тетради,  
Словно танки на параде,  
От печалей далеки  
Жемчужные деньки.

Об одном и том же мысли:  
Не настанет лето, если —  
Если пеньем соловьёв  
Не наполнюсь до краёв.



Мне не даются повороты,  
И я робею отчего-то.  
А очень многим повернуть  
Намного легче, чем вздохнуть.  
Я увеличиваю угол,  
Но угол крошится, как уголь.  
На пальцы сыплется табак —  
И не вписаться мне никак.  
Зачем, за что мне эта драма —  
Держать удар, держаться прямо?  
И я завидую стрижу:  
Зачем я в небе не кружу?



А вдруг меня в больницу заберут —  
И не увижу больше самолёта?  
Смотренье в небеса — напрасный труд,  
Но самолёт явился отчего-то.  
Привиделся спующим вверх и вниз  
Дождём, лукавой девочкой из чата.  
И неуклюже, со всех лап, неслись  
В черёмушном цвету грузовичата.

### Апрель двадцатого года

Я вербу вечно путаю с ольхой.  
Так что ж из них, ничуть не беспокоясь  
Нелепою ошибкою такой,  
Я рву в лесу, остановив автобус?

У вербы дел своих не впрок.  
Она цветёт наперекор печалям.  
Но если вербой Господа встречаем,  
То, значит, Пасха точно к нам придёт.

Какая необычная война —  
Ни выстрелов, ни страха до мурашек.  
Одна лишь смерть привычна и нежна,  
Как ситец наших форменных рубашек.

Случится уцелеть, довоевать —  
До старости мне будет верба сниться.  
И если внучка у меня родится —  
Её я стану Вербушкой звать.

### Оттепель

Белой мошью, чёрной пташью  
Бьётся оттепель в холмы.  
Ручейкам, понятно, страшно  
Просыпаться среди зимы.

И всем прочим страшно вроде.  
В кровь рассечены все дни.  
Нет согласия в природе,  
Лишь согласные одни.

Но зато на взморье диком,  
Среди тепла могильных плит,  
Сладко спишь ты, Эвридика,  
Среди Хлой и Маргарит.

Спишь столетью носом в стенку,  
В зелень, в оттепель, в жнивьё.  
Рассади скорей коленку,  
Чтоб подуть мне на неё.



На Мосфильмовской — авария.  
Встала улица уже.  
Я смотрю на дом-аквариум  
Где-то в тридцать этажей.

Там, наверно, лифты бегают,  
Рыбки мельтешат везде  
И, конечно же, не ведают,  
Что живут они в воде.

Там в стеклянной канцелярии  
Угорьки как угольки,  
Ладит красный шар скалярия,  
Бойко топают мальки.

Воздух влажен, словно в Питере,  
Свет от несвободы ал.  
И русалка в тёплом свитере  
Грустно смотрит сериал.

У соседей выше ярусом  
От оладий в кухне чад,  
А сомиха с мшистым кактусом  
Тоже смотрит — на внучат.

Кости ноют, ноют, лапушка,  
Словно поднимала лом.  
Не расстраивайся, бабушка!  
Скоро ты покинешь дом!



Когда разбивается самолёт,  
Всё в мире становится наоборот.  
Холодными — пальцы и голова,  
Горячими — ели, еловой — трава.

И только крапиве с огнём по пути:  
Она на пожарах любит расти.



Мы—взрослые. Нас разлюбили.  
И, гордо бросив: «Наплевать»,—  
Мы плачем лишь в пустой квартире.  
И снова плачем. И опять.  
Но найден повод, чтоб небрежно  
Глядеть в окно, как в окуляр,  
И каждый вторник так прилежно  
Таскаться на Тверской бульвар,  
Как будто я во вражьем стане  
Веду подпольную войну,  
Как будто в Тихом океане  
Прослушиваю глубину.



Я шатаюсь день-деньской,  
Сдерживая шаг некстати  
У гравёрной мастерской  
В переулке на Арбате.

Гравировка серебра,  
Гравировка на оружие,  
И, рассеянно-щедра,  
Чья-то память смотрит в лужи.

Как кружится голова,  
Что задета словом громким!  
Нас переживут слова—  
В назидание потомкам.

Но когда ты нелюбим,  
На душе скребут не кошки:  
В лёгких стынет едкий дым,  
Залежи гранитной крошки.

Так пылают от стыда  
Уши. И сказать неловко:  
«Никогда так никогда.  
Уберите гравировку!»



За кинжальной насечкой  
Наблюдаю с тоской.  
Над Непрядвою-речкой  
Едет Дмитрий Донской.  
Тает войско, как пламя.  
Знать, недобрая весть.  
И, конечно, меж нами  
Что-то общее есть.  
За свечою на улице  
Наступает зима.  
В серебре у них сулицы,  
В серебре шелома.  
Не прочерчены линии.  
В гроб уложено тело.  
И берёзонька—синяя:  
От огня посинела.

## Шофёр

В тот год машины шли по Ладоге.  
Казалось, стоит лишь вздохнуть,  
И не по Ладоге—по радуге  
В блокадный город ляжет путь.

Зима разила белым оловом,  
Столярным снежным ремеслом,  
Она обхватывала голову,  
Припомнив зло другим числом.

И, как рубанок стружку нежную,  
Кардан позёмку нарезал.  
Под снегом, пахнущим подснежником,  
Маячил ожиданья зал,

Где, как влюблённый ли, помешанный,  
Не различал ты тьму и свет.  
Никто не стоит злобы бешеной.  
Никто, никто. Лишь белый цвет.



Терять в свою победу веру  
Невыносимо, только всё ж:  
«Поручик Лермонтов, к барьеру!»—  
Вот это вызывает дрожь.

Ещё вчера за детской партой  
Ты скрытничал и рвал тетрадь.  
На карту жизнь! Но бита карта!  
И на ноги тебе не встать.

Пусть двести лет струят молитвы  
Молочный поминальный свет.  
Бывает проигравший в битве—  
В дуэли проигравших нет.

## Старина

Гудят ковыли да столбы.  
Но ведь ничего не осталось  
От этой щемящей, как жалость,  
Тюменской оконной резьбы.

Где свадебный плат или вдовий?  
Где первые чьи-то шаги?  
Под тенью оконных надбровий  
Квадраты, кресты и круги?

И этот нехитрый орнамент  
Из трав, милых лиц, чешуи  
Румянит, как прежде, румянит  
Печальные срубы свои.

Малец, от лучей полосатый,  
На карточке рвёт бузину.  
Спи, хлопче! Год ныне двадцатый!  
Не скоро тебе на войну!

● ● ●  
 Не видать мне тебя, княженика!  
 Ты живёшь неприкаянно, дико.  
 Гор отроги в уральских лесах —  
 Точно пальцы в твоих волосах.  
 Угловатой походкой усталой  
 Осторожно ступаешь по скалам.  
 Поглядишь — и вода из колодца,  
 Словно кровь лебединая, жжётся.  
 Княженика, спаси тебя Боже  
 За красу и за горечь твою!  
 Мы — чужие. И всё же, и всё же  
 Ты навечно во мне, как в раю.

### Коричневый сахар

Пластают тело тростника.  
 Он не испытывает страха.  
 В забвенье смерть всегда легка,  
 А после смерти будет сахар.  
 В Калькутте барабанный мох.  
 И мир похож на летний морг.  
 И солнце лупит болью сонной,  
 Как лампа в операционной.  
 Вот это участь — славен Бог! —  
 Стать сладью из стеблей истёртых!  
 Кладу за щёку сахарок  
 И верю в воскресенье мёртвых.

● ● ●  
 Хорошо быть товарным составом!  
 Не бывает железо усталым.  
 Поездам наплевать на погоду,  
 Как собакам бойцовой породы.  
 Знай беги да считай полустанки!  
 В десять лет у меня были санки.  
 Пёс Плутон их тянул по привычке,  
 Пёс Плутон был сильнее электрички.  
 Неудачник, замри, не надейся:  
 Ни Плутона, ни санок, ни рельсов.  
 Н и пусть! Приручу лабрадора  
 И уеду на поезде в горы.

● ● ●  
 Моя сестра теперь в чужой стране.  
 Пытаюсь я смириться с горьким фактом.  
 Ведь кто-то погибает на войне  
 Иль просто умирает от инфаркта.

Подумаешь, погасшее окно  
 Объеду за сто вёрст — и, может статься,  
 Тот холод мне милее всё равно  
 Тепла всех на Земле электростанций.

Пусть лучше я погибну на войне,  
 Лишь бы не видеть тёмных окон мне!

● ● ●  
 Приснился мне голодный год,  
 Татарский нож, степной поход.  
 Скакали мы тринадцать дней  
 И пили кровь своих коней.  
 Был ранен, умер хан Ахмат —  
 Его несли мы на закат.  
 И по пути к долине рек  
 Убили триста человек.  
 «Служите хану в том краю!»  
 Себя за то я не корю.  
 Смешно корить себя за сон  
 Тому, кто по уши влюблён.  
 Проснувшись, я беру планшет,  
 Чужую смерть свожу на нет:  
 Рисую кровь, степной ночлег,  
 Кровь и себя — в долине рек.

● ● ●  
 В земле живут алмазы.  
 Руда живёт в горах.  
 Наверно, водолазы  
 Не знают слова «страх».  
 Но я земная птаха.  
 И я боюсь воды.  
 Я состою из страха  
 И прочей ерунды.

Марина Саввиных

## Кубань: тревожная весна двадцать третьего

Туда

В 2013 году, начиная очерк «Дожди Дагестана стучат в моё сердце», я с болью рассказывала о взрывах, убийствах, террористических актах, сотрясавших тогда Кавказ. Да, это было близко и страшно. Да, отправляясь в Махачкалу, я ощущала некоторый холодок под ложечкой. Но тогда мне и в дурном сне не могло присниться, что, спустя десять лет, на благословенной земле Тамани я испытаю то же — почти детское — чувство неопределённой, словно разлитой в воздухе, тревоги: в любую минуту над твоей головой или под ногами может что-нибудь жахнуть, грохнуть, ослепить, обжечь, покалечить...

Третьего мая беспилотники атаковали нефтебазу совсем недалеко от того места, которое стало моей «базой» во время командировки в Краснодарский край. А потом... потом были ещё взрывы. И ещё. И — позже — в самом Краснодаре. С этим не отпускающим холодком под ложечкой вглядывалась в лица «местных»: страшно ли им? Не пакует ли чемоданы? И самой себе отвечала: не замечаю. Несмотря на зыбкую тёмную тень, нет-нет да пробегающую по лицам южан, люди живут своей обычной жизнью, радуясь весне и сетуя лишь на то, что она выдалась в этом году какая-то уж слишком поздняя и холодная.

Продавщица художественного салона в Темрюке, с которой я разговорилась, покупая сувениры, вздохнула: «Что же вы зимой-то к нам приехали?» За окнами магазинчика звенел и переливался восхитительными красками волшебный южный май. Накапывал мелкий дождичек, синоптики обещали плюс двенадцать. Для моей собеседницы это была «лютая зима», а в родном Красноярске в это время дневные температуры держались около нуля. Большая страна! Какая большая страна!

...Поезд Красноярск — Анапа почти за четверо суток преодолевает без малого пять тысяч километров. Полстраны. Четыре часовых пояса. Смена ландшафтов, пересечение границ... Эта железная дорога строилась людьми, которые, разумеется, не предполагали, что Казахстан будет когда-нибудь «заграницей». Меняются и попутчицы в купе. А вот разговоры для женского купе — непривычные. Про страну, про пацанов, которые «там», про причины и про то, как теперь жить и что будет дальше...

В Анжеро-Судженске ко мне присоединилась молодая женщина. Тамара, жена военного, мобилизованного осенью, едет к мужу в Курган, где тот находится в учебке. Муж — бывший командир БМП. Видимо, условия учебки позволяют, и Тамара надеется, что побудет рядом с мужем некоторое время. В семье трое детей. Старший сын заканчивает девятый класс. Младшая дочь совсем маленькая. Сама Тамара — учительница начальных классов. Искренне и всецело поддерживает и сво, и Путина, и нашу армию. Дорожная «полоса отчуждения» способствует открытости в разговорах. Случайные попутчики охотно делятся друг с другом такими сведениями и соображениями, которые в знакомой обстановке придержали бы при себе. Поэтому их словам можно верить. Другие мои собеседницы, менявшиеся до самой Анапы, обо всём этом думают, я убедилась, примерно так же. За язык их никто не тянул, так что приходится признать: как и в иные судьбоносные времена, народ зрит в корень...

Сейчас, спустя два с половиной месяца после той поездки, думаю о Тамаре: как-то сложилось в её семье? Тем более что уже на месте, в станице Старотитаровской, я узнала о катастрофических лесных пожарах, охвативших Курганскую область. Удалось ли моей попутнице побыть с мужем? Не спугнула ли огненная стихия короткую радость их встречи?

### Старотитаровская

Станица Старотитаровская в Темрюкском районе Краснодарского края известна с конца восемнадцатого века. Историческая справка гласит, что основали её запорожские казаки, так что близость со страной, объявившей нас «небратьями», ощущается на каждом шагу, включая даже обиходную речь старожилы — так называемую «балаковку». Правда, культурная, так сказать, часть старотитаровского общества предпочитает разговаривать на вполне себе русском литературном, но в магазине и просто на улице чаще всего слышишь именно её — первозданно певучую «балаковку», приятно щекочущую моё сибирское ухо.

Во время Великой Отечественной Старотитаровская в течение года находилась под немецкой

оккупацией. Свидетелей той поры уже практически не осталось, но старшее поколение станичников, выросшее на рассказах родителей и дедов, до сих пор передаёт молодёжи были и предания о том, как «под немцами жили». В 1943 году в этих местах развернулась легендарная битва — стратегическая Новороссийско-Таманская операция Рабоче-крестьянской Красной армии против вермахта. 2-я гвардейская мотострелковая дивизия за героические действия в ходе этой операции получила название Таманской. И такова память народная в этих политых кровью предков местах, что в начале мая, ко Дню Победы, таманские станицы осеняются красными знамёнами Победы и — особо! — 2-й Таманской дивизии РККА. Это настолько искренний всенародный жест, что изготовление и продажа таких флагов ко Дню Победы стало источником сезонного дохода для целого ряда предприимчивых местных граждан. Красные полотнища с пятиконечной звездой девятого мая развешаются чуть ли не над каждым двором в Тамани, в Старотитаровской, Голубицкой, Кучугурах... всюду, где в сорок третьем шли бои.

Как раз накануне Первого мая — в преддверии дня рождения В. П. Астафьева — мне довелось принять участие в замечательном мероприятии. Директор Старотитаровской детской библиотеки Алла Николаевна Кулыгина пригласила на встречу со школьниками, посвящённую астафьевским «Затесям». Старотитаровская — посёлок крупный: две школы, детская и взрослая библиотеки, прекрасный Дом культуры. Детская библиотека занимает часть одноэтажного дома — небольшая, но достойно оборудованная, очень уютная и, по всему, не страдающая от отсутствия читателей. Шестиклассники, пришедшие на встречу вместе со своей учительницей, здесь чувствуют себя как дома. Общительные и, надо сказать, достаточно «подкованные» юные читатели. Несколько экземпляров нашего журнала, которые я принесла с собой, быстренько разошлись по рукам. Ребята листали журнал, задавали вопросы. Но больше всего их, конечно, интересовал Астафьев. (Снова замечу в скобках: велика Россия, но всё же — единое целое!) Мне пришлось напрячь память, чтобы удовлетворить их любопытство. Они и сами многое знают — и о судьбе писателя, и о его книгах... Так что спрашивали о тонкостях и деталях, которые могут быть известны человеку, знавшему Виктора Петровича достаточно коротко и лично.

Всё это меня, конечно, порадовало и удивило. Алла Николаевна выбрала для разговора с шестиклассниками редко обсуждаемую миниатюру из «Затесей» — «Записку». Речь там, если вспомните, идёт о сыновней неблагодарности. Сын, продав материнский домик в деревне, «забыл» беспомощную престарелую мать в городе на вокзале,

с запиской вместо денег в кармане «выходной плюшевой жилетки»: дескать, рекомендую в сторожихи, няньки, домработницы. Меня поначалу покорила выбор: зачем это детям? Но разговор развернулся настолько интересный и сильный, настолько ребят задела проблема, поднятая Астафьевым, что у всех нас, и детей, и взрослых, осталось и ощущение горечи от переживания самого факта, и радости оттого, что горечь эта воспринята, осознана и мысль писателя достигла цели: школьники станицы Старотитаровской откликнулись на неё со всей непосредственностью детского стремления к справедливости.

## Анапа

Ирина Иваськова родилась и выросла в Красноярске, здесь же окончила университет. Давно и плодотворно сотрудничает с нашим журналом и, кажется, попробовала себя во всех видах литературной деятельности. Талантливый прозаик — пишет для взрослых и детей, интересный поэт, организатор литпроцесса и общественный деятель. Вот уже более десяти лет живёт в Анапе. Но мы продолжаем считать её своей, хотя в Красноярске нам так и не удалось встретиться. Собственно говоря, именно желание познакомиться с Ириной «вживую» на этот раз и привело меня в Анапу. Мы встретились в гостеприимном зале модернизирующейся юношеской библиотеки, куда по приглашению Ирины пришли писатели, которые на тот момент оказались в городе. Всё-таки — май.

## Ирина Иваськова

Такой сквозняк, что юности пыльца  
пушистая осыплется с лица  
и розовым запачкает ладони...  
А помнишь, как смеялись на балконе  
двенадцатизатяжного дворца?  
И так же пролетали сквозняки  
от серебристой, пепельной реки  
до стен кирпичных нашего приюта,  
и, кажется, прошла одна минута.  
У времени мы все — призывники.  
Я встану в строй, послушно и легко,  
и только снов цветное молоко  
подарит непокой благословенный,  
но мне уже готовится замена —  
у времени не будет должников.  
И я плачу. И плачу по ночам,  
и радуюсь дурацким мелочам —  
платку, часам, серебряной цепочке.  
И жизни — как единственной отсрочке,  
доступной, всё ещё доступной нам.



## Александр Зацепин

Спешите смотреть рассветы—  
Они предвещают день.  
Спешите зимой и летом,  
Смотрите, пока не лень.

Когда от жизни устал ты,  
И если уже невмочь,  
Иди и смотри закаты—  
Они предвещают ночь.

За ночью приходит утро,  
И снова встаёт заря,  
И в этом природы мудрость—  
И всё на земле не зря!

## Сергей Зубарев

И лаванда рассыпалась в пыль,  
И унёс одуванчики ветер...  
Сказки-сны о придуманном лете  
Превратились в горячую боль.

И полынно в душе, как в степи,  
И всё хочется жить только хлебом,  
И звездой, упавшей с неба,  
Обжигают слова: «Потерпи!»

Вот и осень уже впереди,  
Золотая пора листопада...  
В бочке вспенится хмель винограда—  
Ты отчаиваться погоди!

Осень—это ещё не зима!—  
Золотым обольёт тебя светом  
Так, что в омуте бабьего лета  
Вмиг растает душевная тьма.

Надо признать, Краснодарский край и Красноярский близки и похожи не только названиями. На благословенный русский юг, в тёплые края, десятилетиями перемещались «отставные северяне» и жители иных, приравненных к «северам», областей. Поэтому так много здесь земляков. Приятно было увидеть среди пришедших на встречу писателей Анапы Зинаиду Ивановну Палиеву, известную красноярскую журналистку, учёного и педагога, некогда заведовавшую кафедрой журналистики Красноярского государственного университета. Пришли поэты Сергей Зубарев, уроженец Челябинска, и Александр Зацепин, большая часть биографии которого связана с Омском. А Любовь Ишунькина—тоже моя землячка, долгое время

жила в Красноярском крае. Значит—своя. Впрочем, «не своих» на этой встрече не было. Разговор получился живой и достаточно острый. Кто-то помнит журнал «День и ночь» по публикациям тридцатилетней давности, и вопрос, сохраняет ли редакция заложенные тогда традиции, изменилась ли редакционная политика, интересует многих. Спрашивали о роли Виктора Петровича Астафьева в литературной истории Красноярска, интересовались житем-творчеством знакомых красноярских писателей. Не обошлось, конечно, и без обсуждения самой нелёгкой темы: Анапа—один из тех российских городов, который массово принимает беженцев и переселенцев из территорий, обожжённых войной. В госпиталях и санаториях Анапы проходят лечение и реабилитацию бойцы сво. Поэтому ощущение войны и связанные с ним переживания у местных жителей острее, чем у обитателей «материка». Меня спрашивали, интересуется ли журнал военной темой, поддерживает ли стихийно возникшую, но быстро набирающую обороты и ставшую поистине всенародной новую военную литературу. Да, интересуется. Да, поддерживает. Достаточно полистать тетрадки «ДиН» за последние десять лет, чтобы убедиться: за эти годы журнал стал одной из самых заметных в России площадок и для писателей Донбасса, и для всех, кто так или иначе готов нести людям правду об этой войне.

И всё же оптимизм, вера в добрые чудеса, жажда справедливости—всё то, что наши философы уже привычно называют «русским культурным кодом»,—не дают людям здесь, кажется, у самого краешка пожара, не подающего признаков затухания, впасть в уныние и сдаться на милость судьбы. Если что—они будут стоять до конца. Донбасс—тому подтверждение.

## Краснодар

Этот город с первого соприкосновения—потрясает. Конечно, много слышала о нём до личной встречи, интересовалась, читала, наводила справки, так сказать. Но у всего этого внешнего знания оказалось мало общего с реальным впечатлением. Колоссальный современный мегаполис. При этом—со всеми очаровательными и странными чертами южных городов: зеленью и цветами, почти неуправляемыми в своём растительном азарте, жаркими сквозняками и сумасшедшими автоладельцами. И пробками на городских магистралях, не оставляющими надежды тем наивным ездокам, которые, запасая лишние полчаса на дорогу, надеются не опоздать.

Ну—да. Я опоздала. Тотально. Но в Союзе писателей Кубани меня дождалась. Председатель регионального отделения СПР Светлана Макарова-Гриценко, как могла, курировала моё продвижение по забитым автомобилями улицам

Краснодара и, наконец, встретила меня у входа в писательскую обитель. Милые краснодарские писательницы приготовили к встрече роскошное угощение—со свежими плодами уже подоспевших кубанских садов и всяческими изысками южной кухни. И беседа получилась долгая и добрая. Тем более что радости и печали у писательских сообществ разных регионов России, в сущности, одинаковые: что удалось и не удалось сохранить, что получилось заново создать и устроить, а чего не хватает писателям и читателям для взаимного обмена энергией и общей пользы.

Была у кубанских писателей своя газета, которая носила ярко выраженный просветительский характер. Увы! Нередко самим писателям приходится нести бремя историко-культурной подготовки читательской аудитории, поскольку система образования это бремя с себя почти полностью сбросила. Вот и «Кубанский писатель» явно был «заточен» под эту миссию. С удовольствием про-чла от корки до корки один из последних номеров.

## Николай Ивеншев

### Костры

Надо, видно, уйти в построй.  
Но и там не спасёшься. Вряд.  
От толпы сиротливых книг.  
Неумело они горят.  
Где твой праведный меткий гнев,  
Властелин наших дум Толстой?  
Книги выкинуты в сугрев  
До последней своей запятой.  
Вон занялся пламенем Блок,  
Рядом Андерсена «Соловей»,  
И на Пушкина скорбно лёг  
Тот, который Брэбери Рэй.  
И Каренина не на рельс,  
А нырнула ничком в костёр.  
Нет дивизии «Эдельвейс».  
Есть бесстыдный, нагой простор.  
На помойке—собачий гвалт.  
И кошачий истошный ринг.  
Крематорий. И Бухенвальд.  
Забухалово. И Треблинк.  
Книги жгут поголовно, сплошь.  
С книги что? Ведь не сунешь в рот.  
А одну вот припрятал бомж,  
Да куда он её понесёт?..  
И, шатаясь, ползёт старик.  
Больно жарко, хотя мороз.  
Дым идёт от горящих книг  
И прохватывает до слёз.

1. «Краснодар литературный», 2022, стр. 7.

Об издательской деятельности Союза писателей Кубани С. Н. Макарова-Гриценко пишет: «Только за последние пять лет организацией реализованы сотни социально значимых культурно-просветительских мероприятий и осуществлены десятки литературных проектов. Ключевыми, конечно же, стали подготовка и издание сборников «Молодая проза Кубани»—подобного издания не было с советских времён, «Русское слово Победа»—стихи и проза, посвящённые 75-летию освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, книга для семейного чтения «На берегу океана». Ежемесячная газета «Кубанский писатель», издававшаяся с 2005-го, на страницах которой полноценно фиксировался краевой литературный процесс, в 2020-м преобразована в журнал «Краснодар литературный», который выходит теперь раз в квартал и успел завоевать интерес читателей»<sup>1</sup>.

Пройдём по страницам самых свежих выпусков, начиная с юбилейного, ноябрьского, за 2022-й. Он посвящён 75-летию Краснодарской краевой писательской организации. Публицистика Татьяны Немчиновой, Людмилы Бирюк, Владимира Романова—о творческих задачах мастеров слова. Проза Николая Ивеншева, Геннадия Пошагаева, Светланы Макаровой-Гриценко, Владимира Кирпильцова, Светланы Медведевой, Вячеслава Сбитнева, Степана Деревянко, Ирины Иваськовой, Николая Седова... И, конечно, поэзия—разных поколений, разных времён. Выберу для вас то, что особенно тронуло.

## Иван Варава

На окраине села  
С головою белой  
Сына мать с войны ждала  
И окаменела.

Прилетал в село степной  
Сизокрылый сокол.  
Бились клёны головой  
О гранит высокий.  
Ковыли катились ниц  
От тоски матроса.  
Тихо с каменных ресниц  
Покатились слёзы.  
И из памятных глубин  
Вздых раздался мамин.  
Прикоснулся к камню сын—  
Ожил серый камень.

На окраине села  
С головою белой  
Сына мать с войны ждала  
И окаменела.

## Сергей Хохлов

### Зима 1941 года

Теплушка с зябнувшими стенами.  
Закат.  
Я помню и сейчас,  
Как мама долго и растерянно  
Всё пересчитывала нас.  
А мы, напуганные, серые,  
Сидели молча по углам.  
Нас было с нею только семеро,  
А остальные были там...  
Я понимал, что, нас подсчитывая,  
Она всё думает о тех...  
И по ночам не спал, сощипывая  
На стенках выступавший снег.

## Валерий Клебанов

Мы не боги. Мы это знаем.  
Слишком тянут к земле грешки.  
Потому-то и обжигаем  
Мы не амфоры, а горшки.

Пусть удел наш не слаще соли  
И бесцветно проходят дни,  
Но дымящиеся мозоли —  
Всё оправдывают они.

## Вячеслав Динека

Я помню ночь — я был тогда курсант...  
Нас подняли сигналом и сказали,  
что по ошибке сброшенный десант  
до одного пропал на перевале.

И мы, в составе поисковых групп, —  
юнцы, толпа мальчишек неумелых —  
тащили из снегов, за трупом труп,  
ровесников своих окоченелых.

Мы их сложили в полной тишине  
за рядом ряд у старого сарая,  
и было отчего-то стыдно мне,  
и я рыдал, лица не закрывая.

А горы молча брали нас в кольцо,  
луна рыдала в облачном тулупе,  
и снег всё сыпал на моё лицо,  
всё сыпал и не таял, как на трупе...

В ту ночь я словно понял, наконец,  
что Бога нет! Что всем — одна дорога!  
И если у планеты был Творец,  
то был он недостоин званья Бога...

С тех пор минули многие года,  
душа смогла ожить и отогреться,  
но этот миг неверья и стыда  
кусочком льда лежит в усталом сердце.

## Николай Зиновьев

### Душа

Событья дня, недели, месяца  
Её волнуют, но слегка.  
Душа — иного мира крестница,  
Её Отчизна далека.

Она здесь словно в эмиграции,  
Ей, может, завтра в путь уже.  
Вот почему на демонстрации  
Ходить не хочется душе.

## Нелли Василинина

Под колыбельную колёс  
Засну на верхней полке.  
Приснится долгий бег берёз,  
Отставшие посёлки...

Проснусь — кубанские поля  
Несут в ладонях утро.  
Навстречу мне бежит земля —  
Соскучилась как будто.

В низинах кое-где туман.  
Уже в скирдах солома.  
И вдалеке блеснул лиман...  
Ну вот — я снова дома.

## Лидия Железовская

Вечная ошибка молодых —  
Думать, будто времени в избытке.  
Даже призраки волос седых  
Не маячат в горизонтах зыбких.

Так вот безалаберно живёшь,  
Как при трезвом взгляде оказалось...  
Только цену времени поймёшь —  
А его почти и не осталось.

В декабрьском номере за прошлый год — хроники, литературоведческие статьи, животрепещущая публицистика, проза и поэзия не только авторов Кубани, но и писателей других регионов. С радостью увидела на страницах «Краснодара литературного» стихи и прозу моих земляков — красноярки Веры Граматуновой, ныне живущей в Анапе, и Андрея Пучкова из Сосновоборска.

И — самые приглянувшиеся стихи:

## Алёна Галуза

### Они

Сколько их, разных — и дерзких, и сдержанных,  
Не удостоенных отклика, отзвука.  
Словно кессонной болезнью, поверженных  
Острым желанием: воздуха, воздуха!  
Сколько... народом своим не услышанных,  
Тихо угасших без грома и молнии.  
Если нам выпало в чём-то быть выше их —  
Нас приподняли забытые холмики,  
Те, что привычно зовутся пристанищем  
Тела земного, не знавшего отдыха.  
Пламя не высветит знания тайные,  
Им не хватило не искры, а воздуха.

Но вот и мартовский 2023-го, самый свежий. В нём, как и в предыдущем, хроника литературной жизни, статья Людмилы Бирюк о «Детстве Никиты» А. Н. Толстого, краеведческий материал Ивана Бойко, проза Виктора Озерского, Владимира Романова, Алекса Старого, Ольги Немыкиной, Анатолия Неверова, Игоря Безрука, актуальная публицистика, задевающая самые острые проблемы войны и мира, нравственности и культуры... Масштабная поэтическая рубрика. Разные регионы, разные авторы — и по возрасту, и по уровню.

Лучшее стихотворение номера — исключительно на мой личный, пристрастный взгляд — вот это:

## Ольга Сафронова

Февраль 2022

### Моим родным в Украине

Считаете, что я вас предала.  
И я для вас не то чтоб умерла,  
Но стала той противной стороной,  
Что ваш мирок разрушила войной.  
Теперь сидите в тишине квартир,  
Клянёте ненавистный «русский мир»  
За то, что к вам домой пришла беда  
И под обстрелом ваши города.  
Эх, милые, да это ли война?

Она вам только издали видна.  
И не дай Бог, и не дай Бог для вас  
Увидеть лик войны в недобрый час.  
Пока сидите в тишине квартир,  
За вас со смертью бьётся Русский мир.  
А я молчу. И лишь шепчу сквозь тьму:  
«Когда-нибудь поймёте, что к чему...»  
Мы встретимся, и я вас обниму.

Ну что ж, Краснодар. Такой далёкий и такой близкий. Такой незнакомый и такой родной. Такой особенный и такой похожий на нас. Уверена: нынешняя встреча — только начало.

### Обратно

Темрюк. Тамань. Бывают же места на Земле, до такой степени насыщенные историей человечества, что, кажется, шагу не сделаешь, не поправ какой-нибудь артефакт. Тамань же вовсе для русского сердца овеена неизбывной романтикой — лермонтовские места. Нынешний мой «набег» на Тамань оказался слишком краткосрочным, чтобы нашлось, о чём здесь рассказывать. До боли знакомый профиль Михаила Юрьевича — в виде росписи на стене... майская набережная в цвету... памятник запорожцам — первым переселенцам из Малороссии. На этот раз, конечно, я обошла и рассмотрела памятник с особым пристрастием. На его лицевой стороне — надпись: «Первым запорожцам, высадившимся у Тамани 25 августа 1792 года под командой полковника Саввы Белого», — а с обратной стороны — слова песни А. Головатого «Ой, годи нам журиться». Да уж... не надо печалиться...

На железнодорожном вокзале Анапы — подлечившиеся раненные из местных госпиталей. Разъезжаются по домам. Не так чтобы их было очень много, но они заметны. На костылях, с руками на повязках-фиксаторах, с перевязанными головами... Люди к ним — это тоже заметно — как-то особенно предупредительны и сдержанны. Хотя у некоторых солдатиков порой сдают нервы.

Уже в вагоне, между Анапой и Краснодаром, парень лет двадцати пяти, видимо, после выписки из госпиталя хвабивший на вокзале «лишку» в буфете, всё приставал к пассажирам у кулера с кипятком: «Отдохнули, да? Отдыхаете, да? Я вас защищаю, а вы отдыхаете, да?»

Его успокаивали, пытались уложить спать, но его «замыкало» всё сильнее и сильнее. Пережитое там, за красной чертой, и вид сытых, благополучных сограждан в Анапе и особенно на этом, через всю страну пролегающем, курортном маршруте — катастрофически столкнулись в его контуженном мозгу, и он не состоянием был справиться с катастрофой.

В Краснодаре его сняли с поезда. Выводили солдатика санитары под белы ручки, а он всё не то кричал, не то стонал: «Я вас защищаю, а вы?!»

И было почему-то стыдно. И страшно.

Ирина Иваськова

## Подозрительные вещи и забытые предметы

### Страна весны

Женька умерла седьмого февраля.

Я узнала об этом через неделю, поздним вечером, из чата бывших одноклассников. Девочки охали, писали что-то длинное, торопливое, и я тоже написала что-то испуганное и бессмысленное. Мальчики — теперь сорокалетние солидные мужчины — торжественно молчали.

Потом я легла спать, но долго не могла уснуть и смотрела в темноту, вспоминая, что Женька приснилась мне в самом начале февраля, и я ещё хотела запомнить этот сон и, конечно же, тут же его забыла. Но она снилась — я помнила точно, и теперь это было особенно важно. Потом я вспомнила, как тридцать пять лет назад мы с Женькой ходили по огромной луже босиком. В середине лужи нам было по щиколотку, мягкая грязь скользила под ногами, а вода была тёплая, нагретая солнцем.

«Это несправедливо, несправедливо!» — писали девочки в чате. Но справедливости я давно не ждала и удивлялась: неужели кто-то ещё всерьёз рассчитывает на неё?

В окнах онлайн-конференции мелькали незнакомые лица. Я, по счастью, ничего не должна была говорить, могла выключить свои видео и звук и только слушать. И я слушала и одновременно думала про вчерашний вечер, странно замедлившийся от известия про Женьку. Вечер тянулся, тянулся, но прошёл; прошла ночь, наступило утро, и каждый из бывших моих одноклассников теперь был занят своими делами. Вот и я занималась чужими стихами, чтобы потом, когда-нибудь, не повторить чужих ошибок.

Молодая женщина, спотыкаясь, читала что-то о смерти солдата. Герой её стихотворения падал на землю, прижимался к ней щекой и вспоминал о маминых глазах. Женщине было жалко солдата, и его маму, и ещё тысячи других солдат и мам, она читала и хотела плакать. Я тоже чувствовала жалость — но не к герою, а к ней. Где-то прямо сейчас солдаты действительно падали на землю, но она, как и я, не могла себе представить, а уж тем более описать ничего из того, что происходило дальше. Слова «взрыв», «кровь» и «окопы» в её устах звучали так же, как звучали бы «сон»,

«руки» или «слёзы», да и вообще стихов писать ей не стоило.

Когда она замолчала, молоденький поэт принялся отчитывать её за сбой ритма и дешёвые рифмы. Он так и сказал — «дешёвые», а его лицо, даже сквозь уродующее кого угодно онлайн-окно, светилося такой драгоценной красотой и юностью, что смотреть на него было больно.

Женщина краснела, кивала и что-то записывала. Вот бы взглянуть на эти записи: неужели она и вправду будет потом пересчитывать слоги и подбирать новые рифмы? Юный поэт замолчал, заговорил какой-то мужчина — некрасивый, с резким, неприятным голосом, и я совсем перестала слушать.

Зимой маленький приморский город похож на хрупкую, тонко сработанную игрушку. Если смотреть на город с высоты, то кажется странным, что нет вокруг него каменных стен с бойницами и подъёмными мостами. Страшно жить так — у самой воды, без всякой защиты. Вот бы накрыть эту игрушку прочным стеклянным куполом, а потом встряхнуть и смотреть, как плавно скользит по мокрому стеклу песок и крошки ракушек.

Песчаный берег плавно уходит в ледяную воду, а когда начинается шторм, волны отчаянно колотят бетонные пирсы — так, что бетон крошится и обнажает свой ржавый арматурный хребет. В солнечные и безветренные дни море становится прозрачным и голубым, но его игра и блеск обманчивы. Вода по-прежнему ледяная, тёмные облака толпятся у горизонта, и гудит, гудит над головой серый самолёт с толстыми крыльями...

Я бежала к автобусу, прижав к себе сумку и пакет, а вокруг меня на нетвёрдо сидящую брусчатку тротуара ложились мелкие горошинки снега. Они тут же таяли, и мои пуховик, шарф и ботинки тоже становились горошчатыми, темнели. Водитель дождался меня, принял горсть монеток и закрыл двери. Я уселась у окна, ощутив вдруг странное смирение и что-то вроде уюта. Никогда раньше мне не было уютно в самой себе, да ещё и не дома — для уюта всегда нужны были тепло и сумерки комнат, и я даже прикрыла на секунду глаза, стараясь удержать это новое впечатление и сберечь его. Острые снежинки застучали в грязное

стекло и тут же превратились в дождь—обычное для южной зимы дело. Я сняла перчатки и достала телефон.

Чат одноклассников молчал, но одно сообщение было—голосовое, с незнакомого номера. Я машинально включила его, и какая-то женщина, волнуясь, сообщила мне, что я очень добрая и, конечно, не откажу ей в просьбе.

«... Знаю, что вы не откажете,—торопливо повторила она.—Мне просто совершенно не с кем поговорить о своей книге, а вы хороший редактор и очень, очень добрая, мне так сказали...» Сидящий рядом мужчина покосился в мою сторону, и я закрыла сообщение, не дослушав.

Она стояла у центрального входа, съёжившись от холода. Я почему-то сразу поняла, только взглянув на её основательное пальто и белую вязаную шапочку, что это та самая вчерашняя незнакомка. Сообщение от неё я так и не дослушала, удалила и номер её заблокировала. Должно быть, я оказалась не такой доброй, как ей говорили, и теперь мне было немного стыдно, но больше досадно: не поленилась бы вчера, ответила что-нибудь, и не было бы этой дурацкой встречи и этого незнакомого лица. Незнакомых лиц мне сейчас не хотелось. Мне вообще не хотелось выходить из дома и уж тем более идти на работу, а хотелось думать про Женьку и стараться вспомнить тот сон: вдруг она хотела сказать мне что-то важное на прощание?

Но лицо незнакомки мне неожиданно понравилось: глаза у неё были печальные и аккуратно накрашенные, и видно было, что ей тоже очень неловко.

Она назвала меня по имени и представилась сама—и звали её хорошо: Еленой Николаевной. —Администратор сказал мне, что вы сегодня будете с девяти до двенадцати,—сказала она.—Простите меня, пожалуйста, за вчерашнее сообщение. Я только потом сообразила, как глупо и неприятно это всё может выглядеть. Мне правда очень нужно с вами поговорить. Ну вот так получилось, что я никому не могу о своей книге рассказать,—она смущённо улыбнулась,—представляете, даже мужу.

От её смущения и улыбки остатки вчерашнего странного смирения качнулись во мне, и я улыбнулась в ответ.

—Пойдёмте, ветер такой ледяной. Вы бы лучше подождали меня внутри. Вы тоже меня извините, что не ответила вам вчера. Я вчера была... занята. —Я думала, всё это пройдёт,—бормотала она мне в спину, пока мы поднимались по лестнице в мой кабинет.—Я вообще-то экономист, бухгалтер, мне уже пятьдесят три года, и представляете, в таком возрасте—и вдруг какая-то книга. Но никак она мне покоя не даёт. Мне просто рассказать вам нужно, и если вы скажете, что это всё глупо, то я ничего вообще писать не буду.

Без пальто и шапочки Елена Николаевна оказалась полноватой, коротко стриженной, одетой в зелёное трикотажное платье. Она сидела напротив, смотрела куда-то мимо меня в окно и всё говорила и говорила.

—Понимаете, я придумала так: есть такой волшебный мир, он разделён на четыре страны—лета, осени, зимы и весны. В стране лета очень жарко, пески кругом, пустыня. Люди там чернокожие, вроде африканцев, кудрявые, танцуют красиво и поют. А в стране осени всегда прохладно, на золотых деревьях зреют разные плоды, а люди там живут рыжие и смуглые. В стране зимы всегда снег, и все блондины, белокожие, воинственные такие, как викинги, и всё охотятся на зверей. А страну весны и её жителей никто никогда не видел, потому что они с помощью колдовства ото всех закрылись и никого к себе не пускают. Главная героиня—из страны лета, и её отец—царь этой страны. И вот однажды его нашли мёртвым. Колдун сказал, что его убили люди весны, чем-то он им не угодил. И дочка решила отомстить. Поехала сначала в страну осени и там познакомилась с мужчиной из страны зимы, он тоже царь, но только молодой. И они, как бы вам это сказать, полюбили друг друга.

Она говорила всё медленнее и тише и по-прежнему не смотрела на меня.

—Да, они полюбили друг друга очень сильно. И вместе отправились искать страну весны и мстить за папу. Он был царь, понимаете, да? И вдруг умер... Тяжело без отца.

Елена Николаевна замолчала.

—А что было дальше?—спросила я.—И почему вы не можете рассказать о книге мужу?

—Что было дальше, я ещё не придумала,—сказала она и наконец-то посмотрела мне в глаза.—А мужу рассказать не могу, потому что он будет ревновать. —К книге?

Она пожала плечами так, будто объяснять тут совсем нечего.

—Нет, конечно, не к книге. А к тому человеку, который из страны зимы. Ну, который как викинг.

—Понятно...—вдохнула я.—А вы сможете оставить мне то, что уже написали? Мне так, со слов, трудно оценить.

Елена Николаевна с готовностью достала из кармашка платья флешку и встала.

—Вы мне напишете, когда прочитаете, да? Вы простите, пожалуйста, я правда не хотела вас беспокоить. Но так уж получилось.

Она надела пальто и шапочку, ещё раз извинилась и ушла.

...Вот бы взять Женьку, но не ту, сорокалетнюю, которой она умерла, а восемнадцатилетнюю, и познакомиться с этим молоденьким поэтом. У неё всегда были невероятно красивые мальчики, но он красивее их всех. Взять бы и отменить—и прошедшие

годы, и её болезнь, и смерть, как-то всё хитро перемешать и соединить их в одно время. И пусть бы они жили долго и счастливо в каком-нибудь волшебном мире, вот хотя бы в этой ненаписанной книге, и пусть бы Женька стала самой летней, самой солнечной принцессой. А этот мальчик-поэт как раз блондин. Пусть отпустит белую бороду, и будет вылитый викинг.

Мои мысли метались от печальных глаз Елены Николаевны к той самой тёплой луже, по которой мы ходили босиком; от красивого поэта к юной Женьке: было в ней в самом деле что-то африканское, в русской-то девочке, — какая-то грациозная удлинённость, точённость всего тела, пластичность в любом шаге и движении... Потом мне стало стыдно от своей жестокости: зачем я дарю Женьку неизвестному поэту, отправляю в какую-то глупую книгу и отбираю у настоящего мужа и детей? Нет, пусть уж всё останется так, как было, но она не умрёт, просто не умрёт — и всё.

Я подключила флешку, открыла единственный на ней документ и прокрутила текст на несколько страниц вниз.

«...Не верь колдуну, Джуа! Он ненавидел твоего отца и тебе желает только зла. Ты не сможешь ничего исправить. Не уходи, оставайся здесь и правь нами вместе со своей матерью и сёстрами!

Джуа фыркнула и оттолкнула старуху. Потом вскочила и яростно дернула золотой шнурок, поддерживающий её высокую причёску. Шнурок лопнул, и копна чёрных, как ночь, пушистых кудрей упала на плечи и спину девушки.

— Замолчи. Я велела тебе принести ножницы! Где они?..»

Я машинально поставила запятую и пролиставла ещё десяток страниц.

«...Он смотрел на Джуа, не отрывая глаз и с огромным удивлением. Ведь жители страны зимы очень редко встречались с жителями страны лета. Для зимних людей чёрная кожа и чёрные волосы были диковинкой. А Джуа тоже застыла в удивлении, отчего стала похожа на изящную статуэтку из полированного тёмного дерева. Ещё никогда она не видела мужчину с такими светлыми, почти белыми волосами и голубыми глазами, похожими на драгоценные камни в её девичьем ожерелье...»

Я пролиставла текст до конца. На предложение: «И тогда Джуа сама протянула к нему свои руки...» — он обрывался. Елена Николаевна аккуратно пронумеровала страницы и украсила каждую своей фамилией и названием романа.

— «Джуа в стране весны», — прочитала я зачем-то вслух и нажала на крестик в правом верхнем углу страницы.

Мужчина с большим, плотно набитым какими-то тряпками пакетом медленно шагал мне навстречу. Высокий и широкоплечий, в камуфляжных брюках

и куртке, обросший лохматой трёхцветной бородой — седой, чёрной и рыжей, он шёл неуверенно и смотрел на витрины супермаркета так, будто бы видел их впервые.

Я мельком глянула на него и собиралась было пройти мимо, но мужчина остановился.

— Здравствуйте, — сказал он.

— Здравствуйте, — машинально ответила я и тут же узнала его.

Он жил в соседнем подъезде с женой и маленькой дочкой, но в последний раз мы встречались прошлой весной, и тогда он был гладко выбрит и улыбчив.

Борода и усы почти до неузнаваемости изменили его лицо, он стоял, чуть раскачивая пакет, и смотрел на меня сверху вниз так же, как минуту назад смотрел на витрину.

Нужно было, наверное, что-то сказать, и я спросила:

— Вы вернулись? — и тут же мысленно выругала себя: ну что за глупый вопрос.

— Вернулся. На неделю, — ответил он и опять качнул пакетом. — Сейчас зайду в магазин — и домой.

— Хорошо, — сказала я, и мне стало стыдно: ну что же я, ничего нормального человеку не могу сказать?

— Да, — ответил он, — это хорошо. Так я пошёл. До свидания.

— До свидания, — сказала я, и он стал подниматься по ступенькам магазинного крыльца.

Мне тоже нужно было в магазин, но я представила, как мы будем бродить между стеллажами с крупами, шампунями и конфетами и делать вид, что ведём себя как обычно, буднично и просто, а потом ещё встанем рядом на кассе, — и прошла мимо, а потом всё шла, шла, спрятав руки в карманы и не обращая внимания на птичье треньканье телефона.

«Господи... — в голове будто бы перекачивалось что-то тугое и тяжёлое. — Господи, ну как же так? Что — вот именно так нужно? Как это всё может быть на одной крошечной планете — и одновременно? Как мы живём и уместаем всё это внутри? Не разрываемся от горя, ждём никому не нужного смирения, что-то покупаем и что-то едим, а потом о чём-то рассуждаем или, ещё того хуже, с кем-то ссоримся, делаем такие важные, упрямые лица, и знаем, знаем при этом, что кто-то может никогда больше не увидеть весны!»

У пустыря за супермаркетом я свернула на мокрую земляную тропинку — узкую и скользкую. Прошлогодня трава осталась зелёной — так бывает только на юге, но высокие сухие былинки, коричневые, покорные, мёртво пошатывались на ветру. На мягкой земле виднелись чёткие отпечатки ребристых подошв и собачьих лап, валялись обёртки от шоколадок и пустые пивные бутылки. Через пару метров тропинка раздваивалась: если

пойти влево, то попадёшь на автомойку, а вправо — выйдешь к гаражам и ржавой трансформаторной будке. На усеянной окурками развилке я остановилась, вытерла мокрое лицо и посмотрела в телефонный экран.

Одно голосовое от мамы, пять — от бывших одноклассников, и три — от Елены Николаевны. Слушать их я не стала и отправила во все чаты один и тот же смайл — красное пульсирующее сердце.

### Подозрительные вещи и забытые предметы

— А смерти, моя деточка, мы можем противопоставить только рождение... — Вероника покрутила карандаш и вывела что-то в клетках кроссворда. — Северный ветер — это ведь норд, правильно?

Я ничего не ответила и отвернулась к стене, стараясь собственными мыслями заглушить её глуховатый, будто бы выцветший голос. Мальчик, мальчик, у меня непременно будет мальчик. И я назову его...

— Ни-ко-лай. Так же звали поэта Гумилёва? Не помню уж, чего он там писал. В школе вроде читала, а всё позабыла.

Мне трудно представить Веронику школьницей. Кажется, она сразу родилась вот такой — с крашеными хной волосами, в тяжёлых, оттягивающих тонкую мочку золотых серьгах. Даже сейчас она умудряется пудрить лицо — зачем, для кого? — а глядя в зеркало, складывает губы бантом.

Мне не нравится Вероника. Но я очень люблю её за то, что она здесь, со мной, и я могу раздражаться от шелеста газет, запаха растворимого кофе и внезапных глубокомысленных фраз о смерти, рождении и прочих не имеющих сейчас никакого значения вещах.

Нет пока никакого рождения — оно будет, но не скоро. А уж смерти и подавно — никак не может быть.

Я отворачиваюсь от стены, гляжу на Веронику почти нежно и думаю о том, что никогда бы не назвала своего мальчика Николаем. Острое, большое имя, полное горького и неловкого смирения. Разве можно так называть детей? Им вообще не идут взрослые имена, и лучше было бы, если бы младенцев никак не звали или подбирали бы для них какое-нибудь невесомое, не людское, а речное или лесное слово. Что-то о шелесте листьев над водой или солнечных брызгах вперемешку с лёгкой тенью. Я представляю, как зову своего мальчика шелестом или солнцем, и закрываю глаза, чувствуя перед самым погружением в сон, что Вероника укрывает меня одеялом.

Электричество отключилось вчера, рано утром. Ежедневный бытовой фон — гудение холодильника и электрокотла, щелчки батарей отопления — оборвался так резко, что тишина тут же стала

давить на уши и будто бы распирает меня изнутри. Лишившись привычной, пусть негромкой, но постоянной, звуковой оболочки, я стала слышать, как высоко, за плотным облачным слоем, гудят невидимые самолёты и где-то далеко-далеко за лесом иногда раздаётся треск — резкий и короткий, а за ним грохот — долгий и перекатистый.

Вероника прислушивалась к гудению и треску, замирала, потешно прикладывая руку к уху, а потом бормотала нарочно отчётливо, чтобы я услышала, что-то про сухие ветки, ветер, идущую в нашу сторону грозу.

Завтракали печеньем и морсом — светло-жёлтой сладковатой водицей, разведённой из Вероникиных запасов облепихового варенья.

— В облепихе витаминов — тьма! — твердила Вероника, с усилием колотя ложкой в стакане.

Оранжевая, плотная, ещё в прошлом году протёртая сквозь сито и уваренная с сахаром масса упрямилась и растворяться не хотела — глотая морс, я чувствовала сладкие крупинки на языке, а потом представляла, как те самые витамины текут по моей крови прямоиком к самой середине тела, туда, где гнездится крохотный плод.

Ближе к обеду Вероника выволокла из кладовки во двор маленькую, на одну конфорку, походную газовую плитку и круглый, похожий на пузатую кастрюлю газовый баллон.

— Боюсь я этих газовых дел — страсть! Но без жидкого тебе никак нельзя... — причитала она, роясь в кухонном шкафчике. — Да где эта штуковина?..

И, вооружившись похожей на школьную указку зажигалкой, банкой тушёнки и горсткой крупно нарезанных овощей, отправилась на улицу варить суп.

Я закрывала глаза и пыталась представить, как тоже выхожу вслед за ней во двор — ведь и не рассмотрела его толком. Усесться бы на крыльце, вытянуть ноги и подставить всё тело солнцу. Поглядеть, что там у Вероники в саду. Понюхать и пощупать новенькие зелёные листья. Познакомиться с её псом и кошками. Если бы они были моими животными, то спали бы со мной рядом: собака — на полу, а кошка — на постели.

Когда Вероника появилась возле меня с глубокой суповой тарелкой, я, смущаясь и глотая слёзы, попросила её принести мне пару зелёных листков с любого дерева и, если можно, привести хоть на минуту собаку или кошку.

Отвязывать и вести в дом пса Вероника наотрез отказалась, а кошку — рыжую, косоухую — принесла, но погладить мне не дала и показала лишь издали. Кошка уставилась на меня круглыми жёлтыми глазами — больше совиными, чем кошачьими, и махнула ободранной хвостом.

— Поглядела? — спросила Вероника. — Ну и хватит. А то мало ли какой дряни с неё насыплется. Хочешь, потом ещё белую покажу, если изловлю? Она вечно шляется где-то, не отыскать!



Она выкинула кошку за дверь и вымыла руки. А потом достала из карманов куртки и высыпала на одеяло рядом со мной ворох мелких ослепительно-свежих листьев и пучок узких травинков. — Мало ещёросло, рано. Вот через месяц сад не узнаешь! Ещё и зацветёт всё! Да не реви ты. Чего это вздумала? Понюхай лучше, как зеленью пахнет,— сразу плакать расхочется. И ешь суп-то, пока горячий...

Вероника, хоть и строила из себя женщину хватистую, деревенскую, на деле была городская, от серьёзных садовых и огородных дел далёкая. Этот дом—одноэтажный аккуратный коттедж в крохотном дачном посёлке всего на десять участков—купила она несколько лет назад, когда жив был её муж и сын собирался жениться.

— Я, деточка, родилась-то в деревне—далёко отсюда, за Уралом. Мать с отцом всю жизнь носом в землю. А я отучилась, в райцентр уехала, а потом уж в Москву. Там и замуж, и работала—до самой пенсии. А потом сюда, поближе к теплу, всей семьёй решили рвануть—мы, значит, с мужем, ну и сын со своей. Квартиру в городе взяли и домик вот этот, чтоб на воздухе да со своими овощами-фруктами... А Мишка-то мой возьми да умри. И сын развёлся, даже внуков родить мне не успел, и обратно в Москву подался. Осталась я одна совсем. Сюда как на дачу приезжала, уж и не растила ничего, одни цветы да укропчику там, петрушки. Собаку завела, кошки прибились всякие. Но вообще, как Мишки не стало, как-то посыпалось всё. Я тогда ещё подумала: беда в семью пришла, прилипла и не отстанет теперь, будет расти и расти нам вместо овощей... Так и вышло.

Дурацкие слова про беду она повторяла почти каждый день, слушая радио, вздыхая и тыча указательным пальцем куда-то в окно. На имени мужа её голос дрожал, но она не плакала, а шла к зеркалу, пудрилась и кашляла.

— А как вам в Москве жилось? Нравилась она вам?—спрашивала я, пытаюсь представить её молодой и влюблённой в жениха—почему-то мне казалось, что он был невысокий, плотный и улыбочивый, вроде Гагарина.

Вероника пожимала плечами и недоумённо хмурилась:

— Москва как Москва. Чего в ней такого? Большая. Народу-у-у! Ну, красивая, конечно. Столица!

Я разочарованно закрывала глаза и снова злилась: можно ли быть такой скучной? Сама я была в Москве только один раз—очень давно, в раннем детстве. Мне было пять, а маме тридцать, и я ничего не запомнила из той поездки, кроме широкой, мокрой после дождя улицы с чёрным блестящим асфальтом и мелкими лужицами, полными золотых, серебряных и красных огней. «Смотри, смотри!»—говорила мне мама и кивала головой вверх, а я не могла оторвать взгляда от мокрого

разноцветного сияния, идущего, как мне казалось, откуда-то из-под земли.

— Съездишь ещё...—утешала меня Вероника, по-своему истолковав моё молчание.—Какие твои годы! Вот родишь, подкормишь годик, да и поедете: хочешь—в Москву, а захочешь—на море. Даст Бог, уж утихнет всё, и будет всё по-прежнему, по-хорошему. Нельзя же шуметь вечно, нужно людям и отдых дать.

Ужинали бутербродами с колбасой и огурцами.

Засыпала я плохо. Батареи совсем остыли, в комнате стало сыро и холодно. От долгой неподвижности—я почти не вставала с этой кровати уже четыре дня—руки и ноги онемели и потеряли гибкость. Внизу живота тянуло—еле-еле, но ощущимо, будто кто-то невидимый натягивал тонкие, с волосок, струны и проверял их на прочность, а мне приходилось удерживать их всем телом, всеми мыслями. От напряжения я устала и провалилась в сон, больше похожий на обморок, но несущий всё же облегчение и забытьё.

— Тс-с...—чей-то шёпот пробился сквозь плотную толщу сна, и я медленно, раздвигая головой тёмную воду и водоросли, выплыла в явь.—Тихо, милая, тихо-тихо...

Вероника, еле видная в темноте, стояла перед моей кроватью на коленях и гладила меня по плечу.

— Молчи... Не шевелись. Ходят там.

За окном слышались два мужских голоса—начала неясно, издали, потом всё ближе и чётче.

— Сюда? Мож, сюда, смотри, ничё так хата?—спрашивал один, шмыгая носом.

— Можно и сюда...—лениво растягивая слова, отвечал другой, и от его голоса мне стало страшно до паники, до крика.

Словно почувствовав это, Вероника мягко, но плотно закрыла мне ладонью рот, и её рука пахла кокосовым мылом и луком. «Мальчик, мальчик, у меня должен быть мальчик...—твердила я про себя и мелко дрожала всем телом.—И я назову его...»

— Лёх, глянь,—первый голос будто приподнялся на цыпочки,—там собака, походу. Слышь? Вылезла. Мож, камнем её? Или пристрелишь?

Сквозь звон цепи, грохот заборных ворот и лай слышно было, как матерился первый. Напрыгавшись и налаявшись до хрипоты, Веронкин пёс принялся рычать—низко, долго и угрожающе.

— Уехали, а собаку бросили. Вот уроды,—протянул второй.—Не, возни много. Пошли.

Тихо переговариваясь, они двинулись вверх по улице—к большому двухэтажному коттеджу, последнему в ряду дачных домов.

Вероника осторожно отняла ладонь от моего лица и забралась на кровать.

— Подвинься-ка. Я с тобой побуду. Укройся, простудишься ещё. Дом-то совсем остыл,— шептала она, набрасывая на меня одеяло и обнимая за плечи.— Ну не трясись, не трясись. Спи.

— Послушайте, ну что вы хотели? Тридцать восемь лет. Три выкидыша. Вам бы прекратить эти попытки, вы совершенно измучили свой организм,— врач говорила сухо и строго, и её голос, слабый запах сладких духов, болезненно-яркий свет над моей головой и память о тонкой, как лезвие, тянущей вниз боли,— всё казалось мне одним невыносимым цветом, звуком и запахом. — Я всё-таки буду пробовать ещё,— сказала я.— Вот как вы советовали мне ещё давно, помните? Расслаблюсь и забуду обо всём на свете, как будто я просто живу себе и никакого ребёнка мне не нужно. Вы только скажите, что мне делать, если вдруг получится?— спросила я и зажмурилась, чтобы не заплакать.

— Я вам это советовала пять лет назад. Тогда и вы были здоровее, и обстановка, знаете ли, благоприятствовала деторождению...— проворчала врач.— Что делать, что делать... Лежать и не шевелиться. И прямо с того места, в котором вы забеременеете,— ко мне в клинику, причём не автомобилем, не автобусом и не поездом. А телепортом. Ну в крайнем случае— на скорой.

Пашка ждал меня в коридоре, и мне, как всегда, стало стыдно за то, что он должен таскаться со мной по больницам и терпеть мои слёзы. Может быть, если бы он упрекал меня, или сказал бы, что не хочет больше ничего, или ругался бы, когда я реву, мне было бы легче и проще. Но он вообще не говорил ничего и делал всё, о чём я его просила, покорно и равнодушно.

— Мне нужно отвлечься, понимаешь? Забыть, как будто всё хорошо и ничего не было,— улыбаясь, говорила я ему в машине и старалась не думать, как выгляжу со стороны— опухшая от слёз, лохматая, полусумасшедшая, твердящая одно и то же вот уже пятый год.

Я понимала, что Пашка очень устал от всего этого, но он ни разу не чувствовал такой острой, горячей боли, какую чувствовала я, и не представлял, как это— бояться своей собственной крови, и от этого мой стыд перед ним сменялся злостью, потому что даже если я накричу на него сейчас или выскочу из машины на ходу, он не изменит этого своего выражения лица— спокойного и пустого. Наверное, я уже не любила его. И он— наверняка— не любил меня. Но это не меняло ровным счётом ничего— ни для меня, ни для него, потому что мы продолжали ехать в этой чёртовой машине домой, где я умоюсь, причешусь и даже зачем-то покрашусь, пока он будет смотреть новости и качать головой, а через неделю поедем на дачу— сорок минут от города по трассе мимо чужих окон, среди

чужих машин, такие чужие друг другу, а потом в дачный посёлок приедет жёлтый автобус с надписью «ДЕТИ», и человек с громкоговорителем пойдёт между домами, а я буду стоять в туалете с полоской теста в руках и не слышать ни криков, ни стука в дверь.

Очнувшись от полубоморока-полусна, я смотрела в светло-серый квадрат окна и не могла понять, отчего мне так хорошо. Потом сообразила: электричество вернулось, и в комнате стало тепло. Шумел холодильник, пощёлкивали батареи, бормотало за стенкой радио. Далёкий низкий гул невидимых самолётов отступил, таял и растворялся за лесом редкий грохот, и вправду похожий на гром.

Вероника, устроившись у зеркала, обмазывала голову остро пахнущей зелёной жижей.

— Проснулась?— спросила она, услышав, как я зашевелилась.— Лежи пока, лежи. Сейчас я затылок домажу, и будем завтракать. Виданное ли дело— два сантиметра седины отросло. Ты, кстати, знаешь, что хна— она и для беременных разрешается? Тебе рыженький пойдёт!

— Да как же...— заволновалась я, вспомнив ночных гостей, и даже засомневалась: были ли они? Может, это был сон?

— А эти...— Вероника поджала губы,— ушли. Я утром в окно видела: вылезли из Машкиного дома и вверх по дороге почесали. С мешками. Ну, если они у Машкиного мужа инструменты утащили— беда... Одна ж косилка была нормальная на всю улицу. Вот гады! Ты как, сильно испугалась? Пригодился нам пёс-то! Я ему всю колбасу отдала— всё равно скоро бы испортилась.

Я кивнула, стараясь не вспоминать свою ночную дрожь, два голоса и Вероникин шёпот: «Тихо, милая, тихо...» Не было всего этого. Приснилось. Не было ничего плохого и не будет. Вот приедет Пашка, как мы и договорились, со скорой помощью, заберёт меня отсюда и отвезёт в клинику, я лягу на прохладное белое постельное бельё, врач даст мне таблетки или поставит капельницу, и я приму всё что угодно, стерплю всё что угодно, лишь бы...

— А твой-то, деточка,— перебила мои мысли Вероника,— третий день уж не едет. Я что— я хоть месяц тут просижу. Квартира моя в городе есть— пить не просит, запасов тут прилично: консервы, картошка ещё осталась, капуста квашеная... Но ты-то как? Я ещё вчера хотела тебе сказать, что дело нечисто, но ты уж больно кислая была. И эти ещё... Вдруг вернутся или другие придут?

— Не говорите ерунды,— сердито ответила я.— Ну не бросит же он меня тут одну с ребёнком? И вас— знает же, что вы со мной остались. Ну, если хотите, езжайте сами в город, до электрички вон двадцать минут пешком. А я тут подожду.

Я злилась на Веронику, и представляла, как наору на Пашку, когда он наконец-то объявится,—

за то, что ехал так долго, за то, что мне было так страшно, и даже за то, что сотовая связь в посёлке пропала начисто. А потом вспомнила его спокойное пустое лицо за ветровым стеклом и как он терпеливо ждал, пока вырулит перед ним на дорогу жёлтый автобус с дачниками, их собаками и кошками, как пропустил машины тех, кто уезжал сам, и ни разу не посмотрел в мою сторону, а я стояла на крыльце, держась за Веронику— всего третий раз виданную нами соседку по даче, и всё ждала, чтобы он обернулся и хотя бы улыбнулся мне напоследок.

— Спасибо вам, что остались со мной,— сказала я.— Вы простите, что так получилось. Но, наверное, он и вправду не приедет.

Я заплакала, чувствуя, как бегут по щекам тёплые слёзы— привычными, будто бы проторёнными дорожками. Наверное, если люди плачут так много, как я, то на коже в конце концов остаются борозды, как на земле после сильного дождя.

— И опять реветь,— Вероника натянула на волосы пакет и обмотала голову полотенцем.— Ну как бы я тебя бросила? Гляжу—мужичонка-то юлит. А ты, сразу видно, хорошая. Не повезло тебе, это бывает. В первородках под сорок лет нелегко ходить. Ну, даст Бог, всё уладится, даст Бог.

А я всё плакала и плакала, и борозды на моих щеках становились Марианскими впадинами и марсианскими каналами. Я чувствовала, что весь

мир— целый огромный мир— предал меня и оставил одну. Не было мне ни спасения, ни помощи, все храбрые, сильные мужчины смотрели новости, укоризненно качали головами или ехали в своих машинах с такими лицами, будто бы всё на свете им известно и понятно. Что я могла сказать им? Чем поразить? Двухнедельным эмбрионом, цепляющимся за призрачную возможность жизни тончайшими, не видимыми глазу нитями? Пожилой женщиной с зелёной жижей на голове? Или псом, готовым умереть за неё без всякого промедления и сомнений?

Вероника собрала перепачканные миски, ушла на кухню, выключила радио и включила чайник. Травяной острый запах хны смешался с запахом кофе, лилась в раковину вода, звенела посуда. Утренние серые сумерки ушли, и комната медленно наполнялась светом.

Мальчик, мальчик, у меня обязательно будет мальчик. Я назову его плеском, шелестом, или солнцем, или холодной речной водой, а когда он вырастет, то сам придумает себе взрослое имя, сядет в большой самолёт, полетит над лесом, над морем, над пустынями и горами, ничего не будет бояться и никого не обидит. А когда будет пролетать над нашим домом, то не станет прятаться в облаках— спустится к самой крыше, сделает круг и покачает белыми крыльями на прощание.

ДиН память

## Владимир Нешумов Новые свёртки

Опубликовано в «ДиН» №1-2/1998

● ● ●  
Круговой поруки слова,  
игровой—явленье тонко.  
Тема пения лесного  
не от скуки и не только  
хороводности в утуду—  
«про погоду и природу»...

● ● ●  
Покапываньем из-под облака,  
покачиваньем колокольца,  
назначенные в оба ока  
весна и небо—не околица,  
но—чувству в такт и в тон уму;  
и так созвучно всё всему.

● ● ●  
Скитаясь по великолесью,  
казалось, ничего нет проще,—  
в охват черёмух по веленью  
охоты, что неволи пуще,  
втянуться норною тропкою,  
вернуться с новою строкою...

● ● ●  
Ох и медвян, огнян...  
Оком удал... Закатан  
в стужу... Куда ни глянь,  
всюду ветвям загадан...  
Скажет весною ветвь  
каждая свой ответ...

## Любовь Ишунькина Лизонька

(Блокаде Ленинграда)

— Доченька, я сейчас схожу, паёк получу и вернусь, только ты никуда не уходи, жди меня дома, хорошо?

Мама сжала в холодных руках маленькие ладошки. Глаза, когда-то голубые и ставшие от горя и страха серого цвета, ласково смотрели на дочку. — Хорошо, мамочка, только ты побыстрее, а то мне страшно.

Лиза обняла маму и, прижав старую куклу, села на кровать. Дверь квартиры тихо закрылась. Лиза легла в холодную постель и, укрывшись одеялом с головой, стала говорить с куклой:

— Сейчас полежим, маму подождём, она скоро вернётся, сварим из муки суп, и я тебя накормлю. А сейчас дыши в ладошки, чтобы согреться.

Прижав куклу крепче, Лиза не заметила, как уснула. Очередной обстрел нарушил тишину. Всё вокруг грохотало, дрожало, были сирены. Подскочив с постели, Лиза подошла к окну. Сплошная дымовая завеса, рассеявшись, обозначила напротив разрушенный дом. О чём-то непонятно кричал репродуктор. Лиза почувствовала, как от страха внутри всё сжалось.

«Где же мама? Почему она так долго?»

Надев пальтишко, ботиночки и завернув куклу в мамин платок, девочка вышла на улицу. Январский холод снежной крошкой и чёрной гарью ударил в лицо. Люди бежали в укрытие, Лиза с Катькой устремились за ними.

В бомбоубежище было сумрачно и сыро. У стен стояли ящики с противогазами, сверху лежали медицинские аптечки. Присев на выступ в стене, Лиза огляделась. Пытаясь отыскать взглядом знакомых, она пошла по бункеру. Все лица показались одинаково серыми. Она почувствовала, как по телу пробежала дрожь и затряслись губы. Вскоре вой и грохот сменила тишина. Репродуктор вещал: «Отбой воздушной тревоги!» Люди с опаской, помогая друг другу, стали выходить из укрытия. Сквозь густую пелену дыма еле просматривался покрытый пеплом снег.

Оглядевшись, Лиза увидела дом, в котором живёт бабушка. С трудом открыв дверь, девочка вошла. В комнате было тихо.

— Баба, — позвала Лиза.

Пройдя в комнату, она увидела на кровати бабушку, которая лежала неподвижно. Испугавшись,

что бабушка не реагирует на зов, она решила быстрее уйти, как вдруг непонятный звук заставил её оглянуться. Превозмогая страх, Лиза подошла к кровати и в ворохе одежды увидела маленькую ручку ребёнка. С трудом вытащив свёрток, она развернула одеяло. Вытаращив голубые глазки на Лизу, ребёнок попытался заплакать, но получился лишь сиплый глухой звук.

— Николка? — испуганно прошептала Лиза. — Как ты здесь оказался?

Малыш, признав няньку, затих. Лиза вспомнила, как она приходила к Валентине Андреевне — соседке по площадке — и та позволяла поиграть с Николкой, вернее, дать соску или погремушкой побренчать. А ещё Лиза любила катать его в коляске на улице. Тогда ей казалось, что все девчонки во дворе завидовали ей.

Иногда тётя Валя, как называла её Лиза, приносила Николку к бабушке и просила: «Дорогая Арина Родионовна, не могли бы вы посидеть с Пушкиным, пока я в магазин сбегая?» Бабушка с радостью брала Николку и гукала с ним, приговаривая: «Повезло тебе с фамилией, Коленька, вырастешь поэтом!» В такие минуты Лизе позволялось потрогать малыша за крохотные ручки и погладить по голове.

— Где же тётя Валя? Подожду, может, придёт.

Но тётя Валя не приходила, и Лиза постучала в их дверь. С обратной стороны послышался шум. Обрадованная Лиза прильнула к двери в ожидании скорой встречи. Но вскоре звуки прекратились.

«Наверное, Мурка спрыгнула с подоконника», — подумала Лиза и, постояв немного, вернулась к детям.

Крепко обхватив Катьку и Николку, она вышла на улицу.

— Куда все подевались?

Лиза пошла в сторону дома. Среди непроглядной тьмы виднелись отблески пламени, клубы дыма и пепла.

Оглядевшись по сторонам, Лиза заметила, что там, где раньше возвышался их дом, оказалась груда развалин.

— Но где же дом? Ведь там моя школьная форма и портфель. Как же я в школу пойду? А вдруг мама там, под развалинами?!

Страх мурашками побежал по телу. Обняв крепче детей, со слезами на глазах девочка вернулась к бабушке. Завернув малыша в плед, Лиза села в старое плетёное кресло, в котором любил сидеть дедушка. Что делать она не знала. Вспомнила, как недавно она просилась к бабушке в гости, а мама сказала, что её нет, она на небе. Странно, но она здесь лежит, на кровати, и крепко спит. Лиза в надежде разбудить бабушку потянула за рукав, но бабушка лежала неподвижно. Решив подождать, когда она проснётся, девочка вернулась к детям. «Ребёнка надо покормить», — промелькнула мысль. Лиза вышла на кухню. Баночка, в которой когда-то лежали конфеты для Лизы, была пуста. Остальные баночки тоже.

За окном стемнело. Уложив детей с собой в кресло, Лиза не заметила, как уснула. Утром она решила выйти на улицу и найти маму и тётю Валю. Лиза брела по пустынной улице. Вдруг вдалеке показался знакомый силуэт. Остановившись, Лиза задержала дыхание. Сердце забилося так сильно, что, казалось, ударялось о рёбра.

— Мама!

Немного ещё помедлив, Лиза кинулась навстречу.

— Лизонька, девочка, это ты? — всплеснула женщина руками, приняв Лизу в объятия. — Жива, слава Богу!

Лиза удивлённо смотрела на тётю Иру, соседку со второго этажа, и не понимала: почему это она должна быть неживая?

— Пойдём же быстрее, вот мама-то обрадуется. Она здесь, недалеко, в медсанчасти, за ранеными ухаживает. Давай сюда кукол, я понесу.

— Это не куклы — это дети, — возразила Лиза, крепко прижав два свёртка.

Тётя Ира со словами:

— Ну, дети так дети, — повела Лизу к маме.

По дороге она всё повторяла:

— Радость какая, слава Тебе, Господи! А мама плачет уже вторые сутки. Дом-то наш разбомбили ироды проклятые, мама подумала — ты погибла, вот радость-то будет!

В здании, где раньше была школа, в которую Лиза должна была пойти в первый класс, разместились медсанчасть. Во дворе суетились солдаты и врачи. На носилках, с перебинтованной головой и руками, стонал раненый. Лизе стало страшно. Раньше она часто играла в больничку. Сшитый мамой колпачок на голову и повязка на руку с красным крестом придавали Лизе вид настоящего

доктора. Часто Лиза, прихватив маленький чемоданчик-аптечку, ходила к бабушке с дедушкой и лечила их. Завидев внучку в колпаке и с повязкой, бабушка Арина звала дедушку и говорила:

— Дорогой, смотри, кто к нам пришёл! Ну ты глянь-ка — вылитый доктор. Вот вырастешь, выучишься и будешь нас с дедом лечить.

— Бабушка, а когда я вырасту и выучусь?

— Ну вот давай посчитаем. Сейчас тысяча девятьсот сорок первый год, в сентябре ты пойдёшь в лучшую ленинградскую школу, через десять лет поступишь в институт. Шесть лет будешь учиться. Итого сколько тебе будет?

Лиза морщила лоб, делая вид, что считает.

— Правильно — двадцать три.

— А тебе тогда сколько будет, бабушка?

— А мне будет восемнадцать, — отвечала бабушка с хитрой улыбкой на лице.

Открыв дверь школы, Лиза с тётей Ирой оказались в длинном слабо освещённом коридоре. На стенах висели плакаты, какие-то таблицы, детские рисунки. Резкий больничный запах навязчиво зацепил в носу. Уткнувшись в детей, Лиза следовала за тётей Ирой. Раньше она представляла школу иначе. Со слов мамы она знала, что в школе на стене большая коричневая доска, на которой можно писать мелом, а потом написанное стирать мокрой тряпкой. В школе чистота, порядок, тишина во время уроков и весёлый там-тарарам на переменах. А сейчас здесь страшно и жутко.

«Когда же я увижу маму? Может, тётя Ира обманула, может, мамы нет? Наверное, она хочет оставить меня здесь, в этом страшном месте, — подумала Лиза и остановилась. — Уж лучше вернуться к бабушке».

Повернув в обратную сторону и сделав шаг назад, она услышала взволнованный голос тёти Иры: — Наташа, посмотри, кого я тебе привела!

Наташья, подняв от горя и слёз опухшие глаза, оберла. С криком:

— Лиза, Лизонька, доченька моя, живая! — бросилась к дочке.

Обняв Лизу и усадив на колени, мама плакала, крепко прижимая её к себе.

— Мама, осторожно, тут Николка, я его у бабушки дома нашла.

Вскоре вокруг Лизы и мамы собрались работники медсанчасти. Развернув свёрток, все с удивлением и радостью смотрели на малыша.

— Живой! Живой!

Сергей Лёвин

## Очень нужен билет на Уран

## Ночная гроза

Над морем распоясалась гроза:  
из туч растут соцветия и корни.  
Такая ночь водою год накормит—  
двухмесячный запас за полчаса!

Во всполохах открыт излом веков:  
вот Зевс страшит мирных горгиппийцев,  
и турки от дождя спешат укрыться  
под своды крепостные, а любовь

переполняет спальни и сердца,  
чей стук легко соперничает с громом.  
Из берегов выходят водоёмы.  
Такая ночь—не видно и лица!

Стоит у куреня седой казак,  
от молнии прикуривает люльку  
и видит очертанья демиурга  
в разорванных норд-остом облаках.

Огнями истекают небеса,  
басами сотрясаются просторы—  
природа успокоится нескоро.  
Над морем распоясалась гроза.

## Частица «не»

Не сто́ит, ибо ненормально  
текст начинать частицей «не».  
Так зреют зёрна урагана  
в благословенной тишине,  
так из глубин растёт цунами  
прозрачной рябью на воде,  
и те, кто уважаем нами,  
вдруг присягают пустоте  
и хвалят то, что—нет, не надо,—  
куплеты жалкие поют  
и, вешая на грудь награды,  
из дряни воздвигают культ.

Я сам такой. Ничуть не лучше.  
Я даже хуже остальных—  
всех тех, кто лезет вверх на кручу,  
чтоб воцариться там на миг.

От лицемерия устал, но  
доволен жизнью я вполне.  
И кажется, теперь нормально  
текст завершать частицей «не».

## Выплеск

Вы можете не верить, но—ей-ей!—  
пространство жизни стало холодней,  
и стонут облетевшие осины.  
Так стужа обретает высший смысл,  
и судно дном испытывает мыс,  
и пульс, воспрянув, снова обессилел.

Не веруя в осмысленность стиха,  
строку выводит новую рука,  
я дал зарок и сам его нарушил.  
Вопрос жесток: поэт иль не поэт?  
Скорее нет, но чёркаю куплет,  
чернилами исписывая душу.

Смятение. Сомнение. И боль.  
А нужно-то всего-то быть собой,  
с собой быть честным и прямолинейным.  
Моя неискупимая вина:  
когда душа отчаяньем полна,  
выплёскиваю смерть стихотвореньем.



Алиса, расскажи мне сказку,  
как Иисус воскрес на Пасху,  
цвели сады и птицы пели,  
слагали гимны менестрели,  
а на стене торцовой храма  
калякал ангел диораму.

Признайся, умная колонка:  
прекрасно ли моё далёко,  
почём билет до края рая,  
и правда ли, что Бог не фраер?  
И почему на небосводе  
обременённых нет угодий?

Спой песню мне, шайтан-машина,  
про то, что смерть неустрашима,  
о том, как чудо жизнь прекрасна  
и все мы паства, все мы паства...

Но сети нет, безмолвен гаджет.  
Господь его за то накажет,  
и по канону в тишине  
соврёт с три короба он мне.



Прими меня таким, какой я есть:  
неброским, угловатым, нелюдимым.  
Не человек, а жёсть, осколки, шерсть,  
чернила, кости, кровь, бумага, глина.

Люби меня таким, какой я есть:  
надменным, сомневающимся, слабым.  
Я пешка, у которой идол—ферзь,  
набросок, что стремится к идеалу.

Цени меня таким, какой я есть:  
измученным, потерянным, всесильным.  
Растративший гордыню, гнев и спесь,  
я пуст и в то же время изобилён.

Дождись меня таким, какой я есть:  
я с мельницами биться не закончил.  
Вкушаю декаданс, фантазм, бурлеск,  
не знающий покоя днём и ночью.

Встречай меня таким, какой я есть:  
вернусь я из крестового похода  
и буду, как и прежде, снова здесь  
сутулиться под крики: «Мракобес!» —  
макушкой тычась в брюхо небосвода...

## Подводное

Плыву я под водой сто тысяч лье —  
дистанция, достойная героя.  
Внизу остоны древних кораблей,  
вверху сквозь брызги небо голубое.

Вот полпути осталось позади,  
щекочут пузо шпильки Атлантиды.  
У Бога пару дней спрошу в кредит.  
Надеюсь, Он даёт ещё кредиты.

Предельная прекрасна глубина —  
рассказывали Немо с Маракотом.  
И я когда-нибудь достигну дна  
и отдохну от солнца и работы...

## Твист

Эта история очень проста,  
не было в ней и не будет твиста.  
Впрочем, не будет и твиста —  
небо сегодня так мглисто.

Выбрать движение: шаг или бег.  
Выбрать погоду: дождь или снег.  
Выбрать конец: bad or happy.  
Выбери: страх или трепет.

Кажется, мир стал теснее всем нам,  
выросшим ровно за год пацанам.  
Рвём расслоённые жилы:  
главное — живы. Но живы ль?

Эта история очень проста:  
путь одолеет один лишь из ста.

## Прощание

Запомню день дождливых похорон:  
суглинка ком, лопатой рассечён,  
слегка похожий на башку медвежью,  
оскалился обрывками корней,  
а ветер дул настойчивей, сильнее,  
трепал и рвал промокшую одежду.

Обмотанный пакетами башмак,  
на небе прохулился новый шланг,  
журчит зауспокойная молитва,  
и липнет к пальцам стылой горсть земли,  
и сердце, освежёвано, кровит.  
Ещё одна проигранная битва.

Три копщика на свежей борозде:  
«Свидетельство о смерти ваше где?»  
Сноровисты, сильны и деловиты,  
заканчивают скорбный ритуал.  
В кругу людей растерянных стоял  
я молча.

Были горем общим свиты  
в единую усталую петлю.  
Искусственную вымочив хвою,  
дождь перестал... И крест обрёл здесь место.  
И, сгорбясь, по аллее мы пошли:  
и тот, кто мёртв, был рядом с тем, кто жив.  
И солнце пробивалось сквозь туч тесто.

## Билет на Уран

Очень нужен билет на Уран,  
на Нептун, на Плутон — безразлично.  
Моё тело — коллекция ран  
без морали, души и приличий.

Моё тело не слишком моё —  
прикупил его в старом ломбарде.  
Оно ржавую изморось льёт  
из разрезов, пробоин и впадин.

Эмигрировать срочно с Земли  
надо, только нет денег на визу.  
Собирался взойти на трамплин,  
но скатился до самого низа.

Не поможет «Загадка дыры»  
рептилоиду в драном обличье,  
но надеюсь: уйду я в отрыв,  
выпив крови верблюжьей и бычьей.

Сконструирую чудо-скафандр  
из кристаллов и метеоритов  
и ракету-носитель «Икар»,  
чтоб покинуть земную орбиту.

Там авось кто-нибудь подберёт,  
до Урана на шаттле подкинет  
утомлённое тело моё,  
и продолжится путь пилигримий.

● ● ●  
 То ли июльская жуть, то ли августа нежить —  
 таю от зноя, и капают нервы в песок.  
 Так укрошается страсть. Жаль, мне веки не смежить,  
 не раствориться в потоке из вычурных слов,  
 не покорить Джомолунгму и Килиманджаро  
 и не пропеть, как псалом, Эйяфьятлайокудль.  
 Мне сорок пять, но себя я не чувствую старым,  
 хватке моей позавидует лютый питбуль.  
 Лето, жара, духота — с неба падает лава,  
 чавкает жидкой подошвой голодный асфальт.  
 Скоро вскипит горизонт, и диск солнца кровавый  
 в море погрузится под стрекот мерный цикад.  
 Я провожу его взглядом усталым и гордым —  
 ночь долгожданная ветер и сон принесёт.  
 Мякиш луны мне о главном сейчас же напомнит:  
 где-то прохладный есть край — там меня кто-то ждёт.

ДиН ПАМЯТЬ

Владимир Поташов

## Рогозинская мыза

Опубликовано в «ДиН» №4/1997

● ● ●  
 От мусора очищены дворы,  
 На огородах ведильё сжигают,  
 И на проулках гомон детворы —  
 Там в казаки-разбойники играют.

Мы долго ждали, вот зиме конец,  
 И вдруг, бахвляясь щегольством нездешним,  
 Во фрачной паре новосёл-скворец  
 Обхаживает ветхую скворечню.

Мы прозевали — время истекло, —  
 Как вдруг ветра прогорклые пахнули...  
 И на душе печально и светло,  
 Как будто в доме окна распахнули.

Ещё во рту сосулек сладкий хруст,  
 А снег пропал, исчез, и нету следа,  
 И придорожный смахивает куст  
 На светлый фюзеляж велосипеда.

Орут скворцы, горланят нараспев, —  
 Что там творится, в ярмарочном грае?  
 И птичьими каракулями — ветвь,  
 Как символ в небе, а чего — не знаю.

● ● ●  
 Среди замшелых развалин речные излуки,  
 Тополя разомлели под солнечной ризой.  
 Как красиво на солнце свернулись гадюки  
 На камнях твоих, Рогозинская мыза!  
 Здесь на барских могилах нерусские меты  
 Поросли резедой и кустом краснотала.  
 Шелестят тополя от бездомного ветра,  
 Как свидетели грозные злого пожара.  
 Я в поля ухожу, в заповедные звуки,  
 В травяные стозвоны, взошедшие властно.  
 И, зловеще шипя, уползают гадюки  
 Под фамильные плиты нерусских династий.  
 Вот так участь тебе, Рогозинская мыза, —  
 И купель, и погибель российское поле!  
 Из-под ног вылетают искристые брызги —  
 Косарям, косарям-то какое раздолье!



Сергей Смирнов

# Госпиталь Бурденко

Я закрываю глаза и вижу место своей службы.

Наша казарма представляла собой здание Петровской эпохи с небольшими казематами, где оконца в толстенных кирпичных стенах и сводчатые потолки. Наверное, здесь несли службу ещё солдаты времён царей Романовых.

Напротив госпиталя — замечательный старинный дубовый парк, ровесник императорской армии. Его деревья напоминали солдат-преображенцев. По весне они одевались в свои изумрудные мундиры. Здесь с ветки на ветку суетливо и расторопно прыгали белки, а большие чёрные вороны, заложив крылья-руки за спины, важно прохаживались по тенистым дорожкам, словно сановные чиновники в дорогих мундирах с иссиня-чёрным отливом...

## 1. Шальная сирень

В неврологическое отделение поступали офицеры и солдаты с разной степенью контузии. Однажды во время ночного дежурства внесли носилки. Я помог перенести пациента в палату. Утром во время обхода пришёл начальник отделения — полковник медслужбы Заикин, в щегольской морской фуражке с позеленевшим «крабом» (раньше он служил на северной базе подводных лодок). У окна лежал маленький сухонький старик. Лицо было бледным, а глаза смотрели спокойно и устало... Диагноз его был серьёзный.

Я потом мельком глянул в его медкнижку. Это был генерал-майор Георгий Михайлович Бериев, главный конструктор самолётов-амфибий. Когда-то он руководил огромным коллективом. Приказ его значил много. Для него небо и мир были необъятными. Теперь же мир большого человека сузился до размеров госпитальной койки. Лежал под белоснежными хрустящими простынями и просто умирал. Во время длительных и тяжёлых перевязок Георгий Михайлович вёл себя достойно. Но когда было особенно больно, то слегка постанывал и называл меня русским медведем.

Его навещали дочери. Одна из них подарила мне сборник стихов Есенина.

И был старик, к которому сын приходил только раз в неделю. Всё остальное время этот худой и немощный человек лежал под казённым шерстяным одеялом. Порой из его полуоткрытого

беззубого рта с еле слышным неровным дыханием раздавалось какое-то хриплое бульканье. Этот бывший лётчик когда-то испытывал фронтовой бомбардировщик Ту-2. Однажды я решил его подбодрить и сказал, что мой любимый фильм — «Чистое небо» с Евгением Урбанским. И тут он впервые за всё время подобрался, поднял голову: — Да-да, замечательный фильм! Ведь мы так жили...

Иногда пациент вставал и пытался самостоятельно дойти до стола, где был графин с водой. Но не доходил и падал. Дежурные санитары поднимали его и сноровисто укладывали в кровать... Ещё он часто и неподвижно смотрел в окно. Его взгляд скользил по редким пыльным листьям сирени в нашем скверике. Мимо сновали пешеходы. Они хмуро глядели на серое небо и старались укрыться от резкого ветра. Погода была такая, что ещё непонятно: радоваться осени или уже оплакивать прошедшее лето. И от этой неопределённости на душе становилось только хуже. Казалось, что лучшее позади, а будущее... И никто, кроме старика, не замечал, что на крайнем, высоком и скрученном, как виноградная лоза, стволе сирени нежно-розовым цветом распустилась целая ветка. И никто не понимал, что эта запоздавшая и несвоевременная дерзкая ветка расцвела именно для них. Она словно бросила вызов. Вопреки всем законам природы.

Так и некоторые дерзкие смельчаки живут вопреки осени жизни. Вопреки всему. Потом их дела называют подвигами, дают награды. Но они не считают себя героями. Ведь они просто служили. Воевали, летали на всём, что можно поднять в воздух.

Командир батальона морской пехоты, капитан третьего ранга Фроил Нухимович Пресс привык, чтобы к нему обращались как к Фёдору Николаевичу. Он воевал на Курской дуге. Со своим батальоном этот морпех ходил в штыковые атаки. Его заживо засыпало в землянке от взрыва авиабомбы, и он почти умер. Уже после войны из-за контузии Фёдор Николаевич оказался навечно прикован к койке. Часто спрашивал врачей, сможет ли хотя бы братья за чайную ложку, но военные врачи ничего не отвечали, опускали головы и молча выходили из палаты.

Кроме известных личностей, видели мы и другое. Груз 200 и родителей, пытавшихся заглянуть в небольшое оконце ящика... Один мой сослуживец заработал на нервной почве язву желудка. Его комиссовали из армии. Будучи санитаром, он почти два года, днём и ночью, находился на посту рядом с обожжённым слепым лейтенантом с ампутированными ногами и оторванными кистями рук. Это был сапёр из Афгана, он спас танковую колонну.

А шальная ветка сирени потом, конечно, умерла.

## 2. Господин поручик

В двухместной палате он, в тёплой пижаме песочного цвета с белым нашитым воротничком, неторопливо и деловито выкладывал из сумки на прикроватную тумбочку бритвенные принадлежности. Коренастый, широкие плечи, округлое лицо, зачёсанные на пробор рыжеватые волосы, высокий лоб, голубые глаза... А всё равно трудно определить возраст. Я глянул в его медкнижку. В графе «Год рождения» значилась дата «18...».

Человек родом из девятнадцатого века и участник всех войн двадцатого столетия, поручик артиллерии русской армии и полковник в отставке советской армии.

Борис Смирнов слышал живой голос Шаляпина: — ...Ни одна пластинка даже в малой доле не отражала всех модуляций голоса Фёдора Ивановича... Я к нему постучался однажды в грим-уборную после оперы «Хованщина» в Мариинском театре. У меня неплохой баритон. Хотел ему показаться...

...В России все понимали, что конфликта с кайзеровской Германией не избежать. Вильгельм Второй желал наверстать упущенное. Стремился раздвинуть границы своей империи. А я тогда учился в Петербургском, а потом уже в Петроградском артиллерийском имени великого князя Константина (Константиновском) военном училище. Оно располагалось недалеко от Фонтанки в большом доме с колоннами.

Летом 1914 года к нам на смотр приехал император Николай Александрович с сыном, шефом училища цесаревичем Алексеем. Всё училище построилось на плацу. Царь с сыном, адъютант, наш начальник училища — генерал-майор Похвиснев... Обойдя строй, Николай Второй вышел на середину плаца, взял под козырёк и поздоровался: — Здорово, юнкера! — Здравия желаем, Ваше императорское Величество!

От нашего крика «ура» с крыши казармы сорвались перепуганные вороны.

Царь в своей речи выразил уверенность, что, получив офицерские звания, мы будем прежде заботиться о своих солдатах и по возможности жалеть их.

Наш выпуск состоялся осенью того же года. В чине подпоручика я был оставлен в училище преподавать математику на курсе. В 1915 году, уже поручиком, командовал орудейной батареей на германском фронте. Был даже награждён Георгиевским крестом.

Зимой 1917 года приехал в Петроград на недельный отпуск. Проходя мимо Главного штаба на Дворцовой, услышал:

— Констопуп!

Констопупами нас дразнили михайловцы (Михайловское артиллерийское училище). Знакомый штабс-капитан приветливо помахал рукой. Он шёпотом сообщил, что собирается на Дон, ведь туда едет большинство наших...

Я же не поехал. В ту пору я проживал с матушкой. Пожалел её...

Пришлось снять погоны, которыми гордился. На фронт не вернулся. Его, по сути, уже и не было. Что делать? Работать. Тапёром-пианистом играл во время киносеансов.

Летом 1918 года вызвали в комиссариат по военным делам. Предложили преподавать в моём бывшем училище. Я пошёл служить новой властью не по идеологическим, а, скорее, по семейно-бытовым причинам. Меня поставили в такие условия, что невозможно было отказать. Но я ни о чём не жалею. В тридцатые годы окончил военную академию РККА. Служил на разных должностях. В Великую Отечественную в штабах рассчитывал траекторию орудийных стрельб.

Всю жизнь занимался тем, чему научили. Но в партию так и не вступил...

А сегодня приходи-ка вечером в холл. Я там буду исполнять старинные романсы...

## 3. Праздник

В такой день подъём отсрочен на час. Это потом уже дневальный зло и устало орёт: «Взвод, подъём!» — и загорается свет. Первыми с верхних коек лихо, стараясь не раскачивать двухъярусную конструкцию, скатываются в проход бесправные «дúхи». Быстро одеваются, заправляют койки, опять же осторожно, чтобы не нарушить сон уважаемых старослужащих, иначе хороший пинок до следующего ряда чутунных кроватей обеспечен.

Вяло и неохотно поднимаются «старики» из своих тёплых уютных постелей. Пока нет офицеров, они, в нижнем белье и в накиннутых на могучие плечи шинелях, шаркая ножками в тапках, зевая и охая, направляются в туалеты совершать утренний ритуал — смолить сигарету. При этом не обращают внимания на суетящихся под ногами молодых бойцов со швабрами, ведрами, тряпками... Утренняя приборка. Длинный коридор с туалетными комнатами, в которых во время нарядов мы часто «плавали», отмывая кусочком

мыла и зубной щёткой стены, полы, сантехнику... Чтоб сверкало, как зеркало.

Дверь бытовой комнаты широко распахивается, и в ней после душа появляется колоритная фигура, краса и гордость московского военного округа — замкомвзвода сержант Женька Кочурко. Молодые жмутся по стенам. Заняв собой центр комнаты и сев перед зеркалом, долго и внимательно вглядывается в себя, напевая при этом из репертуара Сергея Захарова: «Талая вода, шалая вода, от меня вчерашнего больше нет следа...» — приглаживая пышные мокрые волосы. Он собой доволен.

Построение перед завтраком. На завтрак — пшёнка с коричневой подливой, кусок чего-то с запахом мяса, хлеб, масло, чай. После завтрака — обязательная к просмотру утренняя телепередача «Служу Советскому Союзу». На экране в высоком небе лихо проносятся серебристые истребители, в океане корабли ВМФ уходят в дальний поход, артиллеристы готовят орудия к учебному бою... Мы, стриженные «под ноль», сидим и гордимся, что являемся частью всего этого. До призыва я думал, что наша армия самая сильная, солдаты самые смелые, а офицеры самые волевые, знающие боевую обстановку и умеющие решать сложные задачи... Насмотревшись фильмов («Ключи от неба», «Солдат Иван Бровкин», «Максим Перепелица»), мне казалось, что и в мирной жизни армия — пример для подражания. И многие так думали, пока не сталкивались с суровой действительностью. Приказы выполняют, а не обсуждают. Всё просто и ясно. Отлаженный механизм. За солдата думает вышестоящее командование: от прапорщика до министра обороны. Но, как показало время, приказы могут быть ошибочными и даже преступными.

После короткого перекура пришёл пропагандист из клуба. В царской армии его место занимал священнослужитель. Но, как известно, свято место пусто не бывает. Офицер долго рассказывал об агрессивных империалистах, о воинственном блоке НАТО, о диверсиях против мирных стран Варшавского договора.

Свободные от нарядов солдаты после лекции остались в ленинской комнате играть в шахматы, читать газету «Красная звезда», писать письма родителям и своим девочкам.

Затем снова построение. Наши командиры — прапорщик Ильичёв и капитан Самсонов. Прапорщик — ветеран вов, настоящий солдат, фронтовик-артиллерист. Прошёл войну от Подмоскovie зимы сорок первого и до берлинской весны сорок пятого. На всю жизнь осталась в спине крупновская сталь. В непогоду осколки давали о себе знать. Германское железо словно напоминало: «А я-то здесь, с тобой, не забывай войну». Когда становилось совсем невмоготу, Ильичёв ложился в госпиталь, как он шутил, на профилактику

и ремонт. Но сколько верёвочке ни виться, всё равно конец будет. ЦВВК под председательством генерал-майора медслужбы, начальника госпиталя Ю. С. Кравкова вынесла Ильичёву вердикт, которого он боялся всю жизнь: к службе не годен. Так что это был его последний праздник в армии.

Когда Ильичёв повернулся, держа в руках поздравление министра обороны СССР маршала Устинова, среди нас пронёсся гул восхищения и гордости. Прапор был невелик ростом, со спины его можно было принять за худенького подростка. Но теперь он весь был закован в сверкающий, без просветов, панцирь из боевых наград. Без приказа, нарушив дисциплину в строю, мы зааплодировали. Мы его уважали. И он нас любил. Никогда не кричал. Даже по службе не отдавал приказы командным голосом, а как бы просил.

Потом Ильичёва заменил Романов, высокий лопоухий парень лет двадцати пяти, переведённый к нам за аморалку из Западной группы войск. Он и здесь не высыпался после ночей в общаге с женщинами-военнослужащими. Ходил вечно как сонная муха.

«Взвод, строиться внизу на обед». И мы заходим в раздатку. Столы сдвинуты в один большой буквой «Т». Во главе «заседает» капитан Самсонов, или Груша, запойный и вороватый, любящий пообедать из солдатского котла, часто хвастающий, что зараз может съесть десяток варёных яиц. Груша толкнул речь, и мы уселись за праздничный стол. К обычному обеду добавился салат (картошка, морковь, репчатый лук, сухой и крупно порубленный укроп, солёный огурец), заправленный подсолнечным маслом. На десерт — стакан какао, яблочного сока, пачка печенья на двоих.

Весело отобедав, потравив байки в курилке, мы строем направляемся в клуб смотреть кино — «Старшина». Много полезного высмотрели из этого фильма наши деды. Новые оригинальные методы воспитания «духов», которым первые полгода службы «приказано выжить».

Вечером спокойно, офицеры не появлялись. К проверке притащились «старики» из увольнения. Незаметно пронесли вино. Убежали в раздатку отмечать. Нажарили картошки. Вытряхнули сухие пайки. Дым коромыслом. Песни под гитару. Фото на память. А для молодых — команда «Отбой». Гаснет верхний свет. Загорается синий ночник над дверью.

В неврологическом отделении выздоравливающие офицеры поздравляют друг друга. Кто не может выйти в курилку, втихоря смолит чинарики. Один младший лейтенант вспоминает, как в Афгане забирал с пятачка в горах ребят в «вертушку», а их со всех сторон, вместе с вертолётom, окружили душманы. Вот так под выстрелами и пришлось взлетать... Другой военспец негромко проронил лишь несколько слов о том, что в Эфиопии сейчас

прохладно, время пустынных бурь прошло, да и они привыкли к этому климату...

На улице тихо идёт снег. Какой-то нахохлившийся воробей с завистью заглядывает в госпитальное окно. На подоконнике с красными гвоздиками из радиоприёмника торжественно звучит голос диктора: «Служу Советскому Союзу!»

Поздно вечером, после звонка ответственного дежурного офицера (звонок принял дневальный у телефона), автомобиль уаз из эвакуационного отделения прибыл с командой солдат на аэродром Быково. В самом конце взлётной полосы одиноко стоит транспортный самолёт. Сержант Кочурко получил сопроводительные документы. Открылся грузовой люк «Белого лебедя»... Кочурко принял груз 200, прибывший из Афгана. Лейтенант, сопровождавший цинк, в запечатанном пакете передал личные вещи: голубой берет десантника, несколько фотографий, комсомольский значок, наручные часы на ремешке. Солдат вернулся домой. Этот груз был одним из первых с начала войны.

Потому я и запомнил это двадцать третье февраля 1980 года.

#### 4. Лапоть

Его привезли в казарму, когда призыв уже заканчивался, и буйно цвела природа, и было хорошее настроение, ведь целая жизнь ещё впереди. И много планов, много желаний... Эти ребята засиделись где-то на сборном пункте. И все сельские, то есть не маменькины сынки. Сызмальства приучены к крестьянскому труду. Большие натруженные руки с затвердевшими мозолями... Говорили меж собой тихо—видимо, стеснялись деревенского говора. И все какие-то одинаковые. Но среди них выделялся один, с грубым, непривлекательным лицом. Высоко вздёрнутый нос и вихры непричёсанных волос... Сергей Лаптев. Войдя последним, поставил свой мешок на пол и с большим интересом неспешно стал рассматривать армейские плакаты на стенах.

Наши сержанты обступили новобранцев. Сержант Богдан Захарчук, маленький и въедливый, вечно шипящий даже на своих ребят, спросил у Сергея Лаптева:

— Слышь, боец, ты откуда? С базара, что ли? Семечки продавал? А в мешке у тебя, наверно, одни тараканы? Мешок-то из наволочки сшит?..

Кажется, тот даже не понял его насмешку. Без тени смущения, запросто и открыто ответил, что мешок ему сшила маманя.

Прозвище «Лапоть» дали ему сразу, и звучало оно вполне естественно. Был он то ли со Смоленщины, то ли с Рязанщины. Сержанты из Закарпатья невзлюбили его. Был он сам по себе, ни от кого не зависел и ответить кулаком мог. Но за стойкость надо платить. Нелегко ему пришлось. Все наряды на кухню, все дневальства его были. Хозработы—тоже его. Мытьё спален, «плаванье» в туалетах... Когда он спал—неизвестно. И только по вечерам в ленинской комнате, когда при обязательном просмотре программы «Время» гас свет, Лапоть засыпал. А на утреннем осмотре стоял в строю поглаженный, с чистым подворотничком и белоснежным носовым платком в нагрудном кармане. Во время тревог Сергей одним из первых вылетал из койки, мгновенно одевшись, бежал в ружпарк. Дисциплину он понял и принял. Не озлобился, не ушёл в себя. Как ни спросишь: «Лапоть, как дела?»—он с улыбкой отвечал: «Всё путём».

На таких, как первый петровский солдат Бухвостов, капитан Тушин из «Войны и мира» Льва Толстого и мой Серёга Лаптев, в любую эпоху, вне зависимости от времени и политического строя, держались и держатся русская армия и флот.

Лапоть рос без отца. Иногда получал письма от матери. Ещё реже приходили письма от девочек—одноклассницы. Та писала ему просто так, от скуки...

Как только объявили приказ министра обороны СССР об увольнении его призыва, Лапоть начал суесться, готовиться. Для своей мамани, как он её называл, купил подарки в военторге. Всё торопился. Уехал одним из первых.

Возвращался домой в купейном вагоне. Высматривал в тёмном окне свою станцию и пил чай. Всего один короткий перегон оставался до родной деревни. И вдруг крик:

— Помогите!

Он рванулся на этот крик. В тамбуре пьяные пассажиры приставали к девушке. Лапоть, ясное дело, заступился.

— Не твоё дело! Ехай себе, дембель, дальше.

Лапоть крепко кого-то из них ударил... Били его долго и жестоко. Несколько раз пырнули ножом. И ещё живого, открыв дверь, на полном ходу поезда сбросили.

Это произошло ночью. Все в вагоне спали, а может, и нет. На рассвете Серёгу Лаптева нашёл путевой обходчик на ландышевой полянке под откосом.

До сих пор его почему-то вспоминаю.

## Виктор Николаев

# Полотенце

### Сказ о том, как монастырский козёл кренделёй выкидывал

Стылая осенняя ночь. Сырая раздрызанная дорога из-за непрестанно моросящего дождя всё больше и больше утомляла водительский взгляд отца Ферапонта. Двое суток, проведённых в областном центре, мало что дали. Из всего задуманного выполнена только половина намеченных дел, да и те не окончательно, а с прицелом на будущее.

Грустные размышления, слабый свет фар старенького «Москвича» — всё это сплелось в одну невесёлую мысль. В общем-то, отец Ферапонт и не ждал от поездки многого, хотя бы решить основной вопрос: где найти более-менее приличную замену основательно изношенному монастырскому четырёхколёсному.

Его монашеская жизнь при хозяйственной должности почти вся проходила в дороге, за рулём. А от такой напряжённой суety вконец истрёпанный «Москвич» последнее время, кроме частых выходов из строя, ничего больше не приносил. Причём перед каждой поломкой он грустно предупреждал хозяина простуженным кашлем из выхлопной трубы, словно виновато просил прощения за свою старческую немощь.

Тускло светили фары, вызываясь петляла мокрая дорога. Внезапно невесёлые мысли отца Ферапонта прервал зазвонивший колокольным набатом телефон. Сбивчивый взволнованный голос послушника моментально привёл священника в рабочее состояние.

— Отец Ферапонт! — почти кричал звонивший. — Здесь на подворье нам благодетели подарили козла! Такой хороший, крепкий, прям залюбуешься!.. — «Козла»?! — именно так воспринял это сообщение монах.

— Да, да, козла, — повторял послушник.

Отец Ферапонт воспрял, повеселел. Вот это действительно нечаянная радость! И до чего же вовремя!

— А «козёл»-то действительно нормальный? На ходу?

— О-о-о! Ещё какой! Он буквально рвёт из-под себя! — веселился послушник. — Приедете — увидите сами.

Встрепенувшийся отец Ферапонт уже видел себя на этом «уазике», а в простонародье — «козле».

Сразу невольно стал составлять планы на завтра и другие дни. Душа пела, дорога стала ровнее, свет фар ярче, даже старичок-«Москвич» помолодел: и ему пришла подмога.

Подъехав к монастырю, отец Ферапонт выскочил из машины и буквально побежал на хоздвор, чтобы оценить щедрый дар благодетелей.

— Где «козёл», где?! — первое, что спросил он у братии, еле сдерживая радостное волнение. — Вот!

Пауза от увиденного длилась не то минуту, не то век. Реакция монаха, как бы это поделикатнее сказать, была сдержанная. На бытовом языке это называется «мысли про себя». Над монастырём стояла звенящая тишина. Её не рисковали нарушить даже местные дворовые собаки.

Щедрый подарок — взрослый козёл с нахальными глазами — задиристо рассматривал окруживших его людей. Рогатого в новом коллективе не смущало и не пугало абсолютно ничего.

Оказывается, его днём не столько привёл, сколько притащил в монастырь один мужик и умолял забрать принадлежавшую ему скотину на любых условиях. Даже даром.

Свой поступок хозяин объяснял обрывистыми фразами и дрожащим голосом, суть которого была следующая: молодой козёл не признаёт никакой власть, вытворяет, зараза, что хочет. Возможно, мужик расценивал монастырь как последнюю и единственную инстанцию для исправления этого нахала.

Присутствующие на необычных смотринах приходили в себя довольно быстро. Видимо, этому способствовал монастырский дух. Отец Ферапонт молчаливо рассматривал щедрый подарок благодетеля, братия вежливо и беззвучно вторила ему. Повиливали хвостами дворняги, тихо покусывая, не рискуя раньше времени переходить на привычный лай.

А вот козёл... Козёл был явно недоволен тем, что недовольны были им. Он рассчитывал как минимум на восхищение, а тут... Рогатый, судя по всему, совершенно не понимал, почему при произношении его родного, весьма уважаемого, как ему казалось, слова «козёл» сейчас имелось в виду нечто иное и на лицах людей виделось нескрываемое разочарование.

Лишённый возможности говорить человеческим языком, он старался как мог это компенсировать языком жестов. Отчего бородатый гневно подпрыгивал сразу на четырёх ногах, бил землю копытом, сокрушительно мотал головой, звонко блял, словно вопя: «Люди! Одумайтесь! Рассмотрите внимательно! Настоящий, подлинный, натуральный козёл—это Я!..»

Не помогало. Судя по досадному разочарованию на лице монаха и недовольному козлиному пофыркиванию, каждая из сторон осталась при своём мнении.

Размеренно текла монастырская жизнь. Молитвы, послушания, службы... Отец Ферапонт ежедневно трясся на своём стареньком «Москвиче», да и сам «москвичонок» своими частыми хлопками старался больше успокаивать монаха, чем жаловаться на свою нелёгкую автомобильную долю. В общем, всё шло своим чередом.

Вот только новый житель с трудом вписывался в монастырскую обстановку. Придя с воли и будучи во всех отношениях своевольным, он своё козлино-рогатое «Я» пытался показать везде, где ни попадя. Драчливый, заносчивый, ехидный, он оказался ещё и весьма обидчивым. Новосёл был случайно пойман на одной необычной для него страсти. Рогатый очень любил... сладкое. Одна из паломниц была так растрогана внешним видом мохнатого пижона, что угостила его почему-то конфетами, и он среди всех выбрал почему-то трюфели. Долго и с удовольствием чавкал ими и по-цыгански просил ещё. С этой минуты забияка получил прозвище Трюфель.

Сытая и степенная монастырская жизнь пусть очень медленно, но всё-таки начинала сглаживать хулиганские наклонности Трюфеля. Были замечены и другие странные желания рогатого в еде. Настоящий козлий десерт—капуста—Трюфеля, как ни странно, особо не интересовал. Хотя похрустеть иногда сочными листьями он был не против. Больше всего поперешный козёл был склонен к морковке, яблокам и особенно к тому, что бы ещё такого натворить.

В монастыре уже начали уставать в поисках средств смирения бесплатного подарка. И вот надо же! На рогатого непослушника однажды поразительное влияние оказали две собачки-дворняжки—Жень и Шень.

Она была Жень, он—Шень. Собачки бегали только парой, и порознь их никогда не видели. Кто был автором таких имён и что было причиной такого мудрёного для деревни названия, уже не вспомнить. Возможно, этому косвенно способствовал их цвет: Жень больше светленькая, Шень—на тон темнее. Они тявкали в унисон. Жень начинала, Шень завершал тенором и, волнуясь, смотрел в глаза подружке: «Ну как?» Она виляла хвостиком, что означало: «Весьма неплохо».

Знакомство собачек с Трюфелем произошло при необычных обстоятельствах.

Трюфеля, как и всё небольшое монастырское стадо, выводил на пастбище свой послушник-пастушок. И то ли он некрепко привязал козла, то ли тот сам не стерпел такого плена, но Трюфель умудрился высвободиться и сбежать в деревню. Сбежать-то сбежал, но, не зная дороги домой, козёл заблудился. Таким непривычно растерянным его нашли Жень и Шень у магазина. Видя горькое отчаяние рогатого, у Жень защемило пусть собачье, но всё же женское сердце, и она совершила естественный, почти материнский, поступок: взяла грустного Трюфеля зубками за висящую на шее верёвочку и привела в монастырь под одобрительное потягивание Шеня.

Молодой рогатый холостяк на дармовых монастырских харчах быстро прибавлял в весе, заметно отставая при этом в смирении и послушании. Гордыня по-прежнему буквально скакала впереди него, и однажды козлиное высокомерие завершилось величайшим конфузом, о котором братия помнит по сей день.

В воскресенье в монастырь приехали паломники на дорогой машине. Трюфель, как не последняя здесь фигура, решил придирчиво осмотреть прибывших. Хозяева авто ушли, а он, обойдя серебристый джип, случайно устоял в дверь машины и буквально остоленел. На него нахально пялил глаза... соперник! Ну, это было уж слишком! Такого конкурента Трюфель вынести не мог. Отскочив на несколько шагов назад, он совершил стремительный рывок вперёд и со всего разгону долбанул рогами в дверцу иномарки! Зеркальный соперник исчез мгновенно.

Победное козлийное бляение длилось недолго: автосигнализация быстро определила подозреваемого.

Суд над поломщиком частной собственности шёл второй час. На вопрос, стыдно ему или нет и до коих пор такое поведение будет продолжаться, привязанный к столбу позора Трюфель демонстративно молчал. На фоне его систематического хулиганства вся шаловливая животиная монастыря выглядела едва ли не образцом воспитания.

Внезапно самый точный и простой совет дал пожилой монах:

— Наказание—оно, конечно, дело нужное, но вот лучше бы подружку ему, созрел он для неё, вот и бузует...

Через несколько дней в монастыре поселилась козочка Роза.

А тот отремонтированный джип месяц спустя хозяин подарил монастырю. Как-то и у него наладились свои дела в бизнесе, даже после такого конфуза с Трюфелем. А может, потому что он принял этот случай со смирением.

Кстати, подаренный автомобиль отец Ферапонт назвал «Козлом».

В общем, слава Богу за всё!

Май 1915

## Полотенце

Отца Игнатия перевели служить с Северного Казахстана на юг не то чтобы внезапно, как это бывает, но с определённой в таких случаях неожиданностью. Приказали: «Убыть!» Ответил: «Есть!» — и убыл. Убыл из Павлодарской области в город Есик, что в переводе на русский означает «дверь» — евангельское наименование. «Аз есмь дверь овцам!»

Новое место — новые заботы. Так как всё было новое, то и обыкновенный вопрос в таких случаях становится непростым и не сразу разрешимым. Порой пустяковый, штатный оказывается сложным и нештатным.

Вот и сейчас вдруг оказалось, что нет вина на причастие. Несколько бутылок ещё осталось, но так как приход большой, то его хватит на две-три литургии. В церкви всегда стоит вопрос о приобретении вина, а тут только прибыл, принял слушание — и на тебе...

Подсказали знающие отцы: хорошее вино производится в Чимкентской области. Туда, за семьсот километров, отец Игнатий и отправился. Взял с собой отца Артемия — всё-таки дорога длинная, всякое может быть.

Выехали в понедельник ранним утром, ещё до восхода солнца. Дорогой с удовольствием беседовали на духовные и мирские житейские темы. Разговор сложился сразу, всё шло легко и ладно. Семьсот километров за хорошей беседой — как семьсот минут: где помолчишь, где продолжишь, а то и вовсе остановишься, выйдешь, потянешься, присядешь, попьёшь чайку. В Казахстане толк в чаях знают, да и не только в чаях.

Но разговор разговором, пусть и при хорошей дороге, а душа всё равно в родном приходе. Голова занята бытовыми оргделами: от свечей до кирпичей.

К вечеру добрались до места назначения, в Чимкент, в епархию. Отец Игнатий, как лицо ответственное, всё рассчитал по часам: приехать, закупить, чуть отдохнуть и убыть.

Пунктуальность задуманного основательно перечеркнул секретарь владыки:

— Вина нет, и будет только к концу недели.

Никакие «а если», «а мы издалека» в расчёт не принимались.

Ждать целых четыре дня! Господи помилуй! Ну и ну... Ноги в Чимкенте, сердце и мысли умчались в Есик. К тому же бесконечные тревожные звонки из храма: нужно то, это... благословите сделать это... а где лежат те вещи?... А тут ещё гости из другого города. Да ещё какие! Отец Игнатий по телефону

с другого конца страны полчаса размещал их на приличный ночлег, да и наказывал, чем временно занять гостей до его приезда.

Только было успокоился — очередной звонок, как контрольный выстрел: прибыл автовоз из Германии с автомобилем, который подарили православные немцы. Значит, надо быть на таможене. «Всё. Завтра с утра уеду!» — решил батюшка.

Вечер коротали в обществе игумена Вениамина. Его мама преподаёт русский язык в семинарии. Она сестра актёра, сыгравшего главную роль в фильме «Сердце Бонивура». Их великодушное гостеприимство заметно успокоило и стёрло мучительные раздумья. Воспитанная, доброжелательная семья — чем не родственные души? Хорошим рассказчиком проявил себя отец Артемий. Не случайно его, как-то засветившегося в Москве после проповеди, патриарх Алексий назвал казахстанским Златоустом и одарил просфорой. Тема беседы была весьма многогранная, но бремя забот нет-нет да и раскалывало разум отцу Игнатию, а тревога не давала сосредоточиться. Вдобавок ко всему жалобно и горемычно, словно железом по стеклу, скрипело директорское кресло под величественно-философской позой игумена Вениамина.

Наконец отец Игнатий не выдержал: — Позвольте, отче, смазать ваше пятиколёсное кресло?

Имея технические навыки, отец Игнатий ловко разобрал основание кресла, смазал маслом детали и втулки, при этом изрядно испачкал руки чёрным мазутом от старой засохшей смазки, отчего сразу стал похож на профессионального нефтяника, награждённого первым выбросом из земных недр чёрного золота.

Машинально слушая возвышенный монолог о духовности и культуре, отец Игнатий обречённо озирался по сторонам в поисках хоть какой-нибудь тряпки или ветоши для своих почти по локоть испачканных рук. Прервать разговор двух увлечённых беседой отцов он не решался, но и скатерть марать — тоже не лучший вариант.

Так и сидел грустный нефтемонах в глубоких раздумьях о жизни: о нерастаможенной машине из Германии, о том, где коротать ещё три дня, о крайне нужном вине, о гостях и о том, что обратно — целых семьсот километров. О Боже! Милостив буди мне, грешному!

В момент наивысшего душевного напряжения и уныния во дворе вдруг звякнул звонок. Вошёл сторож:

— Отче, там никого нет, но в почтовый ящик кто-то кинул вот это вафельное полотенце...

По виду оно было таким, что отец Игнатий сразу выпалил:

— Это мне передали!

И стал тщательно вытирать им руки. Когда монах почти заканчивал вытирание, у него внезапно

случилось озарение, просветлела душа, он словно ощутил, что это реальная Божья забота: «Видишь, Я даже о руках твоих забочусь, а ты о делах своих простых в глубокой печали...»

Удивительно, но в течение нескольких минут отец Игнатий совсем успокоился, даже повеселел. Мысль, что всё в руках Божьих, действительно выровняла его душевное состояние. Все четыре дня

он помогал по епархиальному хозяйству, решил немало простых, но нужных дел. К пятнице привезли больше, чем просил, хорошего вина, а секретарь за терпение щедро отблагодарил, преподнеся в подарок большое количество икон. Случилось и другое. Его друзья быстро растаможили машину, вовремя уехали гости, а отец Игнатий, ко всему прочему, прекрасно отдохнул и укрепился в вере.

ДиН ПАМЯТЬ

Виктория Беляева

## Кленовые звёзды

Опубликовано в «ДиН» № 4/1997



Кленовые звёзды ещё не покинули веток,  
но холодно ветру стоять на обочине сна.  
И серое небо узором неправильных клеток  
в японские свитки уже исчертила сосна.

Стихи о любви — это глупо, ненужно, нелепо.  
Войсками сомнений мой город кругом осаждён.  
Постскриптум, постфактум, посмертный безрадостный слепок  
срывает сентябрь. Сентименты смывает дождём.

Пока что не стали стеклом синеватые лужи  
и льдом не покрыта кора обомлевшей земли.  
Ещё не покрыта. Твой голос ещё не простужен.  
Твой голос, мой милый. Твой голос. Ещё корабли

уходят в пространство. Ещё не хватились пропажи,  
и крик никого не спугнул в настороженной мгле.  
Стихи о любви. Это было и будет. Но как же  
мне страшно, мой милый, мне страшно стоять на земле!



Когда гостей неожиданных в час ночной  
мне принимать приходится, мне больно,  
что вот неожиданны, что не все довольны,  
что я гостям не рада — бог со мной —  
никто не рад.

Что столько дней — вдали,  
в беде, в разлуке — локти искусали!

И вот — сидим, дышим, молчим часами —  
и не о чем...  
Часы вперёд ушли,  
а мы остались.



Александр Герасимов

# Красные ягоды

## Страна дождей

Непогодой назвал бы нашу летнюю жару.

Знойно гнетуще. Жухнут травы, рабски снижают листья, в морном выпцветшем небе плавится бесформенное светило. Ни продохнуть. Ни спрятаться. И мглистыми ночами душно, не отпускает.

Но приходит время гроз.

Перед рождением первой грозы мир обомлевает, цепенеет, как пред погибельным пределом. Надсада, растерянность, опустошённость. На деревьях листик не шелохнётся. Птицы не летают, голосов не подают. Время останавливается. Пыльные окрестия недвижны. Даже сердце замирает, раздумывает: стучать ли?..

Дневная тягучесть перерастает в ночную. Где-то за горизонтами беззвучно проблёскивают, круговертят, но никак не приблизятся грозы.

И только за полночь, под самое утро, когда и не надеешься уже, вдруг сверкнёт рядом совсем! Разорвёт, треском ошеломит тишину! Ударят хлёсткие капли. И как обрушатся лавины негаснущие молний и каскады несмолкаемые громов! И как хлынут потоки вод! Сначала полосами, окатно. Вослед густо, оглушно.

Отрадно, тревожно, жутко. А люди улыбаются, засыпая блаженно под выверки, сияния и грохот.

Потом приходит рассвет.

Наступает утро упокоения и чистоты.

Умиротворённость и благоуханность — дольный мир после грозы.

Благорастворение воздушных.

А как милы сердцу слепые грибные дожди! Они из детства. Солнышко даже за облака не прячется, щурится, жмурится. Серебряные дожди свозь лучи моросят. И зонты люди не раскрывают. А промокнув, не огорчаются. Но главное, ручаюсь, обязательно случаются радуги. Можете проверить.

Вёснами и летом бывают и самые обыкновенные дожди. Вдруг явятся из ниоткуда, пошумят, а потом растворятся в синеве неба и просохнут в зелени травы. Тоже хорошие дожди.

Обложные дожди, когда всё небо плотно, беспрочно затянато. Могут идти многими днями

и ночами напролёт. И кажется, уже конца им никогда не будет, что во всём мире так.

В такие дожди хорошо думать, ничто не отвлекает. И в этом своя прелесть.

Лихие от напора ветров дожди — косяхлесты. В пути застанут — сухим не выбраться. Зато так хорошо после них греться у дымного костра, у натопленного камина или у раскалённой печи, — приключения, о которых рассказываете, посмеиваясь.

Дожди с градом, горохом-разбойником, иногда в мандарин величиною и ледяною формой. Они жестоки, беспощадны, но и в этой безумной стихии есть чарование.

Дожди со снегом. Они могут пойти и в августе. Люди любят фотографировать в такую погоду цветы, считают их необычно красивыми в снежных шапках и сугробах.

Осенние дожди. Спокойные, затишные. Сквозь них не надо торопиться. Они наполнены мудростью, надеждами и думами о вечном.

Проливаются, моросят, низвергаются, тарабаниют, шелестят и грохочут ливни, дожди и грозы. В России они особенные. Приносят печали, томления и радости, преисполняют сердца вселенской любовью.

## Красные ягоды

Иннокентию Герасимову

Помнишь, когда ты был маленьким, ещё не разговаривал, но уже научился ходить, летом в выходные на большой белой машине мы часто ездили за город, где у тихой речки Безымянки прижимался к сопке деревянный дом, двухэтажный, с балконами? Рядом с домом мы стелили оранжевую циновку, ставили корзину с едой и питьём, разбрасывали привезённые игрушки. Я надувал голубой клеёчатый бассейн и длинным шлангом наливал в него холодную воду из гудящей мотором скважины. Пока вода согревалась, мы играли на циновке, гуляли по двору. Там росли

ярко-жёлтые одуванчики, они стояли на длинных ножках-трубочках и поворачивали головки к солнцу. Отцветая, одуванчики не вяли, сникая, сжимались в бутоны, а потом случалось чудо: они вновь распускались, превращаясь в пушистые белоснежные шарики. Мы их осторожно срывали, на изломе трубочек выступал млечный сок. Мы дули на круглые шапочки одуванчиков и наблюдали, как круговерть белых, с маленькими семенами, парашютиков поднимается в воздух. Когда пушинки попадали мне в лицо, ты громко смеялся, потому что я морщился и тёр нос.

Однажды я взял тебя на руки, и мы стали подниматься в сопку. Я с опаской ступал по промытым дождями уластым корням, ты сидел высоко-высоко на шее, в восторге и страхе цепко держался за мой лоб, давил пальчиками на глаза.

И вот мы в солнечном лесу. Млеют золотые сосны, и весь лес замер в янтарных бликах. Перед нами тропинка, мягкая и тихая. По ней можно идти босиком. Даже твоими маленькими ножками. Сквозь тёплый ковёр опавшей хвои выглядывают осторожные тёмные маслята, и нежные сыроежки — жёлтые, розовые, фиолетовые — рассыпались повсюду. Звенит из припикшей травы стрекот кузнечиков, при нашем приближении они таятся, умолкают, потом веером выпрыгивают из-под самых ног, с треском расправляют дрожащие, с алым огненным подбоем, крылья и летят далеко-далеко, дугою. Сначала ты пугаешься, потом смеёшься, пытаешься кузнечиков поймать, да разве за ними угонишься?.. Вот ты заметил огромного чёрного муравья, с изумлением смотришь на его невозмутимый бег, поднимаешь с земли щепочку, преграждаешь ею дорогу. Муравей, вмиг проскочив препятствие, взбирается на маленькую ручку и кусает тебя за пальчик, согнувшись в злой жёсткий комок. Здесь уже пугаюсь я. Слава Богу, что мама и бабушка не видели! Страхнув обидчика, мы продолжаем поход. Ты не плачешь, и мне кажется, что ты почувствовал в случившейся драме мою вину. Твои большие глаза потемнели, розовые прозрачные на солнце ушки стали пунцовыми. Но горе твоё пока недолгое.

Как хорошо нам идти по сказочной жёлтой тропинке! Крошечная ладошка маленького человека в ладони большого и сильного. Мир для тебя наполнен новыми звуками, яркими красками, незнакомыми запахами. К благоуханиям нагретой смолы и хвои, медовых цветов, к влажному запаху грибов тихими волнами приплывает аромат лесной земляники, но ягод не видать — прячутся где-то.

— А пойдём искать сладкие ягодки, — предлагаю я.

Ты удивлённо смотришь мне в глаза. Ты всё понимаешь и ответить можешь взглядом.

Мы выходим к солнечной полянке и идём на земляничный дух. Приседаем на корточки,

раздвигаем покрытые мелким лёгким пушком тёмно-зелёные листья, изнанка их серебристо-сизая, а под ними на тонких плодоножках клонятся к земле красные с золотыми крапинками ягодки. Их было немного, но как они пахли! Серединки сорванных ягод нежные, розовато-белые. Встречались и ягодки бледные, твёрдые, ещё неспелые, такие мы не рвали. А были и тёмные, мягкие, уже перезревшие, от них твои пальчики, губы, щёки и кончик носа стали вишнёвыми. Ох и наругают же нас домашние за поедание немойтой ягоды, да разве удержишься тут?

Попирав, мы возвращаемся. Нас уже потели. В маленьком кулачке ты держишь три ягодки, ты нёс их очень бережно. Раскрыл ладошку, угощаешь маму и бабушку — и почему-то меня; ягодки помялись и протекли рубиновым соком. Твоя мама, моя дочь, смотрит на меня укоризненно и сердито, а бабушка, моя жена, вовсе не ругается: добрый мальчик, — говорит, улыбаясь, а в глазах её слёзы.

А потом ты весело плескался в нагретом на солнце надувном бассейне.

Ты вырастешь большим, умным, сильным и добрым и когда-нибудь это вспомнишь. Хочу, чтобы вспомнил. Тёплый маленький бассейн, красные ягодки, белоснежные шапочки отцветших одуванчиков: ты смеялся и дул мне в лицо их лёгкие парашютики, — когда сейчас вспоминаю я, то морщусь от щекотки нос — правда.

## Синяя Птица

Смотреть в окно интересно. Особенно зимою. Прижмёшь губы к заиндевелому, в сказочных пальмах, стеклу, продует тёпленьким лунку, потом пальцем прогреешь-расширишь. Вот и прозрачное окошечко, а за ним наша черёмуха, а на ней наша кормушка для птиц.

Так давно, а как вчера. Телевизор не в каждом доме и только вечером показывал художественные фильмы и строгих дикторов. Днём дети смотрели в окна. Сколько было птиц! В наш тихий двор они прилетали из самых дальних лесов. Летом многих никогда не видел. Порывистые юркие синички разных окрасок и размеров: белощёкие желтобокие — большие (имя такое), серенькие пухленькие — гаички, синенькие — лазоревки, беленькие крохотные ангелочки — длиннохвостые. Поползни шумливые, ловкие, как обезьянки, сновали туда-сюда по стволу, больше всего им нравилось зависать и бегать вниз головой. Пунцовые снегири, подобные новогодним ёлочным шарам, рассаживались степенно поверху, являлись к нам покрасоваться, даже не из любопытства, суета воробушков и синичек на кормушке их не интересовала.

А ещё прилетала голубая сорока. Удивительно красивая птица! Головка в блестящей чёрной шапочке, оперение дымчатое розоватое, а длинные перья хвоста и крыльев яркие голубые — на солнце

сверкают... И кажется мне сегодня, это Синяя Птица Счастья, неуловимая, из сказки Метерлинка.

Она настоящая. Она за Байкалом, в моём Приамурье.

## Малина

Малина-малинка... Уж какая она на рынках крупная да калиброванная. Всяко-разная. Не только малинового окраса. И светло-розовая, и жёлтая, и свекольно-пунцовая, и чуть ли не чёрная, в цвет ежевики. Красивая ягода, но всё водянистая. И аромата истинного нет. Разве сравнится она с малиной нашего детства? В глубинах памяти сохранил я вкус и запахи той настоящей малины.

Ещё только солнце восходило, карабкалось в утреннее небо, а мы уже бежали по холодной траве к высоким развалистым кустам, ведь даже ночами ягоды вызревали. Тянули руки в росистые колючие ветки, осторожно стягивали нежные ягоды с плодоножек.

А к полудню малинка вновь поспевала. В зной она бывала ароматнее. Горячий воздух густо пропитывался запахом спелых ягод. Но и твёрдые с недозрелыми бочками отправляли мы в ненасытные наши рты.

— Да подождите же вечера, — просила мама, улыбаясь, — пусть ягодки ещё немножко на солнышке погреваются.

Вечерами, набегавшись за день по улицам, мы опять вспоминали о малине. Уже тоненько позванивали комарики. Малина на закате была несравненно слаще утренней и дневной, только уже и сил не было собирать её. Мама помогала нам: ладошки спелых ягод протягивала младшему брату и мне.

## Первое, второе и...

*Мужчины умеют готовить,  
не все в этом признаются.*

*Борщ — наше всё!*

В магазине свёколки купил: ядрёные, гладенькие, тонкокожие, будто из детства с маминой грядки. Вспомнил, как мама борщи варила. Она, когда жили в деревянном доме с дровяной печкой, готовила в чугушке: сначала в нём мясо чуть обжаривала, потом заливала кипятком, томила, колдовала с овощами на сковороде, забрасывала шинкованную капусту, по сезону квашеную или свежую, помидоры, корешки, зелень... Борщ был наваристый, яркий, переливчатый, изумительно вкусный.

Русскому человеку без борща никак. Нас хоть в Австралию, хоть в Гренландию забрось, будем борщи варить. Помню, в девяносто третьем попал с друзьями в китайский Далянь — великолепная морская кухня, а нас через три дня на борщ потянуло: вот ничего не надо — борща подавай, и всё

тут! В ресторанчике через переводчика объяснили повару, господину Ю, чего хотим. Тот, кивая головой, как фарфоровый китайский болванчик, выслушал, на завтрак и приготовил нам. Капуста и другие овощи хрустели. Свёклы не было вовсе. Как оказалось, китайцы не знали этого корнеплода, не выращивали его. Вежливо понегодовали, но съели. И что забавно, знакомые потом рассказывали, — когда мы уехали, повар включил борщ в постоянное меню!

А я борщи стал готовить по-китайски, капусту и болгарский перец чуток недовариваю, похрустывают, убедил меня толстячок Ю, что так полезнее.

...Рассказывать о великолепии борщей наш человек может бесконечно. Рецептов — миллионы, сам почти всегда по-разному готовлю. Хотел было сейчас поделиться некоторыми.

О борщах с фасолью, белыми грибами, яблоками, черносливом, ревенём, щавелём... Да ладно, сами всё умеете.

Всё-таки об одном нюансе скажу. В конце девяностых для Пятого канала сняли меня в телепрограмму «Рецепт от...», за час обеденного перерыва на скорую руку приготовил первое и второе: борщ без мяса и драники. Потом на улицах останавливали с расспросами, как получился у борща такой необыкновенно яркий цвет. Секретов нет. Дело в свёкле, как её используешь. Если порезать и бросить в кастрюлю с другими овощами, выварится и станет бледной. Самый густой цвет — бордовый — даст свёкла, сваренная отдельно неочищенной, готовую потом порезать и добавить, уже снимая борщ с огня. Но у этого борща особенность, как постоянно, все овощи окрасятся. А вот если свёклу не варить, а нежно обжарить, и на финише готовки опустить в кастрюлю, борщ станет светло-рубиновым, и морковь, и перец свои цвета сохраняют, и картошка с капустой не потемнеют. Знали уже? А к свежей капусте чайную ложечку сахара в борщ кладёте, сок из половинки лимона выжимаете? Вот я и говорю: нашего человека не надо учить борщи на первое варить.

Ну хорошо, хорошо, мы с вами сейчас второе приготовим. В магазине я и молоденькую картошку прикупил: клубни ровненькие, жёлтые, нежная кожица кудряшками шелушится...

*А не пожарить ли картошечки?*

Настоящий мужик должен иметь два качества: первое — быть ироничным; второе — уметь жарить картошку.

С иронией у всех хорошо. О картошке. Как её правильно пожарить, чтобы и вкусно, и стены до потолка не забрызгать?

Сначала определимся, какую именно хотим — золотистую фри, или поджаристую на сковороде, или драники с хрустящей корочкой.

**КАРТОШКА ФРИ** Готовится во фритюрнице, кастрюльке с длинной ручкой (похожа на ковшик).

Картофель режем на брусочки, кладем в воду смыть крахмал, ещё лучше—промыть в дуршлаге под краном. А сейчас—самое главное: промытую картошку надо обсушить. От мокрой брызги масла полетят шрапнелью. Поэтому картофельные брусочки обязательно промокните бумажными салфетками до сухости.

В кастрюльку-фритюрницу наливаем растительное масло глубиной в три пальца. Ставим на огонь. Как только над маслом появится лёгкий дымок, аккуратно опускаем картошку. Не всю сразу, а так, чтобы брусочкам не было тесно. Следим за огнём, прибавляем, когда картошка только попала в масло, затем делаем слабее, чтобы не пошёл чад. Помешиваем-переворачиваем шумовкой. Как зарумянится со всех сторон—на широкую тарелку, застеленную салфетками. Таким же образом жарим и остальные брусочки. Масло подливать и доводить до раскалённого состояния.

Уже готовую картошку фри посыпаем солью, свежемолотым перцем. Если посолите раньше, выделится влага, будет стрелять во все стороны.

От вашей фри все придут в неописуемый восторг. Расчувствовавшись, не забудьте отложить и себе, чтобы не остаться счастливым, но голодным.

**КАРТОШКА, ЖАРЕННАЯ НА СКОВОРОДЕ** С нею всё просто. Режете тоньше, нежели для фритюра, можно лепестками, как нравится.

Так же промываете и обязательно просушиваете.

Сковороду возьмите с высокими бортиками—сотейник, это безопаснее при шкворчании. Жарить можно на растительном масле, с беконом (немного масла и здесь не помешает), на сале, вытопленном до шкварок.

Переворачивайте картошку лопаточкой, чтобы получились аппетитные поджаристые корочки. Накрывать крышкой не надо, запарится.

Готовую посолите, посыпьте укропчиком и пёрышками зелёного лука. Очень вкусное и соблазнительно-красивое блюдо, самодостаточное для обеда и ужина.

Сколько же я картошки пережарил за свою жизнь! Даже в гостях, дружелюбно отодвинув от плиты хозяев (если честно, видя их неумение), на общих кухнях общежитий, в походах на углях костров, в командировках по гостиницам на чёрт-те чём, чтобы накормить друзей, коллег...

Бывший редактор газеты «БАМ», бамовский драматург Иван Шестак помнит ли, как на моей кухне жарил ему драники? Очень он, белорус, тогда удивился, увидев, что ни яйца, ни муку не использовал.

Вот мы и к следующему блюду подобрались.

**ДРАНИКИ** В представлении многих—это клёкые синюшные оладьи из тёртой картошки. Нет, наши будут иными, с хрустящей рыженькой корочкой и вкусом чипсов. Для этого картошку шинкуем не на мелкой, обязательно—на крупной тёрке, нам не нужна жидкая крахмальная каша, будут ленточки. Солим, перчим, можно чесночку добавить. Шинкованную картошку берём жменьками, формируем небольшими котлетками, отжимаем и опускаем в хорошо разогретую сковороду с растительным и сливочным маслом. Выступивший крахмал свяжет картофельную стружку, только не торопитесь переворачивать, пусть основательно схватится. А как со всех боков драники окрепнут рыжей хрустящей корочкой—на тарелку. Такие горячие ароматные ерошистые красавцы, а мы их посыпаем рубленой зеленью, а потом в холодную сметану макаем...

...Даже не могу определиться, какой из вариантов жареной картошечки предпочтительней, все хороши!

### *Винегрет*

У нас свёклы не все в борщ ушли, и картошечка осталась. Напрашивается винегрет. Салат немудрёный. Кажется, все умеют: порубили кубиками отварные и маринованные овощи—и на полку холодильника. Когда постоит, выглядит зачастую не очень презентабельно: зелёный горошек становится чёрным, и маринованные огурчики потемнели, картошка подмятая-скользящая, как морковь и квашеная капуста,—свекольного цвета... Понимаю, привыкли.

А я расскажу, как сделать винегрет феерически красивым, гораздо и несравнимо вкуснее.

Только самое важное.

Никогда не варите свёклу в одной кастрюле с картошкой и морковью! Неочищенные свёкла и морковь варятся порознь. А картофель, чтобы не расплылся в салате, лучше всё-таки очистить, порезать кубиками, бросить в кипяток, а как подварится—на дуршлаг и под холодной водой смыть крахмал, а чтобы чуть задубел—уксусом сбрызнуть. Такие кубики даже при перемешивании сохраняют форму, и вкус станет куда интереснее.

И ещё важный нюанс: не спешите рубленую свёклу тут же забрасывать в общую посудину. Обязательно промойте холодной водой, положите в отдельную тарелку и полейте растительным маслом, перемешайте. Уйдёт выступивший сок, свёкла покроется защитной плёнкой и не окрасит другие ингредиенты. Зелёный горошек не почернеет, картошка и кусочки яблока останутся светлыми, морковь оранжевой. Винегрет станет разноцветным, восторженно-ярким.

Теперь о заправке салата. Делается перед подачей на стол. Состав: растительное масло, лимонный сок (или уксус, лучше—бальзамический),

горчица, мёд (можно просто ложечку сахара), присолить самую малость.

Вкус привычного винегрета вас изумит, ручаясь.

А если овощи не варить, а запечь в духовке... Это будет не просто праздник — сказка, сбывшиеся грёзы гурмана.

## Ах-ах, о грибах...

Ольге Губаревой

### Солёные грузди

О чудесных хрустящих груздочках расскажу. Как в детстве у отца увидел, так и солю, только не в бочке, не те масштабы.

Убеждён: заготовка груздей — занятие сугубо мужское.

Грузди ещё надо суметь найти, всегда прячутся под слоем опавшей листвы. Я их присутствие по запаху чую. А как увижу взрыхлённые бугорочки и срежу первый груздок — всё по кругу прочешу, по одному не растут. И бежать дальше не тороплюсь, в том же ярусе леса обязательно найдутся и другие семейки. Хорошо искать грузди на взгорочках и по сопкам: идёшь снизу вверх зигзагами и видишь, как выглядывают, подсматривают за тобой.

Я беру сырой груздь. Шляпки у него с ямочками в центре, а краешки — с мохнатой бахромой, у молодых плотно загнуты к ножке. Молоденькие — тугие, сизовато-беленькие, а подросшие — в лёгких рябушках-рыжиках. По срезанной ножке, с выступившим млечным соком, видна свежесть гриба, шибко проточенные червячками брать не стоит.

Принесённые из леса надо очистить от прилипших листочков и хвоинок. Большие шляпы разрезать на половинки и четвертушки. Промыть проточной водой.

Потом вымачивание. Сок грибов горький. В Германии и большинстве европейских стран грузди считают несъедобными и ядовитыми. Не отсюда ли пословица: что русскому хорошо, то немцу — смерть? Много они понимают, ха-ха, попробовали бы русские грузди под свой шнапс. Нет — под нашу!

Для вымачивания укладываем грузди вниз шляпками, заливаем чистой водой, сверху плоскую тарелку с гнётом. Часов через шесть вода помутнеет, меняем на свежую, и потом вновь. Продолжается это два-три дня. Как-то видел у таёжного пасечника: сетки с груздями, прикрытые ветками маньчжурского дуба, полоскались в чистейших струях холодного родника — идеальный вариант!

Приступаем к засолке. Достаем грибы по одному, осматриваем, соскабливаем непонравившиеся пятнышки. Выкладываем слоем в посудину. Посыпаем крупной солью. Поверх выстилаем листья чёрной смородины, молодые дубовые, лопухи хрена, спелые зонтики укропа, зубчики чеснока.

Вновь слой грибов, на него те же ароматные приправы... загружаем ёмкость доверху. Не бойтесь придавливать, грузди после вымачивания становятся эластичными, не раскрошатся. Сверху два-три слоя листьев хрена, смородины и гнёт потяжелее. Если грибов маловато, можно подложить вымоченных из следующего сбора. Грузди солятся долго — сорок дней.

Первые дни идёт брожение — желательно деревянной шпателькой по краешкам давать выйти пузырькам газа. Когда процесс успокоится, грибы можно переложить в банки, поплотнее, чтобы не было воздушных пустот, иначе окислятся и почернеют. Все слои груздей перестелить теми же приправами, под укупорную крышку — побольше, чтобы грибы не высовывались.

Пишем на банке дату засолки, ставим в холодильник и набираемся терпения. Напоминаю: сорок дней!

А уж как откроете готовые...

Эдак вечером, к пылающему закату, к нежным ветеркам прохлады, когда стрижи всё ещё высоко пронзительно звенят, а уже и первые комарики попискивают... выйти в сад, расстелить льняную скатерть, поставить пузатенький отпотелый графинчик с осадистой рюмочкой-лафитником... и — заглавное, чтобы стояла миска с холодными, в сметане, под вилкой увёртливыми груздочками...

Друзья уверяют, что закусывать можно и моими рассказами о грибах.

### Какие грибы лучшие?

В наших лесах — белые. Всегда к ним с трепетом отношусь, а собрав, не спешу отправить на сковородку, жалко, — лучше высушить впрок. Как чудесны грибные супчики зимой! Размочив, сушёные белые можно и пожарить. Но супы-таки лучше: горсточка грибов, а аромат на весь дом, даже соседи по лестничной площадке завидуют. Рецептов супов из белых не счесть, потому что всегда импровизирую, даже в борщ их кладу.

А вот что заметил: лесные белки белым и другим грибам предпочитают маслята. Возможно, оттого, что эти грибы растут в сосняках, где часто и обитают белки. Основная их еда — семена сосновых шишек. Небось, видели под кронами сосен шишки, ободранные до кочерыжек. Это белочки потрудились, откушали маслянистых зёрнышек, но большей частью где-то припрятали. Должно, вкусные. А вы знаете, что сибирские и дальневосточные кедровые орешки — не совсем кедровые? У нас растёт кедровая сосна, а кедр — в субтропиках да в краях, где зим не бывает. Но это я отвлёкся. Об орехах как-нибудь в другой раз. Про маслята речь завёл. Не раз видел эти грибочки наколотыми на веточки, встречал и на пенёках разложенные. Это всё белочки. Высушивают про запас, почти как я, чтобы зимой насладиться. Что-то в закрома потом

снесут, а могут и на сучках оставить. Вскочит белка в морозный день из гнёздышка-дупла, снимет сушёный маслёнок, в лапках-ручках зажмёт и грызёт, жмурясь от удовольствия. Так что маслята—грибы не второсортные, белка толк знает.

Как-то собираю маслята в сосновом лесочке, ползаю на коленях по опавшей хвое, и вдруг по голове меня что-то тукнуло; глянул—крепенький такой маслёнок. Глаза поднимаю: белогрудая белка надо мною, смотрит обиженно—её добыча у меня в руках оказалась. Осторожно, чтобы не спугнуть, нанизал грибок на сухую ветку повыше. А потом шёл и лыбился, как дуралей, и маслята из лукошка по сучкам развешивал. Если хотите видеть белок в лесах, не жадничайте, делитесь с ними. Так можно и городских белочек подкармливать, когда грибы из лесу привезёте.

А ещё заметил: белки любят подберёзовики. Я их тоже люблю—поджаренными до румяности.

О солёных уже рассказав, сейчас—о жареных грибочках. Ну, держитесь!

### *Грибы жарим!*

Огорчаюсь, когда кто-то неправильно жарит грибы и получают они варёными, расплывающимися. Послушайте бывалого грибника.

Свежие грибы нельзя мыть и замачивать. Конечно, есть виды, которые из-за горечи и неприятного запаха советуют предварительно отваривать, но не о них речь. Благородные лесные грибы—белые, боровички, лисички, подосиновики, подберёзовики и шампиньоны (в том числе из магазина) промывать нельзя! Иначе наполнятся излишней влагой и поплывут на сковороде. От соринки грибы достаточно очистить острым ножом.

Потом режем на ломти одной толщины. Разными грибами разные, а так они и приготовятся одновременно, и, поверьте, реально станут вкуснее.

По поводу репчатого лука в грибах даже не спорьте. Тонкую грибную ароматность жареный лук не перебьёт—сделает изысканнее, оттенит свою сладковатостью. Первым делом на среднем

огне поджариваем колечки лука до красивой золотистости.

Потом сковороду с карамельным луком раскаляем на высоком огне и, секунды не медля, выкладываем грибы. Чуть прихватились—лопаточкой нежно-ласково переворачиваем на другой бочок, потом снова... ломтики должны со всех сторон зарумяниться соблазнительной корочкой, она сохранит грибные соки. Сами наши грибочки станут поджаристыми, уменьшатся размерами раза в три. Это уже момент готовности.

Солим только сейчас, раньше нельзя—вытечет сок. Снимаем сковороду с огня.

От сумасшедшего запаха голова кружится. А мы ещё посыпав грибочки свежим душистым укропом-м-м-м...

Всё! Пробуйте.

А я что говорил?!

Хотите в сметане? Легко! На горячую сковороду—в уже поджаренные грибы—положите две ложки жирной сметаны, доведите до кипения, грибы пропитаются нежной сливочной кислинкой. Но в сметане лучше не жарить, а запекать в духовке.

Ну а к вкуснейшим жареным грибам гарнира лучше молодой отварной картошки человечество пока ничего не придумало. Однокалиберную не крупную картошечку отварите, слейте воду, дайте минуту подсохнуть, чтобы беленьким забархатилась, потом на неё сметану—щедро так, а поверху опять-таки укропом рубленным и ещё веточками для украшения...

О головокружительных ароматах, превосходностях вкусовых ноток и оттенков наших грибов надо писать не кулинарные книги, а художественные рассказы, доверяя это только самым виртуозным мастерам слова. Попытался как смог. А что оранжевые лисички пахнут абрикосами—не успел рассказать... и как янтарные рыжики наивкуснейшими хрусткими-ядрёными засолить... На потом оставлю, даст Бог—встретимся ещё. Да, не вздумайте рыжики вымачивать!

Олеся Дидух

## Радоваться каждому мгновению

## Рассказать

Конечно, я могла бы рассказать  
О том, как звёзды падают в ладони;  
И как случайно встречи происходят —  
Те, о которых можно лишь мечтать;

И как легко преодолеть двоим  
Препяды лет, проблем и расстояний;  
Круговорот немыслимых желаний  
Вдруг приручить касанием одним;

Как невозможно противостоять  
Невероятной силе притяженья;  
Как в цепь смыкаются случайно звенья,  
Чтоб наконец единым целым стать;

Как не дышать, ныряя в глубину;  
И как при встрече сердце замирает,  
И розовый туман всё застилает...  
Но только счастье любит тишину.

Возможно, я могла бы рассказать  
И приоткрыть незапертые двери...  
Но только ты, конечно, не поверишь...  
Да и зачем тебе об этом знать?



И в снежном феврале  
Твоей весной я буду,  
Лишь улыбнусь тебе,  
Наполнив светом будни.

Снежинок кружева  
В предчувствии весеннем,  
И не нужны слова —  
Есть рук прикосновенье.

Вокруг всё ждёт тепла —  
Никак нельзя иначе,  
Хоть солнце в рукава  
Лучи поспешно прячет.

Вперёд душа летит —  
Так ждёт весны природа,  
Не спрятать взаперти  
Желание свободы.

## Марфа

*Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься  
о многом, а одно только нужно...*

Лк. 10:41–42

Почему же я опять, как Марфа,  
Просто не сижу у ног Твоих?  
Почему не думаю о главном,  
Всю работу на себя взвалив?

Видимо, забочусь я о многом,  
Хоть благи намеренья мои.  
Доверять мне больше надо Богу,  
Радостью свои наполнив дни.

В ежедневной суете мелькают  
И проходят месяцы порой,  
Но они совсем не прибавляют  
В сердце нашем веру и покой.

Как бывает трудно научиться  
Быть довольной тем, что есть сейчас,  
Собирая радости частицы —  
Те, что не отнимутся у нас!

## Первая неделя поста

Читают Великим постом  
Молитву Ефремия Сирина,  
Чтоб снова напомнить о том,  
Как светлой исполниться силою.

«Владыка всей жизни моей,  
В Тебе я ищу утешения.  
Ты сердце моё отопрей,  
Духовного дай насыщения!»

Молитву во время поста  
Опять повторяю я мысленно.  
Глубокая в ней простота  
Словами узорными выткана.

И, к Пасхе направив свой путь,  
Моля у всех близких прощения,  
Хочу благодать почерпнуть,  
Христа ощутить воскресение...

## Александр Поповский

# Моё забытое былое



Этот мир изменяет меня каждый миг,  
Хаотично смещая внутри точку сборки.  
Засыпаю в обнимку со стопками книг.  
На окне до конца не задёрнуты шторы.

Темнота мироточит сквозь узкую щель.  
Сверху вниз наполняется сон содержанием.  
Чай остыл. Я напрасно расправил постель —  
Зарекался уже что-то делать заранее:

Брать с запасом у Вечности время взаймы,  
Чтоб с размахом транжирить его, без оглядки  
Выходить за границы бескрайней зимы,  
Нарушая тем самым чужие порядки.

Беспокойство в потёмках души улеглось.  
Перст невольно застыл над строкою нетленной.  
Покрывается мелкой испариной гвоздь,  
На котором висит белый чепчик Вселенной.



Как проклятый распутывал слова,  
Чтоб в роли никудышного стратега  
При выходе попасть под жернова  
Ненастья — смеси из дождя и снега,

Спустя мгновенье угодить в сугроб,  
Скользя по тектоническому грунту.  
А ветер сёк мой неприкрытый лоб  
Десятком метров за одну секунду.

Не защитил хваленый рыбий мех.  
С трудом, как будто перезрелый овощ,  
Припоминаешь поимённо всех  
Святых, зовёшь истошно их на помощь.

В ответ презренья выпад — ни гугу.  
Себя ломаешь, чтоб склонить к движенью:  
Через колено, через не могу,  
Через плечо — спиной к чужому мненью.



Гробовая тишина — ночная птица  
Не кричит лужёной глоткой троекратно.  
Тётя Соня спит в ежовых рукавицах —  
И теперь без объяснений всё понятно.



Целый день ты на мушке у августа.  
Не дрожи, молодчиной держись.  
Не придумать изысканней ракурса —  
Этот вид генерирует жизнь.

Со своею земной околесицей  
Стал ненужным, по сути, везде.  
И скитаешься, месяц за месяцем, —  
Держишь путь к непутёвой звезде.

Как никто удивляет раскладами  
Високосный год. На вираже  
Изнуряет рельеф перепадами,  
Зная, что ты немолод уже.

По наклонной ступаешь старательно.  
Управляет походкой артрит.  
И твой ангел-хранитель внимательно  
За мученьями сверху следит.



Соседский мальчик пел фальцетом.  
Потом всю ночь собака выла.  
Жизнь не закончилась на этом,  
И в лёгких не иссякла сила.

Глотая звёздные частицы,  
Смотрел, как Бог плетёт интриги —  
Переворачивал страницы  
Дыханьем, не касаясь книги;

Как муха суетилась в шторах;  
Как, словно чудище лесное,  
Переминалось на задворках  
Моё забытое былое;

Как по двору метался фантик  
И норовил прибиться к дому.  
Мне не давал никто гарантий,  
Что будет как-то по-другому.

До утра не стоит ждать вестей от ветра —  
Не решится на порывы без отмашки.  
Он потом своё нагонит в километрах,  
Что захватит дух и поползут мурашки.





Голосят на разные лады,  
Пыль до потолка—повзводно птицы  
Покидают райские сады,  
Чтобы через время возвратиться.

И даст Бог—увидимся тогда.  
А пока в Эдеме, как и прежде,  
Узкие протоки холода  
Ищут в нафталиновой одежде,

Покрывают инеем замки.  
И нерукотворные зигзаги  
Не рисуют больше мотыльки.  
Жизнь осталась только на бумаге.



Зона комфорта—хранилище сил,  
Пункт размещения покоя.  
Мысленно лишнего наговорил—  
Было и раньше такое.

Зеркало нагло в лицо мне не врёт  
Перед воротами подъезда.  
Без понукания тронулся лёд—  
Сдвинулся с мёртвого места.

И точно в срок завершился процесс,  
Но в этот раз по-другому.  
Прежним остался лишь мой интерес  
К Пушкину—вечно живому.

ДиН симметрия

Сергей Есенин

## Мне приснилось рязанское небо...



Я усталым таким ещё не был.  
В эту серую морозь и слизь  
Мне приснилось рязанское небо  
И моя непутёвая жизнь.

Много женщин меня любило.  
Да и сам я любил не одну.  
Не от этого ль тёмная сила  
Приучила меня к вину.

Бесконечные пьяные ночи  
И в разгуле тоска не впервые!  
Не с того ли глаза мне точит,  
Словно синие листья червь?

Не больна мне ничья измена,  
И не радует лёгкость побед,  
Тех волос золотое сено  
Превращается в серый цвет,

Превращается в пепел и воды,  
Когда цедит осенняя муть.  
Мне не жаль вас, прошедшие годы,  
Ничего не хочу вернуть.

Я устал себя мучить бесцельно.  
И с улыбкою странной лица  
Полюбил я носить в лёгком теле  
Тихий свет и покой мертвеца.

И теперь даже стало не тяжело  
Ковылять из притона в притон,  
Как в смиренную рубашку,  
Мы природу берём в бетон.

И во мне, вот по тем же законам,  
Умиряется бешеный пыл.  
Но и всё ж отношусь я с поклоном  
К тем полям, что когда-то любил.

В те края, где я рос под клёном,  
Где резвился на жёлтой траве,—  
Шлю привет воробьям и воронам  
И рыдающей в ночь сове.

Я кричу им в весенние дали:  
«Птицы милые, в синюю дрожь  
Передайте, что я отскандалил,—  
Пусть хоть ветер теперь начинает  
Под микитки дубасить рожь».

1923

Марина Ерофеевская

## На страницах большой планеты

### Пиджак

Между юбочек клетчатых и рубашек цветных зажат,  
На пластмассовых плечиках—элегантный мужской пиджак.  
Новый, с биркой в кармане и—не подогнан ещё манжет,  
Он висит в ожидании: ну когда, ну когда уже?..  
Он готов лечь под ножницы, под иглу, под утюг, под пресс.  
Может, к праздникам сложится? Но хозяин совсем исчез.  
Рядом запонки синие, строгий галстук—его сосед.  
Это невыносимо, но... Но хозяина нет и нет.  
И ночами безлунными снится свадьба как наяву,  
Будто девушка юная гладит нежно по рукаву.  
Гости все в изумлении: как же выправка хороша!..  
Но висит объявление: «Продаётся мужской пиджак.  
Сорок восемь, неношенный. Продаётся за полцены».  
— Почему же так дешево? Может, будут ещё штаны?  
Покупателю нравится, пиджаку в рукава залез.  
А хозяин отправился под иглу, под утюг, под пресс.  
Он пропал под снарядами, стал не надобен гардероб.  
У него из нарядного—по размеру сколочен гроб.

### Эпоха

Кто на небе включает солнышко—вот бы знать,  
Ведь сегодня на Новодевичьем вновь весна.  
Я брожу вдоль стены святого монастыря,  
Здесь легко по памяти «Отче наш» повторять.  
Нахожу среди прочих—Тихонов Вячеслав.  
Сколько женских сердец разбито! Им нет числа.  
Броневой, Гриценко, Чернов и чуть дальше Плять.  
Я гляжу на гранит, на фото и прячу взгляд,  
Окунусь в ностальгию юности с головой—  
Табаков, Евстигнеев, Дуров и Лановой.  
И мгновенья весны проносятся надо мной,  
Я хочу назад! Я до боли хочу в кино!  
Где всё выдумка, ложь, фантазия, дубль второй,  
Где «герой» не посмертно—просто киногерой!  
Где стреляют из муляжей и рисуют кровь,  
Понарошку там ждут мужей и спасают кров,  
Где блистают «звёзды» огромной величины!  
Где по-настоящему нет на земле войны!

И гвоздики дрожат в руке, шелестит слюда.  
Не скучай, мой Штирлиц! Я снова приду сюда.  
Мне два раза уже «семнадцать», летят года.  
И уходит эпоха целая, но куда?

### Алёшка

*(Детская поэзия)*

Сквозь решётку-паутину  
Я гляжу в своё окно—  
Интересная картина,  
Как в каком-нибудь кино:

Куклы, зайчики и мишки  
У заборчика сидят,  
Паренёк несёт под мышкой  
«Настоящий» автомат.

Целит в мишку автоматом,  
Раздаётся: «Та-та-та»,—  
И летит клочками вата  
Из большого живота.

Он, гляжу, не понарошку,  
А всерьёз вооружён.  
Я кричу ему: «Алёшка!  
Убивать нехорошо!»

«Я совсем не виноватый!  
Это враг, а я герой!  
И хочу, как все солдаты,  
Быть за Родину горой!»

Я ведь тоже не трусишка,  
Хоть и слёзы на носу,  
Потерпи, мой милый мишка!  
Я сейчас тебя спасу!

Нитки я беру и вату,  
Буду шить и бинтовать.  
Если нету виноватых,  
Кто же в этом виноват?

Всё пройдёт, ещё немножко.  
Отчего-то грустно мне.  
Вот бы нам с тобой, Алёшка,  
Не встречаться на войне...

## Вокруг

Я жду, когда меня поведут на суд,  
А я пойду смиренно, как Божий раб,  
Где мне расскажут про помыслы, цель и суть,  
И я, наверное, этому буду рад.

«Где был ты в день, когда наступала хворь,  
Когда вокруг планета сошла с ума?»  
«Я был свидетелем!» — «Хватит нам врать! Не спорь!  
Ты был в умат, и в баре стоял туман.

Где был ты в ночь, когда наступал январь  
И нищий руку протягивал к очагу?  
Когда в подъезд просилась живая тварь  
И через час ледышкой легла в снег?

Где был ты в час, когда постучали в дверь,  
Набрать просили две цифры всего — ноль три?»  
«Я был в делах, о чём же жалеть теперь?»  
«Уже не время, больше здесь нет двери.

Где был ты в миг, когда умирал солдат?  
Быть может, враг, быть может, твой лучший друг».  
И я отвечаю: «Проследуем сразу в ад...»  
Но мне промолвят: «А ты оглянись вокруг...»

## Не учат в школе

Звонка гремящие децибелы усадят снова детей за парты.  
В образовании нет пробелов, есть соответствие со стандартом.  
Листы учебников пахнут краской, немного пылью, немного кровью.  
Они же дети и верят в сказку, во всю фантастику верят, кроме  
Намокших писем, сырых подвалов, ударов «Града» из ниоткуда,  
Они за это получают баллы для поступления в институты  
И каждой галочкою в квадрате перечеркнут имена и судьбы.  
Одной оценки всего лишь ради учебник ими прочитан будет —  
И о татарах, и о монголах, новейший и достоверный самый.  
Никто из них не услышит голос окаменевшей от боли мамы.  
Она кричит, и рыдает громко, и убивается на пороге,  
Смотря на свежую похоронку. «Мне дайте только его потрогать!  
Он встанет, знаю! Он жив, мой сына! Меня возьмите! Его не надо!»  
И бьётся, бьётся о холод цинка под похоронную канонаду.  
Он просто жизни не сдал экзамен, и аттестат затерялся где-то,  
Он не в учебниках вечно замер, а на страницах большой планеты...

Наступит май. И в весеннем свете на обелиске застынут лики.  
И вновь такие же чьи-то дети несут к подножию две гвоздики.

## Северное

Ты говоришь: как же мы далеко,  
Как у Христа за пазухой.  
Снег на Севере белый, как молоко,  
Мир и покой кругом испокон веков,  
Воздух так чист, пьётся одним глотком,  
Ни наводнений, ни засухи.  
Нет ни бомбоубежищ, ни катакомб.  
Здесь каждый шорох не чужд, а давно знаком.  
Дом хоть и стар, но со стенами, с потолком,  
Деревянный, а не пластмассовый.  
Почему я хочу свернуться тугим комком?  
Почему я не думаю ни о ком?  
Я желаю уйти — напролом, пешком.  
Мучают мысли разные.  
В этом мире, видно, закон таков:  
Если нет ни дороги, ни дураков,  
Если хата с краю и нет долгов,  
То никому не обязаны!  
Ты говоришь: как же мы далеко, —  
Только вот от чего — мне шепни тайком.  
Дай Бог сохранить нам полностью, целиком  
Ясность разума.

София Максимычева

## С головой ныряя в темноту

### Поднимаешь голову всё выше

Поднимаешь голову всё выше,  
голубей заглатывает даль.  
Облака тяжёлые колышет,  
провода—досадная деталь.

Изредка на них присядут птицы,  
оттенив небесную глазурь;  
наступает время удивиться  
щедрости ваятелю текстур!

Из бетона корни арматуры  
намертво врастают в слой земли.  
С тополиной ветки белокурый  
под ноги воздушный пух смели.

Надо ли бежать от жизни этой,  
с головой ныряя в темноту?..  
Лучезарным солнышком пригретой,  
можно я ещё побуду тут?

### На Покров

Человек снимает пальто,  
прислонившись к стене, молчит;  
этой женщине он—никто,  
тихий ангел в дыму молитв.

Чиркнет спичкой, зажжёт огонь  
в предрассветный тяжёлый час;  
невесома его ладонь,  
но, со всеми всегда мирясь,

разом выдохнет ей:

—Рожай,  
а иначе нельзя никак.  
Станет литься вода за край,  
хлопать дверью ночной сквозняк.

И светильник погасит тьму,  
унося сомнения прочь...  
На Покров, вопреки всему,  
ей дарована будет дочь.

### Тесто

Древесный прах в окантовке будней,  
охрипый плач, беспробудный ветер,  
но не становится жизнь безлюдней,  
хотя и смерть с жизнью жаждет встречи.

Осенний морок вступает в силу,  
остыли гнёзда без тёплых перьев,  
и, снег почуяв, она месила  
тугое тесто, открыв все двери.

Ждала как чуда (ни капли грусти),  
уже не помня рецепты счастья,  
но знала точно, что сразу впустит  
и будет тихой незримой частью.

Сильнее веры весна надежды,  
цветут под ситцем душа и тело,  
всходило тесто, и пальцев между  
солёной горечи пыль летела.

### Майский дым

Майский дым над сиреневой веткой,  
нежный трепет зелёной листвы.  
Тихий свет, по-вечернему редкий,  
заполняет земельные швы.

Словно женщина тёплой ладонью  
поправляет весны полотно,  
где цветочная завязь в бутоне  
ожиданием грезит давно.

Пусть пчелиная свита с рассветом  
слабый вырий гудками встряхнёт!  
Что нам сон, если путь наш неведом,  
но живём день и ночь напролёт.

И щемящая радость от тайны  
бесконечно нисходит с небес...  
Вот поэтому всё неслучайно:  
майский дым и сиреневый плеск.

### Я не одна

Я не одна: со мной вода, и снег,  
и небо, распростёртое над садом,  
и свет, что, начиная свой разбег,  
слегка горчит весенним самосадам.

Всё связано, и выстраданных тем  
не так уж много в ладном захолустье.  
Закончится ли жизнь небытием,  
а может быть, испытывая усталь,

я буду думать только о любви  
и говорить достаточно и смело...

Но лишь одно прошу:  
— Благослови,  
чтоб слово это страждущих согрело.

### Короткое лето

Короткое лето—как жизнь в объективе,  
где птица летит над макушками сосен.  
И слышима осень в ближайшем порыве  
холодного ветра, чей голос несносен.

Ах, как бы отсрочить смертельное время  
и выхватить кадры счастливой эпохи.  
Не ведать бурлящего жерла подземок,  
но вкус земляники и неба на вздохе.

Чарующий тембр переливчатой сойки,  
и лица любимых, оставленных в прошлом,  
и мамыны пышные сдобные слойки,  
и всё только то, что запоем хороем!

ДиН память

.....

Анна Баркова

## Во тьме наших странных сердец

Опубликовано в «ДиН» № 4/1997

.....



Где верность какой-то отчизне  
И прочность родимых жилищ?  
Вот каждый стоит перед жизнью—  
Могуч, беспощаден и нищ.

Вспоманем с недоброй улыбкой  
Блужданья наивных отцов.  
Была роковоо ошибкой  
Игра дорогих мертвецов.

С покорностью рабскоо дружно  
Мы вносим кровавый пай  
Затем, чтоб построить ненужный  
Железобетонный рай.

Живёт за окованной дверью  
Во тьме наших странных сердец  
Служитель безбожных мистерий,  
Великий страдалец и лжец.

### Благополучие раба

И вот благополучие раба:  
Каморочка для пасквильных писаний.  
Три человека в ней. Свистит труба  
Метельным астматическим дыханьем.  
Чего ждёт раб? Пропало всё давно,  
И мысль его ложится проституткой  
В казённую постель. Всё, всё равно.  
Но иногда становится так жутко...

И любит человек с двойной душой,  
И ждём в свою каморку человека,  
В рабочую каморку. Стол большой,  
Дверь на крючке, замок-полукалека...

И каждый шаг постыдный так тяжёл,  
И гнусность в сердце углубляет корни.  
Пережила я много всяких зол,  
Но это зло всех злее и позорней.

Наталья Черных

## Полевая микрохирургия Семёна Пегова

Когда автор владеет несколькими жанрами и, более того, активно с ними работает, очень сложно говорить о произведениях, написанных в одном из жанров, отдельно. Но поэта видно сразу, с первого стихотворения. Публикации и издания (которых пока не так много) тому подтверждение.

Эссеистика Семёна Пегова влияет на его стихи, и наоборот, а жанр репортажа влияет и на стихи, и на эссеистику. Это как несколько сообщающихся сосудов. Причём устройство с этими сосудами находится в постоянном движении. Ни секунды на месте, а иначе — несдобровать.

Однако Семён Пегов, который открывается в стихотворениях, не похож на Семёна Пегова репортажей и только отчасти напоминает Семёна Пегова — автора ярких и жгучих эссе.

Стихи его, несмотря на почти критическую плотность и снятые для облегчения движения стихотворных тропов знаки препинания, почти медитативные. Это скорее военные элегии, чем боевые песни. «Густой амбир ясиноватства», «православный мох», например. Или «мухи-старухи прядут фронтную пряжу». Название «Боевые листки» очень точно подходит к этим стихам. В поэзии автор выбирает позицию свидетеля, даже философствующего свидетеля, причём одного из многих. Это напряжение между включённостью в то, что описывает, и наблюдением и создаёт, на мой глаз, нерв Семёна Пегова — поэта. Он не наблюдатель, а часовой. Он не лидер, но заметное действующее лицо. Он, как свидетель, записывает и оформляет увиденное.

Можно было бы поиграть с контекстом: какой именно поэт повлиял на творчество Семёна Пегова, кого из поэтов он сам больше других любит, или же таковых очень много. Но всё это необязательные моменты, который хороши при академическом исследовании, но в контексте настоящего эссе будут только мешать. В случае этих, бесспорно, уникальных стихотворений мне важнее впечатления читателя. А они неожиданные.

Стихи Семёна Пегова я знаю не так давно. Подбор в «45-й параллели» дал только общие черты, но в нём немного стихотворений, хотя они и хороши. И только когда я подписалась на канал Семёна

Пегова в «Дзене», я смогла прочитать то, что мне не дал подбор «45-й параллели».

Прежде всего, меня поразила сложность этих стихов. Так мог писать только автор, отлично знающий новейшую поэзию, с её тягой к концептуализму, и — шире — к московской его школе, и далее — к любимым мною лианозовцам. Но лично у меня возникла совсем другая ассоциация, которую можно подтвердить построчно, но это снова малоинтересное занятие. Важнее акустика — момент узнавания и радости, который есть при чтении стихов Семёна Пегова искусственным в современной поэзии читателем.

Это стихи раннего Станислава Красовицкого, одного из архитекторов нового московского поэтического пространства. Это тот ядерный гриб поэзии, который Бог мудро, руками автора, направил вперёд во время, чтобы его энергия шла как можно мощнее и дольше. Не собираюсь утверждать, что стихи Семёна Пегова лучше ранних стихотворений Станислава Красовицкого, но сходство, как мне видится, в основном: в сложнейшей работе, в микрохирургии стиха. Тревожные пейзажи послевоенной Москвы, созданные Красовицким, находят продолжение в военных пейзажах Семёна Пегова.

Вот Красовицкий из онтологической «Голубой лагуны»:



Взгляд назад в интроспекции уже  
там где небо собой становясь  
словно цепь телеграфную в лужи  
окунает сардинную связь,  
то что утро есть сон невидимка,  
то что вечер уже наступал  
и последняя грампластика  
раскрошилась в груди одеял.

Караульные виденный след  
занесли в Е-тостопный журнал  
и устало промолвил сосед  
что сегодня его не видал.  
то что утро в окошке не светит  
то что слепы и старый и мал  
и в каком-то далёком извете  
остаётся начало начал.

пей из блюдца последняя кошка  
над последнюю гранью в низерть  
словно чудная дивная ножка  
над тобою покружится смерть.

Вот Пегов из «Боевых листков»:

4.

птички жужжат дефицит БК дребезжит капель  
по окопам гуляют ветер и вражеская шрапнель  
мы стоим в обороне пока кто-то беду куёт—  
с нами «мосинки» «калаши» даня матрос койот  
на соседней позиции немцы наводят «польку»  
сквернословием полощу свою ротовую полость  
ведь сколько между людьми запятых ни ставь  
всё равно мы не будем упорно блюсти устав  
мрачен не сам бой—для кого-то его исход  
засыпают бесы масоны иуда искариот  
остаётся полтава тернополь волянь карпаты  
остаётся лишь тот кто не ждёт от небес зарплат  
остаётся лишь тот кто на них из окопа пялится  
этой весны постоянные постояльцы

Красовицкий показал умирание на грани куража—мир, чей лик станет абсурдным, если снять маску условности. Война на грани фарса—одна из тем военной лирики Семёна Пегова. В «Густом ампи́ре ясиноватства» есть даже нечто ви́йоновское. Стихи эти таковы, что простые картонные фразы, которыми удобно прикрывать боль и потери, просто размокают от нездешнего снега и дождя, который идёт в этих стихотворениях. В этих стихах есть и фарс, и кураж, и юмор висельника (или солдата). Но, как и у раннего Красовицкого, нет сильной инерции. Насыщенность тропов, которые сменяют один другой, как капли дождя, очень высокая, и это порождает уникальную динамику

этих стихотворений. Да ещё при снятых знаках препинания, которые пропали не то в спешке при записи, не то просто стёрлись.

Инкриминировать автору то, что он знает приёмы московского концептуализма, набравшие популярность в нулевые и никого не удивляющие в десятые, было бы странно. Это в буквальном смысле подземные стихи, из подземки—из андеграунда, как и у Красовицкого. Из суровой тайной глубины бытия, где течёт мёртвая и живая вода, да простится мне такая метафора. Холодная иногда льёт с неба. Иногда её приносят в бутылках. А вот горячую нужно ждать. Неделями. И потому, глядя на текучий гибельной текучестью «Густой ампи́р ясиноватства»,—«обезвоженный стоишь».

Хтони́ка «мух-старух», прядущих «фронтową пряжу», скорее завораживает, чем пугает, как всё несущее смерть. Одно видение сменяет другое, их тысячи, они роятся, как насекомые, уплотняются, застывают, как на булавах, поэтическими тропами, но за ними идёт плотный шлейф крови и земли, сырой и почти приятный военный запах, пока ноздри не забудет извести.

Новый Одиссей передвигается по стране теней, которая вскоре должна увидеть свет. Но до света ещё далеко.

Христианство в стихотворениях Семёна Пегова прежде всего—Пасха Крестная, время бичевания, поругания и распятия. И потому Господь у поэта «простой и нищий». Но Он «переключает регистр». И только Он. К приговорённому к смерти приходил священник, ради последнего и откровенного разговора с Богом. У воина перед каждым боем тайно, и многие это осознают, совершается подобный разговор. Поэзия Семёна Пегова—и о таком, последнем и откровенном, разговоре.

Ксения Савина

## Возможно ли?

О некоторых проблемах современной поэзии

Доклад на III Всероссийской научно-практической  
Конференции ЧГИК по литературно-творческой педагогике.

Возможно ли обучение литературному мастерству? Сразу снимем интригу—возможно. И вопрос не в том, да или нет, а в том, чему и какими способами.

Не секрет, что ребёнок обучается не только и не столько учителями, сколько окружающей обстановкой. Примерами из жизни скорее, чем теориями. Требуется немало времени жизни, чтобы то, чему его учили и то, что он видел и делал, сошлись в одном знании о мире и о себе. Как мы знаем, далеко не всегда они сходятся.

Так же и в литературном мастерстве: пока мы учим точности рифмы и метра, улица—свободная общественная культура—учит своему. На поверхности проблема тут в пресловутой массовой культуре, которая диктует примитивные сетевые параметры успеха, однако в самой массовости нет ничего криминального—инструментарием пользоваться можно и нужно любым. Гораздо большая опасность, подлинный «дьявол», кроется в профессиональной среде.

Единое профессиональное писательское сообщество никогда не существовало, потому что писатели по натуре одиночки и вечно «тянут одеяло на себя». Потребовались административная рука государства и много лет переламывания через колено, чтобы единый организм «современной литературы» в итоге погиб сразу после своего расцвета. Что ж, опыт показывает, что так мы больше не хотим. Но и оформляться как сообщество деятелей искусства, стремящихся к интеграции в большое рыночное или нерыночное, но новое общество, не собираемся. Получается некая промежуточная ситуация, в которой есть авторы, составляющие остатки некогда действительно серьёзного профессионального сообщества, периодически получающие поддержку государства, и авторы, молодые и немолодые, реализующиеся средствами современных коммуникаций—на просторах интернета. Поскольку вторым редко удаётся выйти на окупаемость, они тяготеют к вниманию первых, у которых какие-то возможности ещё остаются.

А что же с обучением литературному мастерству? В такой ситуации единицы из наставников

стремятся восполнить пробелы общего образования и привить любовь к традиции. Ведь нет никакого единого профессионального сообщества, перед образцами которого держать ответ в случае, если учишь чему-то не тому. Всё дисперсно и самоудруно, в каждом королевстве свой король и чудо, если он проповедник вечного и прекрасного. Спасибо этим подвижникам. Другим же, успешно оказавшимся учителями, можно транслировать своё видение искусства, часто ничем, кроме положения, не обоснованное. В такой анархии в дело вступает гораздо большая сила—пример. Молодой автор учится, находясь в среде, не как писать хорошие стихи, а как писать так, чтобы нравилось тем, от кого что-то зависит. И, вероятно, эта проблема современной поэзии несовременна—позитивная жажда успеха в мастерстве легко подменяется реальным «успехом».

Сколько раз мы видели, как молодой автор выбирает в качестве фарватера в творчестве одобрение некоторого субъекта или группы, как начинает тиражировать манеру, однажды снискавшую похвалу. Чтобы попасть в круг неких эстетических предпочтений и тем обеспечить себе рост там, где правят бал их представители.

Здесь опасность для развития таланта даже больше, чем в аналогичной ситуации в пространстве интернет-коммуникации. Там можно поддаться желанию понравиться многим, и писать проще, и писать на темы, которые у всех на слуху, и быть доходчивым и злободневным, можно начать пробовать разные украшения, музыку, речитатив и так далее. Но огромное «но» состоит в том, что тот, у кого есть вкус и умения, может воспользоваться средствами популяризации в интернете и в массовой среде, не потеряв качества. А тот, кто воспользуется описанными средствами достижения успеха, в профессиональной среде не сможет это качество не утратить. Качество оригинального, самостоятельного голоса, ориентирующего не на современников, а на их образцы, а то и на образцы их учителей. Автор отказывается от развития, если ищет не литературу, а признание признанных литераторов.



А если автор выходит на «окупаемость» в современных СМИ без литературных бонз?

Проблема «искуса медными трубами» здесь, в современной поэзии в сети, тоже сильна. Существующая в пространстве массовой культуры, имеющая дело с максимально неподготовленным, неискушённым читателем, поэзия усваивает законы пространства и попадания «в чарты». Популярность в такой среде обретается быстро, и очень часто не за счёт высокой техники, а за счёт умения пользоваться инфоповодами и клише, потому что, действительно, чем больше «для всех», тем проще и привычней. В результате наблюдается возникновение штампов нового поколения — цинизм лирического героя, каскадные рифмы (не обязательно точные), бессмысленная и избыточная аллитерация, многословность, нарративность, бедность метафор и эпитетов, неоправданный мужской род у автора-женщины и т. д.

Всё усугубляется причудливым премиальным процессом, в котором такие формы узакониваются, чтобы стать мейнстримом и вновь победить на следующий год, плодя и плодя предприимчивых последователей. Остро не хватает эстетической и стилистической ориентированности премий, осмысленности процесса, зачастую, как волна, выносящего на поверхность, что полегче.

Несмотря на то, что настоящей литературе сетевая массовость не противопоказана, принципы существования любой информации в «цифре» и в «аналоге» сильно отличаются. Серьёзный поэт, автор, в прежние времена мыслил не отдельными

стихами, а книгами или хотя бы циклами. Материал в таком формате достаточное время «отлживается», «настаивается» и редактируется. Автор успевает пройти некоторый путь и вырасти сам над собой. Интернет же создал совершенно новую проблему — стремительную инфляцию того, что, по идее, делается на века. Тексты должны выходить в свет постоянно, желательно через день. Время их существования — пара дней, затем их неумолимо уносит стремительный информационный поток. Так практически любой становится обречён на графоманию, что вовсе не обеспечивает переход количества в качество.

В конце концов, мы вместе ищем новое слово, слово своей эпохи, и не можем с уверенностью утверждать, что знаем, кто его нашёл. Поэтому в сложившихся условиях более продуктивным было бы не умножение мастерских для молодых писателей, а умножение работы писательских конференций, где вырабатывалось бы поле эстетических воззрений нашего литературного века.

У всех мастеров предыдущих литературных веков были общие эстетические представления, а мы, накопившие столько богатств, таковых сейчас не имеем.

Пока всё отравлено манией успеха — и в массовой культуре, и в профессиональной среде, и этот самый успех, эти медные трубы, является высшим мерилом и там, и там.

И вот уже успешное становится хорошим, а не хорошее — успешным. Чему же обучаются молодые авторы? Какому мастерству?

ДиН память

Владимир Сорочкин

## Лети, стрела

Опубликовано в «ДиН» № 6/1998



И пройдена будет последняя вежа  
На долгой земле, что исчезнет вдали,  
И станет скудельная плоть человека  
Бездушной, безликой крупницей земли.

В траву упадут перезревшие вишни.  
Слепой мотылёк пролетит сквозь стекло,  
И камень замрёт, чтобы время неслышно  
Слезою по чёрному телу текло.



Лети, стрела, пронзая зной,  
Сквозь ветер, что тебе подобен, —  
Не щит, а только взгляд чужой  
Остановить тебя способен.  
Твои теперь простор и пыль,  
Пусть твоя душа узнает,  
Как из пустых глазниц ковыль  
В степи весною прорастает.

Владимир Малягин

## «Объяли меня воды до души моей...»

Тот, кто читает Библию, рано или поздно доходит и до этой странной и даже загадочной её книги. Несоответствие её малого объёма и громадного внутреннего значения очевидно. Вспоминаю, как однажды в давние годы случилась эта встреча у меня. Но сначала надо вспомнить обстоятельства жизни и атмосферы той ушедшей эпохи...

...В 1979 году Издательство Московской Патриархии выпустило очередной (третий или четвёртый с 1956 года) тираж Книги Книг, Библии. Продавалась она из-под полы в храмах, поступила в некоторые центральные библиотеки, но, естественно, на открытых прилавках даже в храмах её не было и не могло быть. Да в те годы в храмах и вообще не было никаких книжных прилавков, поскольку в обиходе просто не существовало православных книг. Молитвы или акафисты в то время целиком переписывались нами от руки, перепечатывались на машинке. (Вспоминаю, например, что много лет читал по собственной машинописи чудесный акафист «Слава Богу за всё» владыки Трифона (Туркестанова), который зарубежниками долгое время приписывался обновленцу Григорию Петрову.) Счастливы были те из неофитов (а в те годы почти все мы были неофитами), кому по наследству от предков, бабушек и дедушек, достались хоть какие-то церковные книги или иконы.

Сегодняшним людям, выбирающим одно приглянувшееся издание из десятка идентичных, представить такое просто невозможно. Правда, примерно в эти же годы был выпущен чуть ли не репринтом знаменитый и вожделенный каждым верующим патриархийный «чёрный молитвослов» с утренним и вечерним правилами, с правилом и молитвами ко святому причащению, с несколькими главными акафистами. Но и молитвослова этого, впрочем, тоже не было в открытом доступе. Он, сам будучи репринтом, размножался подпольно в виде ксерокопий. Потому-то и ценилось любое церковное издание на вес золота, если не дороже.

Мы учились тогда на втором или третьем курсе Литературного института, который, как известно, и сейчас располагается на Тверском бульваре, в Доме Герцена. Храм, который мы довольно часто посещали с приятелем и однокурсником,

находился неподалёку и был храмом председателя Издательского отдела митрополита Питирима (Нечаева) — Воскресение Словущее на Успенском Вражке (улица Неждановой). Думаю, наши лица там достаточно примелькались, и нас считали не чужими (да мы и сами себя чужими в этих церковных стенах давно не считали!), поэтому, когда вновь напечатанная Библия поступила в храм и легла в секретный шкафчик «для своих», работница свечного ящика, тоже по строжайшему секрету, сообщила нам об этом историческом (безо всякой иронии!) факте. Боюсь сейчас точно называть цену; во всяком случае, она была никак не меньше ста двадцати советских полнокровных рублей (три стипендии студента или одна зарплата среднего служащего).

И вот мы становимся обладателями бесценного сокровища! И вот книга эта лежит на твоём скромном студенческом письменном столе в твоей скромной студенческой комнате на двоих. И сразу стол твой и комната твоя общежитская приобретают какое-то новое, какое-то необычное и серьёзное значение и даже высокое звучание...

К вере, настоящей вере, наше поколение приходило чуть позже, в начале восьмидесятых, церковными людьми мы тоже становились не в один день — хотя гораздо решительнее и быстрее, чем поколения, приходившие в Церковь за нами. Впоследствии я не раз слышал, что многие духовники этих новых поколений долгие годы благословляли своих прихожан читать только Новый Завет, а то и просто Четвероевангелие, не разрешая касаться Ветхого Завета, как, впрочем, и Апокалипсиса. Наверное, у них были на то причины. Но у нас в конце семидесятых ещё не было духовников. Зато была главная книга всех времён и народов, Библия. Она тогда и была нашим духовником. И было достаточно желания и свободного времени, чтобы её читать.

И мы читали её так, как привыкли читать любую уважаемую книгу, — с начала. А начало её известно сегодня всем грамотным людям:

*В начале сотворил Бог небо и землю.*

*Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.*

*И сказал Бог: да будет свет. И стал свет...*

Вот этим самым светлым светом мы и стали потихоньку просвещаться. Узнавали из Книги Бытия про начало мира и грехопадение ангелов и людей, про Потоп и Вавилонскую башню, вчитывались на страницах Исхода в Заповеди, данные Моисею Богом на Синае, восхищались премудростью Соломона и совершенной поэзией царя Давида. Собственно, именно в этой книге мы черпали настоящую, глубинную человеческую культуру, духовную основу нашего существования. Всё в этой книге было высоко и духовно, страшно и чудовищно, прекрасно и гармонично, всё было пронизано глубочайшей связью Создателя и создания, повелевающего Бога и послушного Ему человека.

Как вдруг, где-то в середине громадного тома...

*И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедай в нём, ибо злодеяния его дошли до Меня.*

*И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришёл в Иопнию, и нашёл корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошёл в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа.*

Стоп! Что это? Что это такое?..

Авторы Библии не ошиблись?.. Это книга пророка Ионы?.. Так как же пророк может противиться воле Божьей и «бежать в Фарсис от лица Господня»?! Разве могло быть подобное?..

И эти немногие строки уже были тогда для меня реальным потрясением. А дальше—больше!

Бушует шторм, а Иона спит в трюме! А когда жребий корабельщиков падает на него, и его будят, чтобы узнать, кто он такой и за что его настигает такая кара, Иона не просто спокоен, а даже как-то равнодушен и хладнокровен:

*Он сказал им: возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря.*

И только когда морское чудовище проглотило пророка, он наконец воззвал из его чрева, из этой неподъёмной и невыносимой тесноты, к Богу. Воззвал такой прожигающей небеса молитвой, что Господь услышал и тут же освободил Иону из плена, выбросив его на сушу.

*И было слово Господне к Ионе вторично: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедай в ней, что Я повелел тебе.*

*И встал Иона и пошёл в Ниневию, по слову Господню; Ниневия же была город великий у Бога, на три дня ходьбы.*

Так всё-таки он туда пошёл? А почему же тогда не пошёл сразу, по первому повелению? Что мешало исполнить поручение Бога тогда? Опять новая загадка...

Но вот Иона сорок дней ходит по великому городу Ниневии с проповедью покаяния и трогает своими словами не только простой народ, но даже самого царя, который снимает корону и посылает главу пеплом, который запрещает даже скоту есть и пить на время покаянных дней! И что же дальше?

*Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка; ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи.*

*Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы.*

Библия была, есть и будет всегда основой духовного, культурного, нравственного бытия человека и человечества. Это единственная книга, которой достаточно, чтобы поставить мировоззрение человека на верный и прочный идеологический фундамент. Мало того, это единственная книга, которая даёт пример правильного осмысления и написания Истории. Ведь человеческая история полноценна и верна только тогда, когда является Священной Историей. Как только мы начинаем делать вид, что Бога в нашей истории не существует, что Он, главный Драматург и Режиссёр, в ней никак не участвует, мы скатываемся к мелким и пошленьким социально-экономическим моделям и поверхностным обоснованиям великих исторических процессов и событий.

Каждая страница Священного Писания бесценна. Но даже среди этих бесценных страниц есть страницы, которые имеют двойную, а то и тройную цену. Такие, как две страницы истории пророка Ионы...

Геннадий Волобуев

## У парадного подъезда

*Честный Брут**Сказал, что Цезарь был властолюбив.**Коль это правда, это тяжкий грех,**За это Цезарь тяжко поплатился.*

В. Шекспир. Юлий Цезарь.

Акт III, сцена 2

*Нет, народ никогда не обманывался в своей симпатии и антипатии к живой власти: его любовь или его нелюбовь к ней — вышедший суд! Глас Божий — глас народа!*

Белинский, т. 3, стр. 577, изд. 1947 г.

## Собачий хвост

— Так, «друзья», запомните раз и навсегда: я не позволю, чтобы хвост собаки управлял её головой. Делайте то, что я вам говорю! Петров, вы не успеете дойти до своего кабинета, как ваша табличка с двери окажется у меня в приёмной. Всем всё понятно? На этом заканчиваем!

Заключительные слова главы района Георгия Георгиевича Зарубнина были приняты руководителями служб в такой пронзительной тишине, будто все оказались в куске смолы, из которой получается янтарь. Вы наверняка видели неких существ, попавших в такое состояние. Разница была в том, что здесь сидели живые люди, на минуту окаменевшие от удивления и внезапного страха. Зал был предназначен для оперативных совещаний руководителей муниципальных предприятий, учреждений и служб администрации Приреченского района. Солидные, с возрастом, руководители и молодые, недавно назначенные на разные должности сотрудники понуро спешили покинуть холодный, неприветливый зал заседаний районной администрации. Многие из них пережили разные времена и видели уже не одного главу района, их «верных» заместителей и помощников. Я бы не стал о них говорить подробно. Промелькнули они в калейдоскопе местной истории и растворились — кто на новом поприще, кто в быту своей семьи, а кто и в мире ином. Но вот ведь какая штука — не всё проходит бесследно. Кто-то из них прочно засел в памяти славных служителей власти, равно как и в народе, и оставил в их душах свой след. Одни — светлый, лёгкий по жизни, с даром понимания и поддержки, другие — мрачный

начальственный, без тени юмора, натуженный в общении. А кто-то исчез из памяти, даже имя его не могут вспомнить бывшие сослуживцы. Был чиновник — и нет его, будто и вовсе не было. Пусть извинит меня читатель, но должен признаться, что в народе устойчиво ходила, да наверняка живуча и поныне, одна крылатая фраза: «Ты — начальник, я — ...». Нет, я воздержусь от такой прямолинейной и резкой фразы, думаю, что вы и так всё поняли. Можно, конечно, вспомнить не менее подходящее изречение, вернее, указ Петра Первого, который вы много раз читали, о том, что подчинённый перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый. ...

Как ни пытайся отшутиться, обойти столь живучие слова в недосказанной фразе, как и в указе императора российского, какими-нибудь елейными, более культурными словами, а значит, покривить душой, в народе-то они вот такими и ходят. И правда в них есть. Знали мы времена, которые сейчас вспоминают как партийные или советские. Правду о них сегодня трудно найти, так же как и тогда. Только разница есть в этом понимании. Не любили правду до девяносто первого года, потому что она часто расходилась с действительностью. А ныне не любят потому, что кому-то выгодно ругать всё прошлое, без оглядки на хорошее, что было. В то же время новые вершители судеб делают собственные бесчисленные ошибки и прячут их за строчками лукавой прессы или на экранах телевизоров. «Вот такая закавыка», — как сказал однажды новоявленный вождь демократов. А может, псевдодемократов, нет пока общего мнения о нём.

Приходил на ежемесячные совещания к главе района народ не последний. Ему доставалась настоящая работа, и результаты были на виду. Учить, лечить, строить, содержать дороги и кладбища, охранять общественный порядок, содержать пассажирский транспорт в исправном состоянии могли практичные и содержательные люди. Среди них не редкостью были мудрые, опытные руководители, которые насквозь видели и чувствовали фальшь и лукавство в действиях тех, кто стоял повыше, и в первую очередь — главы района. Зорко следили за его действиями. Особенно ревностно ловили крылатые фразы, подобные «собачьему

хвосту». Главное — не показать начальнику, что ты умнее его. Иначе — смерть. Слышали о законе Мёрфи? Нет? Но наверняка знаете о законе бутерброда. Необъяснимым способом и вопреки ожиданиям владельца он почти всегда падает вкусной стороной на пол. Неосторожный начальник когда-то «уронит» свой «бутерброд», и тогда... Умные выжидали, когда он «торжественно» и вроде как «добровольно» передаст своё кресло преемнику. Автору надо извиниться перед читателем, прежде чем перейти к заключительному абзацу главы. Причина в том, что в ней, казалось, вопреки здравому смыслу, окажется сюжет фантастический. Но мы же знаем, что фантастика помогает нам видеть будущее и ярче осознать суть настоящего.

Итак, заглянем на минутку в кабинет или приёмную уже опального руководителя. Посетители приёмной в ожидании начальника коммунального управления сидели тихо. Каждый думал о чём-то своём. Секретарша что-то печатала на компьютере, изредка переключив бумагу из одной стопки в другую и наоборот. Перед ней стояла красивая чашечка с кофе, аромат которого заметно щекотал ноздри исполнителей, ожидавших в приёмной своего начальника. «Королева» приёмной маленькими глоточками, чуть вытянув вперёд напояженные губки, изредка отпивала очередную порцию кофе. Её перламутровые удлинённые ноготки бисером отражались в глазах притомившихся посетителей. — Леночка, когда же придёт начальник? Мне срочно надо подписать заявку на трубы, у меня бригада устраняет аварию, — спросил нетерпеливо известный своим авторитетом и решимостью начальник участка.

— Не волнуйтесь, Антон Васильевич, Степан Андреевич скоро придёт, новый глава планёрки проводит быстро! — уверенно ответила секретарь Елена, продолжая стучать по клавиатуре компьютера.

Вдруг послышался едва уловимый звук, похожий на завинчивание шурупа в металлическую пластину: «Ж-ж-жи-и-и! Ж-ж-жи-и-и!» И так — четыре раза. Все приподняли головы в сторону двери начальника и в ужасе заметили, что действительно звук издавали стальные с медным напылением шурупы, сами выворачиваясь из бронзовой таблички с именем и фамилией начальника управления. Люди оцепенели. Быстро свинтившись и упав на пол, четыре шурупа построились в форме каре, положили на свои шляпки табличку и побежали к двери, неестественным образом толкнули её вовне и выбежали в коридор.

В это время дежурная главного административного здания района поднесла кружечку чая к губам. С её верхней грани свисал на ниточке от пакетика бумажный квадратик с надписью «Lipton». Дверь в вестибюль чуть приоткрылась, и что-то блеснуло на полу. Она увидела бронзовую

табличку на шляпках шурупов, чем-то напоминавшую плоскую рыбу камбалу, плывущую к лестнице на второй этаж. Кружка выпала из её рук, и чай растёкся по открытому листу журнала дежурного. В это время по лестнице спускался красный от гнева и взъерошенный начальник коммунального управления Степан Андреевич Петров. Он увидел табличку с его собственной фамилией и рухнул на ступени.

Читатель, ты поверил в подобную чушь? Наверняка чуть-чуть засомневался. Но не совсем. И причина тому была. Помните газету «Правда»? Ей тоже верили и не верили, так и привыкли, по инерции. Потому не беда, если и ты вдруг поверил. И сразу хочу успокоить всех, кто подумал, что я начинаю подражать произведению Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Вы убедитесь, что каждый автор видит нашу жизнь по-своему.

Ах, какая цаца!

— Ах, какая цаца! — вскричал глава районной администрации, когда возбуждённые чиновники его аппарата бесшумно короткой согбенной шеренгой втекли в кабинет и сообщили о случившемся. — Кто мне его рекомендовал? У нас что, не было достойных кандидатур? Наши люди в любой ситуации должны «держатъ лицо», играть как надо свою роль.

Вам покажутся эти и другие резкие слова грубостью главы. Заметим: это не совсем так. В общении с народом он проявлял внутреннюю сдержанность. Как видим, это качество не было постоянством его натуры, случались срывы, особенно внезапные и резкие, если перед его глазами оказывались незащищённые простые люди из числа подчинённых, чем-то поколебавшие амбиции. Негромкая, в целом логичная речь главного начальника района перед большим собранием привлекала внимание слушателей и воспринималась в пользу оратора. Не будем спешить с его портретом. Постепенно мы обрисует характер и манеры поведения главного начальника района с разных позиций в условиях его бурной деятельности.

В районный центр, город Приреченск, Георгий Георгиевич Зарубнин прибыл по рекомендации областной администрации, в связи с сокращением его должности в правительстве по воле очередного губернатора. Какой только большой руководитель не начинал осваивать высокую ступень в своей карьере с сокращения штатов? Последний генсек, потом президенты Российского государства, а вслед за ними и первые руководители регионов после выборов или назначения на высокую должность тотчас издавали указы о сокращении руководящих кадров как минимум на двадцать процентов. Чем не «конфетка» в красивой обёртке оставшимся и обиженным в заработной плате людям для внушения им приятной мысли, что

скоро за счёт экономии они получат свою дополнительную долю? Но народ к этому относился спокойно, так как точно знал, что через полгода или год штаты не только восстановят, но и прибавят к тому, вместе с новыми надуманными функциями, и физических лиц. Здания и кабинеты, в которых раньше на разных этажах уживались руководители единственной в стране партии, Советов депутатов трудящихся и комсомола, быстро стали заполнять представителями законодательной или представительной власти под руководством другой, но тоже правящей партии. Конечно, одного здания не хватало. Благо, что от развалившихся предприятий остались корпуса управлений и вспомогательных служб, которые тут же заселялись более умными и проворными кадрами. Новый глава района не нарушил традицию и начал свой трудный путь во власти с сокращения возросших в непомерном количестве кадров. Но об этом чуть позже. Лучше взглянем на него чисто внешне, для знакомства, чтобы не спутать с подчинёнными кадрами, копирующими угодливо внешность и привычки своих начальников, как это мы видим с экранов телевизоров,

Георгий Георгиевич был роста выше среднего, статный, спортивного телосложения, с прямыми, как ходули, ногами и сдержанными руками. Его руки не крутились виртуозно перед глазами, а ждали особого сигнала хозяина, чтобы подчеркнуть важность мысли. Это редкое явление для выступающих перед множеством слушателей. Причёска была простая — «канадка». Давно уже не модная, какую носили в разное время люди, занятые в трудовых коллективах, не испорченные чиновным окружением или творческими изысками; спортсмены, студенты. Тёмно-русые волосы, подстриженные под короткую мальчишескую чёлку, падали на лоб, который он не имел привычки морщить даже при затруднении в мыслях. Они напоминали разрозненные ручейки, падающие с небольшого холма. Пиджачок тоже особо не привлекал внимания, если только не оценивать его изношенность и чуть заниженный размер. Короче, сорокалетний глава больше походил на простого энергичного человека, скорее мастера цеха, и вызывал внутреннюю улыбку только у прожжённых холёных чиновников засидевшегося аппарата муниципальной власти.

Мы ещё успеем поговорить о его достоинствах, и меняющемся внешнем виде, а пока послушаем верного помощника — Руслана Сергеевича. Почему мы подумали, что «верного»? Просто потому, что шеф привёз его с собой, не скрывал этого и сразу у всех на виду начал заботиться о его активном участии в делах администрации и районного совета депутатов. Заметим, что главное действие власти вершилось не на улицах и в больших аудиториях, а в кабинетной тиши, в общении с близкими

подчинёнными. Здесь первый административный герой показывал своё настоящее лицо.

Когда из кабинета главы района вышел последний приглашённый сотрудник администрации, его хозяин выключил половину неоновых ламп, снял пиджак и пригласил сесть своего помощника за маленький приставной столик. Делал он это энергично, будто не заканчивал, а только начинал рабочий день.

— Георгий Георгиевич, — первым начал разговор молодой помощник, как бы отвечая на ранее заданный главой вопрос, — да ими здесь пруд пруди, этими управленцами. Только надо своих ставить.

Он придвинул ближе к столу свой стул, поправил галстук и опёрся локтями на столешницу. Не спуская глаз с начальника, открыл толстый рабочий блокнот.

— Наш бывший завхоз из клуба, где мы когда-то работали, может любое управление возглавить, давайте его пригласим. Здесь он обеспечит работу под вашим руководством, всё будет как надо, — продолжил он.

— Нет, я уже справлялся о нём, говорят, уехал в родную Землю, все почему-то зовут её обетованной. Красиво, конечно! От Моисея пошло! Может, там наш завхоз и найдёт рай, пожелаем ему успеха. Поищи другого, нашего. Не тяни.

Думаю, пора обратить большее внимание на молодого человека, сидевшего напротив хозяина в главном кабинете администрации. Он был глубоко погружён в свой блокнот, куда скрупулёзно записывал все указания и «мудрые мысли» руководителя. Помощника звали Руслан Сергеевич, а фамилия его звучала так: Заружнин. Эта фамилия вам кого-то напоминает? И правда, есть небольшая схожесть с именем первого лица. Но это даже хорошо для гармонии в отношениях двух понимающих друг друга руководителей, да и более крепкой памяти подчинённых. Только не думайте, что они находятся в каком-то родстве.

— Георгий Георгиевич, пожалуйста, скажите: мне записать ваше указание — найти быстро кандидата из своих на должность начальника управления?

Глава многозначительно помолчал, опустил крышку своего планшета, потом махнул рукой так неопределённо, что из этого нельзя было сделать вывод, одобрительный ли то жест или отрицательный. Скорее всего, из серии: «Сам догадайся!»

Читатель наверняка не понял из разговора главы и его верного «оруженосца», что означала фраза «из своих». Можно предположить, что это значило пригласить друзей и родственников из соседнего региона, где закреплял свою карьеру глава годом раньше.

— Да, запиши, неделя сроку!

Помощник быстро исполнил указание своего шефа и как-то так осторожно закрыл блокнот. Не зря он понимал своего начальника с полуслова,

но обязательно и подчеркнуто вежливо уточнял его позицию. И при этом проникновенно, не мигая, смотрел в его глаза. В этой связи в памяти автора навязчиво всплывает юный Чичиков в начале его биографии — ученик городского училища (читай — школы), помните, тот, который «постигнул дух начальника (своего учителя) и в чём должно состоять поведение». Что у Руслана Сергеевича на уме, какие планы на пользу района он вынашивает, можно ли от него ожидать поддержки в сложной ситуации, трудно было понять. Надо подождать, посмотреть, послушать, вникнуть в смысл его собственных слов и позиции. А мы наверняка такую обнаружим.

Сам-то он был таким же «назначенцем» по принципу «свой человек». Не будем плутать по лабиринтам короткой биографии Руслана Сергеевича, продолжим изучать его служебный путь с того дня, когда он вместе с новым главой района впервые появился в здании администрации районного центра, города Приреченска. Это был совершенно неизвестный для него город и сам район. Конечно, все кабинеты ещё оставались занятыми незнакомыми ему чиновниками прежней администрации.

### Скрытый в сопках

Предлагаю читателю взглянуть на главный город района, чтобы легче было понять, куда попали наши «герои», что их ожидает, и сделать посильный прогноз будущего успеха или... Сами понимаете, об «или» говорить пока рано. Пожелаем удачи высоким руководителям, взвалившим на плечи немалый груз руководства районом. Может, не зря они рискнули так уверенно заявить о себе на незнакомом месте, где рождаются судьбоносные планы и принимаются важные решения.

Центральный город района, который они решили покорить своей командой, по статистике числился в числе малых. Да и не мог он успеть за полстолетия стать большим. Строили его почти на пустом месте, на самой окраине района, где приютились два небольших селения: одно — с историей в три с лишним столетия, другое — почти ровесник века. Убогое селение, что было намного моложе первого, появилось в тяжёлые двадцатые годы на краю густой и болотистой тайги. Сюда пришла «Коммуна», чтобы выстроить село, вспахать заросшую дикими травами и мелколесьем землю и спастись от голода. В самый разгар «холодной войны» правительство решило построить здесь оборонный завод. Мы назовём его главным предприятием. С северной и западной стороны город и завод прикрывали сопки, на юго-востоке, вырвавшись из глубокой долины и от берегов быстрой горной реки, простиралась ровная лесостепная зона. В этой неширокой долине у реки и прятался от зловерных недавних «союзников» завод

вместе с новым городом. Население города было особенное. На предприятия приглашали работать профессионалов с высшим и средне-специальным образованием. Школы, детские дошкольные и спортивные учреждения тоже приняли много образованных специалистов — умных, культурных, деятельных, и к тому же отчасти романтиков. Местные власти — партийные, советские, комсомольские — вместе с профсоюзными организациями, директором завода (главного предприятия) и вспомогательными учреждениями ревностно занимались развитием культуры, общего и высшего образования, спорта, заботились о благоустройстве города и его художественном облике. Да и правительство активно помогало создать передовое предприятие и современный город. Денег на это не жалели. Романтики сочиняли стихи, пели песни, спорили, ходили в походы и мечтали о будущем. Поэт, родившийся и выросший в этом городе, позже писал:

Было многим в ту пору по двадцать,  
И хотелось любить и мечтать!

Так образовалась высокая и разносторонняя культурная и духовная среда. Талантливые самодеятельные артисты, певцы, танцоры, поэты и писатели, художники получали реальную поддержку властей. Город и весь район гордились их достижениями в области и стране. Район получал свои выгоды от города. Он развивался, снабжал население продуктами самого высокого качества.

Своим «высоким полётом» город был обязан во многом первооснователям и незаурядным личностям. Это были особые люди, закалённые войной, возвращением к жизни разрушенных городов и заводов, целеустремлённые, волевые и образованные руководители, с огоньком в душах и творческим складом мысли. Таких людей называют мечтателями. Но в деятельной жизни они были суровыми практиками, опытными и мужественными руководителями. Эти люди принимали зачастую рискованные решения, преодолевали формальные и физические препятствия, умели доказать свою правоту на самом высоком уровне. Это было совсем не просто, а чаще всего — опасно. Много таких, кто был с огоньком в душе, оплатилось жизнью. Если вспомнить тревожную действительность послевоенных лет и жёсткую внутреннюю политику партии и правительства, то можно смело назвать это героизмом, настоящей гражданской позицией. И в то же время руководители показывали пример исполнительности и дисциплины своим подчинённым. Это было особое время, жёсткое, суровое, и люди были особенные. Как первый директор главного предприятия, так и его преемник до этого работали над созданием грозного оружия. Первый в своих воспоминаниях рассказал, как он подбирал кадры на строящийся

объект. Генерал инженерно-технических войск, он во время войны работал секретарём Военно-промышленной комиссии, был и заместителем секретаря Комитета обороны, одним из активных создателей новой отрасли промышленности, которая спасёт и страну, и мир от ядерной войны. Высокие звания и должности не отразились на его скромном интеллигентном характере с творческим отношением к работе и в целом — к жизни. Он видел новый город совсем не похожим на другие города. Вместе с товарищами и коллегами ему удалось заложить его основы, близкие к мечте. Какие качества специалистов были важны для него? Читаем воспоминания:

«В главке мне предложили кандидатуру главного инженера на завод. Я встретился с этим человеком и спросил его: „С чего бы вы думали начать свою работу у нас?“ Он, не задумываясь, ответил: „С создания библиотеки!“ Я сразу согласился и взял его. Действительно, начало строительства завода на пустом месте требовало обширных знаний, как в технической области, так и по части культуры. Мы всё сделали вместе. И создали библиотеку, и картинную галерею, и первое телевизионное вещание. И город начали строить по собственному замыслу, преодолев официальные решения сверху».

Ошибкой многих больших руководителей, пусть то будет уровень города, области или в целом государства, которую они не осознают или относятся к этому с иронией, бывает отсутствие мечты. Именно она даёт крылья. Повседневное преодоление возникающих проблем, вечный бег в сторону выполнения планов, «тушение пожаров» уводят многих от самого главного — перспективы в жизни и работе. А может, мечта, наоборот, мешает работе, трезвой оценке ситуации, принятию жёстких, но необходимых решений? Может, автор ошибается, ставя их в пример, уходит от суровой действительности и вводит в заблуждение читателей? Зачем читать такие книги? Что он может сказать в своё оправдание? Только одно: проверено на практике!

Преемник первого директора, обеспечив пуск мощностей завода, с вдохновением работал над развитием города. Это был настоящий опытный руководитель, хозяин, чувствующий все возможные достоинства и вероятные опасности городского организма. Одна фигура уже говорила о многом. Невысокого роста, полный, с массивной головой без волос, он весомо, не торопясь, поглаживая верх левого запястья правой рукой, мягким басом объяснял свою точку зрения депутатам районного совета. Как-то на сессии «бушевал», обращая свой гнев на городскую исполнительную власть:

— Вы что, хотите затопить через пять лет город фекалиями? Почему вы не проектируете вторую нитку канализации? Кто это сделает за вас?

Директор главного предприятия был председателем государственной комиссии по приёмке

сдаваемых строителями объектов. Строители боязливо следили за каждым его шагом, когда он осматривал новый жилой дом или социально-бытовой объект.

— Вы как поставили форточки? Их не открыть и не закрыть! Как молодая хозяйка будет проветривать комнату? Почему эта батарея греет наполовину? Что, после вас сюда сразу надо вызывать слесарей?

Обязательным условием строителям он ставил благоустройство придомовой территории. Обязал на каждый объект завозить чернозём и высаживать траву. Это было ново в те годы. Городские власти в дальнейшем старались его взглядом оценивать состояние территории и вовремя устранять возникшие при эксплуатации недостатки. Так рождался европейский облик города. Это была осуществлённая мечта директора, выходца из простой крестьянской семьи.

Была в истории города ещё одна нестандартная личность. Этот человек два десятилетия возглавлял ту самую районную власть, которую называли «руководящей и направляющей» силой. Первый секретарь районного комитета партии явил пример того, как можно, не зарываясь в партийные брошюры и газеты, реально поднимать культуру и духовность в городе. Его упрекали: «Зачем вы строите звероуголок? Будете у населения отрывать продукты для корма животных». Он отвечал: «Продукты мы возьмём из отходов мясокомбината, что-то получим из местных садоводств и совхоза, а вот животные помогут нам воспитывать детей в любви к природе. Дети не будут жестоки к ним, да и в отношении друг к другу тоже станут более милосердными, это как-то повлияет на снижение правонарушений». — «А художественная галерея зачем в таком маленьком городе?» — «Улучшим эстетическое воспитание и школьников, и взрослых. Представьте, к нам будут приезжать знаменитые художники, открывать выставки. Кто ни разу не был в столичных музеях, получит доступ к картинам на месте. Художественная школа расширит доступ детей к реальным произведениям, а не только к репродукциям, наши художники обретут новый стимул для работы...»

Разве не мечтателем был этот партийный руководитель? «Отцы» города и района не поучили молодых специалистов и начинающих руководителей, не указывали по мелочам, что и как надо делать. Они своей работой, умом, опытом показывали тот жизненный коренной пример, который помогал подчинённым людям в ответственной вертикали власти ориентироваться в любой сложной ситуации.

Город получал всё новые культурные центры. Без громких слов воспитывался патриотизм, горожанам это нравилось, и они скучали по городу, когда уезжали надолго. Много сменилось больших и малых руководителей. Одних забыли сразу после



ухода, других вспоминали по обязанности. Но след в памяти оставили те немногие, кто обладал личными достоинствами намного большими, чем «соответствие занимаемой должности», чей кругозор и свойства души делали людей счастливее.

Особые качества горожан и поднимающегося района в целом вызвали некоторую ревность в области. Политики и хозяйственные руководители помогали развитию района и нового города, но при случае напоминали, что другие города живут скромнее, в области не хватает средств обеспечить такой же уровень жизни, как здесь. Как-то секретарь обкома партии на заседании бюро при утверждении кандидатуры одного из руководителей района на новую должность возмущался: «Что вы там творите? Зачем поставили бронзовую скульптуру коней? Говорите, что это символ наших рек, и построили фонтан прямо на берегу одной из них? Реки сами за себя говорят что надо. Денег много? Думайте, как прокормить население». На что приглашённый кандидат на должность скромно напомнил: «Не хлебом единым жив человек!» — чем вызвал гнев «руководящего и направляющего».

Тот же набор названий улиц, что и в каждом городе, типовые дома, политические плакаты и лозунги, скромная одежда, суровые и деловые лица прохожих требовали дуновения живого, освежающего воздуха, нового настроения душ на радостные и счастливые мечты, на реальные перемены к лучшему. Жизнь просила более осязаемого всеобщего счастья. Это чувствовали руководители района и делали что могли в жёстких рамках законов и правил, финансовой дисциплины, порой осмысленно нарушая их.

### Уже не гости

И вот в такую среду попадают наши герои, только понаслышке знающие о ней, ревниво настроенные, с мыслями о карьере и критическим отношением к руководящей «верхушке», то есть к бывшим в составе администрации района руководителям. Даже мелкие упущения их предшественников, о которых они узнавали, вызвали резкую реакцию, уничижительные отзывы и шутки, желание показать новый, современный уровень руководства. Словом, это был не родной город и район, и строить с «выскачками» от «бывших» отношения объективно не получится. Скорее мысль о «пасынке» закрепится в их сознании.

Население района не менее критично и острожно встретило новых хозяев. «Лучше бы им оставаться в роли гостей», — говорили люди.

Как можно обуздать строптивых и амбициозных горожан? Такой опыт был и обкатывался не единожды ретивыми чиновниками области. Заметим, своеобразный опыт. Пробовали «на зуб» по-всякому. Порой наскоками. Приедут,

посмотрят, что-то попытаются проверить, почувствуют силу, отойдут, поразмыслят на досуге, поищут сторонников. Снова «наскочат» — опять без результата. Сценка рисовалась вроде «моськи и слона». Сравнение со слоном — не случайно. Главное предприятие свободно мерялось мощью и важностью своей продукции с мировыми соперниками — считай, конкурентами. Защищала его сама столица, если точнее — отраслевое могучее министерство. Может, это надо было знать новой команде, что-то понять из опыта районной власти, ближе посмотреть на людей, проникнуться проблемами не наскоком, а со вниманием и уважением? Мудрые руководители обычно становятся на сторону опытных ведущих профессионалов и активной части населения, накапливая собственный опыт. Но у наших героев времени не было. Так сложилось. Не лучшие чувства пробуждали в них собственные проблемы. Поэтому они посчитали, что самым верным методом будет быстрый и жёсткий захват «мирной» территории, показ местным «совкам», кто в доме хозяин. Благом для них было новое, ещё не понятное многим время. Руководителей высокого уровня назначали совсем по другим деловым качествам и свойствам души, чем четверть века назад, когда моральный кодекс ещё что-то значил.

Напомню читателю, что областные власти «выбросили» в строптивый район собственный десант управленцев. Они поставили к «рулю» свою «надёжную» команду. Эта команда, не обременённая «ненужной» памятью и знанием людей, с первых дней «взяла быка за рога». Действовала напористо, уверенно, быстро начала убирать тех, кто ей мешает, не проявляет «уважения» и много распускает. Всем дали понять, что подчиняться надо только одному человеку — главе района. Команда не могла сама проявить такую инициативу, рискуя демократическими принципами. Как оно обернётся к ней самой? Значит, это воля лично главы. Но откуда у него такая уверенность в собственных силах и способности справиться с «умным» населением? Может, его кто-то ведёт, боится конфликтное поведение? Если «поводырь» находится на уровне руководителя области, всё равно опасно. Не может же он постоянно стоять за его спиной. Значит, другая сила. Мне просто неудобно называть её, повторять классические персонажи. Только понятно, что она, эта сила, уже внутри него и владеет безраздельно его душой.

Читатель может посчитать слова автора излишне категоричными, предвзятыми, заранее нацеленными на негативное восприятие новых управленцев. Нет, напротив, он хотел, чтобы у команды всё получилось, ведь автор — тоже активный старожил района, болеет за него и за свой молодой город. Люди доверчиво голосовали за неизвестного человека, полагали, что он «слуга

народа» и будет делать всё на пользу населению. Автору оставалось только помогать новой власти, где это возможно. В этом мы убедимся дальше. Будем считать его незримым участником событий, не путая с главными героями, когда он в тексте будет употреблять местоимение «я». А пока продолжим знакомиться с самым близким человеком главы района, возможно, его воспитанником и другом, который был записан в штатном расписании администрации как «помощник».

Молодой симпатичный, человек, с чёрными густыми волосами, аккуратно причёсанными, с ровным пробором, широкими плечами, внимательным взглядом карих глаз, в меру энергичный, он шёл безмолвной тенью своего покровителя на инаугурацию. Его добротный костюм и внешний облик были олицетворением готового к чиновным подвигам деятеля администрации района. Руслан Сергеевич заметно отличался от своего наставника и покровителя более современным внешним видом. Внимательные люди, окружавшие его по работе, могли подумать, что он до этого занимал какую-то, может, небольшую, но ответственную должность и был под влиянием обеспеченных материально родителей.

Полагаю излишним дальше рисовать портрет нового человека. Будем по ходу повествования знакомиться с ним. А пока вспомним пословицу: «Встречают по одежке, провожают — по делам». Признаемся, автор виноват перед читателями. Взял сразу с места в карьер. А почему не рассказал, как молодой глава начал свою деятельность на новом рабочем месте? Надо исправить эту ошибку и вернуться к инаугурации. С неё же начинается законная деятельность избранного начальника района. Извиняюсь за слово «инаугурация», похожее на российское ругательство, но замечу, что не только во времена перестройки, но раньше ещё, от Петра Великого, на Руси стало появляться много непонятных слов. Не будем так далеко заглядывать в историю, понятно, что мы её толком и не знаем, а вспомним уже наши времена, когда в русскую речь стали проникать такие «умные» слова, как «сникерс», «месседж», «интерактив», «слоган», «драйв», «тренд», «креатив», «кластер» и многие другие вместе с упомянутой «инаугурацией». Больше всего попадает в наши глаза и уши словесный модерн с экрана телевизора. Ведь он не умолкает круглые сутки, да ещё через множество программ и каналов. Приведу свежий пример. Только что показали сюжет: молодая женщина гуляет с собакой; замечу в вину хозяйке, что она освободила её от поводка и шла, задумавшись, впереди неё на расстоянии десятка шагов. Золотистые листья берёз медленно падали с белоствольных деревьев и ложились приятным шелестящим ковром под ноги. Умный был пёс, лабрадор-ретривер. Добрый и преданный хозяйке.

Он держал дистанцию и не отвлекался на собачек женского пола. Вдруг остановилась иномарка, открылась форточка, и раздался выстрел. Окровавленный пёс упал на дорожку. Кровь окрасила бурными пятнами золотой покров. Комментируя эту трагическую сценку, журналист, наверняка с университетским дипломом и перестроечным воспитанием, несколько раз повторил одно и то же слово: «догхантер», «догхантер». Учите, друзья, английский, а то так и не поймёте, кто же стрелял в собаку. Тем, кто читал Тургенева и Аксакова, по душе останется русское слово «охотник», который стреляет не в домашних собак, а в зайцев или водоплавающую птицу. К счастью, мирного пёсика помогли выходить хорошие люди.

Компьютер дал возможность ленивым студентам не читать произведения классиков полностью, а только в сокращённом виде, без всяких там красот и рассуждений. Может, не случайно, получив дипломы, они смело называют друг друга ньюсмейкерами, подростков у заборов — тинейджерами, а свои путанные мысли — парадигмой осознанного состояния душевных поисков.

Вникая в смысл новых понятий, я подумал: а что же пишу? Как определить по-современному вот этот жанр, которым излагаю своё повествование? Повесть и роман устарели, под поэму, как у Гоголя, и близко не подходит. Может, нарратив? Модно и современно! И слово-то какое! Сразу не поймёшь, надо заглянуть в словарь или интернет. И пришёл к выводу, дорогой читатель: это нарратив! Подобная форма повествования близка саге, что мною уже было использовано в предыдущей книге. Если бы это была обычная повесть или роман, то художественные приёмы автора быстро бы оттолкнули продвинутого молодого читателя, которому стала доступна литература в сокращённом до предела варианте. Ведь можно в метро с дисплея айфона за пятнадцать минут пробежать «Войну и мир» или любовные романы Анны Шульгиной. Вездесущие критики от «умной» части журналистов могут обвинить автора в излишней публицистичности текста, эстеты — в недостатке художественности. Потому я и прячусь за непонятное слово «нарратив», чтобы сгладить недостатки того и другого. Предлагаемый читателю жанр позволяет некоторые вольности автору. Но держит нас прошлое, понятное и доброе. Может, всё же это роман? Нет, конечно, это нарратив! Если сказать проще — повествование. Автор пытается развивать причинно-следственные связи, приглашает читателя увидеть, как в мыслях или поведении героев закладывается зерно их будущего.

Наверное, словесное извержение, извините, поток иностранных слов хлынул нам в уши и перешёл в уста из распахнутого первым президентом тогда ещё большой страны «железного занавеса»? Свой «поисильный» вклад наверняка внёс и второй

президент, но уже скукоженного почти до пределов Руси времён Бориса Годунова государства с новым-старым и гордым названием. Он вообще убрал все «занавесы». Помните этого президента? Того, что был с «широкой душой»? Он ещё плясал под «дудку» «главного» президента планеты. Наверняка помните! Некоторые «сознательные» граждане и их дети вскоре начали изучать английский язык и предпочли бы вообще на нём общаться, как русские аристократы в восемнадцатом—девятнадцатом веках говорили исключительно на французском. Однако классовая ограниченность и общая, пока невысокая, образованность населения притормозили этот исторический процесс.

### Инаугурация нового главы

Инаугурация проходила в конференц-зале здания администрации по специальному сценарию. В первом ряду сидел директор главного предприятия. Это был руководитель, назначенный госкорпорацией несколько лет назад, после ухода своего решительного и властного предшественника. Он отличался от того заметной интеллигентностью и более добрым нравом. Начало его работы на этом высоком месте показало работникам главного предприятия и особенно администрации района, что у него нет амбициозных намерений бороться за своё верховенство в районной иерархии. Не было видно и его непререкаемой активности в выдвижении своих представителей на должность главы района.

Это, однако, не исключало стремления обеспечить большинство своих представителей в районном совете депутатов. Такое обстоятельство как-то успокаивало чиновный люд, политически активных членов партий и участников движений. Справа от него сидели заместитель председателя областного Законодательного собрания, член правительства, не известный никому по причине кадровой чехарды, и заместитель начальника общего отдела, который занимался организацией выдвижения на должность виновника настоящего торжества. Здесь же был и бывший глава района. По его озабоченному виду можно было предположить, что непросто будет выступить перед своими коллегами и сотрудниками с напутствиями избранному сменщику. В зале, томимые ожиданием важного действия, сидели депутаты районного совета, служащие администрации, руководители предприятий и общественных организаций. Бывший заместитель главы района Алексей Васильевич Громов и несколько его коллег занимали места во втором ряду. Для них было важно слышать из первых уст, какие слова избранный глава района произнесёт перед народом и какие даст обещания. Это закладывалось в память на будущее.

Зал притих в ожидании. Но видно было, что кто-то шептался со своим соседом, боясь привлечь

внимание организаторов мероприятия, кто-то отвлечённо смотрел на авансцену и наблюдал, как ведущий сценария готовит микрофон и порой спускается к первому ряду посовetоваться, что-то спросить у важных гостей.

Все ещё помнили помпезную инаугурацию второго в истории района главы, сменившего первого мэра, должность которого в девяностые годы правительство переименовало в главу района,—Василия Григорьевича Коваленко. Тот кандидат на пост главы района был предложен прежним директором главного предприятия, спорить с которым никто не решался. Слово «предложен»—скорее, от лукавого. На деле это было беспрекословное решение директора. То был «красно-белый директор» с особым характером. Скорее, не врождённым, а приобретённым в изнурительной борьбе за сохранение предприятия в девяностые годы. Кто только не пытался стать хозяином этого предприятия. В областной центр прилетал даже близкий к первому российскому президенту одиозный предпринимчивый деятель. Ему удалось прибрать к рукам несколько заводов и часть нефтегазовой отрасли. Борьба с ним дирекции завода, или противостояние местных руководителей, представляла большую опасность и для предприятия, и для самого директора. Но директор завода, вопреки всему, с помощью той же столицы укрепил позиции главного предприятия и без особых потерь вступил в рыночную экономику.

Та первая инаугурация, больше похожая на празднование Дня района, проходила в просторном зале торжественных мероприятий Дворца культуры Приреченска, при трёхстах участниках. Были установлены длинные столы. Их сервировали по всем правилам ресторанного искусства специалисты известных в районе заведений подобного рода. Называлось это фуршетом. Гости стоя с интересом разглядывали деликатесы и этикетки отборных спиртных напитков, тихо делились впечатлениями от увиденного и нетерпеливо ожидали начала мероприятия. Было видно, что обилие закусок и напитков превышает сам смысл этого названия. Такая подчёркнутая помпезность влияла на поведение приглашённых участников инаугурации, они стояли тихо, порой близко друг к другу, шёпотом комментируя событие. Председатель совета ветеранов, заслуженный пенсионер, наклоняясь к соседу, бывшему председателю крупной профсоюзной организации, тихо спросил:

—Послушай, Анатолий Михайлович, наверное, дорого всё это стоит?

—Думаю, что немало.

—Интересно, за чьи деньги этот подарок?

—Как за чьи? Понятно, что директор главного предприятия оплатил.

—А его самого я что-то не вижу,—продолжал ветеран.

— Не царское это дело — стоять за столом с такой толпой, наверняка у них будет ещё встреча в банкетном зале ресторана.

— Лучше бы они подарок ветеранам завода сделали...

Через мощные звуковые колонки проиграли государственный гимн. Выступил представитель Законодательного собрания области:

— Уважаемый Владислав Арсеньевич (директор завода), уважаемый Сергей Валерьевич (председатель районного совета депутатов), уважаемый Владимир Васильевич (избранный глава района), уважаемые дамы и господа! Во-первых, разрешите поздравить от имени Законодательного собрания и правительства области Владимира Васильевича с избранием на должность главы района и пожелать ему успехов. Я уверен, что дирекция главного предприятия и трудовой коллектив, районный совет депутатов и лично Владимир Васильевич, сохраняя лучшие традиции завода и в целом района, дадут новый импульс в их развитии и процветании. Ваш район является опорным звеном в экономике области, а ваши руководители всегда показывали пример передового хозяйствования и правильного выбора программ социального развития. Особая благодарность от областного Законодательного собрания и правительства Владиславу Арсеньевичу за его вклад в поддержку района.

Представитель областного парламента говорил ещё много лестных слов в адрес директора завода — передового предприятия и вновь пожелал избранному главе района «творческих успехов», а району — выйти «на новый уровень развития».

Виновник торжества стоял прямо, чуть откинув назад голову с редкими крашеными волосами. Его глаза горели, излучали в потолок зала нахлынувшее чувство радости от столь желаемого достижения высокого поста, административного верховенства над всеми молчавшими перед сервированными столами участниками торжества. Участники же знакового события понимали, что это не их будущий руководитель, а исполнитель воли другого влиятельного лица — своего бывшего директора, и что этот тандем не принесёт им радости от общения.

Глава произнёс клятву, и на его плечи и шею ведущий торжества повесил гирлянду главного символа власти. Никто не мог различить, что изображено на блестящих чеканных рельефах каждого элемента, но в целом эта тяжёлая цепь символизировала верховенство её обладателя в районной иерархии. Отныне он стал законным главой Приреченского района на ближайшие четыре года.

Справедливости ради надо заметить, что данная кандидатура на пост главы в большей степени была подготовлена к такой работе, чем другие вероятные персоны, если подходить к критериям формально по схеме: какие посты занимал до

этого, какую общественную работу выполнял и не понаслышке ли знает о проблемах местного совета депутатов. Оказалось, что главным для него стал не тот богатый опыт административной и общественной деятельности, а та школа, которую на протяжении двадцати лет давал ему директор своим поведением и отношением к подчинённым сотрудникам и специалистам: властолюбие, прямолинейность выражений с ненормативными переборами, напористость без особого внимания к личностям и их достоинствам.

Всего через четыре года после вступления в должность первый ставленник главного предприятия бесславно покинул пост. Завершив свой законный срок руководства районом, написал заявление об уходе и его преемник. В районе задумались: кто же сменит ушедших двух глав? На политическом фоне не было готовой кандидатуры. Иссая источник из среды активистов партии и комсомола, советских профсоюзов. Четверть века назад эти организации исчезли с политического поля, а лидеры новых партий, озабоченные укреплением своих личных позиций, занимались воспитанием молодёжи бессистемно, без ясной цели и программы. Так образовался кадровый вакуум. В местные советы стали направлять технических работников с предприятий, учителей, спортсменов, не прошедших жизненную и теоретическую школу общественной работы. И некому было преподавать ту науку и умение работы с людьми, которые необходимы муниципальному или государственному чиновнику и депутату. Поэтому район доверился компетентности областной власти и согласился на включение в списки кандидатов на должность главы района представителя от их структуры.

### Инаугурации на очереди

В здании администрации на этой инаугурации всё было во много раз скромнее, даже ничтожно скромно. Громов, повернув голову в сторону зала, видел знакомые, ставшие почти родными, лица бывших коллег, сотрудников его служб и управлений. На некоторых из них он уловил растерянность, на других — безразличие к происходящему, как бы говорящее: дано задание всем здесь быть, вот и сидим, ожидаем, что будет. Новый глава вызывал интерес у присутствующих только потому, что он был незнакомым человеком в районе, которого сейчас наделят высокими полномочиями. Как он ими распорядится, покажут работа и время. Два его предшественника не смогли оживить экономику, заметно упала культура, исполнительская дисциплина на муниципальных предприятиях. Город и район стали больше походить на добротный, но запущенный сад.

За спиной Громова сидели два руководителя муниципальных предприятий и о чём-то тихо говорили друг другу.

— Ты можешь сказать, что доброго сделали два бывших директорских выдвигенца? Я не слышал ни от своих работников, ни от коллег ни одного уважительного слова о первом. Второй, правда, вёл себя порядочно, старался, но ему не хватило опыта такой работы. Как-то поведёт себя этот приезжий?

Громов заметил в центре зала Алёну Сергеевну, заведующую отделом, которая что-то тихо, сдержанно жестикулируя, говорила соседке по креслу. Он часто обращался к ней при подготовке программ, особенно когда нужно было найти средства на реализации идеи, которая не была утверждена в планах бюджета. В отличие от многих коллег, Алёна Сергеевна не отвергала с ходу задумку Громова, просила подробнее раскрыть суть вопроса. Она хорошо понимала, что Алексей Васильевич, с его опытом работы и неуёмным характером, всё продумал, предлагает такую новую идею, которая поможет сделать шаг вперёд в развитии образования или культуры района. Она, полистав проект и немного подумав, говорила:

— Трудно вам, Алексей Васильевич, будет убедить депутатов, да и аппарат администрации. Давайте посмотрим вместе, где у нас могут в ближайшее время появиться неиспользованные деньги. Я не уверена, что капвложения в строительство пристройки к школе со спортивным залом и столовой будут в срок освоены. Строители упустили время. Напишем письмо в министерство и попробуем перебросить нужную сумму на это дело.

Громову было приятно работать с умной женщиной.

Сейчас их разделяли время и новый статус Громова. Он видел, что на её губах была ироническая улыбка, которую Алёна Сергеевна периодически обращала к стоявшему у микрофона виновнику торжества, немного растерянному и как бы ищущему опору в зале. Только внимательный и искушённый человек, мужчина, мог заметить в глубине её глаз скрытую грусть, давнюю душевную боль, которая делала её немного старше своего возраста, но сохраняла привлекательность и очарование. Они обращали эти черты в строгую классическую форму. Как всегда, её внешность бросалась в глаза не только обликом или новой блузкой, причёской и безукоризненным макияжем — не броским раскрасом, похожим на грим и вызывающим неприятие у мужчин, но выполненным со вкусом. «Заводской» глава как-то делал ей замечание, призывая вести себя немного скромнее. Алёна Сергеевна чувствовала, что его слова — неуверенные, формальные, так, для галочки. Она больше понимала его глаза, скользящие, словно молния, по её гладкой белой шее и той привлекающей мужчин части груди на пике декольте, обращённого к поясу. Он как-то вполне серьёзно на одном из аппаратных совещаний, то глядя в широкий витраж, то бегая глазами по женским лицам, сказал:

— Товарищи женщины, мы не на вечере в честь Восьмого марта, а на работе. И серьёзной работе! Прошу соответствовать своим внешним видом рабочему месту, не смущать посетителей короткими юбками и полуоткрытыми грудями.

Глава, конечно, не замечал мгновенную волну иронических улыбок на лицах подчинённых женщин. Только в душе отметил: «Учить их надо, воспитывать, а то распустились совсем».

Во втором ряду сидела заместитель главы администрации по организационной работе Александра Васильевна Чернова. Четверть века она возглавляла вначале общий отдел, потом, в ходе очередной реорганизации аппарата, её должность повысили до уровня заместителя главы администрации. После короткого десятилетия «разгульной демократии» в управленческие механизмы всего и вся стали вновь проникать бюрократические формы и методы работы. Как могло быть иначе, если страна разрушена экономически и политически? Никакая демократия в таких условиях не выживает. Начинают повторяться уроки коллективизации и индустриализации страны. Контроль, учёт, пригляд, поддержка коллег от «неразумных» действий, доклады начальнику, «невинные» жалобы на коллегу и другой арсенал испытанных действий. Это всё служебные «мелочи». Новой возможностью и более важным стало то, что этот заместитель становился коллегой узкого круга близких по должности к главе района лиц и мог, кроме прямых своих задач, участвовать в решении политических и хозяйственных проблем, которые раньше касались его косвенно. То есть резко возростал уровень властных полномочий, и возникала почва для существенных разногласий с коллегами на самом высоком уровне.

Опытный взгляд Александры Васильевны ловил каждое мгновение в этом зале: передвижения важных персон, рассадку по соответствующим местам, движения нового главы, его костюм, причёску, чистоту обуви, манеры общения с окружающими сотрудниками и гостями инаугурации. Во взгляде Александры Васильевны не было чиновного почтения, простого любопытства или одобрительных движений. Его можно было сравнить с рентгеном, по негативу которого определяются «болезни», которым подвержен виновник торжества. Она сразу высветила, почувствовала, что эта «болезнь» не потерпит присутствия рядом с ним личности, заражённой бациллой такой же властности, как и он. Весь вопрос был во времени, отведённом на «лечебные процедуры» в аппарате администрации и городском совете.

Алексей Васильевич увидел в зале ещё одну сотрудницу из отдела информатики, Татьяну Скорнякову, рядом со своей коллегой Ириной Петровой. У них Громов прошёл целую школу

постижения компьютерной грамотности. Начинали с азов. Делали первые шаги в интернете, первыми стали активно использовать электронную почту, внедряли ещё неведомую дотоле программу «Консультант Плюс». От него она пошла во все отделы. Кругозор и возможности всех сотрудников администрации заметно возросли. В то же время начали общаться по электронной почте с зарубежными друзьями, которых находили взаимно по грантовым программам. Это было необычно для города с оборонным заводом.

Громов вполоборота продолжал смотреть на бывших своих сотрудников в администрации и депутатов, пытался понять, расшифровать их взгляды, короткие реплики друг другу, улыбки или сосредоточенность, безучастность или сопереживание. Все они были разными, каждый в своём мирке. Они когда-то представляли собой коллектив, объединённый общей целью. Сегодня всё изменилось: одних можно ещё было понять, других никакая сила не могла открыть. Он знал одно: это средоточие ответственных людей вершит судьбы большого района и может сделать немного счастливее его граждан — или притупить их активность, лишит мотивации, обратиться в инертную потребительскую массу. Всё зависит от «дирижёра». Захочет ли он использовать их возможности, вызовет желание по зову души брать на себя дополнительную нагрузку, проявлять инициативу или с первых шагов погасит всё это, принуждая делать так, как он пожелает?

Алексей Васильевич искал горящие глаза, ту сосредоточенность мысли, которая не покидает настоящих, ищущих, действенных личностей. Таких он нашёл единицы, но они были, и с ними оставалась надежда на то, что даже при больших потерях в энергии людей огонёк в их душах будет теплиться и позволит произрасти чему-то новому, значимому.

Неожиданно вспомнился ещё один эпизод из его «муниципальной» жизни. Однажды к нему в кабинет постучали, и вошла сотрудница одного из отделов. Глаза её были заплаканы, а щёки горели, словно костёр на лесной поляне.

— Алексей Васильевич, извините меня, пожалуйста, я не могу, — взволнованно произнесла она, — мне плохо.

Громов действительно видел по её беспокойным влажным глазам и дрожащим пальцам рук, что у женщины не всё в порядке. Голос её дрожал, причёска была всклокочена, она неестественно взмахивала руками.

— У вас не найдётся немного коньяка? Мне надо успокоиться.

Громов в изумлении смотрел на неё, пытаясь понять смысл сказанного. Такое в официальных условиях административного здания быть не должно! Но — случилось! Главное — не подать вида, что ты растерян.

— Коньяк? Конечно, найдётся. Держу на всякий случай, может, какой гость вдруг приедет.

Он достал бутылку крепкого напитка, быстро откупорил и налил полную рюмку. Этой мерой он позволил себе подчеркнуть своё расположение к посетительнице. Молодая женщина медленно стала пить. Было заметно, что она становилась на глазах спокойнее. Руки твёрже держали опустошённый хрустальный сосуд.

— Не смейтесь надо мной и не думайте ничего плохого. Просто я испугалась, что умру от стресса или выброшусь из окна, вспомнила о вас и решила, что вы поймёте и поможете.

— Так в чём причина? Что случилось? — спросил хозяин кабинета.

— Вы сами догадаетесь! Так работать нельзя. Но и уходить я тоже не собираюсь. Я так просто не поддамся. Стоит меня ещё раз разозлить, она пожалеет.

Громов, конечно, догадался, кто это «она». То была одна из немногих «властвующих» руководителей. Сам не раз испытывал несправедливые наскоки, но, в отличие от этой женщины, мог прямо сказать то, что думал. Даже здесь душевный идеализм не покидал его. Он понимал, что надо всеми сгущаются облака, несущие грозы и ветры, и что при таких глобальных переменах, вернувших всё общество в то первоначальное проблемное состояние, с реальностью всё возрастающей разницы в уровнях собственности, прямой зависимости от неё работающего народа, всё будет совсем не просто. И новая власть, пусть полученная на время, будет вновь проводить в первую очередь интересы тех, кто ей разрешил быть этой самой властью в небольшом районе и поставил на ключевые позиции. Народ с этим согласился своими голосами на выборах. Значит, он взял и на себя бремя ответственности за жизнь всего района, но, доверчиво или безразлично, делегировал свои права новому главе и его аппарату вместе с небольшой группой депутатов. Громов своей седой головой, словно пионер или комсомолец, продолжал думать, что ещё не всё потеряно, что всё ляжет в разумное русло. Только надо прилагать к этому усилия.

Он видел здесь много скромных деловых женщин из нескольких отделов и управлений, которых он сам выдвигал на более высокие должности. Некоторые работали больше двадцати лет, и не было заметно, что они устали, отбывают рабочее время по необходимости. Глаза их блестели, как и прежде, а на лицах можно было заметить внимание и сосредоточенность. Это была команда Алексея Васильевича, которой он всегда доверял и знал после нескольких лет разлуки, что их так же ценят на работе.

Прозвучал гимн. Избранный на четыре предстоящих года глава произнёс клятву, положив правую руку на текст устава района:

— Я, Зарубнин Георгий Георгиевич, вступая в должность главы Зареченского муниципального района, торжественно клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав муниципального района, справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей района.

Приглашённые в зал участники торжества прослушали обязательные выступления и напутствия представительных гостей, постояли с минуту при заключительных звуках государственного гимна, вышли из конференц-зала в небольшой по площади вестибюль, похожий на широкий коридор. Было тесно и душно. Плотной массой участники торжества старались держать в поле зрения законного уже главу района. Рядом с ним стояла его жена. Простая на вид, невысокого роста, она приветливо и чуть растерянно смотрела вокруг. Несколько молодых женщин, с трудом протискиваясь сквозь плотную массу участников, начали раздавать бокалы шампанского, которые до этого ожидали своего часа на маленьких столиках у двух широких витражей. Вдоль стены сверху на присутствующих смотрели с больших портретов, выполненных маслом областными художниками, все бывшие руководители района. Не было портрета последнего главы, который только что заказали в Союзе художников. Георгий Георгиевич ровным голосом поблагодарил всех и поднял бокал со словами:

— За наш город, его процветание, за вас, коллеги! Спасибо за поддержку!

Глава чокнулся верхом своего бокала с бокалами стоявших рядом участников торжества, едва наклоняя голову, всякий раз повторял тихо слово «спасибо».

Демократическая, скромная обстановка такого важного события вызывала робкую надежду участников торжества на то, что пришёл «свой» человек и вместе с ним они решат все проблемы.

### Общественный совет

На следующее утро в администрации всё выглядело так, словно ничего не произошло. Сотрудники занимали свои обычные места в кабинетах, коридоры были пусты, редкий озабоченный чиновник проходил быстрой походкой по мягкой ковровой дорожке и исчезал в одном из кабинетов. Казалось, все ждут каких-то указаний от новых руководителей, приглашений или вызовов в кабинет главы. Георгий Георгиевич сидел в своём кресле и совещался с помощником. Первый вопрос, который они обсуждали, касался учреждения

общественной палаты. Такая форма участия представителей авторитетной группы от населения в делах городской администрации и районного совета уже была организована во многих городах, да и в самой столице. Поэтому предстояло, не мешкая, создать свой общественный совет в районе. Потребность в совещательном органе давно обсуждалась в представительствах партий, в совете ветеранов и среди сотрудников администрации. Многие хотели видеть в общественном образовании несколько представителей от авторитетных и опытных людей района, которые недавно ушли на отдых по возрасту. Партийцы, кроме членов «руководящей» партии, тоже хотели иметь в нём представителей, чтобы доносить до официальных лиц своё мнение и важные предложения. Для многих не было секретом и то, что некоторые службы районной администрации и отдельные её представители «нуждались» в объективных проверках и боялись их. Руководители, будто не замечая промахов в работе своих подчинённых, как бы нарочно уклонялись от таких проверок, а у депутатов не доходили руки. Странно выглядит подобная ситуация на первый взгляд. Но всё становится понятно, если увидеть роль администрации вместе с главой, которые сами порождали проблемы, не терпящие постороннего взгляда. Особенно там, где стояли у руководства ставленники новой команды. Поэтому не все сразу заметили, что у нового главы и его помощника особые планы. Они больше думали о том, чтобы не промахнуться, не допустить людей, которые уже не очень лояльно отзывались о новых лидерах или критически наблюдали за ними со стороны.

Обсуждение столь важного вопроса глава оставил на вечер.

Он вместе с Русланом Сергеевичем предварительно перебирал фамилии и отсеивал неудобных кандидатов. В их сознании — «ненадёжных». Опасения вызывала одна многодетная семья, которую они называли между собой «одиозной». Парочка родителей успела «засветиться» и в СМИ, и в «Одноклассниках», на сайте района, в областной администрации и даже в почте самого президента. Всё они воспринимали как «ненормальные» люди. То медики их не так приняли, то ЖЭК не отрегулировал отопление в доме, то участковая полиция невнимательно обошлась с ними при явном нарушении их гражданских прав на выборах. Главным для нового руководства было упредить, чтобы никто из известных горожан не выдвинул главу этой семьи в состав общественной палаты. А если случится такое, то поговорить с депутатами, чтобы голосовали «правильно».

Труд вечерних посидельцев удался на славу. Кандидатов в палату подобрали «надёжных». В основном из числа тех, кто как-то зависел от власти. В первую очередь — бюджетников. Тех, кто

получает зарплату из бюджета района и назначается на должность по согласованию с местной властью. Короче, самые близкие и «понимающие» их люди. Ветеранам там места не нашлось. Опасны они для новой власти! Депутаты, конечно, не пропустили и ту «семейку». Можно работать спокойно и не бояться, что будут от палаты строгие проверки и собственная «ненужная» инициатива.

Механизм городского управления помаленьку отлаживался по проекту команды нового главы района. «Мудрые» мысли не покидали его голову. — Руслан, мы должны обратить особое внимание на молодёжь. Пока видим, что на выборах голосует в большинстве пожилое население: пенсионеры, ветераны труда, бывшие активисты общественных организаций, созданных в те ещё времена. С ними как-то проще, главное, чтобы наша газета и телевидение с радио продуманно подавали информацию, уверенно говорили о достижениях. Проверено, что эта категория избирателей всё ещё верит печатному слову и телевизору. Им некогда разбираться в деталях или проверять что-то. Не та энергия. Но молодёжь должна стать ударной силой, больше проявлять инициативы, устремлять свою энергию на помощь администрации в решении важных городских и районных задач. Для этого надо её направлять, вкладывать средства, дать умных наставников, отзываться на их запросы. Всё окупится, если не ослаблять внимания.

Георгий Георгиевич встал из-за стола, обошёл Руслана Сергеевича. Положил руку на его правое плечо. Помощник замер во внимании, слегка втянув голову под воротник пиджака. Широкий галстук в синюю полосочку поднялся до подбородка и немного стеснил его. Руслан Сергеевич осторожно поправил столь важный атрибут чиновника, не меняя положения замершей головы.

— Я думаю, нам надо создать Центр молодёжных общественных инициатив, — произнёс, наконец, глава района, — если сказать более современным языком — «ресурсный центр». Звучит совсем по-другому, да и не всякий сразу поймёт. Но уловит в этих словах нечто серьёзное.

— Георгий Георгиевич, если позволите, я набросаю план действий по этой проблеме?

— Давай!

Георгий Георгиевич с Русланом Сергеевичем провёл вместе не один вечер в притемнённом кабинете, обдумывая эту и другие идеи. Но всё же большую часть времени, оставаясь по вечерам в кабинете, он любил размышлять один. Тишина и служебная обстановка создавали тот формальный уют, который помогал сосредоточиться на нерешённых вопросах, обдумывать новые идеи, оценивать прошедший день или неделю. Его всегда волновал один вопрос: удалось или нет продвигаться вперёд, решить что-то важное? Не меньше

его волновало, как это ни покажется странным читателю, отношение к нему окружающих людей. Если это были подчинённые по должности ответственные лица, он оценивал в уме их исполнительность, понимание задач и указаний своего руководителя. И может, не сразу, но через некоторое время они могли почувствовать на себе его реакцию. К известным и влиятельным людям в районе он относился критически, ревниво оценивая их реплики, выступления и отношение в целом к его команде. По ним он определял: свой это или чужой.

За широкими витражами главного кабинета администрации жил своей обычной жизнью красивый город. На фасадной стене Дворца культуры с большого экрана излучались краски рекламного ролика, редкие прохожие спешили покинуть улицы вокруг центральной площади и окунуться в уют собственных квартир. Им совсем не было дела до того, что происходит за стёклами полумосковитского кабинета главного чиновника района.

### Вечерние «посиделки»

Вернёмся к уважаемому Руслану Сергеевичу. Верный помощник не может долго оставаться просто помощником. Чтобы его усилия не растворялись в песке от действий ушлых коллег более высокого ранга, пригrevшихся при прежнем руководстве, его надо было поднять на достойный предстоящему влиянию уровень. Работа предстояла большая. Глава задумал «встряхнуть» район от «лени и спячки», как он думал. Он должен показать на деле областному руководству, что не ошиблись в его выдвижении. Какая должность для помощника может отвечать мыслям главы? Конечно же, должность его прямого зама — заместителя главы администрации района с правами первого. Прямой должности заместителя главы района, то есть самого Зарубнина, не было в штатном расписании. Зато была должность заместителя главы администрации, то есть второго главы, но не района, а только администрации. И занималась такая администрация исполнительскими функциями. Это обстоятельство никакого препятствия не представляло для тесного взаимодействия Георгия Георгиевича и Руслана Сергеевича.

Глава района размышлял: «Нет достойного образования у Руслана Сергеевича? Не проблема! Пошлём на какие-нибудь престижные курсы или президентские школы управления. И пусть кто потом заикнётся, что не готов человек к большой должности. В администрации вакансий нет? Не беда! Для начала отправим на пенсию одного из заместителей, явно задержавшегося на своём посту. Надо не просто отправить на пенсию, а вообще исключить эту должность из штатного расписания, чтобы временно никто не посмел претендовать на неё. Сделаем это в ходе „оптимизации



управленческого аппарата“. Кабинет займёт помощник, ведь он станет свободным. Пусть помощник освоится, вникнет, поможет и дальше „оптимизировать“ засидевшийся аппарат».

Оптимизацию придумал не новый глава, и начал её предшественник по указанию сверху. И не только аппарата администрации, но и всех других сфер деятельности управленческих структур: образования, здравоохранения, учреждений культуры и спорта. Ничего нового! Всё это было не раз. Оставалось продолжить работу, ускорить процесс! Комитет по развитию физкультуры и спорта возглавлял больше десяти лет грамотный руководитель с профильным образованием. Соединили его с отделом здравоохранения. Экономия? Конечно! Комитет по делам культуры сам бог велел объединить с отделом по делам молодёжи. Ещё экономия от сокращённой должности! Отдел по дошкольному воспитанию давно «просился» в городское управление образования. Объединили! Машина оптимизации работала без перебоев. Такую политику вели все министерства в столице. Особым рвением здесь отличались министерство здравоохранения и министерство образования. Они особо не пытались что-то объединять, а сосредоточились на процессе ликвидации малых и далёких от центров медицинских и образовательных учреждений: малокомплектных школ и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

— Набросай себе должностную инструкцию, — продолжал развивать свою мысль глава. — Потом посмотрим, как завершить это дело. Начнём с ключевых функций администрации. Какая, ты думаешь, сегодня самая важная из них?

— Может, избирательная комиссия, Георгий Георгиевич? — задумчиво спросил, а может, вопросом и утверждал помощник.

— Правильно, комиссия по выборам и её председатель! Как организуем выборы, так и управлять сможем. К тому же за «правильные» выборы премии дают. Избирательные фонды совсем не бедные. Подготовь предложения, вынесем документ на совет депутатов. Совет не сказать что лояльный пока к нам, но к новому главе должен отнестись с пониманием. Да и по его составу потом посмотрим. Не наш это пока совет! Совсем не наш! Ты понимаешь, нам нельзя допустить в совет кандидатов от других партий, тем более всяких там вольнодумцев, а по сути — анархистов, особенно от КПР. Эти вообще границ не знают. Опять начнут своим социализмом перед носом махать, доказывать, что в то время жилось лучше, веселее и собственность вся была народная. Да ещё тут же поднимутся их подпевалы из числа «бывших». Зачем нам это? Везде должны быть свои люди! Усвоил?

Помощник главы медленным движением головы сделал подобие одобрительного кивка.

Машина власти работала жёстко и чётко. Руслан Сергеевич без ненужных и вредных сомнений, без оглядки на реакцию коллег и представителей общественных организаций, партий, кроме одной, точно исполнял указания шефа. Новый состав совета депутатов был подобран в основном из двух примечательных сфер — главного предприятия и городских служб, подотчётных главе. Поэтому не случайно в представительном органе оказывались, кроме начальников цехов и отделов, то спортсмены-руководители, то директора школ.

Вернёмся на время в кабинет главы района. Площадь затихла. Машины больше не нарушали тишину и покой города. Погасли огни во всех кабинетах административного здания. Уборщицы закончили мыть полы, пылесосить ковры и дорожки, протирать от пыли служебную мебель. Сотрудники покидали здание строго по расписанию рабочего времени. Только некоторые из них ещё помнили, что в прошлые времена раньше главного руководителя ни один его заместитель или помощник не осмеливался покидать рабочее место. Все ожидали вызова или звонка. Уходили раньше только на вечерние мероприятия или делиться с «первым» лицом новостями дня.

— Руслан, принеси-ка чайку, что-то в горле пересохло. Домой ещё рано, надо подумать, как мы будем решать вопрос с молодёжью. Ясно одно: надо поручить своему человеку это дело, кто уже работал в молодёжной среде, понимает её запросы, по возрасту не ушёл далеко, мог бы по-современному организовать всё. Короче, здесь должен быть человек живой, мобильный, общительный, способный увлечь и школьников, и ребят постарше. Подумай, кого из нашей бывшей команды пригласить, не важно какого пола.

В городе Приреченске уже был молодёжный центр. Его учредили несколько лет назад по предложению группы бывших комсомольских работников и специалистов управления образования района. Администрация выделила свободное помещение и две ставки организаторов, обеспечила минимальное финансирование его деятельности. То есть основа для системной работы с молодёжью была. Новые руководители могли безо всяких проблем расширить его деятельность, ввести новые ставки, предложить на руководство нового, более компетентного и активного, на их взгляд, человека. Но в их «мудрых» головах были свои планы. Молодёжный центр представлялся как параллельная структура под действенным влиянием ресурсного центра. Главной темой самого центра должна стать инновация: то детище, которое при умном управлении «сверху» принесёт вскоре свои плоды.

Руслан вышел в смежную комнату, включил фарфоровый электрочайник, достал из холодильника

коробку с чайными пакетиками, печенье, сахар-рафинад, всё положил на два блюдечка. Комната отдыха отвечала её назначению. У стены стоял мягкий диван, напротив — небольшой холодильник, рядом металлический сейф для служебных бумаг хозяина, четыре стула и маленький столик. На стене висела картина в багетной раме от известного художника как подарок к юбилею города, оставленная первым главой администрации. Георгий Георгиевич не часто здесь отдыхал, не было времени. Заходил почитать доклад перед выступлением или ожидал время начала большого совещания.

Пока Руслан Сергеевич занимался подготовкой к «чайной церемонии», Георгий Георгиевич встал, начал быстро ходить по мягкому ковру, который «услужливо» поглощал звуки шагов и приятно действовал на нервы. Вдруг ему что-то вспомнилось, едва заметная улыбка появилась на холодном лице, в глазах блеснула искра от душевной волны восторженного сердца. Тёплое приятное ощущение пробежало по всему телу, словно ласкающее кольхание воздуха от горящего на снегу костра. Он резко остановился. То, что Георгий Георгиевич сказал, не было в его голове заранее осмыслено, он произнёс не те слова, какие крутились в его сознании, а совсем другие, и дал ничего не значащее указание помощнику. Мысли его были далеки от чего-то явного, осязаемого, как бы прилетевшие из прошлого. Произвольно и невпопад Георгий Георгиевич произнёс:

— Послушай, Руслан, убери ты картину, найдём что-нибудь получше. А эту отдай в архив.

Он остановился, посмотрел на чай, перевёл взгляд на часы и задумчиво сказал:

— Знаешь, Руслан, мне пришла в голову мысль найти Елену. Помнишь, она работала со студенческими отрядами, писала сценарии праздников и вообще «зажигала» студентов? Она потом уехала на юг области и там занялась каким-то бизнесом. У меня есть номер её телефона. Позвони ей.

Он взял в руки остывающую чашечку чая, глотнул быстро несколько раз и вдруг медленно, но твёрдо произнёс:

— Нет, я сам позвоню...

Руслан Сергеевич слушал внимательно своего шефа, что-то особо важное записывал в блокнот и дублировал текст на планшет. Я не обратил сразу внимание читателя на такую важную деталь, что они оба прибыли в районный центр с «умными» планшетами и время от времени нажимали на клавиши, иногда делали снимки. Информацию на их мониторах можно было в качестве аргументов в нужный момент показать подчинённому либо вышестоящему начальству. Какой-то материал они отправляли по электронной почте в нужном направлении. А бумажный блокнот по старинке служил с большей надёжностью, как

и все испытанные временем предметы. Их не «съедал» вирус или нарушение электронной схемы от ошибочных действий хозяев. В этом крылся профессиональный талант Руслана Сергеевича, он интуитивно чувствовал, что надо иметь при себе, а не искать нужную вещь вокруг, если вдруг возникнет такая необходимость. Он также не надеялся на свою отличную память, понимал, что какие-то обстоятельства могут повлиять на точность воспоминания, исказить незаметно смысл и значение слов и мыслей своего начальника. Имея хороший слух, он часто уточнял у собеседника формулировку мысли и записывал в блокнот. Близкие люди в его окружении, если, конечно, у них было развито воображение и способность абстрагироваться от конкретных вещей, стали замечать, что своими манерами и речью он всё больше походит на живой «протокол». Тем он и важен был своему близкому руководителю. Точность, краткость, конкретность мысли, строгое подчинение указаниям, независимо от того, согласен он с ними или нет, освобождали Георгия Георгиевича от излишних напутствий и поправок, дополнительных уточнений.

Прежде чем выйти из кабинета, Руслан Сергеевич на минутку задержался у широкого окна и через приоткрытые жалюзи взглянул на вечернюю площадь. Её не спеша пересекали две бездомные собаки. Первый пёс наверняка играл роль вожака дворовых стай. Его голова была высоко поднята на гладкой прямой шее, длинный хвост вихлял из стороны в сторону, обеспечивая хозяину заданный в голове маршрут. За ним бежала, склонив лохматую голову до асфальта, потрёпанная в собачьих боях сучка. Её хвост был плотно прижат к задним ногам.

В голове Руслана Сергеевича на секунду мелькнула мысль: «Пожалуй, не совсем был прав Георгий Георгиевич, имея в виду, что не хвост, а голова должна управлять. Посмотрим». Владея компьютером и будучи неглупым человеком, он знал из интернета, что *«прежде всего, благодаря хвосту собака может держать баланс при движении. Хвост также выполняет функцию руля и помогает собаке выполнять прыжки, подъёмы и повороты. Собачий хвост служит средством коммуникации с другими псами, по нему можно определить настроение собаки»*.

Это вселяло в молодого помощника уверенность в пользу своего присутствия при главе района. Но высказать свою крамольную мысль он не посмел, даже немного испугался, что она пришла на ум.

## Губернатор тоже человек

Район, в котором Георгий Георгиевич начинал новую жизнь, как уже читатель понял, ранее был богатым и процветающим. В его главном городе Приреченске, местной столице, после губительных девяностых годов остались на плаву два мощных

предприятия. Десятки других, вместе с «дочками» гигантов, были обанкрочены. Борьб́ся с этим было бесполезно, и обращаться за помощью, как в те «славные» времена, было просто опасно в целом для всего района.

Георгий Георгиевич знал, что город набрал силу как раз в то время, когда страной правили престарелые лидеры партии и правительства, а создавали богатства «совки», «коммуняги», молодые добровольцы. Они накопили такую силу в «застойной экономике», что с большими потерями, но всё же страна проскочила пагубные девятые годы. Так бы и шли дальше, если бы «умные» и энергичные «деятели» нового мира не общипали эту экономику и духовную самодостаточность почти до «скелета». Стали сами всем править прямо из столицы и решать, кому сколько положено и кого можно допускать к финансовой «водокачке», а кого держать подале́ше. Чтобы налогоплательщики не сомневались в хозяйственном таланте правителей, они законом определили, например, одну стоимость по всей стране вывоза мусора. Более того, «умные головы» подсчитали, сколько в стране установлено мусорных баков, сколько не хватает, и сейчас решают проблему, где и как их изготовить и снабдить все регионы в централизованном порядке. О цене речи не идёт, как всегда. Местные власти выложат сколько надо. А вспомним бесчисленные законы «по алкоголю» или запрет на привлечение школьников к труду. По стране с широким размахом внедряются новые технологии и разные изобретения для досуга и развлечения детей и взрослых. На людных местах строят качели, шезлонги, ставят дорогие и модные скамейки, возводят ramпы для юных любителей скейтборда и всё остальное, что давно уже есть во многих странах. Теперь будет и у нас в каждом городе. Не отстаём от прогресса! Только не спрашивайте, сколько это стоит, у кого «списано» и кто монополист их продвижения на рынок. Всё же приятно покачаться на современных типовых качелях и полежать в шезлонгах. Или посмотреть, как подростки ловко маневрируют в мини скейт-парке по ramпе, стоя на тех самых скейтбордах.

Думаю, что смеяться по этому поводу преждевременно. Посмотрите, что делается в «цивилизованном» мире. Какие «умные» законы правители принимают в своих странах. Возьмём, например, город Белмедир в Калифорнии. Там муниципалитет вынес постановление, которое гласит: «Собак запрещается пускать в общественные заведения, кроме как с владельцами на поводке». А в Коннектикуте велосипедистам запрещено ездить со скоростью больше ста километров в час. Да что там «умная» Америка! Посмотрите, какие законы принимают в Австралии: в провинции Виктория менять электрические лампочки в домах разрешается только электрикам, имеющим специальную

лицензию. В Англии есть также очень строгий закон, запрещающий вывешивать кровать из окна. По сравнению с этим у нас просто гениальные законы. Выполнять их должны новые молодые кадры. Стало быть, кадровый вопрос обрёл особое значение и стал во главу угла. Вот здесь-то и появились уникамы, которых и называть стали по-новому: менеджеры, топ-менеджеры, драйверы процессов и тому подобные «новоделы». Приложил к этому руку выходец из Колорадо-Спрингс, некто Тэлкотт Парсонс, который не в пример нашим бывшим марксистским экономистам быстро разобрался с уровнями управления (даун-менеджер, миддл-менеджер и тот самый топ-менеджер). Простому россиянину стало понятно: если ты топ-менеджер, то и зарплата у тебя «топовая», и считается она не в рублях, а в долларах, и не сотнями, а миллионами. Но если совсем по-простому, как любит понимать наш обыватель, то править бал на предприятиях стали директора—наши доморощенные топ-менеджеры или присланные более высокими «топами» для направления денежных потоков в нужную сторону, а в местных органах власти—главы, чтобы закрывать на всё глаза, и не только... Правда, не до конца разобрались: двух глав ставить на местную власть, или одного. Столица разберётся!

У кого учился наш главный герой «современным» методам руководства районом? Так уверенно и решительно начинать действовать может только руководитель, прошедший определённую школу. Мы знаем совершенно точно, что это не был университет. О специальности, записанной аккуратным почерком в главном документе выпускника технического вуза, он сразу забыл и взял жизненный и деловой курс в сторону публичной общественной и административной работы. На этом поприще наш выпускник проработал недолго и был включён в команду молодого областного лидера на третьи-четвёртые роли. Вот она-то, эта команда, и оказалась стартовой площадкой значимой карьеры. Стало быть, определяющее влияние на стиль и характер его поведения оказали люди, которые им руководили.

Возглавляли региональную власть в разное время самые разные лидеры, но были среди них те, кого можно назвать «зеркалом эпохи». В короткий период самой «разгульной» демократии на арене областной власти появились два разных по профессии и менталитету губернатора. Одного местного руководителя хозяйства столица рекомендовала избирателям, чтобы спасти хотя бы часть народного достояния на селе и в промышленности. Его многолетний опыт, независимый и твёрдый характер, мудрый собственный подход к многочисленным постановлениям и указаниям из областного центра и столицы раздражали порой секретарей обкома партии, но на его стороне

твёрдо и постоянно был недостижим для других результат работы. И все мирились с упрямым директором совхоза. Когда пришло время, ему предложили возглавить областную власть. Чувствовал он себя неловко в ней, этой власти. Область большая, а силы уже не те. Написал заявление на имя президента и ушёл. А другого, профессора, столица также рекомендовала избирателям области, чтобы использовать его знания и опыт в экономической науке, начать долгожданные реформы хотя бы в масштабах региона. Это был интеллигентный и доступный руководитель, тонко вникающий в суть проблем. Он внимательно и отзывчиво работал с главами районов и городов, быстро откликался на их просьбы. Если его предшественник мог обеспечить население области самыми качественными продуктами, то этот, по-научному выверенно, мог сохранить работающие предприятия и перевести их на современный уровень. Добрые, умные, профессиональные, они подбирали в свои команды настоящих специалистов, грамотных и культурных. Воспитывали их на собственном примере и настоящих, ещё не подвергшихся разрушению духовных ценностях.

Оба не смогли задержаться надолго на своих ответственных постах и оставить коренной след в истории области, реально повлиять на стихийное развитие событий. Такие не задерживаются. Их просто не держат, или они сами уходят, когда понимают, что от них требуется совсем не то, что действительно нужно населению области. Правители в Центре предпочли «ножки Буша» добротной пище, а работающей промышленности — груды металлолома на китайской границе. С запада шёл мощный вал новой, непонятной народу силы, сметающий на своём пути всё, что ещё было важного и значимого в сознании людей. В область на главный пост, меняя друг друга, начали прибывать посланники столицы. У каждого был свой неповторимый характер и привычки. Только их команды выглядели одинаково. Они назначались не развивать область и поднимать ресурсы на благо народа, а для исполнения чьей-то воли и своего личного обогащения. Одни помощники и заместители губернатора «добывали» крупнейший обрабатывающий комбинат, другие «отжимали» у законных хозяев, трудового коллектива, акции уникального фармацевтического предприятия. Третьи разъезжали с любовницами по районным деревням и порой постреливали из автомата Калашникова для развлечения. Началась «весёлая» жизнь. Какую же роль играли пришлые команды в воспитании своих подчинённых? Каким кадрам они давали дорогу в большую политику и власть? Георгия Георгиевича продвинул губернатор, чей портрет стоял у него в кабинете, посланец Центра, от богатого района, где хозяйничали олигархи. Хватка — чисто капиталистическая, без эмоций.

«Выжимать из области, выжимать из людей!» Кем могли быть его назначенцы? Думайте сами.

Может, не все, но большинство продвинутых во власть «птенцов» с кого-то брали пример. Они наблюдали за действиями своих начальников, невольно впитывали их стиль работы, отношение к людям, особенно — к подчинённым по всей служебной лестнице, до отметки, на которую позволяли себе спускаться при общении. Чаще всего такое заимствование, усиленное подобострастием, обретает искусственную форму с оттенком карикатуры. За добротным пиджаком аккуратного, энергичного, не последнего ума высокого чиновника ловко прячется целый террариум особей под названием: гордыня, спесь, гонор, тщеславие, мания величия, звёздная болезнь. Бывает же так, что в душе подчинённого зреет протест против своего начальника, но он терпит, «скрипит» душой и выполняет все его прихоти. А когда вырывается на свободу, может, по воле своего же сатрапистого шефа, то отводит душу уже на своих подчинённых, с ещё большим ожесточением и презрением. Это только догадки автора. Всем, кто пишет, свойственно ошибаться, особенно когда они черпают информацию не прямо, а из вторых уст.

И всё же мы заглянем на минутку в большой кабинет главы обширного по территории и ресурсам региона. Напомню, не района, а целой области. Не в сам кабинет, а в комнату отдыха, смежную с ним, где на истоке трудового дня первый начальник вверенной ему бескрайней территории в свободной дружеской манере ведёт деловые разговоры с руководителями городов и районов, друзьями из столицы, принимает решения, которым поутру помощники и секретари придадут форму документа. Если глава региона переходит в эту комнату после восемнадцати часов, значит, он может позволить себе немного расслабиться, вести разговор не официальным, а несколько дружеским тоном, угощать гостей не только минеральной водой и чаем. Это ещё первые два губернатора могли повести гостя в общую столовую, выпить с ними по паре чашек чая или по стакану компота с пересушенными фруктами и вернуться к рабочему столу. Отсталые были руководители, не умели принять важного гостя. Новое поколение сразу отличилось от них и от европейских коллег — типичных «жмотов». Жизнь пошла на широкую ногу. Не стыдно было пригласить и самого президента. Посетитель мог заметить, что в хрустальных пепельницах лежат окурки престижных сигарет. Бывает, что совсем не случайный фермер, бывший председатель совхоза, ещё не испорченный цивилизацией, достанет из кармана помятую пачку обычных российских папирос, похожих на марку «Беломорканал», и с независимым видом затянется густым терпким дымом. Красивым вьющимся облачком он зависнет под потолком с лепниной пятидесятих

годов двадцатого столетия, медленно исчезая за решётками вытяжных вентиляционных отверстий. Разговор оживляется, когда на круглом столе главы региона помощник начинает откупоривать бутылки виски или «заморского» коньяка. Но посетителей больше привлекала фирменная, охлаждённая до появления искрящихся росинок на стекле бутылки, российская водка. В ход шёл и популярный в те годы в среде чиновников и начинающих бизнесменов коньяк «Хеннесси». Здесь же стояла пластиковая бутылка с тоником для любителей развлекать крепкие напитки, в первую очередь — джин. У хозяина кабинета теснились в холодильнике и другие крепкие вина брендовых марок. Это были, как правило, подарки хозяину кабинета по особым случаям и подавались на стол только в ходе частных бесед один на один с важными собеседниками.

По названию и содержанию красивых бутылок можно было догадаться, что они помогали загруженному повседневными заботами губернатору и его друзьям не то чтобы отключиться от мрачных мыслей, но получить чувственное удовольствие и наслаждение. Эпикуру бы пришлось помечтать об этом, покидая философский свой сад. Но он не огорчится: мудрый философ призывал своих учеников приучать себя к скромному и умеренному образу жизни.

Читатель может подумать, что в изложенной картине рабочего быта хозяина региона заключён общий стиль работы высоких руководителей. Напомню, что говорил выше: разные были губернаторы, случались персоны, полярно не похожие друг на друга.

Губернатор тоже человек! Ему не чужды простые человеческие проявления, особенно когда он объезжает районы, знакомится с состоянием дел на местах, по ходу решает какие-то проблемы. Один из самых известных в России губернаторов региона часто бывал в районе и городе, о котором мы ведём речь. Делал решительные попытки отстоять угольные разрезы и тепловую электростанцию. А вечером играл в шахматы с заядлыми шахматистами города и лично с главой, весело и непринуждённо разговаривал с активными людьми за большим общим столом в местном кафе. Конечно, армянский коньяк и водка не позволяли высохнуть рюмкам и фужерам в руках хозяев. Только многие замечали, что губернатору подливает в рюмку маленькими дозами его помощник из собственной плоской бутылочки, извлечённой из внутреннего кармана пиджака. Эти времена быстро прошли.

«Эй, Жорик, принеси чаю», — вскрикивал часто хозяин кабинета, уже другой губернатор, взмахивая правой рукой, пощёлкивая большим и средним пальцами. Из приоткрытой высокой и тяжёлой филёчатой двери показывалась на секунду

голова молодого человека и понимающе кивала шефу. Через несколько минут перед ним появлялся дорогой поднос с чашками ароматного чая. Друзья и недруги молодого человека так и прозвали его: «Жорик, принеси чаю». Большой начальник, лишённый от природы уважительности к людям, той толстовской любви и стремления понять их, вознесённый стечением обстоятельств на высоту, с которой он может отдавать приказы и распоряжаться судьбами людей, не заметит, что прокатился тупым катком по его душе, оставил болезненный след. Может, это обстоятельство больше других запало в ревнивую и честолюбивую душу будущего главы района? Эта уничтожительная рана будет долгое время напоминать о себе, порой приводить в бешенство, которое можно охладить точно такими же поступками, унижая подчинённых ему людей. Да, это был он, Жорик — Георгий Георгиевич, на старте своей молниеносной карьеры. И у него скоро будут свои подчинённые люди, свои сферы влияния, и он, сознательно или нет, будет их учить, лепить по своему подобию новую когорту бюрократов: честолюбивых, завистливых, бездушных, без всякого понимания их истинного призвания понимать людей и помогать им.

Что нам кабинеты самых больших начальников? Правды из них всё равно не узнаешь. Наша задача другая: пообщаться поближе с новым главой районного центра. Поэтому я и остановился на первых шагах его карьеры.

Смеркалось. Рабочий день давно закончился, но два человека продолжали обсуждать текущие проблемы. Город не был столичным, даже областным центром, читатель это знает. Поэтому с наступлением сумерек и пешеходы, и автомобили спешным аллюром расходились и разъезжались по дворам многоквартирных домов, оставляя улицы мрачными и пустынными. Совсем недавно всё было по-другому. Машин почти не было, но город освещала неоновая реклама. Она была всюду: на фасадах Дворца культуры и музыкальной школы, почти на всех магазинах, кинотеатре и других общественных зданиях. Этим занималась большая мастерская. В новом веке вместе с предприятиями, магазинами и общественными зданиями быстро исчезала и неоновая реклама, пока совсем не стало темно. Новые власти с дирекцией главного предприятия вместо всего этого повесили на фасадную стену Дворца культуры огромный электронный экран. Теперь этот телевизионный экран стал излучать на площадь перед прохожими по-современному достижения предприятия и администрации города. А чтобы не было скучно, в перерывах стали запускать ролики о жизни в районе. Но реклама снова начала появляться на частных магазинах и фасадах административных зданий предпринимателей, возвещая наступление нового времени, той рыночной экономики, против

которой боролись семь десятков лет идеологи прошлой эпохи.

«Нет худа без добра» — нашим героям поздний безлюдный вечер давал возможность поработать без назойливых посетителей и чиновников аппарата. Чёрная иномарка в темноте наступившей ночи, едва освещённая уличными плафонами, стояла у подъезда без водителя. Глава района часто задерживался после рабочего дня в своём кабинете. Уезжал с работы сам и оставлял машину до утра у своего дома. Водитель забирал её рано утром и начинал с главой объезжать город, проблемные объекты, часто отправляясь в районные посёлки и сёла.

— Георгий Георгиевич, забыл сказать, — заканчивал разговор помощник главы, — что вчера приходил местный писатель и передал вам свою книгу. Сказал, что она об истории района и вам интересно будет прочитать её.

— Ты же наешь, Руслан, я вообще-то книг не читаю. Зачем время тратить? И так увидим всё своими глазами и услышим кого надо. Передай её в библиотеку.

В половине двенадцатого собеседники покинули здание администрации.

### И стол как зеркало души...

Кабинет главы района отвечал самым современным требованиям. За спинкой высокого кожаного кресла на флагштоках стояли два флага. Один — государственный флаг, триколор, другой — флаг района, как его порой называют — штандарт. На стене висел цветной портрет президента страны. Его брутальный, направленный в сторону входной двери взгляд и тонкие поджатые губы твёрдого политика-вождя всем входящим внушали лёгкий трепет и чувство правоты державного курса. Этот портрет с колющим взглядом главы государства особенно нравился женщинам всех возрастов. Некоторые из них даже повесили его копию в своей квартире и с восторгом начинали обсуждать незаурядные действия лидера государства, когда приходили гости.

Совсем недавно прошла эпоха портретов великих и не очень вождей. В каждом кабинете должен был висеть фотопортрет, или выполненный в масле, ушедшего в историю создателя государства или великого теоретика. Обязательным был портрет действующего лидера партии, но, несмотря на государственную обязательную идеологию, хозяева кабинетов могли сами выбрать по своим убеждениям и вкусу, чей портрет поместить над рабочим столом. Чаще такой выбор падал на самого авторитетного в то время, окружённого легендами тысяч книг и статей, вождя мирового пролетариата. Это был выбор души. Такова была вера в тот «верный» путь для народа, который он указал всей своей жизнью. Но вернёмся к нашим героям.

В том же кабинете главы района, справа от его кресла, на полке, стоял в красивой, под цвет золота, рамке, меньший по размерам, портрет губернатора области. Молодого, черноволосого, с восточными чертами лица, массивным, с ястребиным изгибом, носом, чуть закруглённым к губам, словно клюв хищной птицы, и несколько лукавым взглядом полупущенных глаз. Будто прятал свои мысли от окружающих. А может, чего-то и опасался. Второй портрет совершенно не нравился ни мужской, ни женской половине администрации района, они тяжело косились на него, и взгляд их выражал недоверие. Это был назначенец президента из числа молодых, да ранних бизнесменов. У него была особая миссия в области. Не умом обозревать просторы вверенного ему региона и налаживать жизнь трудового народа на современный лад, а строго выполнить два его указания: добывать нефть и строить дороги. Остальное — как получится. Замечу, что я не совсем прав, были у него и другие интересы, которые не определял президент. Им-то он уделял первостепенное внимание и старался никак их не афишировать. Может, потому он и не глядел в глаза простоватым собеседникам. Но при встрече с подчинённым, в первую очередь главой города или района, он мог прожечь их одним взглядом. Не дай Бог проявить к молодому губернатору невнимание. Мигом загонит в финансовую кабалу и к новым выборам поддержит другого, более лояльного кандидата.

Мебель в кабинете была новая и модная. Кресла — в коже бежевого цвета. Каждый следующий хозяин кабинета считал своим долгом поменять тот деловой гарнитур, которым пользовался предшественник, так же как и машину. Мало ли кого возил его предшественник и какую оставил в ней ауру. Раз рано убрали, значит, неудачник был, не сумел сохранить власть, хотя за бюджетные деньги успел поставить к подъезду дорогую иномарку. Через этого главу, выдвинутого на должность директором главного предприятия, в район начала проникать новая власть — действительно властная и жёсткая, как и сам директор. Чем меньше владел назначенец искусством управлять, тем строже становились его голос и взгляд, тем легче он решал судьбы подчинённых. Но время давало району и тех руководителей, которые обладали способностью организовывать и поднимать народ на решение поставленных задач. Их школа жизни была проста и сурова. Каждый в начале трудового пути просвечивался жёстким, как рентген, взглядом бригадира, потом начальника цеха или отдела. Задания были конкретны, и выполнять надо было быстро и добротнo. За строгостью начальников человек ощущал и заботу о нём, получал вовремя поддержку, если нуждался в этом. Где бы он ни работал, заставляли постоянно учиться. Особо не уговаривали — заставляли! Давали практическую

работу, её тонкости постигали при участии наставников, потом на цеховых курсах, технических и экономических, которые вели свои же инженеры, и, конечно, обязательной была политехучёба, регулярные собрания. Хотел работник того или нет, но даже подсознательно впитывал полезные знания, которые ему помогали и работать, и общаться с «умными» друзьями. Работник постоянно был под целенаправленным вниманием извне, формировал и шлифовал характер, свою профессиональную пригодность сообразно задачам страны, её стратегической линии. Хорошо это или плохо, решайте сами. Но то были особые люди, владеющие ситуацией, они не боялись ни приказов начальников, ни их сумасбродного поведения. Знали своё дело и умели обращаться с людьми, не унижая их достоинства. Поэтому необычное поведение новых руководителей района, какого ещё не испытывали на себе, вызывало у людей усмешку и едкие замечания, особенно в узком кругу. Во всей театральности их поступков они видели внутреннюю слабость, всё ничтожество и ущербность случайного появления на этом месте, несоответствие «высокому креслу».

Молодой глава, рекомендованный областным руководством, не замечал этого, а может, не хотел замечать и действовал без внимания к особенностям людей, их уникальным способностям. Не было времени проникать в их души. Быстрый, как штык нападающего, приказ, и — попробуй не выполни. Участникам ежемесячных совещаний, оперативок запомнилось его первое появление перед ними. Руководители приветствовали его стоя, а когда сели, директор крупного муниципального предприятия Евгений Леонидович вновь поднялся и обратился к новому главе: — Георгий Георгиевич, от имени всех присутствующих разрешите мне приветствовать вас на ответственной работе и пожелать успехов. Мы думаем, что сработаемся с вами, у нас всё получится, и будем вместе решать проблемные вопросы.

Лицо главы района исказилось в презрительной улыбке, и он дикторским тоном произнёс:

— Мне не нужны ваши «пожелания», и я не собираюсь с вами «срабатываться». Будете выполнять мои указания. Запомнили?

Режим работы глава установил особый. Может, он отражал тенденцию возрождённого капиталистического государства. Может, воплощал особое отношение к своим властным функциям и твёрдо определял порядок, как править бал и вершить судьбы подчинённых, а вместе с ними и всего населения района. Совсем недавно был механиком в большом автохозяйстве, смотрел на начальников снизу вверх. Теперь судьба, а может, «свои ребята», по неизвестным никому расчётам в правительстве области, подарили молодому энергичному чиновнику шанс смотреть на всех

с высоты первой должности в районе. Значит, надо сразу показать всем их место в жизни и его собственное, обозначить границу.

Обширный стол главы района тоже говорил о многом. В прежние времена у первого и последнего мэра, как называлась подобная должность первого лица района в девяностые годы, стол был завален бумагами, папками, между которыми ютились оргайзер, а на приставном столике — два или три простых телефона. Но среди них был один особенный. Называли его телефоном правительственной связи «вч» (высокочастотный с шифрованием разговора). Пожелтевшие, с завитушками, края бумаг свисали из папок и подсказывали посетителю, что хозяин кабинета перегружен неотложными делами, ему некогда заглядывать в бесконечные отчёты, деловые письма и поощрять канцелярский раж своих подчинённых. Сменивший его очередной глава очистил стол ото всех бумаг, самые неотложные спрятал в боковые ящички и мог любоваться своим отражением на тёмной полировке столешницы. Наш главный герой, в отличие от первых исторических руководителей района, полностью положился на секретаря приёмной и специалистов общего отдела. Они приносили к нему согласованные службами по всем вопросам документы, которые он быстро просматривал, ставил подпись или посылал на доработку, и тут же отправлял их в отдел для регистрации и к исполнителям. Вполне разумно! Небрежности или показушности в этом не было.

Вскоре на двери установили табличку, запрещающую входить в кабинет с сотовым телефоном и какими-то вещами. Правильно! Пусть не отвлекают от работы! Строго устанавливался регламент личного приёма граждан: только по предварительной записи, — и это сразу вызвало возмущение посетителей, которые потратили время на ожидание означенного часа и даты, но встреча не состоялась по «уважительной причине». Начальникам управлений и служб вход разрешался только по договорённости через секретаря приёмной, с записью в журнале. Такого раньше не было. Один бывший работник первой, ещё советской, администрации, прочитав табличку, немного посмеялся, прикрыв рот ладонью, потом заметил стоявшему рядом товарищу:

— Помните, первый глава и его заместители держали всегда двери открытыми, и каждый желающий мог зайти, если хозяин кабинета не вёл совещания? Мы, да и все начальники отделов и управлений, могли открыть дверь в кабинет в любое время без согласования. Это же помогало быстро решать проблемы и не накапливать их на будущие времена.

— Да, — вторил ему собеседник, — те руководители владели ситуацией и имели собственные силы, если хотите — интеллект, справляться с проблемами

без напряжения собственного и тех, с кем решали проблемы района. Глава не утопал в мелочах, он в рабочее время мог решать стратегические задачи. Своим отношением не отталкивал, а притягивал людей, они не боялись проявлять инициативу и брать на себя ответственность. И это был один из верных источников успешной работы всей администрации района. Потому и крепла основа развития всех отраслей, и в первую очередь тех, которые, кроме городской власти, никто поднимать не будет. Это, конечно, образование, здравоохранение, культура.

Что ж:

«...кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22:21).

### Дело важное!

Не новое это дело, но эффективное на взгляд главы — строго соблюдаемый порядок работы по контракту. Раньше на него особо не обращали внимания: формальность, да и только! Каждый знал своё место и своё время. Можно назвать это гармонией в отношениях начальника и подчинённого. Но сейчас такое, казалось, рядовое обстоятельство обрело совсем другую перспективу, внушающую постоянный страх за своё место у служащих всех рангов. Принятому на работу сотруднику устанавливали вначале короткий испытательный срок нахождения в должности, потом подписывали контракт на год-два. Чаще, конечно, на год. Ничего противозаконного в этом не было. Но у нас же всё не так, «как у людей». Новый начальник больше смотрел на подчинённых с точки зрения лояльности, верности ему. Не дай Бог, он чего-то послушается, пойдёт самостоятельным непонятным путём, да ещё вдруг выскажет своё особое мнение, то — вот он, контракт. Без объяснения причин в отделе кадров скажут чиновнику: «Ваш контракт заканчивается, глава его не продляет. До свидания!» На вакантное место тут же ставили «своего» человека.

Добрый читатель, конечно, пожалеет обиженного сотрудника. Привычка того времени заключалась в том, что первым, кого народная молва негласно обвиняла, был начальник. Мол, он такой строгий, жёсткий, бездушный, обидел работника. В нашей ситуации обвинят, конечно, главу района или его заместителей. Бросят незаметно осуждающий взгляд в его сторону. Но, как читатель знает, «нет худа без добра». При «добренькой» власти всегда находятся приживалы, которые пользуются таким «интеллигентным» поведением руководителей. Не справляясь со служебными обязанностями, всячески держатся за место и проявляют агрессию, если их попытаются поставить на место или освободиться от них.

Несколько лет назад работала в одном отделе немолодая уже служащая, занимала должность заместителя начальника отдела. Делала ошибку за ошибкой, заваливала все поручения, не могла

закончить ни одну справку по каким-то проблемам. Ей вежливо намекнули:

— Ольга Сергеевна, не хотите ли вы перейти в специалисты? Зарплату оставим прежнюю, там легче вам будет работать.

— Вы что, хотите от меня избавиться? Не получится! Вы же знаете, что я потеряю право на доплату к пенсии, если уйду досрочно на более низкую должность?

Не получилось её уговорить. Тогда назначили переаттестацию. Решением стало: «несоответствие занимаемой должности». Ольга Сергеевна подала в суд, конечно, «самый справедливый», показала там грамоту, которой её наградили год назад за компанию с другими сотрудницами к празднику Восьмое марта, то есть к женскому дню, и суд вынес решение в её пользу. Так и «работала» «ударница коммунистического труда», пока не вышла на пенсию. Но — те времена закончились, и всё обернулось совсем в другую сторону.

Самым заметным нововведением хозяина кабинета был «протокол». Попросту — регламент отношений должностных лиц во время массовых и камерных мероприятий, деловых и служебных взаимоотношений между руководителями и подчинёнными. Если говорить точно, то «протокол» как таковой был и до него. «Заслуга» Георгия Георгиевича в том, что он вдохнул жизнь в «мёртвую» бумагу и придал ей своё особое лицо, характер и значение. Как вести себя ведущему мероприятие: кому и когда подавать микрофон, как его ставить перед очередным выступающим или убирать на короткое время, кому первому давать слово, как подносить награды, цветы и тому подобное. Обязательным стало фотографирование всех награждённых за какие-то заслуги с главой. Ещё до прихода новой команды, видимо, для того, чтобы подчеркнуть важность формальных отношений в новых условиях, изменили название должности заместителя главы администрации по общей работе на: «заместитель главы администрации по организационной работе и протоколу». Но акцента на последнем слове не делали. Работали спокойно по законам страны и уставу района. Депутаты придерживались своего регламента, который сами же и утвердили. С приходом нового руководителя «протокол» стал понятием активным и обязательным. Им очерчивался, словно «чёртовой чертой», круг возможностей или дозволенного им порядка по отношению ко всем, кто соприкасался с властью. Обязательным стало согласование всех сценариев районных мероприятий с главой или его заместителем.

Поздно вечером Руслан Сергеевич вызвал в кабинет главного тренера по классической борьбе и спросил:

— Так, Анатолий Иванович, завтра встречаешь гостей из области?



— Да! Мы пригласили Георгия Георгиевича открыть соревнования. Приедет председатель областной федерации, его заместитель и чемпион Олимпийских игр Рустам Сагдулаев.

— Расскажи, как будете встречать гостей, кого ещё пригласили, покажи сценарий.

— Да, мы разработали сценарий, пригласили директоров спортивных учреждений, председателя комитета по спорту, теперь он заведом. Есть целый список. Также пригласили Алексея Васильевича Громова, он долгое время курировал спорт в районе, почётный гражданин, будет выступать вторым.

Руслан Сергеевич вперил свой тяжёлый холодный взгляд в глаза главного тренера и, хлопнув правой ладонью по раскрытому тексту сценария, произнёс:

— Так, стоп! Вычеркни из списка Громова, пусть сидит со всеми вместе. Первому дашь слово Георгию Георгиевичу, за ним — заслуженному тренеру по вольной и греко-римской борьбе, председателю федерации. Последним будет выступать олимпийский чемпион. И достаточно! Покажете ролик о наших достижениях за последние полгода. Понятно?

Во времена не столь отдалённые всё было проще. Если на значимое мероприятие приглашали главу района, то сообщали ему об этом накануне, дня за два-три, и получали согласие. Он мог навести справки, что-то дополнительно уточнить и появлялся в назначенное время один или со своим заместителем на месте события. Ему давали слово, и он душевно произносил нужные слова. Никакой специальной подготовки заранее со стороны его помощника или аппаратных работников не было. Да и помощника тоже не существовало. И не было такой необходимости первому лицу готовить под себя сценарий.

Опять же, при всём уважении к первому мэру, надо знать тем, кто готовит мероприятие, кому можно доверять ответственное дело, а кому нет, каков уровень культуры организаторов, их опыт. Неловко почувствует себя руководитель, если его подчинённые всё пустят на самотёк и превратят торжественное мероприятие в сходку. Значит, прав был отчасти Георгий Георгиевич.

Громов сидел среди почётных гостей. Справа от него расположился знаменитый тренер из областной федерации борьбы, рядом с ним — глава района и его заместитель по вопросам социальной сферы Василенко Надежда Павловна, заслуженные тренеры — ветераны спорта, воспитавшие несколько поколений спортсменов в районе. Объявили построение команд, их торжественное прохождение. Спортсмены маршировали по двум большим борцовским коврам. В каждом из них было по два круга: внутренние круги жёлтого цвета и предупредительные красные круги вокруг них на синем поле штрафной зоны. Всё это выглядело красиво

и настраивало ребят на стремление к победе. Громов всматривался в их лица: сосредоточенные, с мечтой о победе, с тем ещё юношеским складом тела, когда мускулы только начинают обретать бойцовскую форму и делать фигуру крепкой и статной. Он представил на минуту тех первых борцов — участников Олимпийских игр, которые двадцать семь столетий назад впервые вышли на стадион перед восхищёнными греческими болельщиками. Мальчишки, которые проходили перед его глазами, связали в сознании то историческое время и сегодняшний день, и жизнь представилась одним бесконечным пространством, общим во времени.

На торцевой стене зала борьбы был закреплён огромный баннер с портретом бывшего главы района Василия Григорьевича Коваленко. Турнир посвятили его памяти. Стоя прослушали государственный гимн. Выступил глава района с поздравлением участников соревнования и началом такого важного события. Он отметил роль первого мэра и главы района в развитии спорта и создании прекрасного спортивного дворца борьбы. За ним дали слово председателю областной федерации борьбы и известному спортсмену области. После него к микрофону вышел скромной, совсем не спортивной походкой олимпийский чемпион. Его голос и стандартные слова заметно снизили боевой дух молодых спортсменов, это было видно по их лицам. Дети ожидали от чемпиона особых, зажигательных слов, может, подсказки, как стать олимпийским чемпионом, или весомого напутствия. Вместо того они увидели потухшие глаза немолодого чемпиона и натруженные кисти рук с синими ручейками сосудов.

Громов приготовился выступить, ждал с волнением приглашения от ведущего, но тот объявил завершение торжественной части, и начались соревнования. Если бы ему сказали заранее, что порядок этой части мероприятия изменён, он бы принял это только с облегчением. Алексей Васильевич всегда волновался даже перед самым коротким выступлением, искал то, что он называл «ключом», то есть самым важным для слушателей. Но здесь всё выглядело как-то странно. Когда один из близких Громову тренеров «по секрету» сказал, что накануне в сценарий вмешался Руслан Сергеевич, он решил больше не участвовать в мероприятиях, где был глава района или его визави, и вспомнил слова Конфуция: «Если тебе плюют в спину, значит, ты впереди».

«Нет, здесь что-то не так, — подумал он. — Я ни с кем не соревнуюсь, далёк от подобных сравнений. У меня своя жизнь, свой её смысл. Смешно претендовать на первенство с кем-то из числа действующих чиновников. Всё это похоже на обиду. Какая может быть обида на такого служаку, с амбициями превосходства, со слепым подчинением начальнику? Нет! Это протест, это его начало».

Громов знал жизнь в разных её проявлениях и понимал, что настоящей опоры у этих «важных персон» нет. «Тень» Зарубнина—это временная иллюзия. А сама пара и их прислужники—всего лишь призрачное племя между «товарищами» и «господами», не понявшее ни тех, ни других. Неужели они думают, что действительно находятся на высоте положения и что это навсегда? Бескрылые, они думают, что парят над paradise? А на самом деле падают на мусорный полигон своего будущего «рая».

Он-то хорошо понимал, что удержать даже краешек той власти, на которой они оказались совсем случайно, им просто не удастся. И причиной того будут сами, с их сознанием и карьерным жизненным опытом. И вспоминал уроки своих руководителей, волевых и решительных, заслуженных по праву,—словом, харизматичных, но скромных и уважительных в общении с любым человеком, независимо от его положения. Он даже не поверил своему бывшему сотруднику, который рассказал, как организуются выступления с участием администрации.

Если человеку на мероприятии давали первому слово только из уважения к его значимости в обсуждаемой теме, а не по должности, начальник отдела мог наказать руководителя учреждения, где проходило очередное действо, или сделать ему строгое замечание. Руслан Сергеевич своим указанием только подтвердил новый порядок. В первую очередь давали слово представителям администрации, после чего к микрофону допускались заслужившие лояльность руководителя, независимо от их заслуг и авторитета. Должность чиновника, ступеньку его карьеры сделали главным критерием непрекращаемой значимости должностного лица и забыли мудрую поговорку: не место красит человека...

Ко всем этим «достижениям» добавилось ещё одно. Если мероприятие в библиотеке или Дворце культуры готовилось с участием представителя администрации, оно получало статус городского, а если библиотека сама, без официального приглашения чиновников, проводила своё мероприятие—например, презентацию книги,—то оно считалось районным. Здесь не появлялись представители СМИ и не было того мнимого торжества от присутствия важной персоны. Случайный приход кого-то из администрации района вызывал лёгкую панику руководителя, слышались испуганные шепотки: «Кто пригласил, зачем? Почему заранее не согласовали?»

Значит, кончились те времена, когда любой заместитель главы из личного интереса мог забежать «на огонёк», посмотреть, послушать, тихо удалиться. Всё должно быть официально и очерчено уровнем должности посетителя.

Алексей Васильевич Громов жил отчасти прошлым. Как и у всякого человека, в его памяти

всё больше оставались приятные воспоминания, и уходили из неё те жёсткие, тревожащие душу картины ограничения свободы мысли, надменные указания аппаратных чиновников, наделённых партийной властью. Их мнение чаще всего было последней инстанцией в рассуждениях. Он не хотел согласиться с тем, что новая «вертикаль власти» строит свои особые правила, которые отдаляют от неё простого мыслящего человека, и ставит на ключевые должности тех людей, которые угодливо, не задумываясь, подчиняются ей. Понятие личности растворилось в головах боязливых чиновников.

Такой разве сможет защитить, поддержать нестандартную мысль товарища или коллеги, добиться чего-то вопреки ошибочному решению начальника? Человеческие отношения превращались в протокольные. Район начал жить по протоколу. Как же без него, если областные и краевые управления регионов превратились в министерства, а ставленники правящей партии становились лицами почти недостижимыми и не подконтрольными простым гражданам? В «королевстве кривых зеркал» вначале всё кажется смешным и случайным, пока с тебя не потребуют плату за развлечение.

### Вы в списке

Откуда у русских людей такое своеобразное поведение? Может, его основа кроется в том глубоком обмане, который медленно проникал в сознание народа и ныне паразитирует в наших душах, ломает нам жизнь, направляет её по ложным ориентирам и целям? Обман заключается в умышленной подмене понятий. Что автор имеет в виду? Русский народ слышит постоянно о западных ценностях: свободе, демократии, нравственности, законности и даже справедливости,—которые с агрессивным упорством втолковываются нам в поучениях западными политиками, политологами, сворой продажных журналистов, в основном из так называемых развитых стран. Почему—продажных? Да потому, что вместе с настоящими ценностями, которые мы тоже принимаем, нам поставляют то, что они сами в своём народе не приемлют. К тому же всякие перевороты и агрессии подаются как защиту демократии. Может, народам в Африке или на Ближнем Востоке такая демократия совсем не нужна? Нам они поставляют упорно то, что народ считает безнравственным и вредным для здоровья общества.

С политиками всё понятно. На Западе и на Востоке они как два сапога пара. А вот с журналистами, своими, отечественными, как наивно думал Громов, всё должно быть по-другому.

Здесь категория совести и профессионализма закладывается в их души тем гуманитарным образованием, которое получили. Представим себе университеты, в которых они учились, классиков,

чьи книги читали, которые делали их в меру просвещёнными людьми, призванными видеть и честно отображать жизнь. Не случайно какое-то время облик профессиональных журналистов оставался этаким рупором правды и справедливости. Конечно, на них влияла идеология, представления местных властей о роли печати, но много было доброго и правдивого, всегда была реакция прессы и радио на критические письма снизу, редакции давали ответы заявителям.

Теперь же хоть из пушки стреляй—никто ни на что не реагирует. А если заявишь о себе, то редактор может легко захлопнуть перед тобой двери. Печатные издания самого высокого уровня, которые дорожили своей репутацией, активно поддерживали бывшие правила, пока политика, а вместе с ней и профессиональная ложь не взяли верх. Народ, насытившись столь сомнительной продукцией, стал прозревать, делать выводы из ошибочных собственных представлений и добродушного доверия своим публицистам. Более критично он стал относиться и к «друзьям» из-за рубежа, их назойливому стремлению сделать нас «цивилизованным» обществом. Но вот какая заковыка. Если журналист продал—за деньги, конечно, или за своё положение в сфере влиятельных фигур или партий—свою совесть, то он будет направлять общественное мнение по ложному пути, какой ему подскажут эти влиятельные силы. Он не заметит, как потерял профессию, а всё то, что пишет или вещает, превратилось в пустой набор слов на потребу недалёким обывателям и своему шефу. А человек, особенно наш, привыкший с первого класса школы верить всему, что исходит от официоза, от тех дьявольских сил, будь то газета, радио или телевидение, автоматически начинает верить в истинность всего сказанного.

Понятие «дьявольские» автор заимствовал из философских и литературных размышлений Гёте, Байрона, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Булгакова... Зло всегда прячется весьма ловко и убедительно под маской добродетели. Его стимулами служат деньги и власть. Влиянию дьявола подвержены не только отдельные персоны с комплексом дополнительных свойств души, таких как зависть, эгоизм, тщеславие, но и целые государства. Яркий пример—наш беспокойный «партиёр» за океаном, вернее, его политическое руководство. Да! В основном политическая верхушка! Народы-то почти везде нравственны. Но тот гигант влияния ловко умеет обличать пороки других государств и народов, спрятав свой истинный дьявольский облик. Деньги и власть над миром—главная цель существования его лидеров. Но в головах и сердцах народов всё ещё теплится божеское понятие совести.

Легко говорить о чём-то далёком и совсем не нашем, обличать во всех смертных грехах явных и мнимых отрицательных героев. Посмотрим

поближе на родных, доморощенных дьяволят. Среди них есть крупные особи в масштабах страны. А есть местные в каждом большом и малом городе, районе. Заглянем на минутку в доступное и знакомое нам пространство.

Однажды Громов зашёл в кафе пообедать. К нему за столик подсел сотрудник администрации, с которым он давно был знаком и решал не один вопрос. Их отношения можно было назвать товарищескими.

— Алексей Васильевич, добрый день! Не помешаю?

— Да что вы, Павел Николаевич. Давненько не виделись. Расскажите хоть, как живут ваши коллеги.

Официант подал на стол блюда, какое-то время товарищи молча расправлялись с солянкой, потом приступили ко второму. Сосед Алексея Васильевича отложил нож и вилку, внимательно посмотрел на него и сказал:

— Алексей Васильевич, смотрю на вас—вы такой же неугомонный, пишете статьи в газетах, только не в нашей, всё какие-то идеи пытаетесь осуществить. А почему не в нашей газете?

— Да что-то с уходом или «уводом» главного редактора не получилось. Новый редактор уклончиво тянет время, отложил наш большой проект в долгий ящик. Вижу, что он делает это сознательно. — Да, вы правы.

Собеседник минуту помолчал, чуть пригнулся над столиком, посмотрел на Громова, будто хотел сказать что-то значимое.

— Алексей Васильевич, вы в списке?!

— Какой ещё список?—не понял Алексей Васильевич и стал переспрашивать, пока до его сознания не дошла простая истина: директор телерадиокомпании передал редактору «секретный» список главы, где значилась и его фамилия.

Редактору запрещалось по любому поводу отображать личность Громова, как и других по списку, на страницах газеты в текстах и на фотографиях. Больше всего Громова поразило то, что вместе с ним в списке были фамилии первых заместителей главы администрации и самого председателя совета депутатов. Он дважды переспросил собеседника: — Павел Николаевич, вы ничего не перепутали? Ведь председатель совета—реальное высшее лицо в муниципалитете, под его руководством готовятся решения об утверждении в должности, даже того же главы района, его заместителей. Он с депутатами утверждает проекты решений, подготовленные администрацией под руководством главы. То есть это одна власть в двух лицах. Значит, Георгий Георгиевич считает себя главнее и делает всё, чтобы снизить достоинства всех остальных до второго и третьего ряда своих подчинённых сотрудников? — Вы заметили, что его бывший помощник, а теперь заместитель главы администрации, контролирует СМИ и подсказывает, чтобы ставили в очередной номер газеты обязательно портрет

шефа и несколько сюжетных фотографий? То же и в передачах по телевидению: он — главное действующее лицо. Надо не забывать и о сопутствующих текстах. Руслан Сергеевич за этим строго следит, почти как литературные цензоры в Российской империи в девятнадцатом веке. И не один такой Руслан Сергеевич верховодит прессой. Возьмите, к примеру, любое ведомственное издание.

Громов хорошо знал редактора муниципальной газеты Николая Викторовича Закатея, сам предлагал ему возглавить редакторский коллектив. Он замечал в последнее время по передовым статьям и репортажам с места событий, что с газетой происходит нечто насильственное. Исчезла та лёгкость материалов, которая даётся корреспонденту, когда он свободно смотрит на вещи. Когда делает статью или репортаж так, как подсказывает ему совесть, желание показать правдиво событие или рассказать уважительно и даже с любовью о достойном человеке. Опытные глаза читателей сразу увидели, что газета скукоживается, становится с каждым номером более формальной, сухой, неинтересной. Многие перестали на неё подписываться или покупать в магазинах, предпочитая другое, своеобразное, вроде как и самостоятельное издание, которое делалось с заметной независимостью от местной власти и ограничительных рамок в критике не испытывало.

Громов понял, что всякая борьба или объяснения с «пришельцами» не получают поддержки ни в СМИ, ни среди равнодушных горожан, ни среди близких к власти персон, даже если они с уважением относятся к нему, участливо порой говорят о «понимании и дружбе». Он решил уйти до поры до времени в работу, близкую ему, изучать явления, с которым столкнулся, осмыслить их суть и опубликовать памфлет в электронном или печатном виде. Это будет его доступное оружие против амбиций самозванцев.

### Как это было

Глава вызвал руководителя медийного центра, которого недавно назначили директором, к себе в кабинет и показал лист бумаги. На нём от руки был написан столбиком список официальных и других известных лиц, которым негласно воспрещались публикации в районной газете, выступления по радио и телевидению. Ниже, под именами «отверженных», мелким почерком было сделано пояснение, что надо исключить любое упоминание о них с мест событий и важных мероприятий. Особо не приветствовалось размещение фотографий и какой-то персональной положительной информации о человеке. Это значило для директора, чтобы он, взяв на себя ответственность, находил нужные слова, различные уловки, дабы избавить означенных в списке лиц от личного пиара и опасной для главы популярности их среди населения.

За месяц до этого Громов в беседе с заместителем главы администрации Надеждой Василенко по-товарищески говорил ей:

— Надежда Павловна, надо, чтобы вас хорошо знали в районе и городе. Это поможет работе, люди будут с большей охотой откликаться на ваши предложения, глубже понимать социальную политику совета депутатов и самой администрации. Чаще давайте свои материалы в газеты, на радио и телевидение, выступайте в них. Вы почувствуете отношение людей и к вашим делам и лично к вам. Это важно, чтобы ориентироваться в разных ситуациях и принимать те решения, которые больше отвечают запросам населения.

Громов не «поучал» или «наставлял», как может показаться читателю, он делился своим опытом работы в администрации, и такое общение с населением было оправдано. Его лучше понимали сами журналисты. Он становился ближе к людям и более открытым. Избиратели это ценили.

А здесь всё было наоборот, будто настоящие оборотни поработали.

«Как такое можно придумать, — думал Алексей Васильевич, — склонить к исполнению сомнительного и незаконного указания главного журналиста, вместе с ним и руководителей редакции муниципальной газеты, радио и телевидения вопреки закону о СМИ, их совести и знанию жизни? Чем всё такое может закончиться?»

Громов только сейчас понял, почему «молчат» сотрудники отделов и заместители главы администрации. До этого он мысленно возлагал на них вину за бездеятельность, безынициативность, самоизоляцию от населения района.

Директор телерадиокомпании (ТРК) твёрдым движением руки взял бумагу, свернул её вчетверо и положил во внутренний карман пиджака. Он знал, что глава не потерпит уклонения. Здесь надо быть «своим человеком».

Как он стал «своим», рассказывают бывшие сотрудники редакции. В области готовились к выборам губернатора и депутатов Законодательного собрания. В район приехала активистка последних лет деятельности комсомола, а ныне — член правящей партии и кандидат в областное собрание. Она привезла кипы печатных рекламных материалов и обратилась к директору муниципальной телерадиокомпании с предложением дать ей время для выступления и сделать ролик. Законное время на предвыборное вещание уже было распределено. Бывший директор ТРК, Андрей Викторович Степанов, вежливо объяснил ей:

— Уважаемая Елизавета Николаевна, извините, но мы не можем поставить ваш материал и дать дополнительное время для рекламы. Всё расписано согласно закону. Я не могу нарушать закон о выборах. — Но я была у главы администрации, Георгия Георгиевича, он заверил меня, что проблем не будет.

Тем более я заплачу вам. Речь идёт об областном законодательном органе, и всю кампанию организует наша партия. Зачем же вставлять палки в колёса? — Вот я так это и понимаю. А вы толкаете меня и весь коллектив редакции к нежелательному общению с прокурором. Как-то странно будут выглядеть эти выборы в глазах других кандидатов и партий. — Ну, знаете, не вам меня учить! Разберёмся!

Это был не первый случай объяснения директора ТРК с представителями предвыборных кампаний. Несколькими годами раньше он отказал пиарщику из столицы, который тоже ссылался на авторитетных лиц. Но первый глава поддержал его, сославшись на закон. Андрей Викторович стал директором ТРК ещё в девяностых, когда страна начала выходить на твёрдую почву государственности. Демократические партии теряли силу, проигрывали на выборах. Весь состав местного малого совета и его сторонники разбрелись по частным структурам, а кому-то досталась и собственность. Андрей Викторович был убеждённым демократом, но отличался от своих коллег практическим и честным мышлением, болеющим за судьбу страны и района. Он был одним из тех, кто мог стоять на танке у Белого дома в столице в августе 1991 года. Такой «революционер» не мог поступиться своими убеждениями и продолжал борьбу за правду. Закон природы срабатывал непременно. Революционеры должны были отдать власть кому-то другому, кто наблюдал и копил силы, не проявляя своего присутствия. В их рядах подрастали капиталами крупные собственники и обслуживающие их политические тяжеловесы. Это уже не идейные революционеры, а реальная сила, которая по своему разумению будет строить новую жизнь. Таким Андреем, не осознавшим свою роль в новой иерархии, места быть не должно. Но судьба по-другому распорядилась им. Глава района Коваленко вместе со своим заместителем Громовым, зная его честность и порядочность, предложили Андрею Викторовичу должность директора ТРК. Так бы он и работал ответственно и инициативно, если бы такие «активисты», как Елизавета Николаевна, не «дошли» и до него.

На следующий день Зарубнин вызвал своего заместителя и спросил:

— Ты знаешь, Руслан, что отчудил наш начальник телерадио? Наверняка Елизавета Николаевна тебе успела сказать. Ты же понимаешь, что ему там не место?

— У нас нет готовой кандидатуры на эту должность. Хотя срок истечения контракта уже близок. — Ставь кого угодно, только не оставляй этого выскочку. Посмотри там, где мы работали...

Так был назначен человек, которому он мог без сомнений передать свой список.

Глава не учёл простого русского разгильдяйства. Главный медиачиновник как-то забыл на столе

этот листок и вышел покурить на свежий воздух. В кабинет шефа зашёл корреспондент и положил текст очередного репортажа на стол для согласования. Конечно, он «невольно» заглянул в «секретную» бумажку. И тайна стала достоянием двоих...

Громов вспомнил свою историю погружения в журналистику.

В студенческие годы он начал увлекаться этой темой. Читал нужные книги, написал маленькую статью в газету, начал собирать студенческие анекдоты и записывать интересные случаи, слушая рассказы сокурсников. Работая инженером на главном предприятии, с большим интересом читал «Литературную газету» и выписал профессиональный журнал. Здесь же издал первую печатную газету на четырёх полосах, которую сразу запретили по соображениям секретности завода. С годами увлечение не прошло и помогло организовать в бурное время перестройки новую районную газету.

Объявили конкурс на должность редактора. О своём участии заявили два кандидата на должность: Вероника Царёва и Евгения Корнева. Обе имели опыт профессиональной работы в газетах.

Громова многому научил бывший редактор областной газеты, когда с его помощью верстал свой первый номер на заводе:

— Алексей, газета — ответственное дело. Я раньше дважды попадал под «разборки» в областном комитете партии. Как-то делали газету всю ночь, надо было поменять поставленный ранее материал на срочное сообщение с комментарием о выполнении плана по уборке урожая. Я проглядел одну фамилию, пропустил её с опечаткой, да и времени не было проверять, вот и попался. Меня вызвал секретарь по идеологии и издевательски спросил: «Ты что, не знаешь фамилии Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета РСФСР? Вместо Касленко отпечатал Козленко. Он мне уже позвонил! Ещё одна такая опечатка, и ты — простой репортёр!» Неприятно, конечно, после этого. Ходишь неделю «убитым», сердце отказывает. Запомни, Алёша, все фамилии, имена, отчества надо обязательно перепроверять, посади на это секретаршу или кого из журналистов. А вообще отвечать должен автор материала. Именно он должен взять за правило сверять инициалы или звонком к имяреку, или по достоверной информации. Другое дело — смысл статьи. Я всегда ищу идею того, о чём пишу. Анализирую события, не просто описываю, выделяю тех людей, которые, может, и незаметно, являются мотором какого-то явления, ищу таких, пытаюсь раскрывать их особенности. Это мой опыт. Может, что полезное ты извлечёшь и для себя. И ещё: считаю, что надо быть в русле того главного, к чему стремится город, район, какой-то коллектив. Какова цель, как её достичь. Это может стать основой множества последовательных материалов. Уверен, что

просто репортёрская работа по принципу: пришёл, увидел, написал, — никому не нужна, она не оставляет следа в душах читателей.

Члены конкурсной комиссии слушали обоих кандидатов об их работе в газетах, задавали вопросы о самом главном: что они ставили своей целью, какие материалы больше покорили читателей, что хотели выделить в них. Важно было узнать, видят ли они особенности города и района, на чём думают сосредоточить внимание.

Силы конкурентов были примерно равны. Но Вероника Царёва имела преимущество в опыте руководства газетой, отвечала более уверенно и логично. Она и была утверждена главным редактором.

Прошло много лет. Газету удалось сделать интересной для читателей. Администрация района и глава откликнулись на все проблемы редакции, обеспечили хорошим оборудованием, дали просторное помещение, без проволочек утверждали бюджет, который позволял постоянно развиваться, ездить в творческие командировки, приглашать интересных гостей. Однажды в конце рабочего дня в кабинет Громова зашла Вероника Царёва и без предисловий, несколько озабоченно, обратилась к нему: — Алексей Васильевич, руководитель дошкольного отдела главного предприятия принесла записку, нет, скорее статью, в которой критически оценивает действия администрации по переводу детских садов в муниципальную собственность, бросает упрёк вам лично. Почитайте, пожалуйста. Я хочу знать ваше мнение, опубликовать её или отложить, как обычное письмо в редакцию.

Вероника протянула Громову статью заведующей дошкольным отделом. Он сразу же понял, что автор письма борется не за благо детей и родителей, а за сохранение собственного места. Если статью не напечатать, то автор и её сторонники обвинят наверняка Громова, что он «зажал» прессу, не даёт хода «правдивой» информации, командует редактором. Если напечатать, то она собьёт с толку многих родителей. Они несправедливо будут обвинять власть за проволочки в решении насущного вопроса. Громов внимательно смотрел на редактора. В её взгляде и поведении он почувствовал, что она критически оценивает любое возможное решение своего куратора: «Запретит — значит, сам будет отвечать, я исполнитель. Разрешит — это тоже его проблема. Во-первых, проявит слабость, во-вторых, больше придётся приложить усилий, чтобы решить острый вопрос».

Громов был по должности куратором с.ми. Для него лично и для администрации это означало поддержку их в решении финансовых и бытовых проблем, помощь и участие в решении кадровых вопросов, обеспечение представительства членов редакции в мероприятиях администрации и совета депутатов, присутствие на совещаниях и другое.

Всё, кроме цензуры. Это противоречило бы статье третьей закона РФ «О средствах массовой информации». Куратор и сама редактор хорошо это знали, но обстоятельства неопределённости проблемы порой приводили её в кабинет Алексея Васильевича посоветоваться. Для него это был обычный рабочий момент, и он думал, как поступить. — Мы с главой давно занимаемся этим вопросом. Нет альтернативного его решения, кроме передачи садов в муниципальную собственность. И автор статьи, как руководитель учреждения, должна была досконально изучить эту проблему. Она хочет воспользоваться авторитетом директора предприятия и воздействовать на администрацию района, чтобы остаться при должности. Но те времена прошли, мы должны действовать строго по закону. А что касается вашего вопроса, печатать или нет, — вам решать, как главному редактору. Я не могу запретить, так же как и одобрить такой материал. Можно, конечно, дать взаимные точки зрения, подискутировать на страницах газеты, но мы уже неоднократно излагали свою позицию. На заводе достаточно зрелые и грамотные специалисты, чтобы определиться с этим болезненным вопросом.

Статья не была напечатана, и Громов почувствовал, да и слышал краем уха, что на той стороне бушуют страсти и против него нарастает недовольство самого директора предприятия. Это было серьёзное противостояние для будущего Алексея Васильевича. Но ситуацию смягчила публикация «Предписания прокурора о незаконных действиях дирекции завода по оплате содержания детей в детских дошкольных учреждениях в пользу сторонних семей». И дирекция завода встала перед необходимостью передачи части ведомственных садов в муниципальную собственность.

Громов стал замечать перемены в поведении Вероники Царёвой. Она ставила на всю полосу материалы с фотографиями директора главного предприятия, стала проявлять больше инициативы в развитии материальной базы редакции и как бы умышленно выходила в своих запросах к администрации за пределы возможного, необходимого для нормальной работы редакции. Было заметно, что она готовит себя к переходу на более привлекательную работу и сознательно так ставит вопросы, чтобы можно было сослаться на недостаточное внимание администрации к проблемам редакции.

Вероника Царёва проработала к тому времени в газете более десяти лет. Много привнесла нового в деятельность редакции, изменила в лучшую сторону формат газеты, публиковала содержательные собственные статьи, выезжала за материалами в столицу на встречу с интересными людьми и даже на пресс-конференцию президента. Грамотно редактировала тексты, организовала передвижную арт-студию в помещении редакции, активно работала с представителями районной

интеллигенции. На газету никто не влиял. Это было естественным отношением к СМИ главы города и его заместителей. Фотографии первых лиц появлялись крайне редко. Их поздравления населения с праздниками подавались только в виде текста.

Через месяц после разговора Царёвой с Громовым, её пригласили от имени дирекции главного предприятия возглавить отдел информации и связи с общественностью. Зарплатная плата была намного выше, материальная база заводской газеты включала в себя не только отличные технические средства, но и хорошую типографию с оборудованием для цветной печати. Это был простор для творческой работы, и это давало возможность издавать газету большего формата в цветном исполнении. Громов не мог возражать против такого перехода своего сотрудника. Но не это его огорчило. В первом же номере заводской газеты, утверждённом Вероникой Царёвой в качестве редактора, стояла та самая статья. Это больше походило на плевок в сторону администрации. К счастью, ветер перемен нёс его уже в другую сторону — против самого автора. Согласно предписанию прокурора дирекция завода вынуждена была часть детских садов передать в муниципальную собственность. Дети родителей с разных предприятий и учреждений района и города могли за малую плату посещать муниципальные дошкольные учреждения. Тогда Громов увидел и прочувствовал, что значит параллельная, зависимая газета. Он до последнего дня своей работы оставлял редакцию муниципального органа на позициях независимости и самостоятельности. И с огорчением наблюдал, как заводская газета под руководством нового редактора меняет классический журналистский курс на услужливое удовлетворение требований одного своего главного руководителя. За последние годы многое изменилось и в муниципальной газете с частой сменяемостью кадров и приходом последней администрации. Громов воспринял это как слепую и временную крайность. Но влиять, как в иные времена, не мог, так как уже возглавлял одно из подразделений большого университета. Новая власть поменяла принципы своей работы и её медийных органов, нацелила их на удовлетворение потребности личных интересов главы района и узкопартийных интересов. Газета стала походить на пропагандистский листок. По этому поводу один из корреспондентов с журналистским образованием, написав заявление об уходе, сказал: — Пропагандисты много говорят и пишут, но правды в этом нет, в отличие от настоящих журналистов. Мне здесь больше делать нечего.

Гордое знамя четвёртой власти вмиг обветшало, повисло мелкими тряпицами над редакциями или превратилось в авоську для продуктов на местных рынках. Газета вместе с радио и телевидением

попала в жёсткие руки команды, будто в руки собственника, забывшего, что на неё расходуются деньги налогоплательщиков.

### С папкой на поклон

Порой можно услышать от умных и сведущих учёных или прочитать в их научных статьях, что не было совсем нашествия татар на Русь: «Одни разговоры! Кто-то, что-то, где-то, когда-то! Полный туман, не верьте!» У меня есть неоспоримое доказательство того, что нашествие было и оставило неистребимый след в душах соотечественников. Вот только два явления, которые генетически изменили русский характер у некоторых начальствующих особ. Первое — получение «ярлыка» на правление. Выслуживаешься, кланяешься в ноги — тебе дают «ярлык»; показываешь гордость — «рубят» голову! И второе — раз тебе доверили «княжить» и собирать «дань», то ты проявляешь инициативу и сам, без особого намёка свыше, предлагаешь больше, лучше, заглядываешь в рот начальнику и снимаешь шляпу при его появлении, показываешь этим рвение и подобиострастие. Это неистребимо и будет жить в веках, но не во всяких душах. Есть и более крепкие натуры, в которые не попал такой вирус (наверное, правильно будет сказать — мутированный ген). Я сказал «в душах» не случайно. Это условный ген, метафизический, который селится только в душах, но не в организме человека. Ведь генетики доказали, что в русских людях почти нет генетических следов татар или монголов, вопреки расхожей фразе Джеймса Галлатина (1821 год): «Поскребите русского — и вы найдёте татарина». Сами подумайте: современный руководитель, первое лицо на маленькой земле района, не единожды замеченный ранее на пленумах, сессиях, торжественных собраниях, давший не раз «клятву», что будет верно служить народу, вдруг берёт папку и едет за «ярлыком» на продление правления к «хану» в его «юрту». Это что? Скажите, как это понимать? Затрудняетесь? Так поступает беспомощный и зависимый руководитель. Вспомним генетику, чтобы правильно определить это явление. Так будет действительно по-научному. Учёные скажут: «В душе такого руководителя есть генетический след из прошлого, коренным образом изменивший его код». Кто так смог повлиять? Конечно, татары с монголами. Только они более двух столетий ломали души русских богатырей, а с ними и всего народа. Так что покопайтесь в истории, личной биографии такого человека, и вы убедитесь в этом. Как и повелось со дня роспуска главной и единственной партии в стране, которую называли «руководящей и направляющей», кадры стали подбирать и назначать на самые разные должности без той сложной системы согласований, что была в прошлом. Сообразуясь со служебной лестницей, теперь стоящий на верхней

ступени «Главный» сам решает, кого поставить на нижестоящую должность, и так до основания. Если руководителю достался высокий пост, то он становится временно хозяином положения и вершит кадровую политику по своему усмотрению, не в пример бывшим партийным или профсоюзным лидерам. Вспомним, какая громоздкая была система отбора, согласования, утверждения новых кадров на разных собраниях, пленумах, съездах. Настоящая пирамида была придумана. Вверху — партия, одна и самая главная, всё направляла и всем руководила. За ней — Советы депутатов трудящихся, те, про которые В. И. Ленин сказал: «Вся власть Советам!» Увы, их в пламени Гражданской войны тихонько отодвинули в сторону. Советы есть, а власти нет. Но, они состояли в списках на согласование кандидатур. Рядом шли профсоюзы — «приводной ремень партии». Подпись их начальников тоже была обязательной. А молодёжь опекали лидеры комсомола. Им тоже приносили на подпись решения и постановления старших товарищей, если речь шла о молодых. Сколько ненужных «винтиков»! Потому и механизм работал «со скрипом». Сами видите, сколько времени теряли. Да ещё тогда негласное понятие было: «номенклатурный работник». Составлялись специальные списки, утверждаемые на соответствующих ступенях партийной власти. И кандидат на должность, будь она хозяйственная или партийная, должен был пройти процедуру согласования и утверждения на самом высоком уровне. В народе об этом знали и говорили: «Вон номенклатурщик пошёл». Автор должен сказать, что такая кадровая политика оправдывала себя и в основном не позволяла возносить на ответственные должности случайных людей. Современная власть проста, как шар, и скоро на руку. Решительная, как сам Цезарь. Полководец решил, и точка! Правда, согласование всё же осталось: если над малым начальником стоит больший, его шеф, то без него решать не смей. Новые лидеры долго не мучились. Сразу вспоминали родных, друзей и верных помощников в прошлом. Ну и, конечно, своих любимых дам. Не жён, естественно. Это первый эшелон назначенцев. Другой эшелон — когда решения принимали их подчинённые по той же схеме. Все подбирали кадры по признакам лояльности: «свой — чужой». Знаете, как в боевой авиации. Летит истребитель и излучает периодически сигналы: «свой — чужой», «свой — чужой»... А навстречу ему неопознанный объект. На сигналы не отвечает или подаёт их по-своему. Тогда наш лётчик его — ба-бах, и готово! Значит, был «чужой».

О деловых качествах вспоминали, когда назначенец основательно проваливал дело. Его обычно отправляли в вышестоящие органы власти на более высокую или денежную должность, как говорят — на «кормление». Внимательные коллеги

замечали: «Пошёл на хлебную должность». Вначале эту должность отличал небедный паёк: повышенная зарплата, премии, какие-то дополнительные льготы в виде закрытого распределителя или внеочередного приобретения престижного автомобиля, хорошая квартира в «сталинском» доме. Как ни посмотри, примитивно и слабо было. Благо перестройка помогла и «славные» девяностые. Всё поставили на своё место. Доходы менеджера или чиновника высокого ранга стали считать в миллионах, умно придумали «золотые парашюты», которые раньше и не снились уходящим с должности. В нашем районе есть и свои особенности. Часто предлагают — будет точнее, если скажу: выдвигают, — на высокие ступени районной власти людей по странному принципу. Не буду повторять расхожую фразу, может, она излишне преувеличена и может быть оспорена. Но смысл её сводился к тому, что руководитель главного предприятия выдвигал на высокие должности в администрации района не совсем подготовленных для этой роли своих сотрудников. В чём это выражалось? Всякая профессиональная деятельность требует специальной подготовки, тем более работа с людьми, точнее, большим количеством граждан своего района. До девяносто первого года в стране была развитая система воспитания таких специалистов. Молодой инженер с предприятия включался в общественную работу, не важно какую: комсомол, профсоюзная организация или спортивный клуб. В них он начинал реализовывать свои способности в общественной работе. Рос, развивался, получал особые навыки и умения. Накапливал драгоценный опыт, начинал чувствовать организм всего района или города. Много учился, читал, предлагал свои идеи и активно их воплощал на деле. Такого человека замечали, предлагали новые интересные места для работы, тех, кто в делах особо отличался, принимали в партию. Это уже был серьёзный уровень с высокой ответственностью и основательная школа подготовки руководителя. Он мог быть приглашён на высокую должность на предприятии, мог быть избран в районный совет или его руководящий орган — исполком городского совета. По своим знаниям, способности убеждать людей и строить отношения с представителями любого социального уровня, способности воплощать свои идеи в жизнь он был уже тем руководителем, который профессионально владеет ситуацией и в большей степени соответствует предлагаемой должности. Та школа ушла. Только надо находить её принципы в новых формах общественной среды. Словом, чтобы не краснеть за своих выдвиженцев, руководителю не мешает обращать на это внимание. Но в нашем районе, как говорят знающие люди, то продвинул на руководство человека с главного



предприятия, который надоел своему директору или не угодил чем-то, потом приставят к нему из той же когорты кого-то в заместители, а позже критикуют: «Вот такая у нас районная власть, никакой пользы от неё!» Но главное предприятие старалось упорно держать «руку на пульсе», продвигая своих людей. На то оно и «главное»! Так родилось правило: последнее слово должно быть за директором завода или представителем госкорпорации. Муниципальная газета как-то нечаянно приоткрыла технологию отношений депутатов от завода с его директором. Один из депутатов, заместитель директора завода, которого вскоре директор выдвинет на должность главы администрации города, на вопрос корреспондента местной газеты: «Есть ли практика предварительного обсуждения депутатских вопросов в узком кругу на заводе?» — ответил: «У нас единственным лидером является генеральный директор. Если кто-то о себе думает, что он тоже лидер, то он глубоко ошибается. Так что забудьте о всяких согласованиях между собой, да ещё и на предприятии».

Депутатам оставался один коридор, по которому они должны были идти к директору спрашивать, что можно, а что нельзя! Было закономерно то, что, прежде чем поставить свою подпись под важным документом или принять весомое решение от имени администрации района, этот глава, тиснув под мышку папку с документами, ехал на согласование к своему бывшему начальнику — директору главного предприятия. Так можно было продлить «ярлык на правление». Сотрудники администрации, не подверженные новому влиянию, тихо посмеивались, показывая на депутатов районного совета: «Заводской совет депутатов». Потому они и голосовать должны были единогласно в духе «ярлыка на правление».

Глава города всегда на виду, он чувствует реакцию окружающих людей, их сдержанную скрытую усмешку в его адрес, и это не проходит бесследно. Испытывая унижения, а может, и нет, но, будучи подчинённым волевому и грубому руководителю своего бывшего предприятия, ломает себя, старается вопреки характеру смириться, быть исполнительным и показывать преданность. Его высокая должность юридически выше должности своего условного начальника, но слабее его по реальному положению, приносит ещё большие испытания самолюбию, сильнее гнетёт морально, и это не проходит бесследно. Он ожесточается и срывает своё бессилие на подчинённых. Увольняет, перемещает, наказывает, небрежно общается, саркастически подшучивает над своей жертвой, пока не представится возможность избавиться от такого человека или он сам не выдержит психологического давления.

Потому развитие района, вопреки представлениям заводских руководителей, падало до той

черты, когда можно ставить большой минус во всех «достижениях» и крест на перспективе.

Новый глава после отставки двух своих предшественников от завода повёл себя по-другому, то ли по незнанию, то ли из личной гордости и с осознанием поддержки сверху от своих бывших руководителей области, которые продвинули его кандидатуру во власть. Только относительная независимость порождала скрытые от глаз посторонних проблемы для него лично. Отчасти он ещё имел артистичный характер и умел менять лицо. Но уступать кому бы то ни было оставалось ниже его достоинства. Георгий Георгиевич показывал всем свою независимость от руководителя главного предприятия, и не видно было, чтобы ездил к нему с папкой.

### Не хлебом единым...

Человек почти ежедневно сталкивается с какими-то трудностями в жизни, отклонением от привычного её хода и благостного состояния. То кран потечёт, то засор в трубах, стул сломается. Но это мелочи. Бывает сложнее: ребёнка в школе обзывают, начал плохо учиться, учительница не обращает внимания. На работе тоже что-то не так. То премию не дали, то экзамены по технике безопасности приходится сдавать повторно... И всё это, повседневное, отбирает время, силы, желание что-то сделать для души, распорядиться свободным временем по её зову. Жизненная стихия поглощает всё глубже и глубже в свой, казалось, неизбежный омут забот. Как вырваться, как настроить себя на другой лад? Может, стоит остановиться и задуматься: а ради чего ты вообще живёшь? От кого ждёшь помощи или сочувствия? И нужно ли тебе в жизни что-то яркое, значимое, радующее душу? И не только твою, но и близких в семье, друзей, товарищей по работе? Работаешь на себя и никому не нужен? Это тебя устраивает? И не обманывай себя. Ведь ты хочешь получить улыбку друга, одобрение начальника, неформальное поздравление к празднику? Значит, твоя душа должна работать, стремиться к чему-то цельному, доброму, полезному. Говоря словами древних — к добродетели. У романтиков это получается лучше всех.

На главном предприятии много лет работал Евгений Иванович Муромцев. В начале семидесятых годов он окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Механика и математическое моделирование». Трудился несколько лет в одном из институтов, пока по семейным обстоятельствам не переехал в молодой город. Здесь его с желанием приняли на главное предприятие и назначили начальником отдела технических инноваций и развития. Завод решал новые технологические задачи, тесно работал с профильными научными институтами,

в основном столичными, сотрудничал с ведущими учёными. Здесь нужен был творческий человек на постоянной основе, с научным мировоззрением и практическим опытом, который мог объединить усилия всех сторон. Им оказался Евгений Иванович. В конце восьмидесятых, когда промышленность страны стала испытывать особые трудности, Муромцев остался здесь работать, предприятие выжило и успешно осуществило несколько идей начальника отдела. В то время он познакомился с Алексеем Васильевичем Грозовым и его женой Светланой Алексеевной. Завязалась многолетняя дружба. Их увлечения и размышления по многим вопросам совпадали, а жёны в чём-то были схожи своими скромными характерами. Они были просты в общении и равнодушны в отношении к жизни в самом высоком её понимании. В поведении Нины Петровны, жены Евгения Ивановича, и Светланы Алексеевны было заметно состояние души, которое обращено на мир с более широких духовных позиций и жизненных мерок.

Александр Блок в своё время хорошо чувствовал это состояние по театру и говорил, что романтизм (*он так это называл*) есть жадное стремление жить удешевлённой жизнью, стремление создать такую жизнь. Думали об этом жёны друзей или нет, но звучали в их душах романтические нотки, и видели они свою жизнь в разных красках, не только серых.

Знакомые им люди иногда с иронией относились к самому слову «романтика», если откровенный разговор выходил на эту тему. Одна из соседок Светланы Алексеевны по подъезду возражала ей: — Светлана Алексеевна, о чём вы говорите? Какая романтика? Дай Бог справиться с тем, что на нас свалилось в последнее время. Цены растут, близкие теряют работу, люди начали сторониться друг друга. Вы посмотрите, какое качество продуктов! Муж потерял работу из-за банкротства предприятия, ездит на вахту. Там тоже стали снижать зарплату. Как я буду учить детей в университете?

В другой раз она возмутилась предложению Светланы Алексеевны дать название новому микрорайону, в котором они жили. Грозова опубликовала призыв к жителям и предварительно, для их размышления, обозначила несколько романтических названий, связанных с особенностью условного посёлка: Солнечный, Рябиновый, Кедровый, Энтузиастов и тому подобные.

— Вот ещё что придумала! Пусть власть решит проблему с тротуарами и остановками. Не до красивых названий нам! — смеясь, ответила соседка.

Её подруга, кассир продуктового магазина, слушала разговор и загадочно улыбалась. Потом её лицо стало серьёзным и непроницаемым, она холодно сказала:

— Я знаю, что вы, будучи молодыми, с мужем и детьми ездили на свою зарплату и в Москву, и в Ленинград. Даже в Сочи успели побывать. А мы за

год работы дальше областного центра не соберём денег на дорогу и нормальный отдых. Какой уж тут романтизм? Дай Бог продержаться при том, что есть. А романтизм сейчас только в головах немногих. Да и в ваши годы он был пополам с принудителкой. А сегодня — просто ностальгия...

Светлана Алексеевна видела, что в её словах о романтике, случайно произнесённых в откровенном разговоре, собеседники находили что-то нереальное, напускное, неискреннее и даже немодное, что-то из прошлого, как старая одежда. Ей это было неприятно, отчуждало от собеседниц. Мир её интересов, как и её мужа, Алексея Васильевича, был полон не только профессиональной практической работой, но и мечтами, проникновением в духовный мир литературы, изобразительного искусства, отчасти тем идеализмом, который они хотели превратить в реальность. Алексей Васильевич как-то вечером читал сборник Иннокентия Анненского, поэта и критика, и остановился на речи о творчестве Гоголя:

— Света, послушай, что я нашёл! Если не возражаешь, я прочту тебе только один небольшой абзац из Анненского.

Светлане Алексеевне навсегда запали в душу слова писателя о том, что «в силу стремления, вложенного в нас Создателем, мы вечно ищем сближать в себе мир вещей с миром духовным, очищая, просветляя и возвышая свою бrenную телесную жизнь божественным прикосновением к ней мира идеального. И в этом заключается вся красота и весь смысл нашего существования».

Круг общения давно начал сужаться вокруг семей Муромцевых, Грозовых и их друзей. Люди всё больше замыкались, категорично выражали свои мысли и оценки окружающей действительности. Особенно по политическим вопросам. Одни ругали власть и мечтали ещё о той демократии, которая вдруг разразилась на пике разброда умов в девяностые годы, другие стали проклинать капитализм и больше говорить о возврате к социализму, третьи с пессимизмом осуждали положение страны в мире.

Большим ударом для них было преображение прессы. На глазах она становилась угоднической, поверхностной, с множеством фактических ошибок. Журналистам некогда было изучать историю жизни района, сверять имена и фамилии, спрашивать очевидцев.

Жена Муромцева, Нина Петровна, работала до пенсии в заводской лаборатории. Как инженеру-химику, ей приходилось постоянно учиться, быть в курсе современных открытий и достижений коллег. Особо к этому подталкивали новые идеи, которые разрабатывали технологи и научные работники завода. Менялись техника, приборы контроля, система автоматического управления, изменялись параметры производства, а с ними исходные материалы и конечный продукт. Нине

Петровне, как руководителю группы, надо было идти в ногу с этими изменениями, что-то постоянно совершенствовать, многое предвидеть и упреждать знаниями и специальной подготовкой. В лаборатории оценивали с помощью современных приборов и компьютерных программ не только качество продукции, но и нарушения технологических параметров, которые вели к снижению её качества. Особую ответственность она чувствовала за свой коллектив, с которым надо было постоянно работать, помогать лаборантам, инженерам и техникам оставаться на уровне современных знаний. Дома она ничем не отличалась от подруг и соседей. Вела простой и даже скромный образ жизни. Вырастили с мужем двоих детей, занимались садоводством на своём участке, ездили и ходили в путешествия. Географические карты и туристические справочники в их квартире всегда хранились на видном месте. С приближением отпусков они начинали выбирать маршруты, изучали природные условия, исторические достопримечательности, расспрашивали бывалых путешественников из своего города. Уезжали порой в такие места, о которых потом без страха не могли вспомнить. Вспоминали и смеялись.

Когда они ездили по большим городам, в первую очередь наведывались в музеи, художественные галереи, исторические места. И всегда сравнивали увиденное с тем, что раньше дотошно изучали. Где-то могли сами повести экскурсию.

Светлана Алексеевна с Ниной Петровной не вовлекались в досужие разговоры с соседями и умолкали, услышав что-то из их рассуждений о «тяготах» жизни. Им не хотелось развивать сложную тему, очевидную для них. Особенно когда затрагивали молодые годы, которые по-разному отложились в памяти людей. У каждого были свои ценности в жизни, которые раньше нивелировали пропагандой и единой идеологией.

### Ошибки гениев, или Уроки не впрок?

Девяностые годы оставили свой след в душах многих думающих людей. Не был исключением и Евгений Иванович. Тем более что ещё в университете он увлекался философией, мечтал о демократии, читал, наряду с древними авторами, сочинения, дневники, публицистику революционных демократов. Знал неплохо о Великой французской революции 1789-1794-1799 годов и последующих восстаниях, особенно периода Парижской коммуны 1871 года. В них как раз были ростки многих идей, воплощённых большевиками в 1917 году. В августе девяносто первого года он убедился в тупиковой политике партии, которая боялась кардинальных реформ, раскрепощения политического и научного мышления в обществе. Мыслящие люди давно тяготились в сознании тем незбылемым её курсом, который привёл к застою. У многих даже

не просвещённых, но грамотных людей нарастало внутреннее чувство свободы, ощущение какой-то внешней оболочки, которая держит всех, словно кокон шелкопряда или яичная скорлупа, внутри которой начинала пробовать свою силу новая жизнь. Таких людей становилось больше и больше по мере развития доступного всеобщего образования, появления множества специалистов с высшим образованием во всех отраслях экономики и социальной сфере. Законсервированные идеи и теории, куда свободной мысли путь был строго заказан, начали всерьёз тревожить тех, кто пытался осмыслить своё существование.

На второй день «творчества» гкчп Муромцев написал заявление и вышел из партии. Оставаясь беспартийным, дважды избирался в районный совет депутатов и возглавлял социальную комиссию. Стал пенсионером далеко за шестьдесят, был завсегдатаем библиотеки, книжного магазина, различных выставок и презентаций в городском музее. Смотрел выборочно передачи по ТВ и всё больше задавался вопросом: «Как пришли к этому? Не одно столетие лучшие умы думали о другом, строили теории, писали стихи, повести и романы, которые возбуждали революционный дух, за который молодые люди отдавали жизнь, шли на каторгу. Признанные гении поднимали целые народы разных стран на переход к новой, как они думали — справедливой, жизни по законам высшей морали. Но почему всё как всегда? Может быть, сама идея была ошибочной? Может, нельзя такими жертвами делать революции?»

Ему захотелось с кем-то поговорить, попробовать «на зуб» свои сумбурные мысли. Первый, с кем он чаще всех встречался, был Громов.

С этим вопросом он и пришёл к нему домой. Хозяин вскипятил воду в чайнике, поставил на стол фарфоровую розеточку с мёдом, предложил гостю домашнее печенье, которое накануне вечером напекла Светлана Алексеевна.

— Алексей, я утром заглянул в интернет, там есть сообщение об изменении погоды с понедельника по району. Наши женщины вроде хотели сходить на природу, посидеть у костра. Надо будет не откладывать.

— Да, я согласен! А знаешь, что правительство опять задумало, уже во второй раз?

— Нет. Что ты имеешь в виду?

— Обсуждает проект закона о запрете машин с правым рулём.

— Об этом надо было раньше думать. Я сразу вижу, что поднимется такой протест автовладельцев на всю страну, что наши законодатели будут не рады даже выносить этот проект на обсуждение...

Друзья посидели, попили чаю, поговорили о политике, о последних событиях в районе и вышли в зал. Там затронули большую статью в «Независимой газете» ранее близкого к президенту

политического деятеля. Он замахнулся как минимум на уровень классиков и определил форму государственности на ближайшее столетие. Алексей заметил:

— Судя по статье, выбора у нас нет, всё, что мы наблюдаем, всего лишь иллюзия. Интересна цепочка государств, говорит автор статьи, созданных «людьми длинной воли» (*по словам Гумилёва*): Иваном Третьим (царство Московское и всей Руси), Петром Великим (Российская империя) и Владимиром Лениным (Советский Союз). Эту цепочку он, по своим понятиям, пытается продолжить. Женья, я намеренно говорю «по понятиям», потому что о научности статьи говорить не приходится. Нетрудно догадаться, куда клонит автор статьи. Не кажется тебе, что мы в очередной раз наступаем на злосчастные грабли?

— Это очевидно! Честно говоря, я не придал никакого значения этой статье. После девяносто первого года общественная мысль стала походить на брызги фонтана, которые красиво искрятся, но разлетаются в разные стороны, не образуя потока. Алексей, извини, что я тебя прерываю, хочу поговорить с тобой о своих вопросах.

Залом хозяин называл небольшую свободную комнату для отдыха в трёхкомнатной квартире, где между диваном и окном стоял маленький стол с ноутбуком. У противоположной стены поблёскивали стёклами дверок широкий трёхсекционный стеллаж, заполненный до отказа книгами. Алексей Васильевич с раннего возраста начал собирать книги, содержание которых изменялось в нарастающем по смыслу и сложности порядке. На полках ютились плотными рядками тома по истории, философии, хорошая подборка классической литературы. Одна секция была заполнена томиками научной познавательной литературы по разным областям знаний. Хозяин квартиры со своей супругой не просто собирали любимые издания, они жили с ними одной интеллектуальной жизнью, потребностью общаться, находить ответы на множество вопросов или просто наслаждаться мудрым содержанием и красотой художественного слова. Муромцеву нравилось здесь бывать, и он постоянно что-то брал почитать, хотя сам имел ещё большую библиотеку.

Библиотека Громова не случайно привлекала Муромцева. Она была отражением его духовного поиска, работы над собой. Своим содержанием больше походила на молчаливого, до первого прикосновения, члена семьи. Как только пальцы хозяина открывали обложку, начинался диалог. Не какой-то случайный, как бывает при встрече знакомых или друзей, или учёный разговор где-то в аудитории. То было спокойное, уважительное общение с любимым писателем, древним философом или великим учёным напрямую через десятилетия, века, эпохи. То, что автор хотел сказать своим

современникам при жизни, будь то поклонники литературных талантов, учёные, просто любознательные люди, он равно, минуя время, через книгу доносил до сознания живых умов свои бессмертные мысли и знания. Ни расстояния, ни природные катаклизмы и войны, ни противники этих знаний не смогли уничтожить, закрыть навечно зашифрованные в условных знаках—буквах, иероглифах, сложных письменах древних народов—мысли, чувства, великие открытия. Поэтому для владельцев домашних библиотек каждая книга была сокровищем, в них пряталась крупица человеческого духа, столь необходимая для жизни, для движения вперёд. Громов и Муромцев это понимали и чувствовали и не могли себя представить без доступного источника. В интернет они заходили, чтобы сверить мысли древних с теми, которые в головах современников, и своими собственными познаниями из быстротечной жизни.

Евгений Иванович объяснил Громову причину своего появления в его доме. Эта тема тоже волновала Алексея Васильевича, и он с большим вниманием начал слушать гостя. Громов не припоминал такого случая, чтобы Муромцев приходил специально поговорить о политике, пофилософствовать. Обычно они касались таких тем между прочим, в ходе обычного дружеского общения. Здесь он выделил особо причину визита, проявил заметную озабоченность. Видно, что-то начало его тревожить, он наверняка до этого обдумывал проблему, потому начал сразу в карьер:

— Не будем вспоминать про Новгородское вече, боярскую думу, земские соборы и другие очаги демократии, о которых сейчас много пишут и говорят,—сказал он.—Обрати внимание на первых русских демократов, которые «зажигали» сознание народа. Что ни имя, то гений или высший талант и ум: Белинский, Добролюбов, Чернышевский, Герцен, Огарёв, Писарев, Петрашевский и другие... Западноевропейские мыслители того времени первого порядка Карл Маркс и Фридрих Энгельс запустили в свет «призрака коммунизма». Ленин с товарищами всю жизнь до этого целенаправленно шёл к осуществлению такой идеи. Он ухватился за лаконичный, похожий на развёрнутый лозунг «Манифест» и оживил того призрака. Все великие революционеры, особенно Маркс, мечтали сделать счастливыми «как можно большее количество людей» на земле. Этим он грезил с юных лет. Казалось, счастье народов—вот оно! Такие жертвы, потрясения глобального масштаба дорогого стоят. Но почему-то после немыслимого взлёта и признания миром великой мощи первого социалистического государства всё пошло по ущербному сценарию. В конце концов, не дотянув до столетия, оно развалилось, и народы стали охотно или вынужденно возвращаться в кабалу владельцев капитала. Я искал в литературе

и интернете ответ на этот вопрос. Масса теорий, публикаций, интервью. Авторы просто «пляшут на костях» былого «учения», издеваются над любыми рассуждениями о социализме, не только втаптывают в грязь политические и философские взгляды левых авторов, но и взялись за дискредитацию нашего менталитета. Такое впечатление, что сегодня не только публицисты западного мира, но и наши, доморощенные, боятся даже упоминать в своих рассуждениях классиков марксизма или сразу ругают, не удосужившись привести аргументы, цитаты, обобщённые их мысли. Похоже, что они ведут себя по пословице: «Обжжённый на молоке, дуют на воду». Всякая псевдонаучная мелочь пробует «лягнуть» мёртвого льва, даже не вспоминая, что он перевернул мир, и не пытаясь понять, в чём его ошибка.

Громов кивнул в знак согласия:

— Да, я думаю, что теоретики в чём-то глубоко ошиблись, и хочу понять: в чём? Это надо для того, чтобы не повторять их, а выбирать более верный путь развития. А ты посмотри, что творится в умах критиков! Главное у них—это отрицание, осуждение, без глубокого научного анализа, без уважения к собственной истории. Всё это делается так, будто мы люди с другой планеты: безродные, преступные, с утраченной культурой и больным сознанием. Западные идеологи хватаются за это как за «дар Божий» и оборачивают против нас. Мы сделали то, о чём предупреждал Тынников: выплеснули с водой ребёнка.

Громов встал и начал ходить по залу.

Муромцев продолжил свой монолог. Его речь набирала обороты, он спешил довести свои мысли до собеседника, голос то поднимался до высоких нот, то вдруг утихал, и он с минуту молчал, скрепив руки на груди. Громов сел, опустив голову. Казалось, он думает о чём-то своём и не перебивает товарища. Но стоило Муромцеву остановиться на минуту, как Алексей Васильевич посмотрел на него вопрошающим взглядом и тихо сказал:

— Продолжай!

— Что это было? Кем на самом деле оказались те умы, о которых я говорил?— задал вопрос после паузы Евгений Иванович.— Они питали иллюзии в масштабах их талантов и гениальности? Это ошибки мыслителей, или виноваты во всём нерадивые исполнители? Может, всё вместе? А может быть, они вышли за пределы моральных ценностей своего общества, придав своим сочинениям и научным работам политическую направленность, которая послужила разжиганию розни среди народа, деформации сознания, разрушению вековых традиций? Я в сочинениях Александра Герцена нашёл интересную переписку с русским эмигрантом в Англии, бывшим профессором греческой словесности Московского университета Владимиром Сергеевичем Печериным. Свободомыслие

ему дорого обошлось. Он уехал за границу, в Англии принял католичество и посвятил жизнь служению в монастыре. Первый русский диссидент, как его сейчас называют, писал Герцену, что когда философия бралась за *пересоздание общественного порядка*, она постоянно доходила до жестокого деспотизма, например, в Фридрихе Втором, Екатерине Второй, Иосифе Втором и во всех неудавшихся революциях, и что коммунизм может быть только видоизменением николаевского самовластия. Далее он говорил: «...иногда лучшие умы и благороднейшие сердца ошибаются в основе, сами не замечая того».

Муромцев вдруг замолчал. Молчание затягивалось. Громов подумал, что Евгений Иванович сбился с мысли, потерял нить разговора. Он подошёл к нему, возможно, желая задать наводящий вопрос. Но Муромцев выпрямился, посмотрел умным внимательным взглядом на Алексея Васильевича и сказал:

— Алексей, извини, я вспомнил, что несколько лет назад мне попало на глаза письмо Бакунина к Марксу из Локарно в Швейцарии, где он излагает свои мысли об их отношениях. Я тогда не придал ему особого значения, много было другой важной информации и разных существенных событий в жизни страны. А сейчас, в ходе этого разговора, оно всплыло в памяти как своеобразный ключ к разгадке многого такого, что с нами произошло. Я тогда посмотрел и другие его записки. Скажу коротко. Михаил Бакунин ценил ум и глубокую учёность Маркса. Будучи сам активным и знающим революционером с большим опытом борьбы, разошёлся с ним по принципиальным вопросам. Сам подумай: он сказал, что никогда нельзя доверять власть ни одному человеку, каким бы гениальным и увенчанным добродетелями он ни был. То же он говорил и о меньшинстве, каким бы умным и благонамеренным оно ни являлось, над большой общностью народа. Бакунин напоминал, что, следуя закону, присущему самой власти, любая власть непременно несёт в себе злоупотребление властью, и любое правительство, будь оно даже избрано на всеобщих выборах, неодолимо стремится к деспотизму.

— Жень, ты прав. Мне интересны твои находки. Мы же привыкли красить в один тёмный цвет всех, кто не соглашался с политикой партии, имел свои мысли. Что мы знали о Бакунине? Анархист, да и только. Значит, не стоило его читать. Но это же интересная мысль... Продолжай!

— Отмечая ошибки Маркса, Бакунин писал, что тот—авторитарный коммунист, «сторонник освобождения и новой организации пролетариата государством». Но в этом уже заложено опасное противоречие. То есть власть организуется «сверху вниз, через разум и научный подход просвещённого меньшинства», исповедующего

социалистические взгляды. Заметь: «осуществляющего законную власть над невежественными и глупыми массами для блага их же самих». Потому что государство—это не просто «организованные силы общества», а организация господствующего эксплуататорского класса. И если рабочий класс создаст новое государство, то это будет в действительности не государство трудящихся, а организация нового деспотического класса. Алексей, ты чувствуешь, здесь пахнет анархизмом? Но он этого и не скрывал. И ещё один существенный момент, который отметил Бакунин: «Маркс подходил к теории революции с экономических позиций, но никак не анализировал возможные внутренние проблемы, психологию людей и не полагал, что пролетарское государство неизбежно превратится в диктатуру бюрократии». Здесь сразу вспоминаются царствующие особы Древней Греции и Рима—Ликург и Нума Помпилий. Они-то сумели построить государства с учётом психологии людей, путём исправления их вредных привычек. Что-то вроде прообраза коммунизма. —Скорее, военного коммунизма, кстати, с использованием рабов.

—Обвал, Алексей, произошёл во всех коммунистических странах. Значит, теория Маркса и всех его последователей оказалась односторонней, «колоссом на глиняных ногах». Отсюда и крах всей возведённой в реальной жизни конструкции, крах самой благой идеи. Не так ли?

—Женя, ты идеалист! Я думаю проще. Сама идея коммунизма, как уже сказали многие независимые учёные, это утопия. Она родилась в головах теоретиков и легла на благодатную почву в душах бедных народов, позволила свершиться революции. Но власть-то потом многие годы держалась на силе государства и одной личности, а не на волеизъявлении народа. Саму теорию, вначале научную, превратили в религиозную догму с интеллектуальной неприкосновенностью, не позволяя ей развиваться. Никто не смел в научной среде критиковать, исправлять ошибки, докапываться до истины...

—Алексей, но ведь мы жили, у нас была цель, был смысл жизни, он объединял нас, и молодёжь не была потерянными поколением. Мы сообща создали могучую державу. Это дорогого стоит. Разрушать до основания, как мы это сделали в очередной раз, большая глупость, падение в никуда.

Видно было, что Евгений Иванович устал, говорил медленно, тихим голосом, обдумывал каждую фразу. Алексей Васильевич улыбнулся и твёрдо сказал:

—Здесь ты прав. Созданное таким невероятным трудом хозяйство всей страны, моральные и культурные достижения, науку и образование уничтожали не просто «под горячую руку», а сознательно, под влиянием западных «партинёров».

Думаю, что наступает время «собрать камни». Теперь уже мало кто помнит слова того же Маркса, поддержанные Г. В. Плехановым, о том, что социалистическую революцию можно тогда свершать, когда созреют условия, экономические и социальные. Забыли? Пренебрегли? Тягостно было ждать и на всю катушку использовать плоды буржуазно-демократической революции для проведения назревших реформ? Легко говорить об этом после испепеляющего цунами, прошедшего с разрушительной силой через половину мира. Богата русская голова задним умом. Общество, конечно, не может жить в состоянии покоя, не ощущать и не осознавать необходимость развития. Думаю, что только спешка и самоуверенность выдающихся личностей привели к обратному эффекту. Большие ошибки великих людей в конечном счёте отразились на всех остальных—«нормальных». Они ввергли их в большие несчастья,—заклучил он, взмахнув указательным пальцем правой руки сверху вниз.

—Скажи, какое место сейчас занимают в сознании людей имена названных революционеров?—вдруг спросил Муромцев.

Алексей Васильевич посмотрел внимательно на Муромцева и сказал:

—Я вот что думаю. Ошибки гениальных умов непременно имеют место. Но нельзя забывать напряжённую обстановку в России во второй половине девятнадцатого века, особенно в конце его, и в начале двадцатого века. Остервенелый террор со стороны революционеров разных толков, интеллигенция бредит социализмом, рабочие возбуждены, а власть всё слабее и слабее. Государь больше выполняет функцию отца семейства среди прекрасных дочерей, нежели исполняет своё главное предназначение—быть настоящим лидером огромного государства. Да ещё Распутин стал влиятельным лицом в семье государя. А здесь вдруг—мировая война: всё в одну кучу. К тому же и то влияние, которое незримо подтачивало законную власть в России, со стороны западных «партинёров». Я имею в виду финансовую поддержку с их стороны наших революционеров. Короче, была своя специфика. Может, не вина в случившемся известных лидеров революционного движения? Может, это было проявление совокупной воли самого народа? Вместе с тем тот хаос, бездарность и нерешительность Временного правительства развязали руки и вдохновили небольшую в то время партию большевиков. Соглашусь с утверждением, что они просто подобрали эту власть на улицах столицы. Но распорядились прагматично, сумели сохранить её на долгое время. А имена надо помнить, изучать мысли тех, кто перевернул мир, делать выводы, чтобы не повторять ошибок. Это наша история.

*Окончание следует*

Джеймс Джойс

## Из сборника «Камерная музыка»

12 стихов о любви в поэтических переводах Андрея Деменюка

## VII

Моя любовь одета в свет  
 Среди яблонь, где чуть-чуть  
 Хотел бы ветер юных лет  
 Побегать с кем-нибудь.  
 По саду, где ему не лень  
 Кокетничать в листве,  
 Любовь моя идёт, и тень  
 Плывёт за ней в траве.  
 Где неба кубок голубой  
 Льёт радость в этот рай,  
 Любовь моя идёт со мной,  
 Поддёрнув платья край.

## VIII

Кто там идёт в лесу зелёном  
 Любимицей весенних дней?  
 Кто там идёт в лесу весёлом,  
 Чтоб становилось веселей?  
 Кто там идёт во свете солнца  
 Узнавшей шаг её тропой?  
 Кто там идёт во свете солнца  
 Невинной девочкой такой?  
 В лесу весеннем все тропинки  
 Нежнейшим золотом горят!  
 А для кого весь лес оделся  
 В такой блистательный наряд?  
 О! Это для моей любимой  
 Мундир надел он золотой!  
 О! Только для моей любимой —  
 Волшебной-сказочной такой!

## IX

Майские ветры над зеркалом вод  
 В море затеяли свой хоровод.  
 С гребня на гребень, веселья полны,  
 Пену подняли гирляндой с волны.  
 С арки серебряной, там, в высоте,  
 Видят ли ветры, любовь моя где?  
 Стыд и срам, стыд и срам  
 Майским всем ветрам!  
 Скрылась любовь, и невесело нам.

## XVII

Я слышал голос только твой.  
 Стал с другом сух.  
 Опять — рука в руке — с тобой,  
 Был слеп и глух.  
 И не исправит всё теперь  
 Ни взгляд, ни звук.  
 И в списке вражеских потерь  
 Теперь мой друг.

## XXI

Нет больше славы, вот и нет  
 С кем пообщаться по душам.  
 И ты в глаза тревог и бед  
 Один, как рыцарь, смотришь сам.  
 Не примешь никого в свой круг,  
 И лишь твоя любовь — твой друг.

## XXVI

Поёт, как раковина, ночь,  
 Ласкает хор твой дивный слух.  
 Но что за звук был в силах смочь  
 В душе твоей родить испуг?  
 Быть может, это диких рек  
 На севере пустынном бег?  
 И твой испуг — его вина,  
 Ведь Север жуткий свой рассказ  
 Шептать привык от века нам,  
 Как дух ночной в заклятый час.  
 Ему внушили этот бред  
 Сэм Пэрчас<sup>1</sup> или Холиншед<sup>2</sup>.

- .....
1. Пэрчас, Самуэль (начало XVII в.) — священник, учёный, автор книг по истории, географии и о путешествиях.
  2. Холиншед, Рафаэль (XVI в.) — священник, редактор и составитель «Хроник Англии, Шотландии и Ирландии» («Хроники Холиншеда», 1577).

**XXVIII**

О леди милая, не пой  
 Ты песен о былой любви;  
 Отринув грусть о той, ты спой,  
 Что тлеет у тебя в крови.  
 Спой о глубоком, долгом сне  
 Влюблённых умерших, и на  
 Могиле их в глубоком сне  
 Любовь уснёт, утомлена.

**XXIX**

Любовь, что ты творишь со мной?  
 Пленил меня твой нежный взгляд.  
 Как прежде, ты прекрасна, но  
 Как изменился твой наряд!  
 Сквозь чистоту лучистых глаз,  
 Сквозь поцелуя нежный вздох  
 В саду любви напал на нас  
 Вдруг ветер ледяной врасплох.  
 Твоя любовь обречена—  
 Кричит мне ветер ледяной.  
 Любовь, любовь, ты мне нужна.  
 Ах, что же ты творишь со мной?

**XXX**

Любовь настигла нас, когда,  
 Ты нежно в сумерках играла,  
 А я стоял в испуге... Да,  
 Любовь пугает нас сначала.  
 Мы были страстно влюблены.  
 Но вот ушли любовь со страстью.  
 Теперь и мы уйти должны.  
 Путиами разными, по счастью.

**XXXII**

Дождь шёл и всё не мог уйти.  
 Пойдём в намокший парк скорей.  
 Листва упала на пути  
 Ушедших дней.

Там, на пути ушедших дней,  
 Повременим с разлукой чуть,  
 Ведь где-то там к душе твоей  
 Нашёл я путь.

**XXXV**

Весь день я слышу в шуме моря  
 Тот стон глубокий  
 Летящей птицы, стон печальный  
 И одинокий.  
 И ветер стонет, птице вторя,  
 В одном потоке.  
 Холодный, серый ветер шквальный  
 Летит за мною.  
 Я слышу—бьются волны моря  
 Там под скалою.  
 И день, и ночь я слышу дальний  
 Удар прибоя.

**XXXVI**

Я слышу, как сходит на пляж за отрядом отряд,  
 И всадники с грохотом мчатся,  
 И пена летит с их коней.  
 И гордые, в чёрных доспехах, за ними стоят  
 Спокойно под стрелами ливня  
 Бойцы боевых кораблей.  
 Их крик громовой раздаётся повсюду в ночи,  
 Их смех заставляет во сне меня горько стонать.  
 Огни ослепляют. А сердце стучит и стучит.  
 Стучит, словно молот, спешащий железо ковать.  
 И с криками с моря врывается варваров рать,  
 Трясутся зелёные космы победных дружин.  
 Что ж, глупое сердце моё, ты надежду не хочешь терять?  
 Любовь, о любовь, о любовь!  
 Почему я остался один?



Дмитрий Косяков

## Ульярика в Пододеялии

Наш поезд мчался на запад,  
Где солнце спускалось в ад.  
И дочка спросила: «Папа,  
Когда мы проедем закат?

Он там, впереди, но он рядом.  
Как быстро нас поезд понёс!  
Когда ж он останется сзади?  
Когда мы проедем насквозь?»

Нет, мы не проедем закат,  
Нет, мы не проедем закат.  
Пройди сто дорог,  
Но он будет далёк,  
И я даже этому рад.

Но машет девочка шляпкой,  
Дрожит у неё голосок:  
«Он к нам приближается, папка!  
Спустился на ближний лесок!»

Щекой ко мне дочка прильнула,  
Глядит, как сгущается мгла,  
Да так на руках и уснула,  
Упрямые бровки свела.

Закат убегает назад,  
Зароется в землю, как клад,  
Умрёт на бегу—  
Я лампу зажгу,  
Но мы не проедем закат.

### 1. Ульярика попадает в незнакомую страну

Они и правда не проехали закат: когда папа с Ульярикой на руках вышел из электрички, то вечерняя заря догорала вдали розовой полоской. Папа разбудил Ульярику и поставил её на ножки, так как она уже подросла и папа не смог бы нести её всю дорогу. Они взялись за руки и пошли от дышащей жаром железной дороги в пахнущую травами темноту. Спустились с насыпи к речушке, перебрались через неё по мостику, потом снова стали подниматься в горку.

Шум электрички затих вдали, комарики пели над ухом свою сумеречную песенку. Между деревьями становилось всё темнее, и лесная мгла оживала: начинали перешёптываться деревья и травы, давали о себе знать ночные зверушки.

Вообще Ульярика с папой любили поболтать о том о сём, но в этой темноте интереснее было слушать, о чём говорит лес.

Наконец они вышли к посёлку (Ульярика забыла, как он называется), проследовали вдоль заборов по дорожке, на которой лежали жёлтые пятна от окон, и добрались до своего забора.

Отперли калитку и поскорее прошли в дом.

Разулись, а затем, хоть и устали с дороги, поскорее принялись за дела, ведь нужно было затопить печку, чтобы согреться, да и чего-нибудь перекусить. Свет из окна озарял ветки ближайших кустов, а дальше начиналась непроглядная мгла, шевелящаяся, дышащая, глядящая в дом.

Пока Ульярика ужинала, печка понемногу согрела избушку. Потом стали укладываться спать. Потом папа пошёл шебуршать какими-то вещами в соседней комнате, а Ульярика принялась за своё любимое занятие—прыгать по кровати. Ах, как здорово играть с подушками и огромным тяжёлым одеялом! Залезаешь под него с головой—и...

И тут случилось невероятное. Из-под одеяла потерялся выход. Ульярика ползла то в одну, то в другую сторону, но никак не могла доползти до края. Встать на ножки она не могла: уж очень тяжёлое было одеяло. Стало немножко страшно, но Ульярика взяла себя в руки и решила ползти всё время в одном и том же направлении. Не могут ведь одеяло и кровать быть бесконечными!казалось, что она ползла целую вечность, но потом вдруг её рука потеряла опору, и Ульярика стала соскальзывать куда-то.

Только и успела крикнуть:

— Папа, выручай!—и поехала будто со снежной горки вниз... вниз...

Струившееся вокруг, гладившее её по щекам одеяльное полотно вдруг превратилось в листву. И девочка уже не падала, а стояла на своих ногах, да ещё и в сандаликах. Ульярика стала пробиваться сквозь окружившие её ветки и листья и вот оказалась посреди улочки, вдоль которой тянулись заборчики и живая изгородь. Сквозь одну такую живую изгородь она и продралась, но, оглянувшись назад, поняла, что за её спиной ветки сомкнулись плотно и непроходимо.

Сперва Ульярика посмотрела на себя: вот чудеса! и когда это она успела обуться и одеться? Потом

хорошенько огляделась вокруг. Где это она очутилась? Ночь куда-то пропала, вокруг стало куда светлее. За заборчиками виднелись удивительные домишки — один другого необыкновеннее: то пузатые, почти круглые; то совсем треугольные, так что скаты крыши упирались в землю; то квадратные, как кирпич. Да и сами заборчики были очень странные, сделанные из чего попало: из спинок кроватей, из кое-как натканных веток или ещё из чего.

Так что первое время Ульрика только изумлялась всему этому, шла вдоль улицы и любовалась домиками. А что? Солнышко пригревало, есть не хотелось. И местных жителей пока что-то было не видать.

Ульрика заглядывала за оградки, но во дворах было пусто, занавесочки на окнах домов были опущены. «Наверное, тут ещё утро», — догадалась Ульрика и двинулась дальше. Впереди дорожка делала поворот, а вдалеке над домами в небо вздымались покрытые лесом холмы. Всё было тихо, солнышко золотилось ещё где-то между стволами деревьев, птички едва начинали просыпаться.

## 2. Старый Лис учит жизни

Но вот с одного из крылечек донёсся скрип. Кто-то сидел в кресле-качалке и деловито шуршал газетой (Ульрика знала, что такое кресло-качалка и газета, из старых книжек и мультиков). А потом хозяин дома перестал читать, убрал газету, и оказалось, что это Лис — большой и даже толстый.

На Лисе были надеты синие джинсы с подтяжками, а на теле то ли рыжий свитер, то ли просто такая шерсть — не поймёшь. Морда у него была... Впрочем, все лисьи морды кажутся хитрыми. А у этого ещё и глаза прятались за стёклышками очков. — Здравствуйте! — окликнула его Ульрика.

Лис поднял очки на лоб и посмотрел на неё удивлённо и внимательно:

— Кто это ко мне пожаловал?

— Это я, Уля.

— Ну, заходи... Уля-кукуля.

Девочка отворила калитку и по вымощенной плитам дорожке подошла к крыльцу — мимо грядок с клубникой, теплиц и клумбочек. Всё это время Лис внимательно смотрел на Улю и не говорил ни слова.

Девочка подошла и в ответ тоже уставилась на Лиса:

— А как тебя зовут?

— Меня? Сотсирх.

— Как?

— Сотсирх.

— Что за странное имя? — удивилась Ульрика.

— Ну, вот так уж вышло: родители соригинальничали, а мне с этим жить пришлось. Нет бы назвали меня обычным лисьим именем — Трифилий или Варахасий... — сказал Лис, пошевелив усами.

— А что это за место?

— Это? Посёлок Физиков.

— Вот это всё-о? — Ульрика сделала широкий жест рукой, охватив им даже дальние холмы.

— Зачем же всё? Там, за холмом, находится посёлок Лириков. Только делать в нём особенно нечего.

— А почему нечего?

— О, милая, сейчас Старый Лис научит тебя жизни! — от предвкушения он даже потёр лапы.

Ульрика села на небольшую скамеечку, и Лис приступил:

— Видишь ли, дорогая деточка, все люди от природы делятся на физиков и лириков. Люди умные и трудолюбивые идут в физики, изучают всякие точные науки и работают программистами, а люди ленивые и бестолковые идут в лирики и работают охранниками в супермаркетах, хотя и воображают себя бог знает чем. Если ты будешь физиком, то в тебе всегда и всюду будет нужда, а от лириков никакого толку нет. И при этом всякий физик, если только пожелает, запросто может превратиться в лирика — тому есть масса удачных примеров, а вот лирик ни за что не сможет стать физиком, ибо умом не вышел. Ну как, кем бы ты хотела быть?

— Так вы же говорите, что это всё от природы зависит, — удивилась Ульрика.

— Зависит-то оно от природы, — не растерялся Лис, — да только как ты узнаешь, кем ты уродился?

— И как же тут узнать?

— Есть способ, — подмигнул Лис. — Если ты признаёшь, что физики — самый нужный и дельный народ, значит, для тебя ещё не всё потеряно — сможешь стать физиком.

— И всё?

— Не совсем. Есть ещё одно условие.

— Какое?

— Надо мальчиком родиться. Девочки физиками быть не могут. Это как машину водить.

— Так зачем вы мне всё это рассказываете? Разве не видите, что я девочка?

Лис вздохнул:

— Вижу. Да только что же делать? Мальчики меня слушать не хотят. Надоел, говорят. Не приставай, говорят. Дураки они все. Небось, в лирики решили податься. Ну да ничего — мы для тебя сделаем исключение. Будешь первая девочка-физик! — подмигнул Лис.

— А это здорово?

— Конечно! Только представь: будешь настоящую пользу людям приносить, изобретать всякие удивительные штуки.

— Ух ты! А какие штуки?

— Ну... какие... Уж какие скажут. Сам-то я не знаю, чего изобретать. Надо, чтобы тебе сперва заказ поступил.

— Заказ? А от кого?

— От кого, от кого! От начальства!

— А начальство — это физики или лирики?

Лис задумчиво почесал ухо:

— Обычно, конечно, начальство из лириков состоит. Кто там у нас? Юристы, экономисты да философы всякие, будь они неладны.

— Как же это так выходит, что физики всех умней и трудолюбивей, а лирики у них в начальниках ходят?

Лис смущённо скосил глаза.

— Доверчивые мы. И благородные сверх меры! — закончил он, стукнув себя лапой в грудь. — Ну так вот, а сейчас я буду тебе рассказывать про королеву.

— Про какую королеву? — заинтересовалась Уля.

— Конечно же, про английскую! — ответил Лис.

Слушать про английскую королеву девочке совсем не хотелось.

— А я думала, у вас тут какая-нибудь своя королева есть...

— Вообще-то королева у нас есть, вот только про неё говорить неинтересно: про неё же в газетах не пишут и по телевизору не рассказывают.

— А вы любите газеты читать и телевизор смотреть?

— Люблю или не люблю, это тут совершенно ни при чём. Это мой сыновний долг!

— А что такое сыновний долг?

— Понимаешь ли, когда я был ещё мал, а мой папа был ещё молод, он сказал мне: «Сотя (это он так ласково меня называл), пообещай, что после моей смерти ты продолжишь моё дело».

— А какое это было дело?

— Ну, в то время он изобретал какие-то космические корабли. Но потом он это дело забросил и в последние годы жизни сидел на этом самом крыльчике и читал эту самую газету или сидел дома и смотрел телевизор. Поэтому, когда его не стало, я дал на его могиле торжественную клятву и, как видишь, сдержал её — сижу тут и читаю эту самую газету.

Лис важно развернул газету и показал её Ульрике. На листе красовался двуглавый лис в пиджаке и в галстуке, а сверху было написано крупными буквами: «Пододеяльская газета».

— А! — догадалась девочка. — Так ваша страна называется Пододеялия?

— Совершенно верно. Самая лучшая страна на свете. Скоро мы всех победим и захватим.

— А мне мой дедушка... даже оба дедушки говорили, что это мы скоро всех победим и захватим. — Ты их не слушай, ты меня слушай. Дураки твои дедушки — я один умный, — сказал Лис, но Ульрике уже расхотелось его слушать.

— А как мне отсюда домой попасть? — спросила она.

— Это смотря как ты сюда попала.

— Я залезла под одеяло и провалилась в какую-то дырочку.

— Не просто в дырочку, а в *судырочку*, — поправил её Лис. — Так вот, чтобы домой попасть, тебе надо будет разыскать *тудырочку*.

— И где же её искать?

— Тудырочка, наверное, где-то у лириков находится, — сказал Лис, задумчиво крутя хвостом.

— А почему именно там?

— Диалектика.

— Какая ещё такая диалектика?

— А я откуда знаю? Просто когда не знаешь, что сказать, всегда говори «диалектика», и всякий от тебя отстанет. Во всяком случае, у нас в посёлке.

— А что нужно говорить в посёлке Лириков?

— Хм... не знаю... Попробуй сказать «томление духа», авось подойдёт. Или скажи, что ты на экскурсию к ним пришла, они это любят... Да что же это я? — вдруг спохватился Лис. — Ты ведь моя гостья, и я должен тебя угостить!

Ульрика поблагодарила и подумала, что это очень мило со стороны Лиса, потому что хоть она и попала в Пододеялию вполне сытой, но уже успела проголодаться, пока слушала всякие рассуждения и поучения.

Лис сперва пригласил Ульрику в дом, но в доме оказался ужасный беспорядок и грязь. Ульрика заглянула за дверь и увидела в темноте какие-то железные полки, на которых стояли всякие непонятные приборы вперемежку с грязной посудой. Она даже подумала, что дом и вовсе необитаем и используется в качестве чулана.

Но Лис отвлек девочку от подобных раздумий, пригласив её позавтракать на свежем воздухе за летним столиком. Он вытащил мешок с вполне настоящей гречневой крупой и отсыпал немного в две чашечки. Залил всё это кипятком и накрыл другими чашками. Пока нарезали хлеб, то да сё, крупа уже распарилась. Лис полил это всё подсолненным маслом. Гречка была кисловата на вкус, но солить Лис наотрез отказался, ибо от этого «камни в почках заводятся». В принципе, кушанье получилось вполне съедобное, тем более что Уля была голодна, а Лис с особым смаком потчевал гостью.

«И чем это не приволье? — подумала Уля. — Вот так покушать гречки из грязной посуды вместе со Старым Лисом». И даже то, что вилки были плохо вымыты, придавало этому завтраку особую лихость, особую запретную прелесть. Ведь мама ни за что бы не разрешила Ульрике принимать участие в такой трапезе.

— Отведай ветчинки, внученька, — ласково говорил Лис, доставая из-под стола тарелку с засохшей нарезкой.

Ну, тут уж Ульрика вежливо отказалась и приналегла на кашу.

Перекусивши, она стала прощаться с Лисом, а он стал уговаривать её ещё погостить у него. Даже обещал ей забавные задачки по математике загадать и показать, как в компьютере систему переустанавливать.

Но на это Ульрика уже не польстилась, а отправилась в путь.

### 3. Маркиз Кусолиз

Пока что дорожка катилась под уклон — к подножию холма, за которым располагался посёлок Лириков. Пройдя несколько шагов, Ульрика вдруг заметила, что идёт босиком, что на ней больше нет тапочек. Ну дела! Куда ж это они подевались? Неужели Лис стащил детские тапочки? Кто его знает...

Впрочем, идти босичком было даже приятнее, хотя получалось и не так быстро. Ходить босиком приятно и по прохладной травке, и по мягкой дорожной пыли, и по тёплой грязи. Только по камням неприятно. Девочка топала вдоль аккуратных (и не очень) оградок, ухоженных (и не очень) лужаек, приветливых (и не очень) домиков. Зелёные изгороди порой поднимались высоко, и тем интереснее было узнавать, что откроется за тем или иным поворотом: то вдруг появится увитая плющом арочка, то притаившаяся в кустах скульптура русалки или енота, а то и курятничек с самыми настоящими цыплятами! Так девочка шла, исследовала пододеяльские красоты, пока на перекрёстке не увидела маркиза.

Можно было не сомневаться, что это настоящий маркиз — в сером дымчатом камзоле и белой крахмальной рубашке, в высоких ботфортах и длинном курчавом парике, из-под которого выглядывало небольшое личико с аккуратными усиками и большими удивлёнными глазами. Маркиз топтался на одном месте, оглядывался по сторонам и разводил руками. Было сразу ясно, что он находится в самом затруднительном положении.

Ульрика была девочкой доброй и героической. Она немного постеснялась, а потом подошла к маркизу и спросила, что с ним произошло. Маркиз сперва немного удивился, а потом произнёс мягким бархатным голосом:

— Видите ли, мадмуазель, я потерял ключ.

— Ключ? Какой ключ? — спросила Ульрика и сразу принялась осматриваться вместе с маркизом.

— Ключ от замка.

— От какого замка?

— Этого я тоже не знаю. Потому что замок я тоже потерял.

Тут бы хорошо было прибавить, что маркиз сказал эти слова *сокрушённо*, но сокрушаться маркиз не умел и потому сообщал о своих потерях как о самых обычных делах.

— Ну, замок-то мы найдём. Ведь он в двери, правильно?

— Да, но дверь я тоже потерял.

— Ну и ну! Как же это вы всё теряете?

— Да, бедный маркиз потерял ключ, замок и дверь, да ещё и кто-то смотрит на меня, и потому я не могу ничего найти, — отвечал маркиз.

Ульрика невольно тоже стала рассматривать не дорогу, а озира́ться по сторонам: заборчики,

ограды, дома, калитки, деревья, пара столбов... Погодите, погодите-ка... У столба была пара глаз! — Ага, вот оно! — воскликнула девочка, и глаза тут же зажмурились и пропали.

Маркиз с облегчением провёл рукой по лицу: — Ну, спасибо тебе, отважная незнакомка. Теперь давай найдём ключ.

Они стали всматриваться в заборы, в дорожную пыль, и наконец Ульрика разглядела на кусте блестящий серебряный ключик. Она протянула его маркизу:

— Это?

— Да! Но оставь его пока при себе. Пока мы не нашли замок и дверь, я не могу ни воспользоваться ключом, ни даже назвать моё имя.

«Какие странности! Или у маркизов всегда так принято?» — задумалась Ульрика. Но не успела она припомнить, что она вообще знает о маркизах, как наступила на что-то. Это и был замок.

— Пр-ревосходно! Пр-ревосходно! — маркиз даже запрыгал от радости. — Осталась дверь.

Ульрика принялась указывать на двери близлежащих домиков:

— Это? Это?

Но маркиз только мотал головой, а потом даже нетерпеливо топнул ногой. Ульрика обиделась:

— Я тебе уже столько всего нашла. Хоть бы ты сам что-нибудь разыскал.

— Не могу, — настаивал маркиз. — Ищи ты.

— Нет, — Уля тоже топнула босой ножкой, гордо задрала нос и тут увидела на сосне, которая росла у дороги, на одной из верхних веток что-то маленькое, дугообразное... — Может, это?

— Ну конечно! — обрадовался маркиз. — Теперь полезай за дверью.

— Хватит, — возмутилась Ульрика. — Сам полезай. Устала я доброй быть, и вообще я — девочка.

Маркиз засопел, но послушался, обхватил сосну руками и с такой ловкостью полез на сосну, что Уля удивилась — уж ей бы ни за что это так здорово не удалось.

— А ты мне пой что-нибудь! — крикнул маркиз уже сверху. — Я люблю, чтобы песни были, когда я по деревьям лазаю.

— А про что петь-то? — закричала снизу Уля.

— Про что-нибудь смелое. А то свалюсь!

Ульрика вспомнила песенку, которую она учила в садике, и стала петь её. Правда, слова, может быть от волнения, получались какие-то не такие:

Моя армия синяя-синяя,  
Моя армия белая-белая,  
Моя армия чёрная-чёрная,  
Эта песня об армии моей!  
Наша армия синяя-синяя,  
Наша армия белая-белая,  
Наша армия чёрная-чёрная,  
Смешная зачинщица затей!

Мы тебя во все цвета покрасим,  
Дорогая армия моя,  
Только ни за что не будешь красной,  
Потому что это ай-яй-яй!

— Давай ещё! — кричал с дерева маркиз. — Я уже вниз лезу!

Ульрика попробовала припомнить другую песенку, которую любил петь её дедушка:

Как упоительны в России вечера,  
Американо, капучино и чизкейки,  
В кинотеатрах голливудские ремейки,  
Как упоительны в России вечера.

И снова слова получались не совсем правильные и не совсем понятные. Если американо и капучино девочка знала и даже пробовала, то что такое ремейки и с чем их едят, понять было мудрено. А дальше пошло что-то невообразимое:

От мемов в «Твиттере» фейспалмят юзера,  
А на «Рутубе» модератор банит фейки.  
Американо, капучино и чизкейки,  
Как упоительны в России вечера.

— Ну, достаточно! — маркиз уже слез с дерева, и рядом с ним красовалась большая, в человеческий рост, серебряная дверь. — Вот теперь я могу представиться и пригласить тебя в гости.

— Странно, а я думала, что люди сначала знакомятся, а потом приглашают друг друга в гости.

— У *простых* людей это, может, и так, а у нас, у маркизов, всё наоборот. Ведь мы, маркизы, называемся в честь своих родовых замков и имений. А если нет у тебя замка, то какой ты маркиз и как тебя вообще зовут? А теперь я имею полное право представиться: маркиз Кусолиз из Розового замка!

При этих словах маркиз Кусолиз распахнул серебряную дверь, и за ней оказалась дорожка, ведущая к небольшому нарядному замку с розовыми крышами. Причём дорожку и замок было видно, только если смотреть через дверь, а если заглянуть как-нибудь сбоку, то никакого замка с дорожкой не наблюдалось.

Ульрика тоже представилась — назвала фамилию, имя и отчество, правда, перепутала порядок, так что отчество у неё пошло после фамилии. Но маркиза это совершенно не смутило: он шаркнул ножкой и сделал приглашающий жест рукой.

Они прошли к замку, остановились у ворот, и маркиз шепнул Ульрике:

— А теперь крикни погромче: «Открыть ворота высокородному и могущественному владельцу, достопочтенному маркизу Кусолизу!»

— Почему я должна это кричать? — прошептала в ответ Ульрика.

— Так уж полагается. Не могу же я сам себя представлять? Вот когда нам отопрут, я тебя представлю.

Ульрика согласилась. Она притопнула ножкой и прокричала то, что было нужно. Ворота и впрямь открылись, а за ними их встретили двое очень высоких людей — мужчина и женщина.

— Познакомься, это мои слуги, Иван Иванович и Марья Петровна, — сказал маркиз и обратился к встречавшим: — А эта девочка — Ульрика, моя помощница.

Великаны прогудели в ответ что-то непонятное и впустили их в замок.

#### 4. В Розовом замке

Всё в жилище у маркиза было большое.

— Люблю масштаб! — приговаривал Кусолиз, показывая Ульрике большие столы и стулья, большие кровати, большие окна и так далее.

— И слуги у тебя поэтому большие? — спросила девочка.

— Конечно!

— И ты спишь в этой огромной кровати?

Кровать у маркиза и впрямь была огромная — просто аэродром какой-то.

— Да. Кроме того, тут есть ещё один плюс. В эту кровать со мной можно положить Ивана Ивановича с Марьей Петровной.

— Зачем?

— Чтобы теплей было. Понимаешь, люблю тёпленькое. А от них знаешь сколько тепла! И со стульями так же. Они на них посидят и нагреют, а потом уж я сажусь.

— Как же ты узнаешь, когда стул уже нагрелся?

— А как они встанут, значит, нагрелся уже. Слуги у меня в этом хорошо разбираются.

— Да, здорово ты тут себе всё устроил.

— Не то слово! Знаешь, мне порой кажется, что весь мир специально устроен так, чтобы мне лучше жилось. Солнышко всходит и заходит, ветерок дует, птички поют... Я знаешь как люблю на птичек смотреть!

Они шли по просторным залам с высокими потолками, огромными висячими лампами. А за окнами и впрямь весело щебетали птички.

— Всё для тебя одного? — с сомнением переспросила Ульрика.

— Ну, не совсем для одного. Есть ведь ещё и королева.

— Да, мне Старый Лис говорил про вашу королеву. А где она живёт и что делает?

— Живёт она далеко, за посёлком Клириков.

— Лириков?

— Да нет же! Кли-ри-ков. Лирики тут рядом живут, а клирики подальше. Что делает? Да ничего не делает. Сидит в своём замке... Честно говоря, даже не знаю, чем она там занимается. Давным-давно про неё ничего не было слышно.

— Я, конечно, слыхала, что все короли и королевы ужасные бездельники, но ваша, выходит, совсем лентяйка. Ведь плохо же ничего не делать.

Маркиз Кусолиз замахал руками в бархатных перчатках:

— Что ты! Что ты! Совсем наоборот. Это простым людям вредно ничего не делать. А короли чем ленивее, тем лучше. Ведь если они начинают что-то делать, от этого подданным один вред. Подумай сама: указы, распоряжения, требования, правила. От этого с ума сойти можно. А войны? А ремонт? Чем меньше правитель правит, тем подданным легче. Вот у тебя в стране как это устроено?

Ульрика и правда припомнила, как у неё дома под окном что ни год, то заменяли бордюры вдоль дороги. Приходили работники, выковыривали прошлогодние бордюры, а потом на их место ставили новые. Но не сразу, а эдак месяца через полтора, так что пол-лета улица была похожа на раскопки древнего города. Когда жильцы выходили ругаться, рабочие лишь пожимали плечами: «Распоряжение администрации».

И точно так же каждый год обпиливали деревья во дворе. Так что они становились всё короче и короче, пока не превратились в какие-то пеньки. Папа ещё говорил, что со светофорами и заборами в городе какая-то путаница постоянно творится...

Тут Уля вспомнила про папу и, чтобы не загрустить, спросила маркиза:

— А как ты тут развлекаешься?

Кусолиз озорно прищурил глазки:

— О! Это я умею делать по-настоящему, по-маркизски! Хочешь, я возьму тебя на охоту?

— На охоту? Сейчас?

— Конечно! Мы будем охотиться прямо в стенах этого замка.

— На кого же тут охотиться?

— Увидишь, — таинственно сказал Кусолиз и, приложив палец к губам, поманил девочку за собой.

Они на цыпочках двинулись по коридору замка. Маркиз ступал совершенно бесшумно, Ульрика тоже старалась не шуметь. В Розовом замке стало совершенно тихо. Даже птицы за окнами как будто смолкли. И от этой осторожности и таинственности девочке стало немножко не по себе. Они дошли до места, где коридор делал резкий поворот, и остановились возле угла.

Маркиз показал на ухо, и Ульрика стала прислушиваться. Действительно, оттуда, с той стороны коридора, скрытой за поворотом, донеслись приближающиеся мерные звуки. Кусолиз сделал страшные глаза и тихо вытащил шпагу из ножен. Девочке стало ещё тревожнее. Она прикрыла рот ладонью, чтобы не вскрикнуть, и изо всех сил слушала, что же это за звуки. Вскоре стало ясно, что это тяжёлые шаги. Всё ближе, ближе.

Казалось, вот сейчас уже существо должно показаться из-за угла, но это был обман слуха. Шаги не прекращались, а только становились громче и отчётливее. Ждать становилось просто невыносимо... И тут Кусолиз скомандовал:

— Вперёд-о-од! — и выскочил из-за угла.

Ульрика, не успев хорошенько подумать, бросилась за ним. За поворотом было что-то громадное. Пойдите, так ведь это Марья Петровна!

А маркиз уже подбежал к ней и кольнул её шпагой в ногу.

— Ха-ха! Получи, служанка! Ату нищесбродов! — закричал маркиз.

Ульрика совершенно растерялась и не знала, что ей делать. Марья Петровна, похоже, тоже была несколько ошарашена, но шпага маркиза не пробила её толстенный вязаный чулок.

— А теперь бежим! — скомандовал маркиз Ульрике и устремился мимо служанки в глубь коридора. Девочка бросилась за ним.

— Разыщем Ивана Ивановича! — кричал бежавший впереди маркиз, потрясая шпагой.

— Зачем? — выдохнула запыхавшаяся Ульрика.

— Чтобы сразить его!

Кусолиз забежал за поворот, но тут же как-то странно вякнул, послышалась возня. Ульрика остановилась, а из-за угла появился Иван Иванович. Причём он тащил за шиворот Кусолиза. Вид у маркиза был присмиривший. И шпага была уже в ножнах.

Не обращая на гостью никакого внимания, Иван Иванович проследовал вместе с маркизом по коридору, потом вниз по лестнице. Ульрика пошла за ними, едва поспевая за широкой поступью слуги-великана.

Иван Иванович притащил маркиза в гостиную, положил на кресло у камина и ушёл по своим делам. Ульрика подошла. В отблесках пламени вид у маркиза был задумчивый, даже философский.

— Что это было? Ты зачем напал на собственных слуг? Нашёл на кого охотиться!

— Много ты понимаешь! Охота испокон веков считалась у аристократов самой почётной забавой. И только самые властительные князья могли себе позволить охотиться на собственных подданных. Мы — едоки, они — наш корм. Дракула, как ни крути, всё-таки был граф...

Кусолиз вздохнул.

— А то, что тебя вот так сюда притащили, это тоже почётное дело?

— Это часть игры...

— И это тоже ради тебя делается?

— Ага. Чтобы я становился смиреннее. Кротость — добродетель монархов.

— Неужели это так принято у маркизов, чтобы слуги таскали вас туда-сюда, складывали куда придётся?

Маркиз долго задумчиво глядел на камин, прежде чем ответить:

— Что поделать! Люблю я их, слуг-то моих. Хоть и ведут себя порой не как подобает. Привык. Куда они пойдут из этого дома? Пусть уж живут, какие ни на есть.

У камина было хорошо. Но девочке снова вспомнился дом.

— Скажи, маркиз Кусолиз, а ты не знаешь, где разыскать тудырочку? Тут у вас, в Пододеялии, хорошо но мне ведь домой надо.

— Нет, не знаю,— ответил маркиз.— Я от замка ведь далеко не ухожу. Нельзя мне без вотчины. А вот вечером придёт ко мне один гость, так у него и спросим.

За окошком стемнело, и вдали послышался волчий вой, тоскливый и протяжный. Ульрика вздрогнула, а Кусолиз встрепенулся:

— О! Это, наверное, он.

И Ульрике стало ещё страшнее. Дверь в каминный зал открылась, и на пороге стала видна фигура волка. Правда, это был не простой волк, не такой, как в зоопарке. Волк стоял на задних лапах и был одет в синие штаны, жёлтую рубашку и малиновый жилет с фиолетовыми полосами. На левой коленке у него была ярко-красная заплатка.

— Здравствуй, Кусолиз! Я смотрю, у тебя гости!— сказал Волк, прошёл и галантно раскланялся.

— Знакомься, это Ульрика, моя помощница,— сказал маркиз.

— Очень приятно. А я Волк,— сказал гость и, приблизившись к Ульрике, спросил:— А нельзя ли вас пригласить на свидание со съеданием?

Ульрике такое приглашение показалось не слишком заманчивым, а хозяин дома поспешил добавить:

— Полно тебе! Сейчас нам как раз ужинать подадут. Эй, есть там кто? Ужинать пора!

Через пару минут в комнату вошла Марья Петровна, бормоча что-то невнятное, но, кажется, не слишком лестное для маркиза, и принесла еду. Перед Ульрикой, Волком и Кусолизом оказалось по большой миске каши. Ульрика была голодна и поспешила отведать ложечку, но никакого вкуса не ощутила.

— Постой!— сказал маркиз.— Ведь еда ещё не приготовлена.

— А кто сегодня будет готовить?— поинтересовался Волк.

— Сегодня, так и быть, угощаю я!— сказал хозяин.

Ульрика оглянулась по сторонам, но никто не вошёл с подносом, и Волк с Кусолизом не двинулись с места— всё так же сидели перед своими тарелками с той же кашей.

Тем временем маркиз продолжал:

— Сегодня у нас на ужин суперкоlobки и тореро-паэлья!

Ульрика подумала: «Да уж, я бы сейчас чего-нибудь поела...»

А Волк облизнулся и сказал:

— Была у меня как-то встреча с Колобком.

— На первое— суперкоlobки!— объявил Кусолиз.— Вымытые брокколи и цветную капусту

опускаем в кипящую с солью воду и оставляем вариться на медленном огне. Растапливаем масло или маргарин...

— А у нас что?— вставил Волк.

— Пусть будет маргарин: масло дорого сейчас. Так вот, растапливаем маргарин в сковороде и всыпаем панировочные сухари. Вынимаем брокколи и цветную капусту из кастрюли, кладем на тарелку и сверху посыпаем золотисто-жёлтыми сухарями.

— Ух ты, здорово!— воскликнул Волк.

После этого он и Кусолиз схватили ложки и кинулись уплетать кашу. Ульрика тоже попробовала, но каша осталась точно такой же, как и была,— безвкусной и пресной.

А Волк тем временем съел полтарелки и похвалил:

— Вот так коlobки! Здорово. Теперь свою тореру давай.

— Тореро-паэлья!— снова объявил маркиз.— Мелко нарезаем очищенный лук, а вымытую и очищенную морковь— крупно. Стручки перца нарезаем пополам, удаляем семена, промываем и нарезаем полосками. Вместе с мелко нарезанным луком бросаем это всё в разогретое на сковороде масло. Добавляем рис, овощи, томатную пасту... — Вку-уснота!— взвыл Волк и снова набросился на кашу.

Маркиз пытался его остановить— куда там! Волк съел всю свою порцию.

— Ну вот. Не дал приготовить как следует,— вздохнул хозяин.

— Ничего,— ответил Волк, блаженно прикрывая глаза.— И так вкусно было. А теперь пусть она нам десерт приготовит.

— Так ты ж всё съел.

— Ничего. Я так зажмурюсь и представляю. Десерт должен быть лёгким.

Хозяин и гость повернулись к Ульрике. Та сидела в недоумении.

— Давай. Что же ты?— сказал маркиз.

Ульрика решила, что так уж надо, и, стараясь попасть в тон маркиза, громко произнесла:

— Компот малиновый! Понадобится: один стакан, одна чайная ложка, вода питьевая, малина замороженная, сахар (не тростниковый). Берём стакан, наливаем в него воды, кладем туда малину, добавляем три ложки сахара и с очень большим удовольствием пьём.

Маркиз и Волк зажмурились и как будто даже проглотили что-то. Потом Волк вдруг закашлялся.

— Ложкой подавился,— объяснил он.

Между тем Ульрика ещё немного поела пресной каши и вроде немного насытилась.

Гость с хозяином тоже были довольны. Маркиз откинулся на спинку стула и затянул свою любимую сказочно-аристократическую песню:

Закуски! Сразу после винца...  
Закуски! Как допью до конца...  
Бабуськи! Как мне повезло...  
Ягуськи! Всему лесу назло...

— Так у вас тут и Баба Яга есть?

— Не Баба Яга, а Баба егэ. Её все дети боятся. Так и живут в страхе, пока не вырастут. Взрослых она не трогает,— пояснил Волк.

Немного ободрившись и осмелев, Уля спросила Волка:

— А вы не знаете, где мне разыскать тудырочку? Очень уж мне домой хочется.

— Это ты зря,— сказал Волк.— У нас тут хорошо. — Правильно,— подхватил Кусолиз.— Смотри, как тепло, уютно.

— Тепла и уюта мне и дома хватало,— вздохнула Ульрика.— А вот папы с мамой у вас нет. И друзей моих тоже: Саши да Илюши. А ещё котика моего Феденьки.

— Да, в гостях хорошо, а дома лучше,— согласился маркиз.

— Хорошо, когда свой дом есть,— кивнул Волк.— А тудырочку надо в королевском дворце искать. Все дороги туда ведут.

— Дорогой маркиз, а ты мог бы меня туда проводить?— спросила Уля.

— Я могу!— оживился Волк.— Я сам королеву повидать не прочь!

— Нет, с тобой, Волк, я не пойду. Уж больно ты пристающий.

— Возьмите меня!— взмолился Волк.— А то мне одному скучно.

— Ладно уж,— сказал маркиз Кусолиз.— Отведу я тебя, Ульрика, к королеве. Долг платежом красен. Ты мне помогла домой вернуться, и я тебе помогу. А Волк пускай нас до леса проводит. Только из моего замка нам надо тайком выбираться. А то Иван Иванович и Марья Петровна меня не выпустят.

— Разве ты не хозяин им, и они тебе не слуги?

— Да, но мы в ответе за тех, кого приручили...— загадочно ответил Кусолиз.

## 5. Снова в путь

Едва лучи утреннего солнца пробились сквозь кремевые шторы, которыми были занавешены окна Розового замка, Ульрика и Кусолиз тихонечко выскользнули из своих кроватей. Кусолиз при этом не потревожил раскатисто храпевших Ивана Ивановича и Марью Петровну. Похоже, у него в этом был большой опыт.

— Эх, жалко, завтрак пропустим,— вздохнул маркиз.

— Ничего. Я кое-что припасла,— успокоила его Уля.

Они осторожно открыли скрипучие ворота и выбежали на улицу. Раннее утро было свежим, даже немного зябким. Но девочка— вот так чудо!—

снова обнаружила на ногах тапочки. Пели ранние пташки, над полянами клубился туман.

— Свобода!— пискнул Кусолиз и кинулся валяться по траве и нюхать цветочки.

— Идём скорее,— поторопила его девочка.— Как бы нас не поймали.

— Меня? Да маркиза Кусолиза, повелителя Розового замка, никто ни за что не поймает...— сказал маркиз и тут же поспешно прибавил, вспомнив вчерашнюю неудачную охоту:— Если он сам того не захочет.

Всё же надо было спешить. Волк уже ждал их под кустом.

— За мной,— скомандовал он и на четырёх лапах потрусил по дорожке, пригибаясь к земле, прячась в тени заборов и в придорожной траве.

Путникам предстояло спуститься к реке, перейти через речку и вступить в лес, за которым на склоне холма располагался посёлок Лириков.

Ульрика не уставала любоваться необычными домиками посёлка Физиков, сделанными из каких-то труб, колёс, кусков загадочных аппаратов. Над одной грядкой с луком даже красовался старый выцветший плакат: «И на Марсе будут яблони цвести!» Возле грядки кто-то ходил с лейкой.

— Ой, смотрите! Смотрите! Это же робот!— с восторгом шепнула она Волку.

— Конечно,— ответил Волк.— Тут один профессор жил, так он разрабатывал проект освоения космоса. Специальных роботов к этому готовил. Ну а как проект свернули, так он приспособил своих роботов грядки себе поливать. Профессор уж помер давно, а лучок—ничего, подрастает. Хоть на рынке продавай.

Оградки кончились, кончился посёлок Физиков. Дорожка заметнее пошла под уклон. Нужно было идти осторожнее, чтобы не поскользнуться на мокрой от росы траве. Повеяло влагой, а потом послышался и шум реки.

За пределами посёлка Волк стал куда смелее. Он уже не прятался, не пригибался к земле и шёл не на четырёх лапах, а на двух, как и полагается сказочному волку.

— Вот сейчас переправимся через речку—и дома,— сказал он и зачем-то облизнулся.

— Ну, это ты дома, а нам с девочкой ещё до посёлка через лес идти,— сказал Кусолиз и накинул свой плащ на плечи Ульрике, чтобы не зябла.

Речка была небольшая, лесная, но бойкая, с пеной возле торчащих из воды камней, с кружащимися листьями и веточками.

— Может, по камушкам перескочим?— предложил маркиз.

— И-и,— махнул лапой Волк.— Поскользнётесь! А вода тут ледяная. Пойдёмте, я вам лучше переправу укажу.

И они пошли по берегу, причём берег был такой топкий и болотистый, что порой ноги вязли



в грязи. Кусолиз фыркал и постоянно отряхивал свои ботфорты.

— Уж не завёл ли ты нас в трясину? — с тревогой крикнул он.

— Да нет же! Скоро будет мост, — отозвался Волк.

И правда, чуть ниже по течению находился поросший мхом мостик, под которым устроил своё жилище бобёр.

— А как эта речка называется? — поинтересовалась Ульрика у Волка.

— Кач-кач.

— А почему?

— В честь мостика, — усмехнулся Волк.

И правда, стоило путникам ступить на мост, как доски застонали и задрожали под ними. Ульрика предложила переходить по одному. Волк согласился и вызвался идти первым.

— погоди! — сказал ему маркиз и достал из походной сумки небольшой кочан капусты.

— Это ещё зачем? — удивились Волк с Ульрикой.

— Так надо, — сказал Кусолиз. — Что-то было такое про переправу, про волка и про капусту.

И маркиз принялся руководить. Сперва он потребовал, чтобы Волк перенёс на тот берег кочан капусты и потом вернулся. Потом он послал на тот берег Ульрику, чтобы она встретила Волка и отдала ему кочан. Потом Волк должен был перенести капусту назад Кусолизу. Потом Кусолиз с капустой перешёл по мосту на тот берег. А за ним уже переправился Волк.

И вот они, совершенно сбитые с толку, оказались на том берегу.

— А теперь, Волк, ты бери капусту и... — задумчиво сказал Кусолиз.

— Э нет! — испуганно замахал лапами Волк. — Больше я в эту капусту с вами не играю! Даже девочку есть расхотелось...

Волк испуганно прикрыл лапой рот, а маркиз сказал:

— Ну а раз расхотелось, то и иди себе на здоровье. Только капусту не забудь.

Волк на последних словах маркиза очумело бросился в кусты и исчез.

— Ну ладно, — сказал Кусолиз, — а мы тогда перекусим. Доставай, чего ты с собой взяла.

Противоположный берег реки был усыпан камушками. Солнце уже поднялось высоко, и от разогревшихся камней шло тепло. Путники поели, помыли и высушили обувь, отдохнули и стали думать, куда идти дальше.

— Эх, жалко, Волк убежал. Кто нас через лес поведёт? — вздохнул маркиз.

— Нет уж, — решительно заявила Ульрика. — В лесу нам Волк не попутчик. Сами разберёмся. Ведь посёлок Лириков находится на склоне? Значит, будем подниматься вверх.

Маркиз похвалил Ульрику за присутствие духа, и они отправились в путь.

Когда Ульрика смотрела на этот холм издалека, из посёлка Физиков или с крыльца Розового замка, он казался ей не таким уж высоким, а лес на нём не таким уж густым, но сейчас почему-то чаща становилась всё непролазнее, деревья стояли всё плотнее, а их густая листва пропускала всё меньше солнца. Даже птицы тут пели как-то тревожно, словно пытались о чём-то предупредить.

Ульrike и Кусолизу стало страшновато, но они старались не показывать это друг другу. Вдруг в отдалении затрещали ветки, и между стволами мелькнуло что-то большое и белое.

— Ой, что это? — вскрикнула Ульрика. — Привидение?

— Лучше бы привидение, — проговорил Кусолиз.

И тут за деревьями затрещало, зарычало, и к путникам потянулись длинные лапы с кривыми когтями.

— Это же... это же... белые каряблики! — дрожа, вскрикнул маркиз.

— Кто-о?

— Вот покарябают тебя — будешь знать кто! Спасайся!

И Кусолиз бросился в чащу. Ульрика побежала в другую сторону, туда, где среди деревьев мерещился просвет. А сзади всё рычало, всё ревело, всё скрежетало и слышалось завывание или пение: «Белые каря-аблики, белые каря-аблики...»

Но вот девочка выскочила на большую поляну. Тут было гораздо светлее и даже как будто спокойнее. Шум за спиной затих, и птички запели веселее. Под ногами росли цветы. Ульрика перевела дух. Похоже, страшные каряблики остались где-то в чаще.

Сперва девочка встревожилась за Кусолиза, но вспомнила его слова: «Никто не может поймать маркиза», — а также как он ловко лазает по деревьям, и немного успокоилась. Кроме того, мысли Ульрики отвлекли появившиеся на поляне незнакомцы.

## 6. Новые знакомые

Их было двое. Один — высокий, худой, другой — невысокий, упитанный. Они оживлённо о чём-то разговаривали, и высокий постоянно наклонялся к низкому и потому был похож на согнутый пастуший посох.

— Да нет же, я тебе говорю: колобок обозначает солнце, а звери — планеты, — говорил один.

— А я тебе говорю, что колобок — это Иисус Христос.

Они были совсем не похожи на белых карябликов и, кроме того, похоже, не замечали ничего вокруг, увлечшись своим спором. Поэтому Ульрика без страха окликнула их:

— Здравствуйте!

Двое спорщиков уставились на девочку. У них были длинные волосы, очки и какие-то толстые вязаные свитеры чуть не до колен.

— Ты кто такая,—спросили они,—эпифора или анафора?

Про таких сказочных существ Уля ничего не знала и потому ответила:

— Я Ульрика. Меня не надо кушать. А вы кто?

Оказалось, что двух незнакомцев зовут Фыва и Олдж и что полненькая Фыва—тётенька, а тощий ушастый Олдж—дяденька. И ещё что оба они—из посёлка Лириков. Отправились в лес, да за разговором забыли, куда шли.

— Тогда проводите меня, пожалуйста, в посёлок,—попросила Ульрика.

— Хорошо,—сказала Фыва.—Но сперва загадай нам загадки.

Девочка подумала, что ослышалась. Ведь в сказках за услугу обычно приходилось разгадывать загадки, а не загадывать их. Но оказалось, что в этой сказке всё не так.

— Мы очень любим отгадывать загадки и вообще всякие игры со словами. Поэтому загадай нам загадку,—сказал Олдж.

Ульрика подумала секундочку и загадала первое, что пришло в голову:

— Красная девица сидит в темнице, а коса на улице.

— Ну, это просто. Морковка!—сказала Фыва.—Давай что-нибудь потруднее.

Ульрика постаралась припомнить самую трудную загадку, которую знала:

— У барыни семьдесят семь платьев, выйдет на улицу—спина гола.

— И эту мы знаем. Это курица,—ответил Олдж.

— Из книжки «Русские народные загадки, пословицы и поговорки»,—прибавила Фыва.

Ульрика растерялась: что же придумать? Похоже, новые знакомые и впрямь все загадки знают! И тут она вспомнила один случай из своего детства...

— Ставил, ставил—не поставил!

Фыва и Олдж выпучили глаза и замерли как заколдованные. На поляне стало так тихо, что, казалось, можно было услышать, как далеко в чаще скребутся невиданные звери.

— Эт-то... эт-то...—медленно заговорила Фыва.

— Это... это...—быстрее стал повторять Олдж.

Они прижали пальцы ко лбу (причём каждый прижал палец к чужому лбу) и стали вместе расхаживать по поляне.

— Это фильмы Германа!

— Это голос Киркорова!

— Нет! Нет!—весело отвечала Ульрика.

Про Германа она и слыхом не слыхивала. А Киркорова хоть и слыхивала на мамином айфоне, но загадка уж точно была не про него.

— Я не знаю,—растерянно сказала Фыва.

— И я не знаю,—присоединился Олдж.

— Эх вы, лирики! Это же колготки,—объявила девочка.

Фыва и Олдж на секундочку задумались, а потом расхохотались.

— А ведь правда!—сказали они и хлопнули друг друга по лбу.—Хорошо, отведём тебя в наш посёлок.

— Ура!—обрадовалась девочка.—А по дороге тоже будем во что-нибудь играть?

— А то как же!—сказала Фыва.

— Для нас вся жизнь—игра,—подхватил Олдж.

— Будем играть в наоборотки,—объявила Фыва.—Надо выдумать такое слово, которое при постоянном повторении превращается в другое слово, пусть даже и непонятное, и сказать это второе слово, а мы должны угадать первое...

— Ничего не понимаю,—замотала головой Ульрика.

— По дороге поймёшь,—утетила её Фыва, и они пошли.

— Ну вот, например, если быстро повторять слово «ладья», то что получится?—спросил Олдж.

Ульрика повторила несколько раз про себя: «Ладья, ладья, ладья...»

— По-моему, ничего не получится. Так и будет «ладья».

— А вот и не угадала!—обрадовалась Фыва.—Получится «одеяло». Это официальная наоборотка нашей страны.

— Или вот...—продолжил было Олдж.

— Нет уж! Теперь я,—перебила его Фыва и обратилась к девочке:—Как думаешь, что означает «кас»?

Ульрика на этот раз постаралась получше и быстро зашептала:

— Каскаскас...—и догадалась:—Сказка!

— Молодец!—похвалила её Фыва.—А ну-ка попробуй сама.

Ульрика задумалась, побормотала про себя, а потом заявила:

— «Лежите»!

Фыва и Олдж тут же кинулись на траву.

— Да нет,—пояснила Уля.—Это наоборотка такая: «лежите». Угадывайте.

Тогда её спутники поднялись и дружно затащили:

— Лежителжителжителжи...

— Я понял! Будет «жители»,—первым выкрикнул Олдж.

— Он играет в наоборотки лучше всех в посёлке,—пояснила Фыва.

— А может, и лучше всех в стране,—скромно заметил Олдж.

— Королеву тебе ни за что не обыграть,—сказала его спутница и показала язык.

Так, разговаривая о том о сём, они и добрались до посёлка.

## 7. В посёлке Лириков

Лес закончился, под ногами у путников оказалась дорожка, а над дорожкой от дерева к дереву была протянута вывеска: «Посёлок Лириков. Добро пожаловать!»

Здесь было много зелени, много деревьев, на некоторых участках даже были небольшие рощицы. На других участках, наоборот, всё было аккуратно пострижено, а посреди двора красовались клумбочки с цветами и даже фонтанчики.

— А почему тут лес? А почему фонтаны? — интересовалась всем Ульрика.

— Лес — это для уединённых раздумий, для поиска вдохновения, — объяснила Фыва.

— А фонтаны — потому что председатель дядя Боря однажды решил всем на зависть превратить наш посёлок в посёлок фонтанов. И это ему удалось! У нас их аж четыре. Ни в одном посёлке во всей Пододеялии столько нет, — прибавил Олдж.

— А кто здесь живёт?

— Здесь живут два народа: дюдю и люлю. Вот я — дюдю, — сказал Олдж.

— А я — люлюй, — сказала Фыва.

— Но есть древнее пророчество... — загадочно произнёс Олдж.

— Какое?

— Что люлий будет дюдю.

— Дюдю будет люлий?

— Вот именно. Ну, пошли дальше.

Фыва и Олдж привели девочку к дому с большим балконом. Балкон был такой большой, что казалось, будто он вот-вот перевесит и дом выркнётся вверх тормашками. На балконе сидели какие-то дед и бабка.

— Вот это наш председатель, дядя Боря, — сказал Олдж Ульрике.

— А почему у него лицо зелёное?

Но дядя Боря уже заметил гостей и услышал, что они говорят.

— А это потому, что я — Фантомас, — крикнул он с балкона.

Ульрика видела фильм про этого неуловимого бандита в зелёной маске. Папа показывал. Там ещё такой смешной инспектор полиции Фантомаса ловил. А вот сам Фантомас был страшноватый. Но дядю Борю Ульрика не испугалась. После белых карябликов ей вообще было теперь ничего не страшно.

— Ну, поднимайтесь к нам! — крикнул дядя Боря. — Мы как раз с моей бабкой кашу с молоком едим.

— А дом не упадёт? — спросила Ульрика.

— Что ты! Я же сам его строил, — сказал председатель и махнул рукой. — Заходите!

И вот они впятером кое-как расселись на балконе за круглым столиком, а бабка подала всем тарелки. Уле досталась с грибочком на краю.

— Ты, конечно, хочешь спросить, почему это я Фантомас? — благодушно спросил дядя Боря.

Девочка кивнула, но больше из вежливости: на Фантомаса председатель был совсем не похож. — Так вот, — продолжил старик, — было это у самого синего моря. Лежу это, значит, я на песке... Эй, бабка! Ты что же это мне ложку не подала?

Фыва толкнула Ульрику локтем и шепнула:

— Смотри, что сейчас будет.

— Ох, прости, родненький! Сейчас подам, — испугалась старуха.

— Это я тебе сейчас дам! — крикнул дядя Боря, вскочил весь красный и с размаху стукнул супругу кулаком.

Бабка только охнула, и вдруг по полу покатались два арбуза. И откуда они только взялись?

— Держи их! — закричал председатель и первый бросился ловить.

— Ура, арбузики! — крикнули Фыва и Олдж.

А арбузы запрыгали куда-то в дом...

Поднялась невообразимая суматоха. Но Уля решила не спешить, сперва доела кашу, так как сильно проголодалась. Между тем арбузы закатились под кровать, и все уже скрипели этой кроватью, двигали её. Наконец арбузы были спасены, вымыты и поданы на стол. Компания была снова в сборе.

— Расскажи девочке ещё что-нибудь, — предложила бабка супругу.

— Что бы ей такого рассказать?.. — почесал в затылке дядя Боря.

— Сказку! — попросила Ульрика: она так любила сказки.

— Ну хорошо. Э-э... Жили-были два мышонка, и вот однажды пошли они на речку купаться. Э-э... И там от них уплыло полотенце.

— Про мышат мне неинтересно, — сказала Уля. — Я же не маленькая совсем.

— Ну, давай я тогда тебе расскажу сказку про Петю и Машу.

— Хорошо.

— Э-э... Жили-были два мышонка. Звали их Петя и Маша. И вот однажды пошли они на речку купаться. И там от них уплыло полотенце.

— Да что же это такое? — осмелела девочка (она умела капризничать, когда была не в духе). — Хочу волшебную сказку!

— Ну хорошо, хорошо. Хочешь сказку про Последний Бой Невообразимого Принца?

У Ули загорелись глазки:

— Конечно, хочу!

— Э-э... Жил-был мышонок. Звали его Невообразимый Принц. И была у него собака, которую звали Последний Бой. И вот пошли они как-то на речку купаться. И там от них уплыло полотенце.

У Ульрики даже аппетит пропал от обиды. А может, просто она уже наелась.

— Подскажите мне хотя бы, где мне тудырочку найти? Волк говорил, что она где-то у королевы, а Старый Лис — что её в вашем посёлке искать нужно.

— Ты его побольше слушай, — сказала Фыва. — Одно слово — физик. Что они там могут понимать? — Как что? Лис говорил, что физики умнее и нужнее лириков.

— Ерунда,— солидно сказал дядя Боря.— Физики только средства изобретают, а цели определяют лирики.

— Так уж заведено,— поддакнула ему бабка.

— Значит, тудырочки у вас нет?

— Значит, нет,— вздохнул дядя Боря.— Можно ещё у клириков поискать, это тебе всё равно по дороге будет. Однако лучше всего прямо к королеве отправляться.

— Да, но сперва пускай решит спор наших поэтов!— сказал Олдж.

— Правильно!— разом сказали все (кроме Ульрики).

## 8. Соревнование поэтов

Все вскочили со стульев ещё резвее, чем когда ловили арбузы, и потащили Ульрику за собой.

— Но почему я?— пыталась возражать девочка.

— Да потому что писателей у нас тут пруд пруди, а читателей днём с огнём не сыщешь. Все только пишут, а читать некогда. Да и поэтам друг друга слушать тоже неинтересно. А тут такая удача: живой слушатель!— объяснили ей.

Вся компания, подхватив девочку под руки, трусцой проследовала к небольшой открытой площадке, на которой был сооружён деревянный помост. Над помостом возвышался плакат с надписью: «Поэтический турнир имени Гдежеккружкина».

— Кто такой этот Гдежеккружкин?— спросила Ульрика.

— О, это очень знаменитый поэт. Гдежеккружкин— наше всё,— сказал Олдж.

— А я вот про него не слыхала,— вздохнула Ульрика, которая вообще-то гордилась своими познаниями в поэзии: Барто, Маршака, Чуковского она читала сама и знала многие их стихи наизусть, а про Маяковского, Некрасова, Рождественского ей папа говорил.

Что ещё за Гдежеккружкин?

— Вообще, он знаменит в основном у нас в посёлке,— утешила девочку Фыва.— Но это огромная историческая несправедливость.

Ульрике отвели почётное место в качестве главного судьи.

— А это всё поэты?— шепнула она, кивнув на собравшуюся толпу.

— Лирики,— подтвердили Фыва и Олдж.

— И они все будут соревноваться?

— Нет, только те, кто успел заявку заполнить и кто ведущим нравится.

Между тем ударил гонг, заиграла плохая музыка, и на сцене оказалась тётянька в пёстрой юбке. Она принялась плясать, а все ждали, когда это закончится. Наплясавшись, тётянька объявила начало соревнования, и на сцену поднялись первые два соперника. Один с бородой, другой с усиками.

Тётянька подскочила к участнику с бородой и попросила:

— Расскажи о том, как ты ненавидишь своего сегодняшнего соперника!

Бородатый дядя с грустными глазами пожал плечами и ответил:

— И вовсе я его не ненавижу. Чего мне его ненавидеть?

— Ну скажи ему что-нибудь обидное!— не унималась тётянька.

— Зачем она это делает?— шепнула Ульрика Фыве.

— Это она хочет, чтобы состязание веселее прошло. А то уж очень скучно в прошлый раз было. Вот она и надеется, что если поэты подерутся, то всем сразу интересно станет. У нас в прошлом году один поэт другому на улице на ногу наступил, так про это до сих пор разговаривают.

Между тем бородатый всё мялся и не желал обзывать усатого.

— Ну ладно. Давай уже выступай,— вздохнула тётянька в цветастой юбке.

Бородатый закатил глаза к небу и начал:

Себе я ногу почешу  
И о любви своей скажу.  
Моя любовь так глубока,  
И сильно чешется нога.

Я про чесание ноги  
Сегодня сочинил стихи...

Бородатый продолжал читать в том же духе, а Уля между тем обратила внимание, что все собравшиеся не смотрят на сцену, а пишут что-то в своих блокнотах.

— Что они делают?— спросила она Фыву.

— Чего?— переспросила Фыва, закрывая свой блокнот.

— Что это вы все делаете?

— Стихи сочиняем.

— А почему вы этого дядьку не слушаете?

— Если бы он мои стихи прочитал, я бы послушала. А с какой стати мне его стихи слушать? У меня свои в сто раз лучше.

— А почему ты тогда не выступаешь?

— Меня не звали.

— Почему?

— Меня ведущая не любит.

— А что, без любви в этом деле никак?

— Никак. Любовь правит миром.

Бородатый закончил читать поэму о чесании ноги, и ведущая подскочила к усатому конкурсанту:

— Скажи, что бы ты хотел сделать со своим соперником?

— А можно я просто стихи почитаю?— взмолился он.

— Слабак! Чтоб ты проиграл. Ладно, читай свои стихи.

Усатый вдруг ожил, приободрился и заговорил, обращаясь к публике:

— Я считаю, что так называемый классический способ стихосложения давно устарел. Надо писать что-то совершенно новое, экспериментальное, современное. Долой рифму! Долой линейный сюжет!

Народ отвлёкся от своих блокнотиков и удостоил выступающего взорами. Тот воодушевился этим вниманием и затараторил:

Себе я ногу почешу!  
Себе я ногу почешу!  
Себе я ногу почешу!  
Себе я ногу почешу!

Себе я ногу почесал!  
Себе я ногу почесал!  
Себе я ногу почесал!  
Себе я ногу почесал!

— Почему он вместо стихотворения просто одни и те же слова повторяет? — поинтересовалась Уля у Фывы.

— Борется за обновление поэзии. Подражает поэтам-футуристам.

— Что это за поэты такие?

— Сто с лишним лет назад были такие поэты.

— А зачем они оба про ногу читают?

— Про что же им ещё читать? — удивилась Фыва. — Самая благодатная тема. Остальное всё далеко, а за ногой далеко ходить не надо. Сиди дома и пиши про свою ногу. Или ещё про что. Можно про руку, про ногти свои писать. Много есть интересных тем для творчества. Про волосы можно. У меня вот как-то ячмень на глазу был, так я две книжки стихов ему посвятила.

Никто не слушал усатого. Тот покричал ещё немного с помоста и затих. Слово снова взяла тётенька в юбке:

— Сейчас по вашим аплодисментам мы определим победителя. Только, чур, второму не хлопать. Он — отстой.

В итоге получилось, что не хлопали никому. Затем обратились к Уле за решением.

Уле вообще тоже больше понравился бородатый: тот хоть в рифму сочинял; но ей стало обидно за усатого, и вообще она не любила несправедливость, так что она сказала, что пусть победит он. Тётенька в юбке сперва позеленела, потом побелела, потом покраснела, а потом объявила, что победил бородатый.

— Так зачем меня вообще сюда звали? Попросили сказать, кто победил, а потом выбрали другого, — обиделась Ульрика.

Но её не стали слушать. Тётя уже вызвала на помост следующую пару конкурсантов.

— О, сейчас будет интересно! — сказала Фыва. — Один будет читать стихи вообще без слов, а второй — без звуков. Это очень оригинально и придумано всего пятьдесят лет назад!

Но Ульрика не стала слушать, потому что она рассердилась. Девочка прыгнула с почётного сиденья и пошла туда, куда показывал дорожный указатель с надписью «Посёлок Клириков».

## 9. Выше города плетень

Шла себе Уля по дорожке, шла и сперва увидела необыкновенную ёлочку. Сама ёлочка была сухая и выделялась рыжим цветом на фоне зелёных сестёр. А зато вершинка у неё была золотая — так и сверкала на солнышке. Из-за этой блестящей вершинки Уля не заметила, кто стоит под ёлочкой. А под ёлочкой стоял старый такой барашек. И барашек-то и оказался настоящим удивлением, ведь стоял он на двух ногах, да ещё и напевал что-то задушевым таким дребезжащим голосом:

Бегали мы, прыгали с койки на койку,  
Да стали по талонам соль и колбаса.  
Вышли мы впредь делать перестройку,  
Петь чужие песни на свои голоса.

Как взяли, повелись мы дорогами странными,  
Велись да привелись, как я погляжу,  
Я теперь владею в столице ресторанами,  
Так поеду на море — полежу на пляжу...

Так душевно пел старый барашек, что Уля даже захлопала ему. Барашек обрадовался и посмотрел на девочку мудрыми глазами. Но это только мы с вами знаем, что глаза у него были мудрые, а Ульрика этого не знала, потому что барашек носил тёмные очки.

— Хотите, я для вас травки нарву? — предложила она, заметив, какой барашек старый.

— Ох, спасибо, внучка. Но мне в моём возрасте травку больше нельзя употреблять.

— Что же вы кушаете? — поинтересовалась Ульрика.

— А вот что, — загадочно сказал барашек и громко заблеял: — Обе-е-е-е-е! Обе-е-е-е-е!

Придорожные кусты зашуршали, и оттуда сами собой вышли плут и мотыга.

— Опять оголодал? И сколько в тебя только лезет? — заворчали они, но, отрастив себе руки и ноги, принялись кормить барашка манной кашей.

— Хочешь? — спросил Улю барашек.

Но она была сыта, и кроме того, плут и мотыга были такие сердитые, что девочка предпочла отказаться.

А барашек поел манной каши и спросил:

— Как тебя зовут, и куда ты, девочка, идёшь?

— Меня зовут Уля. А иду я в посёлок Клириков, а оттуда — к королеве.

— Что ж. Давай я тебя провожу.

И они пошли вместе.

— Зачем тебе к королеве-то?

— Хочу тудырочку отыскать, чтобы домой попасть.

— Э, для этого к королеве не надо ходить.

— Разве тудырочка не у неё?

— Тудырочка, сюдырочка. Есть другой способ. Вот тебе про него наша хозяйка расскажет.

Между тем они подошли к каменной горе.

— На этой горке— наш посёлок. В том посёлке— Святое место. А на нём— наша хозяйка. Она тебе и поможет.

И тут с вершины горы послышался волчий вой. Было сразу несколько волков. Уле стало и страшно, и любопытно: нет ли среди этих волков её знакомого?

Они с барашком стали восходить на горку, а она становилась всё круче, да ещё из каменной делалась железной. Вот по этому железу они с превеликим трудом забрались наверх. Там, наверху, стоял посёлок, а над ним, как арка, возвышался мост с ажурными перилами. На мосту стоял бык.

— Иди на этот мостик, дёрни быка за хвостик,— повелел барашек.

Ульрике не терпелось оказаться дома, поэтому она, хоть и устала, побежала на мостик, поднялась на него и приблизилась к быку. Вообще-то ей было страшновато подходить к быку.

— Можно?— спросила она быка.

— Не бойся!— крикнул ей снизу барашек.— Он хоть и с ушами и с языком, а ничего не слышит и не понимает!

Тогда Уля осторожно взялась за хвост и дёрнула. И тут бык взревел так, что у девочки уши заложило. Она бросилась бежать— вниз с моста, а бык всё ревел. Тогда в домах стали открываться двери, и под мост стали собираться жители посёлка: овечки и барашки, ослики да козлики.

— Кто звонил? Что стряслось?— говорили они.

А те, кто заметил Ульрику, спрашивали:

— Ты кто? Откуда?

— Я Уля. А вы клирики?

— Да,— загалдели они.

А один сердитый баран с разбитым лбом прибавил:

— Но общество клириков— это ещё не общество святых.

— Может, ты кушать хочешь? Мы мигом мотыгу и плут позовём.

— Отведите меня лучше на Святое место.

— Ишь, чего захотела! Занято оно. Опоздала ты. Надо было тебе в четверг приходить. А у нас сегодня опятьница.

— Опять опятьница! Опять опятьница! Семь раз на неделе!— загалдели клирики.

— Да погодите вы!— переблеял их старый баран.— Она и пришла к нашей хозяйке. Давайте отведём её куда надо, пускай госпожа решает.

— Пускай решает! Пускай решает!— загалдели клирики.

Ульрика оглядывалась по сторонам, но не видела ни одного волка. Ей было неприятно, что вот раньше она путешествовала как хотела и сама

решала, что делать, а вот теперь за неё должна решать какая-то госпожа.

— Но прежде, чем идти на Святое место, надо спеть специальную очистительную песенку,— сказал старый барашек.

— Правильно! Правильно!— согласились клирики.

И старый барашек запел специальную банную песню:

Пусть мне твердят, что есть места иные,  
Что в мире есть иная красота,  
А я люблю свои места родные,  
Свои родные мылю я места!

— Вот теперь мы песенно очистились и готовы отвести эту девочку к госпоже,— объявил барашек.

Он нарядился во всё чёрное, потом позвал себе на подмогу ещё одного барана, уже закутанного в чёрную накидку, и они вдвоём повели Ульрику по улице посёлка. Вослед им неслось мелодичное блеяние клириков.

Наконец они подошли к плетню, такому высокому, что он, казалось, кидал тень на весь город. А на плетне том сидела... Сначала Ульрика приняла её за женщину в белом платье и золотой шапочке (из книжки она знала, что такие шапочки называют борушками), а потом оказалось, что это большущая моль.

— Здравствуй, госпожа Богомоль!— сказал барашек.

Второй баран молчал.

— Здравствуйте, барашки мои,— сказала моль.— А это кто у вас?

— А это у них я, Уля!— сказала девочка: ей надоело, что тут всё без неё решают и говорят.

— И чего же ты хочешь?— спросила госпожа Богомоль.

— Хочу вернуться домой!

— У-у, как нам вернуться домой?...— заблеял барашек, но моль его остановила и обратилась к Ульрике:

— Есть прекрасный способ попасть туда, куда пожелаешь...

— Какой?

И дальше моль стала говорить очень непонятно. Ульрика половину слов таких не знала, хотя считала себя очень умной и образованной девочкой. Что-то про «ритуал духовного созерцания», про «просветлённый разум, который открывает для себя новые функции», про «умерщвление плоти»...

— Погодите-погодите!— запротестовала Уля.— Какое ещё такое умерщвление? Это меня, что ли, вы умерщвлять будете?

— Зато ты, деточка, сразу попадёшь в чудесный сад. Детей туда без вопросов берут.

— Ишь чего! Не хочу я в садик! Я там была уже. Ничего интересного: кашей овсяной кормят и спать заставляют среди дня!

— Много ты понимаешь! — обиделась моль. — Разум, освободившись от материального тела, начинает свободно впитывать в себя божественные энергии высших сфер. Полетишь себе на небко... — Кушать котлетки?

— Девочка, я начинаю терпеть теряние, то есть терять терпение!

— А папа за мной в этот садик когда придёт?

— Когда очистительную песенку сто раз споёт.

— Так это мне долго придётся ждать! Мы с ним совсем другие песенки поём.

И Уля запела тоненьким голосом:

В моём городе родном  
Жил весёлый мореходик,  
Он мне сказку рассказал  
Про страну подводных лодок

Уи ол лив ин э йеллоу субмарин!  
Йеллоу субмарин!  
Йеллоу субмарин!  
Уи ол лив ин э йеллоу субмарин!  
Йеллоу субмарин!  
Йеллоу субмарин!

— Схватить её! — не выдержала моль. — Схватить и отправить на злобное место!

Уля испугалась и перестала петь. Старый барашек потянулся к ней передними копытами, но вдруг сзади щёлкнули зубы, и барашка не стало. Оказалось, что второй баран был вовсе не баран, а переодетый Волк, да ещё и тот самый! Он схватил Улю за руку, и они побежали вниз с холма, а в ушах у них хлопал то ли ветер, то ли крылья разъярённой госпожи Богомоли.

Ульрике было немного жалко барашка, которого съел Волк. Но он был уже очень старый. А кроме того, он, наверное, за свои муки уж точно попал в тот волшебный сад, где деньги с неба падают и сокровища валяются на земле...

— А я думала, ты — баран, — сказала Уля.

Теперь она уже ехала верхом на спине Волка.

— Ну, сутана из волка овцу не делает, — усмехнулся он в ответ.

## 10. Приглашение на бал

Наконец Волк попросил Улю слезть и пойти пешком.

— Наелся я слишком. Давненько так хорошо не закусывал. Даже тебя на свидание приглашать не хочется.

— А кого хочется?

Волк задумался.

— Королеву я бы пригласил, хоть это и нельзя... — задумчиво сказал он.

— А мы сейчас куда идём?

— К ней и идём. Во дворец. Уже недолго осталось.

— Волк, ты почему нас в лесу бросил? И куда маркиз Кусолиз подевался?

— Да он, наверное, давно во дворце. Там ведь этой ночью будут бал давать. А на балу будут давать пир, а на пиру...

— Понятно, понятно. Все у вас только про еду и думают.

— Это точно. Без еды — оно как-то не того.

— А вот мне бабушка говорит, что я плохо ем. Всё угощает меня и угощает...

— Может, познакомишь меня со своей бабушкой?

— Ишь чего выдумал! Думаешь, я «Красную Шапочку» не читала?

— Какую ещё такую шапочку? Расскажи!

И Уля стала рассказывать, правда, при этом ужасно запуталась:

— Жила-была девочка. Звали её Красная Шапочка. И вот однажды у неё заболела бабушка. И пошла Красная Шапочка к бабушке, чтобы поест её вкусных пирожков со щавелём... или с ревенём. В общем, по дороге в лесу она встретила волка. А волк стал отговаривать её идти к бабушке. Но она не послушалась. Тогда волк захотел тоже провести бабушку и предложил идти по разным дорожкам. И пошли они: волк — по длинной дороге, а Красная Шапочка — по короткой. А в это время с бабушкой уже что-то стало, наверное, от болезни. Вот пришла к ней Красная Шапочка, постучалась, вошла. А бабушка лежит в своей кровати. «Бабушка, — спрашивает Красная Шапочка, — почему у тебя такие холодные руки?» А бабушка ей и отвечает: «Дай я тебя обниму, руки и согреются». — «Бабушка, — говорит Красная Шапочка, — почему у тебя такие бледные щёки?» А бабушка ей отвечает: «Дай я тебя поцелую, щёки и разругаются...» Пришёл волк к бабушке, а Красной Шапочки уже и нет. Ушла, наверное.

Волку эта сказка не понравилась. У него от испуга даже шерсть дыбом стала.

— Ну и странные сказки ты рассказываешь. А я просто хотел к твоей бабушке в гости сходить, чтобы она и меня тоже пирожками угостила.

— Нечего, нечего к моей бабушке подбираться! Я лучше сама буду хорошо кушать.

Так они и дошли до дворца. Дворец у королевы был большой, белый, девятиэтажный. Он стоял на склоне горы, в окружении лесов, а чуть ниже его ворот был небольшой и уютный садик.

В этот садик Уля с Волком и вошли.

— Ну, мне пора. Я тут гость незваный, — сказал Волк и нырнул в кусты.

Ульрика пошла по садику, любуясь деревцами и цветами, пока не встретила слуг королевы. Это были две толстые кошки в серых камзолах и белых перчатках.

— Ты пришла к королеве? — спросили кошки.

— Да, — сказала девочка и сделала реверанс.

Важные кошки едва кивнули.

— Зачем? — строго спросили они.

Но Уля столько пережила за последнее время, что стала осторожной:

— Это я скажу самой королеве, если можно.

Кошки пошептались между собой и сказали:

— Королеву видеть нельзя.

— Почему?

— Вдруг ты захочешь причинить ей вред — набросишься и покусаешь? А вдруг у тебя грипп, и ты её заразишь? И вообще, ей надо заниматься важными государственными делами.

— Что же делать? — расстроилась Ульрика.

— Ничем не можем помочь.

И тут, откуда ни возьмись, на дорожке садика показался маркиз Кусолиз! Он очень обрадовался Ульрике, потому что переживал за неё и чувствовал свою вину за то, что бросил её в лесу. Он заступился за Улю перед слугами королевы, снова представил её как свою помощницу и потребовал, чтобы её пустили на предстоящий бал.

Ульрика так обрадовалась, услышав про бал: она ведь ни разу не была на настоящем сказочном балу! Кошки переглянулись, помурлыкали друг другу на ушко и согласились, даже проводили Ульрику в гостевую комнату. Там Ульрика присела на краешек кровати и тут же уснула.

Проснулась она оттого, что где-то играла музыка. Настроение было бодрое: ей ужасно не терпелось посмотреть на бал. На стульчике для неё было приготовлено нарядное платьице, и Уля мигом в него переоделась.

Она поспешила по коридорам на звуки вальса и очутилась в большом зале. За окнами была ночь, а тут всё сверкало, как днём: горели светильники, блестели драгоценности и наряды. В зале было уже полным-полно престранного народа, а важный лакей всё стучал жезлом об пол и объявлял новых гостей:

— Любитель уличной еды Чебурешка и его друг Крокодил-гиена!

— Дочь короля Нептуна Усалочка!

— Представители далёкой революционной страны Черепаха Тротилла и её анархо-охрана!

— Обладающий сверхъестественными способностями Мальчик Аномальчик!

— Ящерица и Попугай из старого дома!

— Волшебник Безумного города!

Все гости подошли к трону и кланялись. Уподножия создавалась толчея, и Уле никак не удавалось разглядеть королеву. Тогда она встала в очередь на поклон. Но когда наступил её черёд, она увидела, что на троне никого нет, и все кланялись пустому месту. Она разочарованно отошла в сторонку. Бал продолжался: пары танцевали, слуги разносили закуски с таким гордым видом, будто подают милостыню.

Тут к Ульрике подошёл маркиз Кусолиз. В руках он держал два стаканчика с мороженым. Один он предложил Уле. Она взяла угощение и спросила:

— Где же королева? Уже ушла?

— Её и не было. Может, потом появится. Ты посмотри, какой бал! Когда ещё удастся на таком побывать?

Они немного потанцевали, потом съели ещё по стаканчику мороженого, а потом Кусолиз умчался танцевать с какой-то феечкой.

## 11. Королева Пододеялии

Ульрика же всё поглядывала на пустой трон и думала, что же это значит. Заболела королева, что ли? Или не хочет никого видеть? Или тут всех дурачат, и вообще нет никакой королевы? В это время к ней приблизилась загадочная фигура в синем плаще со звёздами, в золочёной чалме, с картонным носом и мочальной бородой.

— Ты думаешь о том, куда подевалась королева? — спросил незнакомец голосом Волка.

Ульрика вскрикнула от радости: Волк уже не раз показал свою ловкость, может, он и на этот раз поможет? Незнакомец приложил палец к фальшивым усам и поманил девочку к окну. Они спрятались за шторкой, и там Уля, наконец, спросила, куда делась королева:

— Может, её в плену держат?

— Всё может быть... Если бы я искал королеву, то начал бы с затронной комнаты.

— Какой ещё затронной комнаты?

— А ты видела прямо за тронном небольшую дверь? Оттуда королева должна входить в бальный зал. Слуги объявили, что королева сегодня не выйдет. Может быть, она и сейчас за дверью?

Ульрика присмотрелась и увидела за спинкой трона небольшую дверцу. Она стала потихоньку передвигаться по залу, чтобы встать поближе к двери. За это время на неё ещё пару раз налетал маркиз Кусолиз и звал танцевать, но девочка отказывалась. Наконец она оказалась рядом с тронном, а тут заиграла особенно весёлая музыка, кажется, полька, и все гости кинулись танцевать. Так что Ульрике удалось незаметно шмыгнуть за трон, а потом и к дверце — она оказалась не заперта.

Никто и не заметил, как Ульрика покинула бал. Девочка очутилась в большой комнате. Здесь было тихо, пусто и потому казалось даже просторнее, чем в бальном зале. В правой стене были большие окна, а на левой висели большие картины с изображениями природы. А в дальнем углу (Уля даже не сразу заметила) кто-то сидел за небольшим серым столиком. Ульрика подошла и увидела молодую тётеньку или взрослую девочку в бледно-розовом платьице. Лица её не было видно, потому что взрослая девочка плакала, уронив голову на руки. Её светлые локоны разметались по столу, на голове вздрагивал голубой бант, словно это большая бабочка порхала над её головой.

Как только Уля увидела её, так сразу и пожалела: девочка-тётенька казалась такой одинокой



и беззащитной в этой пустой и неприветливой комнате. Захотелось подойти, погладить её по голове и сказать ей что-нибудь хорошее.

— Не плачь,— сказала Уля.

Девочка-тётушка вздрогнула, подняла на неё блестящие от слёз глаза и спросила:

— Ты кто?

— Я Ульярика. Я королеву ищу. А ты?

— А я и есть королева. Меня Рада зовут,— ответила та, быстро вытирая слёзы.

Уля впервые встретила королеву и не знала, как себя следует вести, поэтому продолжила разговор так же, как и начала, без особых поклонов и реверансов:

— А почему ты плакала?

— Сама не знаю,— ответила королева Рада.— Иногда находит на меня ни с того ни с сего. Вдруг покажется, что никто меня не любит, что нет у меня друзей, что в будущем нет для меня ничего хорошего. И, что всего удивительнее, вот так, когда плачешь от одиночества, то и не хочешь никого видеть. Словно бы хочется чувствовать себя самой несчастной и беззащитной на свете.

— У меня такое тоже бывает,— призналась Уля.— Особенно если папа не хочет мороженое покупать... Но неужели тебе не с кем дружить? У тебя ведь, наверное, и слуги, и министры всякие, и придворные.

— Это всё не то,— вздохнула королева.— Слуги поддаются и льстят всё время, а старшие придворные постоянно учат меня, что мне делать и как должна себя вести настоящая королева. Это нельзя, то нельзя... Да и вообще, мало они понимают в играх. Книжек не читают, сказок не знают. Наряды да новые дворцы — вот все их развлечения. Целыми днями только и разговоров, у кого плащ моднее и дороже да у кого дом больше.

От всех этих рассуждений королеве Раде, похоже, снова стало грустно. Уголки её рта снова поползли вниз, а прекрасные глаза быстро заморгали.

— Хочешь, я с тобой поиграю, чтобы тебе не было грустно?

— Хочу! — обрадовалась королева Рада.— Давай поиграем в стихотворную угадку?

— Давай! А как это? — Ульярика любила всякие литературные игры.

— Я читаю тебе стихотворение, но там, где должны быть рифмы, останавливаюсь, а ты угадываешь, что за слово там должно стоять. Вот, например...

И королева стала читать:

Почешут соперники темя,  
Друзья усмехнутся в усы,  
Узнав, что парижское...

Уля задумалась, а потом выдала:

— Темя!

— Российские мерят...

— Труссы!

Королева Рада звонко засмеялась:

— Совершенно неверно. Но вышло неплохо! Я запишу этот вариант в свою книжечку.

Она достала небольшой блокнотик и сделала там запись карандашом.

— Давай ещё попробуем... — предложила она, встала из-за своего столика, расправила платице и стала рассказывать по комнате, вспоминая новое стихотворение.

Похоже, поэтическая игра и правда отвлекла её от грустных мыслей. Наконец она произнесла:

И я стонал в клещах мороза,  
Что ногти с мясом вырвал мне,  
Рукой обламывал я...

— Розы!

— И это было не во...

— Бще! — выдохнула Ульярика.

— Будь здорова,— сказала королева, подумав, что девочка чихнула.

Дальше предстояло загадывать Ульяrike. Она вспоминала различные стихи, и из книжек, и те, которые её папа сам сочинил. Но королева Рада почти везде правильно угадывала рифмы:

Главное и прочее,  
Вместо ответов...

— Многоточие!

Чёрное и синее,  
И что в конце концов...

— Красивее!

Получалось не смешно, но очень здорово.

— Не зря тебя Фыва и Олдж хвалили,— призналась Ульярика.

Королеве было приятно слышать такое.

— А что ещё про меня говорят мои подданные?

— Ещё говорят, что ты ничего не делаешь. Одни говорят, что это неинтересно, а другие — что это хорошо.

— Как же мне ещё быть? — снова вздохнула королева.— Пробовала я какие-то указы и законы писать, так от этого только хуже выходило. Приказала я поддержать в стране писателей и художников. Так мои слуги их три месяца в тюрьме продержали. Приказала я сделать так, чтобы все жители моего королевства были довольны и счастливы, так министры распорядились на каждом углу солдата поставить, чтобы он следил за тем, чтобы все вокруг улыбались, а кто не улыбается, того бить нещадно. Приносили мне указы на подпись. «О всеобщем богатстве». А там приписка на двадцатой странице, что богатство должно принадлежать богатым, поэтому у бедных надо последнее отобрать и богатым отдать. В общем, перестала я любые указы подписывать. Я им не дурочка — бумажки их не глядя подписывать. Теперь вот ничего не делаю. И вроде бы подданным

полегче жить стало. А придворные мной, наоборот, недовольны. Известить меня хотят.

Тут Ульрика спохватилась, что ведь не просто так сюда пришла.

— А ты не знаешь, где находится тудырочка?

— Знаю. А тебе зачем?

— А мне домой надо, к папе. Можешь мне сказать, как попасть в эту самую тудырочку?

— Могу... Но не сразу. Сперва ты должна выполнить моё условие.

Теперь уже Уля чуть не заплакала:

— А просто так нельзя?

— Нельзя,—отвечала Рада.—Во-первых, я королева, а значит, должна немного повредничать. Во-вторых, в сказках ничего просто так не делается. А в-третьих, задание это очень важное. И поручить мне его больше некому.

— Что за задание?—спросила Ульрика.

— Задание победить Бабу егэ.

Хоть Ульрика никогда и не видала эту Бабу, но отчего-то вздрогнула при её упоминании. Королева Рада заметила это:

— Вот видишь. Даже тебе не по себе. Все дети её боятся. Даже я её боюсь.

— А почему ты её боишься, ведь ты же не деть?

— Так уж устроено, что никто не может взрослым стать, пока не повстречается с Бабой егэ, не сходит к ней на поклон. И мне к ней идти страшно. И попросить некого.

— Хотела бы я тебе помочь. Да как же я с ней одна справлюсь?

И тут вдруг штора возле одного из окон зашуршала, и из-за неё появился тот самый таинственный незнакомец в чалме и бороде.

— Зачем одна? Я тебе помогу.

— Кто это?—вздрогнула королева.

— Это Волк.

Незнакомец раскланялся перед королевой Радой:

— Позвольте пригласить вас на свидание...

Но Ульрика ответила вместо королевы:

— Со съеданием?

И волк смущённо умолк.

— Вот если бы с нами маркиз Кусолиз пошёл, а ещё Фыва и Олдж. Тогда было бы и не страшно, и не скучно,—сказала Ульрика.

Королева согласилась послать своих слуг в посёлок Лириков, а пока предложила отдохнуть и назначить на завтра небольшой военный совет по поводу того, как победить Бабу егэ.

И когда Ульрика засыпала у себя в гостевой комнатке, она слышала, как кто-то бродит по саду и поёт:

Плач, плач, плач  
Королевы юной,  
Той, что скинет плащ  
В июне.

Спляшет палач

Над её главою.

Ива, ты поплачь,

А я, Волк, завою...

## 12. Тайное соврание

На следующий день тайное собрание было в полном составе. Только королева Рада почему-то называла его «соврание». Ульрика спросила почему. — Потому что мы в сказке, а сказка — ложь, — объяснила королева.

— Правильно. А в ней — намёк, — прибавил Олдж.

Приступили к совещанию. Маркиз Кусолиз сказал, что он пойдёт за Ульрикой куда угодно и докажет ей свою храбрость. Переодетый Волк сказал, что готов помочь победить Бабу егэ, если он этим заслужит дружбу королевы. Королева задумчиво улыбнулась в ответ. Фыва и Олдж заявили, что они никуда не пойдут, потому что им страшно... то есть страшно некогда, но что они готовы дать ценные советы.

— И что же вы нам посоветуете?—спросила королева Рада.

— Посоветуем заручиться поддержкой какого-нибудь великого волшебника, — сказали лирики хором.

— Да где же их взять?—развела руками королева. — Мальчик Аномальчик ещё слишком маленький. Госпожа Богомоль нам помогать не станет. А больше и нет никого. Потому Баба егэ так и осмелела. — А я знаю, кто вам поможет! — раздался голос из-за двери, и в совещательную комнату вошёл Старый Лис. — Вот вы меня не позвали, а я знаю, кто вам поможет. Но теперь не скажу, потому что...

Королева хотела уговаривать Лиса, но Ульрика сделала ей знак подождать и заговорила насмешливо:

— Потому что ничего ты не знаешь!

— Я не знаю? — задохнулся Лис.

— Да, ты. Не знаешь!

— Вот как? Я не знаю? А про Сикильдяшку вы забыли?

Ульрике это имя ни о чём не говорило, но остальные разом восторженно вскрикнули и кинулись хвалить Лиса. От гордости Лис распушился и стал казаться ещё толще.

— Вот то-то же, — сказал он. — А теперь, когда вы убедились, какой я умный, я научу вас жизни.

— Э нет! — строго сказала королева. — Это как-нибудь в другой раз.

— Но почему же? — возмутился Лис. — Про волшебника я ведь правильно сказал, значит, и во всём остальном я тоже прав.

— Вовсе не обязательно, — ответила Королева и сама выпроводила Лиса из комнаты.

— Что ещё за Сикильдяшка? — спросила Ульрика у Олджа.

— О, есть древняя и прекрасная легенда о том, что в старину в Пододеялии жили могущественные волшебники. Вот послушай.

И Олдж торжественно произнёс, а все торжественно послушали:

У подножия ромашки  
Жили-были Сикильдяшки,  
Сикильдяшки не простые,  
Все красавцы удалые.  
Все равны, как на подбор,  
Но один из них—бобёр.

— Прекрасно, правда?—спросил Олдж.

— Прекрасно-то оно прекрасно, да только никто не знает, куда они делись и где их теперь искать,—сказал переодетый Волк.

— Мне кажется, я знаю где,—догадалась Ульрика, и все с удивлением уставились на неё.

— Говори же, не томи!—Волк чуть не выпрыгнул из своего плаща от нетерпения.

— Если один из них—бобёр, то я его видела под мостиком на речке Кач-кач.

— Вот здорово!—захлопала в ладоши Фыва.—Значит, туда и отправляйтесь и уговорите его помочь победить Бабу егэ.

— А если вам снова повстречаются белые каряблики, то вот вам чудесный тапок,—королева передала Ульрике нечто, обмотанное золотистой тканью.— К сожалению, против Бабы егэ он бесполезен.

Итак, на поиски последнего волшебника и битву с Бабой егэ отправились трое: Ульрика, маркиз Кусолиз и Волк. Фыва и Олдж взялись проводить их до посёлка Лириков.

### 13. Кусолиз одерживает славную победу и терпит позорное поражение

— Скорее уже хочется всё сделать, чтобы все страхи остались позади и чтобы я вернулась домой!—сказала Ульрика, когда трое героев оказались за пределами замка.

— А мне хочется поскорее снова увидеть королеву, пока её никто не съел,—сказал Волк.

Он уже сбросил маскировку и был в своём натуральном виде.

— А я готов путешествовать хоть сто лет. Люблю приключения!—браво заявил маркиз Кусолиз.

Фыва и Олдж всю дорогу играли с Ульрикой в различные игры, так что путешествие получилось быстрым и беззаботным. Посёлок Клириков они обошли стороной, а в посёлке Лириков распростились с Фывой и Олджем. И тогда дорога стала чуть грустней, хотя Волк охотно катал Ульрику на спине. Девочка невольно возвращалась мыслями к предстоящим опасностям.

Путники углубились в лес, который отделял посёлок Лириков от реки. Лес был мрачный, лишь узенькая тропинка вела через заросли, но Волк заявил, что хорошо знает эту дорогу. Покрипывали

стволы, шуршала листва. Ульрике за каждым кустом мерещилась опасность.

— Не бойся, я с тобой,—сказал ей маркиз.

Однако разговоры сами собой прекратились. Путники внимательно прислушивались к лесным шорохам и присматривались к качающимся теням.

И вот, когда между деревьями наметился просвет, а впереди послышался шум реки, вдруг где-то совсем рядом послышалась мрачная песня:

Белые каряблики, белые каряблики  
По лесу идут.  
Белые каряблики, белые каряблики  
Косточки грызут.

И идут каряблики, всё идут каряблики  
Среди темноты.  
Белые каряблики, белые каряблики—  
Это я и ты.

Вот уже слышны шаги. Вот обозначились бледные сторбленные фигуры. Вот протянулись лапы с длинными когтями. Маркиз Кусолиз, хоть и дрожа с головы до пят, но шагнул вперёд и схватился за эфес шпаги.

— Тапок!—подсказал ему Волк.

Тогда маркиз выхватил золотистый свёрток и, не раскрывая, швырнул в сторону фигур. Ульрика испугалась, что в неразвёрнутом виде тапок не подействует, но одна из фигур тоненько ойкнула и кинулась прочь.

— Хулиганы! Я вот маме скажу!—крикнула другая и тоже пропала.

А путники скорее побежали на свет.

Вот и речка Кач-кач. У берега плавают кувшинки. Сперва все трое перевели дух и поздравили маркиза с великой победой (сам себя он тоже позддравил). Потом Волк и маркиз немного поспорили о том, выше или ниже по течению им теперь следует пройти, но в конце концов мост отыскался. А под мостом Ульрика нашла домик бобра. — Простите, волшебник Сикильдяшка не здесь живёт?

— Как же не здесь? Здесь. Что вам от меня нужно?—послышалось из домика.

И наружу вылез крупный бобёр. Уля от радости даже захлопала в ладоши. Ещё бы: с белыми карябликами справились, волшебника нашли. Теперь надо уговорить его помочь в предстоящем сражении.

— Кто вы такие, и что вам от меня нужно?

— Мы хотим победить Бабу егэ и спасти всех детей и подростков Пододеялии от страха, который она вселяет,—сказал маркиз Кусолиз, выступая вперёд.

— Это дело доброе,—согласился Сикильдяшка, задумчиво погладив свою мордочку.—Баба егэ давно и мне поперёк горла стоит. У меня ведь тоже дети. Хорошо, я помогу вам.

Сикильдьяшка вернулся в домик, взял с собой небольшой заплечный мешок. Теперь можно было отправляться в царство Бабы егэ.

Маркиз Кусолиз предложил на секундочку заглянуть к нему в замок (ведь это совсем рядом!) и проверить, исправно ли его слуги ведут хозяйство. — Ох, чувствую, не к добру это, — сказала Уля.

Но пришлось согласиться: так маркиз упрямился. Когда вдали показались розовые крыши, Кусолиз заволновался — видно, соскучился по дому. Он велел друзьям ждать в кустах, а сам стал подкрадываться к ближайшему окну.

Но только он приподнялся на цыпочки, чтобы заглянуть, окно с треском распахнулось, и оттуда появилась огромная рука! Не успел Кусолиз ничего сообразить, как его уже схватили и потащили внутрь.

— Теперь не уйдёшь, ваше сиятельство! — сказал Иван Иванович.

А от двора к замку уже бежала великанша Марья Петровна, приговаривая:

— Охти! Охти! Нашёлся, злодей...

Маркиз же только и успел крикнуть: — Бегите! Я их задержу!

И друзья бросились наутёк. Бежали, пока Волк не сказал:

— А чего это мы бежим? Мы-то им не нужны. Не мы ведь их хозяева.

— Это ещё непонятно, кто там чей хозяин... — проворчал Сикильдьяшка.

— Эх, теперь его точно не выпустят — стеречь будут, — вздохнула Ульрика.

— Придётся без него идти, — сказал Волк.

— Придётся, — согласился Сикильдьяшка.

И они пошли.

#### 14. Битва с Бабой егэ

Идти к владениям Бабы егэ надо было мимо посёлка Физиков вверх по течению речки Кач-кач. В посёлок решили не заходить, чтобы не вышло снова каких-нибудь нелепостей и осложнений.

Потом шли через лес, но по широкой дороге и без каких-либо приключений. По дороге Ульrike хотелось поговорить с Сикильдьяшкой — интересно же пообщаться с настоящим волшебником, но он был неразговорчив. С Волком девочка разговаривать остерегалась: у него все истории были про то, где он бывал и кого едал.

— А какая она, Баба егэ? — допытывалась Ульрика у волшебника.

— Какая, какая... Да обыкновенная. Какая полагается, — отвечал тот.

— Такая горбатая, в платочке? И живёт в избушке на курьих ножках?

— Нет, совсем не то, — усмехался Сикильдьяшка.

Наконец они подошли к ровному серому бетонному забору. По верху забора торчали на палках черепа с горящими глазами.

— Этими глазами Баба егэ может многое видеть, — шепнул Ульrike Сикильдьяшка. — Но помни: в её жилище у стен могут быть не только глаза, но и уши, и даже носы.

— И что, она всё видит и всё слышит? — шепнула в ответ Ульрика.

— Хочет видеть и слышать. Но обхитрить её можно. Возьми вот этот браслетик. Надень его и не снимай. А когда доберёшься до Бабы егэ, то нажми вот на эту пуговку.

И Сикильдьяшка протянул девочке браслетик. Пока она надевала украшение, Сикильдьяшка куда-то пропал. Как сквозь землю провалился. Видимо, так было надо. Поэтому Ульрика и Волк, затаив дыхание, подошли к железным воротам, на которых красовалась табличка: «Тихо! Ведутся мониторинговые процедуры!» И ниже была мелкая приписка: «За нарушение — хуц-пуц».

Пока Уля и Волк читали эти непонятные надписи, сверху раздался злой голос — похоже, говорил один из черепов:

— Цель визита?

— Мы на процедуры! — не растерялась Ульрика.

— Сопроводительные документы с собой?

— Нет! — пожалла плечами Ульрика.

— Тогда заходите. Корпус Ы-8 в секции Зет-дробь-11. Предварительная запись на следующий год! Вам присваиваются номера Ж-о и В-о.

Железные двери распахнулись, и герои вошли внутрь. Тут был довольно грязный, замусоренный двор, на котором располагались различные постройки. Над входами красовались вывески с цифрами и буквами, а также таблички «Не входить», «Проход закрыт», «Технические неполадки» и так далее. Там и сям были расставлены указатели, но нигде не удавалось отыскать нужный.

Волк шепнул Уле:

— А зачем нам эта Ы-8? Нам же Баба егэ нужна. Пойдём сразу в главный дом. Она, наверное, там.

Так и решили. Но над входом в здание загорелся огонёк, и снова послышался голос из черепа (на этот раз вежливый и ласковый):

— Номера Ж-о и В-о, приготовьтесь к прохождению осмотра. Просьба удалить все металлические предметы, а также всё, что может повредить здоровью Бабы егэ. Снимите обувь и ремни. Выверните наизнанку одежду. Носки наденьте на руки, а штаны — на голову. Все волшебные предметы проглотить перед входом. За нарушение — хуц-пуц

Уля посмотрела на Волка, тот слегка помотал головой. Хорошо, что у них ещё не было штанов и носков, которые пришлось бы надевать куда попало.

Дверь щёлкнула и отворилась. За ней был небольшой коридорчик, в конце которого была другая закрытая дверь. Уля взяла в руки тапочки, и они вместе с Волком вошли. Дверь за их спиной

закрылась. Снова раздался голос, но на этот раз писклявый и противный:

— Поднимите вверх руки! Так... Теперь одну ногу! Так... Теперь одну ногу и одну руку! Так... Громко скажите: «Тру-ля-ля!»

Уля с Волком сделали всё, что нужно, хотя это было очень обидно. Наконец дверь впереди открылась, и они оказались в зале с множеством дверей. Над дальней дверью загорелась зелёная табличка с какими-то цифрами, и послышался хриплый, протруженный голос:

— Номера Ж-о и В-о, подойдите к двери хю-9.

Уля и Волк пошли к этой двери, но не успели дойти до неё, как табличка погасла и сменилась красной надписью: «Входа нет». А зелёная табличка загорелась над дверью в другом конце коридора, и снова раздался голос:

— Номера Ж-о и В-о, подойдите к двери 12-ФУ.

Они бросились туда, но снова не успели. Так они метались туда-сюда и никак не могли успеть.

Тогда Волк предложил караулить у двух разных дверей, пока одна из них не откроется. Пришлось подождать какое-то время и много раз выслушать свои номера и приглашения ко всяким дальним выходам, пока, наконец, не отворилась дверь, которую караулила Ульрика. Она схватилась за неё и потянула на себя изо всех сил, а Волк бросился ей на помощь. Уже снова зажглась красная надпись «Входа нет», а Уля всё тащила дверь на себя. Волк вовремя подбежал, и они вместе прошмыгнули внутрь.

А тут, внутри, было темно. Кто-то сидел за столом и в специальную трубу кричал на разные голоса. Уля отыскала выключатель и зажгла свет. Оказалось, что за столом сидит небольшая, в общем-то, не старая тётя со злым лицом и скрюченным носом. Волосы у неё были собраны в высокую причёску. На носу блестели очки.

Когда зажёгся свет, она от неожиданности вскрикнула.

— Так это вы Баба егэ?—спросила Уля.

— Молчать!—злым голосом сказала тётя.—Разговаривать с организатором-модератором-координатором запрещено. Так и быть. Выдам я вам документы.

Она указала посетителям на свободный стол и шлёпнула перед ними стопку бумаги.

— Заполняйте согласно образцу на странице двести восемнадцать, только в обратном порядке, с пропуском пунктов со звёздочкой и с нечётным количеством знаков препинания. А я пока посчитаю, внесу вас в свою таблицу.

И потянулись утомительные безрадостные часы, а может, даже и дни. Уля и Волк заполняли какие-то бумаги, ходили из кабинета в кабинет, регистрировались на каких-то сайтах.

Наконец, Баба егэ снова вызвала их к себе.

— Твой опознавательный номер?—обратилась она к Волку.

— В-о,—ответил Волк.

— Рост, вес?

— Не знаю.

— Марш на весы!—Баба егэ указала Волку в нужный угол и обратилась к девочке:— Ты?

— А я Ульрика.

У Бабы егэ даже очки с носа свалились от негодования, и она закричала, топая ногами:

— Что? Как ты смеешь помнить своё имя? Как ты смеешь называть его? Твой номер! Только твой номер! За слушание—хущ-пущ! хущ-пущ! хущ-пущ!

Баба егэ подступала всё ближе, лицо её искалось. Ульрике стало совсем страшно, и она, спохватившись, нажала пуговку на браслете. Что-то щёлкнуло, звякнуло, и сразу оттуда чудесным образом выпрыгнул Сикильдешка. В руках у него была огромная красивая кувшинка. Он встал между Ульрикой и колдуньей и, не говоря ни слова, протянул цветок Бабе егэ.

Та сразу остановилась и перестала кричать, как будто подавилась. Лишь выговорила:

— Как?... Живое? Живое?! Куда мне это записывать?

Её голос сделался жалобным. Баба егэ покраснела, надулась, задрожала... И лопнула, оставив в воздухе лишь запах канцелярского клея и ворох кружащихся бумаг. Бумаги завертелись вихрем, к ним присоединялись другие бумаги, вылетающие из распахнувшихся ящиков и шкафов. Получался целый ураган.

— Бежим!—скомандовал Сикильдешка, и все бросились за ним в открытую дверь.

Однако выход из здания был закрыт стеклянной дверью. А бумаги летали в воздухе и хлестали по лицу.

— Пригото-овьтесь к прохождению-у осмо-у-отра... осмотра...—голос замедлялся, расплывался, заикался...

Не дожидаясь новых правил и распоряжений, Волк схватил стул и ударил дверь. Она не поддавалась.

— Окно!—крикнул Сикильдешка.

Окно им удалось разбить и выбраться наружу. Правда, Уля поцарапала руку, но для неё это была пара пустяков. Пока училась ездить на велосипеде, она и не так стучалась и царапалась.

Дом Бабы егэ разрушался и исчезал у них за спиной, как будто его засасывала внутренняя пустота. Ульрика взяла на руки Сикильдешку, вскочила на Волка, и они одним махом перелетели забор. Ещё секунда—и бумажный ураган слился в единый ком, а потом сложился, спрессовался и превратился в книжку «Литературная романтическая сказка».

## 15. Прощай, Пододеялия!

Передохнув и вдоволь нарадовавшись своей победой, герои отправились в обратный путь. В посёлке

Физиков царила мёртвая тишина—может быть, потому, что было ещё раннее утро. Только робот-поливальщик всё гнул железную спину над грядкой с луком, да Старый Лис мирно спал в своём кресле, прикрыв мордочку отцовской газетой. Решили его не будить.

Из окна Розового замка им помахал платочком маркиз Кусолиз. А ближе к речке он догнал их сам, в очередной раз улизнув от своих верных слуг.

Сикильдяшка попрощался с героями у моста. Он сказал, что к королеве за наградой ему идти совсем не хочется. Ему и в своём домике хорошо, а с победой над злой колдуньей теперь станет ещё лучше. Ульрика ещё раз поблагодарила волшебника и поспешила дальше.

Лес стал теперь безопасен, они мигом дошли до посёлка Лириков, но и тут оказалось пусто. Даже на площадке для поэтических соревнований было тихо. Никто не читал стихи про ногу, никто не занимался обновлением поэзии.

— Куда это они все подевались?—удивился Волк. — И в посёлке Физиков тоже почти никого не было,—добавила Уля.

— Пойдём дальше—там разберёмся,—предложил маркиз Кусолиз, и они двинулись дальше, в сторону королевского дворца.

В посёлке Клириков тоже никого не оказалось. Лишь на Святом месте хлопала крыльями госпожа Богомоль.

— Эй, куда это все подевались?—крикнул ей маркиз Кусолиз издалека (близко подходить к ней всё-таки не решились).

Но госпожа только трещала крыльями да кружилась над своим плетнём, и путники поспешили дальше, чтобы успеть в замок дотемна. Эта тишина и безлюдье (в случае посёлка Клириков—безбаранье, и так далее) действовали им на нервы. Так что они слегка испугались, когда рядом с ними зашуршали кусты.

— Кто здесь?—крикнул Волк.—Предупреждаю, у нас есть волшебный тапок.

Из зарослей послышался голос:

— Да нет у вас никакого тапка. Вы его на белых карябиках истратили.

И навстречу героям вышла королева Рада собственной персоной.

— Что вы здесь делаете, ваше величество?—удивился маркиз Кусолиз.

— Как вам удалось сбежать от своих придворных?—прибавила Ульрика.

— А они меня свергли,—смущённо улыбнулась королева.

— Свергли?—удивился Волк.

— Да. Хотели ещё и погубить, но я убежала.

Вдали со стороны дворца послышался какой-то гул.

— Что это?—спросил Волк.

— Пойдёмте,—коротко отвечала королева и повела путников к месту, откуда открывался вид на дворец.

Вокруг дворца было видно какое-то шевеление, горело множество огней—не то праздничная иллюминация, не то пожары. Слышались крики, какой-то грохот. В сумерках озарённый огнями дворец выглядел торжественно и тревожно.

— Что там?—прошептал маркиз Кусолиз.

— Когда придворные объявили, что королевы больше нет, весь народ собрался у дворца и объявил, что раз нет королевы, то и придворных им тоже не нужно. И теперь уже народ свергает придворных. Уж не знаю, чем это кончится.

— Так поспешим туда!—сказала Ульрика.—Раз придворных нет, то тебе нечего бояться.

Но королева задумчиво покачала своей белокурой головой:

— Не хочу я туда возвращаться. И королевой быть не хочу. Пускай уж люди сами решают. Если им хочется королеву, пусть выберут новую. Если им без королей хорошо, пусть так и живут. Для того чтобы пахать и сеять, чтобы стихи писать или делать изобретения, короли ведь не нужны.

— И куда же вы, ваше величество?—спросил маркиз Кусолиз.

— Куда-нибудь...—вдохнула королева, точнее, теперь уже просто Рада.—Во-первых, мне мир посмотреть хочется. Всю жизнь я просидела в своей башне и совсем ничего не знаю. Только страшно мне, ведь я ничего не умею, кроме своих поэтических игр.

— Дорогая королева, позвольте мне предложить вам себя в попутчики,—галантно произнёс Волк.—Я вас и защитить смогу, и на себе готов возить.

Королева ничего не ответила, только почесала Волку голову, и он завилял хвостом, как добрый пёс. Рада уже взобралась ему на спину, но тут Ульрика вспомнила:

— Пойдите! А как же тудырочка? Где мне её искать?

— Так ведь это очень просто,—сказала Рада и набросила девочке на голову свой плащ.

— Уля... Уля...—кто-то звал Ульрику, и она стала шевелить руками, чтобы сбросить с себя плащ, но у неё это никак не получалось.

И тут откуда-то протянулись большие сильные руки—папины руки!—взяли её и потянули за собой.

— И как это ты умудрилась забраться внутрь одеяла, в самый пододеяльник?—сказал папа, баюкая дочку на руках.

Он переложил Улю на её кровать, а она всё думала о том, как завтра пойдёт гулять на речку и на холм и расскажет папе всё-всё, что с нею было в Пододеялии.

стр.  
26

Алейников Владимир Дмитриевич  
Москва/Коктебель, 1946 г. р.

Родился в Перми, вырос в городе Кривой Рог на Украине. В 1962–1964 годах входил в группу молодых криворожских поэтов. В январе 1965 года вместе с Леонидом Губановым основал легендарное литературное содружество СМОГ и стал его лидером. При советской власти на родине не издавался. Публикации стихов и прозы на родине начались в период перестройки. Первые книги стихов вышли в 1987 году. В начале 90-х издано несколько больших книг стихов. Ныне автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки. Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Высшего творческого совета этого Союза. Член пен-клуба.

стр.  
3

Астраханцев Александр Иванович  
Красноярск, 1938 г. р.

Родился на берегу Оби, в деревне Белоярка Мошковского района Новосибирской области, в семье зоотехников (в дальнейшем — учителей). В 1959 году окончил Новосибирский инженерно-строительный институт, приехал в Красноярск по направлению на всесоюзную комсомольскую стройку. Работал мастером, прорабом, начальником участка на строительстве Красноярского целлюлозно-бумажного комбината, затем Красноярского алюминиевого завода, главным технологом, затем заместителем начальника Красноярского домостроительного комбината. Инженером-строителем отработал общим счётом 22 года. Окончил заочно Литературный институт имени Горького. Печатал прозу и публицистику в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Дети Ра» (Москва), «Приокские зори» (Тула), «Сибирские огни» (Новосибирск), «День и ночь», в альманахе «Енисей» (Красноярск). Лауреат журнала «Молодая гвардия» в номинации «Очерк» (1984). Отдельные рассказы выходили в сборниках «Лучший рассказ года» (Москва, изд-во «Современник», 1981; Новосибирск, Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1983, и др.). Автор 11 изданных книг прозы и драматургии. Член редколлегии журнала «День и ночь», член редакционного совета альманаха «Енисей». С 2006 по 2016 год исполнял обязанности председателя

правления Красноярского регионального отделения Литературного фонда России и члена президиума Международного литературного фонда.

стр.  
84

Вершинский Анатолий Николаевич  
Раменское, 1953 г. р.

Родился в селе Семёновка Уярского района Красноярского края, в семье учителя. Окончил с отличием два института: Красноярский политехнический и Литературный имени А. М. Горького. Работал в научно-исследовательской лаборатории, в газете, служил в Советской Армии. Более 30 лет занимается журналистской и издательской деятельностью. Награждён дипломом знака отличия «Золотой фонд прессы». Первую книгу стихотворений «Все тёплые краски земли» выпустил в Красноярском книжном издательстве (1979). Автор шести поэтических сборников, драмы в стихах «Восточный вопрос», книги исторических очерков «Русская Александрия. Средневековая Русь и Александр Невский». Произведения печатались в альманахах «Енисей» и «Поэзия», в антологии «Русская поэзия. XXI век», в «Литературной газете» и «Литературной России», в журналах «Молодая гвардия», «Смена», «Москва», «Наш современник», «Литературная учёба», «Дружба», «День и ночь» и др. Дипломант конкурса «Лучшая книга 2008–2010». Член Союза писателей с 1985 года.

стр.  
136

Волобуев Геннадий Тихонович  
Зеленогорск, 1944 г. р.

Краевед, публицист, писатель. Бывший заместитель главы администрации города Зеленогорска Красноярского края (ответственный за социальную сферу), директор филиала Сибгау, доцент. Начал трудовую и общественную деятельность в Зеленогорске (Красноярск-45) в марте 1967 года, после окончания Томского политехнического института по специальности «инженер-физик». Автор множества публикаций в газетах и журналах, нескольких книг по истории атомного проекта СССР и саги «Найти себя в эпоху перемен». Почётный гражданин города Зеленогорска.

стр.  
117

Герасимов Александр Владимирович  
Калининград, 1955 г. р.

Прозаик, драматург. Родился в амурском селе Иннокентьевке. На Дальнем Востоке работал учителем, редактором газет и телевидения, генеральным

директором государственной телерадиовещательной компании «Амур». Трижды избирался председателем Амурской областной организации Союза журналистов России. С 2011 года живёт в Калининграде. С рассказами публиковался в литературных журналах России, Австралии, Германии, Канады. В декабре 2019 года благотворительной издательской программой литературного журнала «День и ночь» и типографии «Литера-Принт» в Красноярске издана книга А. Герасимова—сборник рассказов «Соприкосновение».

стр.  
171

Деменюк Андрей Фомич

Санкт-Петербург, 1960 г.р.

Родился в Красноярске. С 2011 года проживает в Санкт-Петербурге. Геолог. Стихи публиковались в красноярских краевых и городских газетах, коллективных сборниках, журнале «День и ночь» (№№ 5/2013 и 2/2020). Выпущен авторский сборник стихов «Акцент ночи» (Красноярск, изд. «Кларетианум», 1998).

стр.  
123

Дидух Олеся

Лесосибирск, 1976 г.р.

Окончила Лесосибирский педагогический институт Сибирского федерального университета по специальности «учитель русского языка и литературы» (1999). Работает преподавателем в Лесосибирском кадетском корпусе. Автор поэтических сборников «Радоваться каждому мгновению» (2019), «Расширяя надежд горизонты» (2021). Публиковалась в красноярских сборниках и альманахах: «Поэзия на Енисее», «Поэзия Сибири», «Поэты на берегах Енисея» и др., а также в сборниках «Отзвуки небес» (Санкт-Петербург), «Майское настроение» (Чебоксары). Победитель краевого конкурса работников образования «Всё, что сердцу дорого» в номинации «Поэзия» (Красноярск, 2019, 2021). Член Союза писателей России, Союза писателей Чувашской республики.

стр.  
126

Ерофеевская Марина Викторовна

Коряжма (Архангельская область)

Участник литературного объединения «Белая сова» города Коряжма. Победитель многих литературных конкурсов, в том числе финалист 7-го международного фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы», финалист литературного проекта «Поэзия русского слова» (Анапа), победитель фестиваля «Мгинские мосты» в номинации «Карта мира», победитель фестиваля «Пою тебе, моё Отечество» (Казань), финалист семинара молодых авторов в рамках фестиваля «Беловские чтения» (Вологда). Публикации в журнале «Вечерний Котлас», в сборниках поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы», в альманахе «Царицын» и других изданиях.

стр.  
97

Иваськова Ирина Дмитриевна

Анапа, 1981 г.р.

Родилась в Красноярске. Окончила Красноярский государственный университет (факультет юриспруденции). Около 10 лет работала юристом. В 2010 году переехала из Красноярска в Анапу. Публиковалась в литературных журналах «Наш современник», «Сибирские огни», «Север», «День и ночь», «Подъём», в журнале «Родная Кубань», в газетах «День литературы», «Литературная Россия», «Кубанский писатель». Член Союза писателей России. Руководитель народного молодёжного литературно-художественного объединения «Авангард».

стр.  
104

Ишунькина Любовь

с. Юровка (Краснодарский край), 1958 г.р.

Родилась в Восточном Казахстане, в селе Катон-Карагай. К сочинительству обратилась в 14 лет. В 17 лет опубликовала в районной газете первый рассказ. Вскоре уехала жить в Красноярский край, который оставила лишь в 2012 году. В последние годы вышли в свет книги: «Птенцы», «Первая любовь», «Лабиринт», сборник для детей «Путешествие в страну чудес» (в соавторстве), сборники стихов «Счастье на ладонях» и «По кругу в разные стороны» (в соавторстве), а также книги для детей «В сад за яблоками» и «Вселенская тайна», издана книга «Память сердца» о героях Великой Отечественной войны.

стр.  
5

Коваленко Пётр Павлович

Красноярск, 1923–2013

Родился в Ужурском районе Красноярского края, в крестьянской семье. Сразу после окончания средней школы в 1941 году добровольцем вступил в Красную Армию. На фронте командовал полковой разведкой, был четырежды ранен, но дослужил до конца войны, дойдя до польско-германской границы. После демобилизации жил на станции Крутойяр Ужурского района, работал на железной дороге. Получил звание ветерана труда и имел трудовые награды. Писать и публиковать стихи начал ещё в школьные годы, потом печатался в армейских и фронтовых газетах, позднее—в краевой и центральной прессе: в журналах «День и ночь», «Енисей», в коллективных сборниках. Работал в газете «Красноярский рабочий». Добился признания у читателей и критиков. Виктор Астафьев считал Коваленко одним из лучших российских поэтов, писавших о войне, а также отмечал его вклад в развитие литературы Красноярского края и России. Член Союза писателей России. Умер в Красноярске.

стр.  
87

Козэль Ольга Сергеевна

Москва

Поэт, литературовед. Стихи публиковались в русской и зарубежной периодике. Член Союза



писателей и Союза журналистов России. Родилась в Москве. Работает водителем регулярных пассажирских маршрутов в четвёртой автоколонне 16-го автобусного парка. Окончила Литературный институт имени Горького и аспирантуру им. РАН: кандидатская диссертация посвящена творчеству Фазиля Искандера. Публикации в журналах «Новый мир», «Москва», «Дружба народов», «Юность» и некоторых других. Вышло два сборника стихов.

стр. 173  
**Косяков Дмитрий Николаевич**  
 Красноярск, 1982 г. р.

Родился в Томске. Выпускник филологического факультета Красноярского государственного университета. Критик и искусствовед, публицист, поэт-мелодекламатор, основатель поэтического дайв-театра, автор и ведущий дискуссионных клубов, преподаватель, сценарист кино и театра. Публикации в журналах «День и ночь», «Дети Ра». Автор двух поэтических («На пороге подполья», «Пепел звездолётов») и трёх публицистических («Культурный фронт», «Смотреть в будущее», «Рок-портреты») сборников, а также книги для детей («Сказки про девочку Улькику»). Дипломант Международного литературного форума «Золотой Витязь» (2020). Лауреат литературной премии всероссийского фонда В.П. Астафьева (2021). Руководитель Красноярского регионального отделения Совета молодых литераторов при Союзе писателей России. Член Союза писателей России с 2022 года.

стр. 106  
**Лёвин Сергей Александрович**  
 Анапа, 1978 г. р.

Поэт, прозаик, журналист, лауреат всероссийских и международных творческих конкурсов и фестивалей («Поэзия русского слова», «Берега дружбы», «Хрустальный родник» и др.), автор 15 книг для взрослых и детей, публикаций в литературных альманахах «День литературы», «Север», «Дон», «Родная Кубань», «Перископ», «Волга. XXI век» и др. Член Союза писателей России.

стр. 73  
**Лукин Евгений Валентинович**  
 Санкт-Петербург, 1956 г. р.

Окончил ЛГПИ имени Герцена. Работал учителем и журналистом, проходил военную службу. Участник первой чеченской войны. Автор сорока книг поэзии и прозы. Член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза писателей России. Лауреат ряда литературных премий.

стр. 128  
**Максимычева София**  
 Ярославль, 1964 г. р.

Родилась и живёт в Ярославле. В детстве занималась хоровым пением, посещала художественную школу, бальные танцы, библиотеки и читальные

залы. Опубликовала рассказ в журнале «Юный натуралист». Училась в техническом вузе. Работала в государственных учреждениях, освоила бухгалтерское дело, была звукооператором на радио, вела свой бизнес. С поэзией дружила всегда, но сама стала писать стихи лишь несколько лет назад. Публикации на интернет-порталах и в альманахах «Великороссь», «Ликбез», «45-я параллель», «Белый мамонт», «Топос», «День и ночь», «Луч». Финалист конкурса «Рыбье царство» (журнал «День и ночь»). Шорт-листер конкурса «60 плюс» (журнал «Москва»).

стр. 14  
**Малашин Геннадий Викторович**  
 Красноярск, 1956 г. р.

Поэт, прозаик, публицист, режиссёр, педагог. Руководитель информационно-аналитического и издательского отдела Красноярской епархии РПЦ, профессор кафедры гуманитарных и филологических дисциплин Красноярского филиала Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Родился в селе Ермаковском Красноярского края. По окончании в 1977 году Красноярского педагогического института преподавал в школах края. С августа 1981 года в течение 20 лет работал на Красноярской телестудии. В 1993 году с коллегами создал творческое объединение «Русские вечера», до сентября 2000 года еженедельно выходившее в краевой эфир. С 2011 года является секретарём Общественного совета Красноярской митрополии по науке, культуре и образованию, с 2014 года — ответственным секретарём Епархиальной комиссии по канонизации святых и церковно-историческому наследию.

стр. 134  
**Малягин Владимир Юрьевич**  
 Москва, 1952 г. р.

Драматург, прозаик, сценарист. Главный редактор издательства «Даниловский благовестник». Член Союза писателей СССР (с 1990 года), член Издательского совета Русской православной церкви, руководитель семинара драматургии в Литературном институте имени А.М. Горького. Лауреат всесоюзных и всероссийских конкурсов драматургии.

стр. 10  
**Немтушкин Алитет Николаевич**  
 Красноярск, 1939–2006

Родился в стойбище Иришки Катангского района Иркутской области. В 1957 году окончил Ербогачёнскую среднюю школу, в 1961 году — Ленинградский педагогический институт имени Герцена. После нескольких лет учёбы в Ленинграде и Красноярске работал в Эвенкии корреспондентом газеты «Красноярский рабочий». Первая книга — сборник стихов «Утро в тайге» («Тымани агиду») — вышла в 1960 году. Всего из-под пера Немтушкина вышло более 20 книг, которые были изданы в Красноярске, Ленинграде, Москве, Якутске. Самыми

значительными и популярными произведениями Алитета Немтушкина являются стихотворные сборники «Костры моих предков», «Дыхание земли», прозаические книги «Мне снятся небесные олени», «Следопыты на оленях» и др. Избирался ответственным секретарём Красноярской писательской организации, был удостоен звания «Заслуженный работник культуры», отмечен Государственной премией РФ в области литературы. Член Союза писателей с 1969 года.

стр.  
113

**Николаев Виктор Николаевич**

Ивантеевка (Московская область), 1958 г. р.

Родился в селе Рассыпное Каменевского сельсовета Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. В 1977 году из армии поступил в Курганское высшее военно-политическое авиационное училище. С мая 1987 по май 1988 года служил в Демократической Республике Афганистан в должности начальника поисково-десантной группы, был ранен. Проживает в городе Ивантеевка Московской области, является заместителем председателя МООО «Радонежский Союз защиты отечественного наследия». Первая книга, «Живый в помощи», вышла в 1999 году. Имеет ряд военных и литературных наград.

стр.  
124

**Поповский Александр Сергеевич**

п. Первомайский (Челябинская область), 1962 г. р.

Родился в посёлке Астрахановка Актюбинской области. Окончил Актюбинский техникум железнодорожного транспорта и Челябинский государственный педагогический университет. В разные годы работал электриком, контролёром, инженером ПТО, метрологом, председателем спорткомитета, специалистом по связям с общественностью, учителем физической культуры, машинистом. Печатался в газетах «Литературные известия», «Поэтоград», «Литературная газета», журналах «День и ночь», «Москва», «Юность» и др. Автор пяти поэтических сборников. Финалист Международного фестиваля литературы и культуры «Славянские традиции-2012». Лауреат премии Российского творческого союза работников культуры в номинации «Поэзия», Всероссийской литературной премии имени поэта-фронтовика В. Т. Станцева (2013), литературной премии Уральского федерального округа (2017), Международного конкурса поэзии журнала «Москва» «От Москвы до самых до окраин» (2020). Член Союза писателей России и Союза писателей XXI века.

стр.  
91

**Саввиных Марина Олеговна**

Красноярск, 1956 г. р.

Родилась в Красноярске. В 1978 году окончила с отличием факультет русского языка и литературы Красноярского педагогического института

(ныне — университет имени В. П. Астафьева). Стихи, проза, публицистика, начиная с 1973 года, печатались в краевой периодике, а позднее в журналах и альманахах «Юность», «Уральский следопыт», «День и ночь», «Москва», «Дети Ра», «Крещатик» и многих других российских и зарубежных изданиях. Несколько стихотворений переведены на польский, французский, испанский, осетинский языки. Музыкальные произведения на стихи М. Саввиных создали известные российские композиторы, в том числе О. Проститов, Э. Маркаиш, В. Пономарёв и другие. Издано более десятка книг стихов, прозы и публицистики. Лауреат Фонда Астафьева (1994), газеты «Поэтоград» (2010) и журнала «Дети Ра» (2011). Обладатель Красноярского краевого Губернаторского гранта за заслуги в области культуры (2008), ордена Достоевского I степени, главного приза Международного всеславянского литературного форума «Золотой Витязь» и других наград за литературную и общественную деятельность. Автор проекта и первый директор Красноярского литературного лицея. С 2007 по 2019 год — главный редактор журнала «День и ночь». Заслуженный работник культуры Красноярского края. Член Союза писателей России.

стр.  
132

**Савина Ксения Игоревна**

Санкт-Петербург, 1992 г. р.

Выпускница философского факультета СПбГУ и одноименного факультета РХГА. Религиовед, окончила аспирантуру ЛГУ им. Пушкина по направлению «Философия религии и религиоведение». Занимается теорией и практикой стихосложения в верлибре. Дебют в журнале «Знамя». Участница заключительной смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».

стр.  
109

**Смирнов Сергей**

Москва

Окончил Московский железнодорожный техникум. Публикации в журналах «Кольцо „А“», «Нева», «Юность», «Север» «Крещатик». Дважды лауреат литературного конкурса маринистики имени Константина Бадигина.

стр.  
8

**Третьяков Анатолий Иванович**

Красноярск, 1939–2019

Родился в Минусинске Красноярского края. Путь в поэзию начал с учёбы на сценарном факультете вгика (Всесоюзный государственный институт кинематографии), а до этого окончил Красноярское речное училище, служил в армии, работал судовым механиком, помощником машиниста тепловоза. С 4 курса вгика ушёл и начал всё сначала, но теперь уже в Литературном институте имени А. М. Горького. Стихи публиковались в журналах «Юность», «Молодая гвардия», «Сельская молодёжь», «Енисей», в коллективных сборниках

и газетах. Член Союза писателей России. Лауреат Пушкинской премии Красноярского края за 1999 год, трёх премий города Красноярска за тексты к песням. Автор гимна города Красноярска (музыка О. Проститова). За вклад в развитие города Красноярска и за развитие литературного творчества в Красноярском крае награждался дипломами и почётными грамотами.

стр.  
130

**Черных Наталия Борисовна**

Москва, 1969 г. р.

Родилась в Челябинске-65 (ныне Озёрск). С 1987 года живёт в Москве. Работала библиотекарем в Литературном институте имени А. М. Горького, техником на киностудии «Союзмультфильм», преподавателем в средней школе, переводчиком в издательстве, рецензентом и т. д. В 1990 году дебютировала в самиздате сборником стихотворений

«Абсолютная жизнь», в 1993 году состоялась первая официальная публикация её стихов — в парижской газете «Русская мысль». С 1999 года выступает также как автор статей и эссе о русской классической и современной литературе. С 2005 года — куратор интернет-проекта «На Середине Мира», посвящённого современной русской поэзии.

стр.  
78

**Шаров Павел Петрович**

Саратов, 1972 г. р.

Родился в Саратове. Окончил Литературный институт имени Горького. Публиковался в журналах «Волга», «День и ночь», «Сибирские огни», «Северная Аврора», «ЕДИТА» (Германия), «Футурум АРТ», «Дети Ра», «Урал-Транзит», «Звезда», в «Литературной газете» и других изданиях. Автор нескольких книг стихов. Член Союза писателей России.

ДиН ГАЛЕРЕЯ

### Художники земли красноярской

Красноярский Дом художников регулярно проводит отчётные выставки региональной организации «Союза художников России». Посетители выставок знакомятся с живописью, графикой, скульптурой, произведениями декоративно-прикладного искусства художников Сибири. Репродукции с картин участников этих выставок неоднократно становились неотъемлемой смысловой частью нашего журнала. Очередной номер «ДиН» продолжает эту традицию. В оформлении использованы картины художников, участвовавших в отчётной выставке зимой 2022 года. Все они публикуются с любезного разрешения организаторов.

**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР****В. Н. Наговицын****РЕДАКТОРЫ****Марина Наумова-Саввиных****Дмитрий Косяков****ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК****Олег Наумов****КОРРЕКТОР****Андрей Леонтьев**

Журнал издаётся с 1993 года.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

**Учредитель:**

Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 22.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77-42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

**Издатель:**

Краевое государственное автономное учреждение «Организационно-методический Медиацентр»

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ**

**Александр Астраханцев**  
Красноярск

**Наталья Ахпашева**  
Абакан

**Юрий Беликов**  
Пермь

**Михаил Бондарев**  
Калуга

**Елена Бувеч**  
Черкаск

**Лидия Довыденко**  
Калининград

**Вера Зубарева**  
Филадельфия

**Александр Кердан**  
Екатеринбург

**Сергей Кузнечихин**  
Красноярск

**Андрей Лазарчук**  
Санкт-Петербург

**Евгений Минин**  
Иерусалим

**Миясат Муслимова**  
Махачкала

**Александр Орлов**  
Москва

**Олеся Рудягина**  
Кишинёв

**Анна Сафонова**  
Южно-Сахалинск

**Лидия Сычёва**  
Москва

**Андрей Тимофеев**  
Москва

**Владимир Шемшученко**  
Санкт-Петербург

**Нина Ягодинцева**  
Челябинск

В оформлении обложки использован фрагмент картины Сергея Форостовского.

Рукописи принимаются по электронной почте: dayandnight@bk.ru

Адрес редакции и издателя: 660049, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 22; Медиацентр  
т. +7 950 991 4349

Наш сайт: krasdin.org

Подписано к печати: 28.09.2023  
Дата выхода в свет: 31.10.2023  
Тираж: 1200 экз.

Цена свободная

Журнал выходит 6 раз в год

Отпечатано ип Азарова Н. Н. в типографии «Литера-принт» г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10, т. +7 904 895 0340 эл. почта: 2007tex@mail.ru

16+



Евгений  
Ежов

Выпал снег  
2021



Георгий  
Кузаков

Межсезонье  
2021





Павел Батанов | Предзимье | 2019



Евгений Токарев | Скала, освещённая солнцем | 2020

На обложке: Сергей Форостовский  
Прогулка по острову — II (фрагмент) | 2017